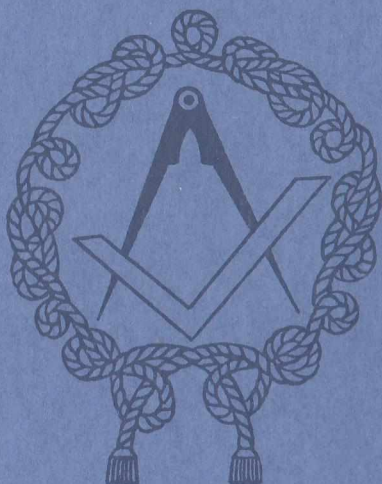


В. И. НОВИКОВ



МАСОНСТВО
И РУССКАЯ
КУЛЬТУРА





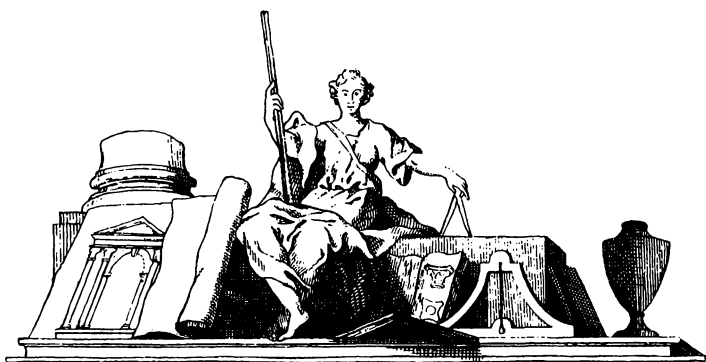


В.И. НОВИКОВ

МАСОНСТВО
И РУССКАЯ
КУЛЬТУРА



В. И. НОВИКОВ



МАСОНСТВО И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

МОСКВА "ИСКУССТВО"
1998

ББК 87.8
М31

В.И. Новиков

**Составление
Предисловие
Комментарии**

ISBN 5-210-01331-6

**© Издательство “Искусство”, 1998 г.
© Художественное оформление
В.К. Завадовской.**

Масонство и русская культура

Предисловие В.И.Новикова

Масонство как эзотерическое течение, несмотря на покров тайны, которым «вольные каменщики» всячески окружают его главные догматы, представляется секретом полишинеля. Оно достаточно подробно освещено в трудах ученых многих стран. Правда, следует сразу же оговориться, что далеко не все из написанного доступно широкому читателю (в том числе и книги маститого русского академика А.Пыпина).

Но при всем том остается непонятным, почему именно масонство является наиболее притягательным для «творцов культуры». Действительно, «вольные каменщики» могут похвастаться такими «братьями», как Монтескье, Вольтер, Франклин, Лессинг, Моцарт, Гете, Бернс, Бетховен, Паганини, Уайльд, Марк Твен, Киплинг, Р.Тагор, Сибелиус. Не менее впечатляющим выглядит и «русский список», где блистают имена Сумарокова, Новикова, Баженова, Воронихина, Левицкого, Боровиковского, Карамзина, Жуковского, Пушкина, Витберга, А.Григорьева, Волошина, Алданова, Осоргина, Адамовича, Газданова. Известны слова Л.Н.Толстого, что он не видит существенной разницы между основными принципами своего учения и масонством¹.

Порой кажется, что культурное наследие XIX — начала XX веков, а тем более XVIII века давно каталогизировано и инвентаризировано. Но постоянно открываешь, что это далеко не так. Сознание общества активно обращается к «трудам и дням» Л.Н.Толстого и В.С.Соловьева. Почему же из внимания выпадает то, что и тот и другой во многом следуют по стопам русских масонов? Работы «вольных каменщиков» определяли духовный климат России второй половины XVIII века — в ее лучшие исторические времена. Нельзя сказать, что Н.Новиков, А.Радищев, Н.Карамзин забыты; однако первый именуется просветителем, второй — революционером, третий — писателем и историком. Числа эти фигуры по разным ведомствам, как-то забывают о масонстве, другими словами, именно о том, что их объединяло.

Масонство возникло в начале XVIII века, в эпоху, когда раскол христианского мира на католическую и православную церкви был завершен, а из недр католицизма вышел целый ряд протестантских толков. Главной целью народившегося тайного ордена было новое воссоединение христианства. (Надо отметить, что это не нашло одобрения у католических верхов. Уже в 1738 году папа Климент XII осудил масонство.) Современный итальянский историк культуры М.Маромарко пишет по этому поводу: «Масонство полагает себя вместилищем над-исторической и универсальной религиозности, основанной на чувстве единства жизни, на внутренней уверенности в существовании нрав-

ственного закона, на опыте одновременно мистическом и рациональном, связанном с переживанием «священной» стороны жизни, вторгающейся в обыденное существование»². Появление «новой секты» и ее стремительное распространение свидетельствовали о глубоком кризисе, охватившем европейское общество. «Вольные каменщики» провозгласили приоритет моральных ценностей перед ценностями государственных, воплощаемыми в абсолютизме. Член масонской ложи был свободен и от церкви и от монарха; в ее стенах все были равны: аристократ, торговец, крестьянин, ремесленник. Это была ячейка нарождающегося бессословного демократического общества³.

По распространенной в масонских кругах легенде первым российским «вольным каменщиком» был Петр I. Он был введен в масонство Магистром Великой Английской Ложи Кристофером Реном, за которым утвердилась слава основателя английской масонства. Факт мог иметь место во время так называемого Великого посольства в 1699 году. По возвращении в Россию Петр I создал первую русскую ложу, где он сам был Вторым стражем, Лефорт — Досточтимым Мастером, Гордон — Первым стражем⁴. Документального подтверждения этому преданию не находится. Единственно следует сказать, что память о Петре I свято чтилась в кругах масонов. На своих собраниях они часто распевали как один из масонских гимнов популярную в то время «Песнь Петру Великому» Державина. В их глазах деяния царя-преобразователя так же пересоздали Россию политически, как они мечтали пересоздать ее духовно.

Даже если Петр I и учредил в России первую ложу, то тем не менее история русского масонства до эпохи Екатерины II малоинтересна. Оно не выходило из узкого круга интересов дворянских верхов. Фактически масонство было одним из многочисленных проявлений моды на все европейское — точно таким же, каким было тогда и русское вольтерьянство, другими словами, поверхностным, даже карикатурным повторением чужого. Понятно, что подобное масонство не могло до середины 1770-х годов вообще иметь сколько-нибудь серьезного культурного значения.

Положение изменилось, когда масонство вышло из дворцов верховной знати и заявило о себе как духовная сила. Для этого были причины и политические, и философские. Правительство Екатерины II объявило широкую программу реформ, которая была изложена в знаменитом «Наказе». В Москву были созваны депутаты от губерний для выработки нового государственного уложения. Все это породило широкие чаяния. Мыслящий человек вздохнул свободнее и осмелился даже, пусть и несколько туманно, «говорить правду». Детищем общественного подъема стала знаменитая сатирическая журналистика, где впервые в полный голос заявил о себе Новиков. Свою лепту внесла и сама императрица. Однако скоро надежды на близкое наступление эры «просвещенной монархии» развеялись. Депутаты, прозаседав больше года, разъехались, ни о чем не договорившись. Попытки реформ вызвали пугачевщину; ожили исторические воспоминания о Смутном времени. Общество поняло, что мирное сосуществование привилегированных и угнетенных сословий — рискованная иллюзия. Стало очевидным, что в результате реформ страна не получит благоденствия — и даже больше: кое-что из того, что было достигнуто в предыдущее царствование и чем дорожили, будет потеряно навсегда.

При Елизавете Россия как никогда наслаждалась внутренним миром. Казалось, материальному процветанию просто не может быть

конца. Но он наступил и по крайней мере внешне был результатом самых добрых намерений новой императрицы и ее европейски мыслящего окружения. Образованные круги, разочаровавшись в возможностях реформирования, отошли от правительства и сделали попытку найти свой собственный путь. Они обрели его в масонстве.

Подытожить все сказанное лучше всего словами Н.А.Бердяева из книги «Русская идея»: «Масонство было у нас в XVIII в. единственным духовно-общественным движением, значение его было огромно... Лучшие русские люди были масонами... Масонство было первой свободной самоорганизацией общества в России, только оно и не было навязано сверху властью»⁶. Итак, масоны сознательно отвергли союз с правительством, тем самым дав ему понять, что, по их разумению, гармоничное общество должно состоять из свободно мыслящих личностей, а не из дышащих манекенов, затянутых в официальный мундир.

Русское общество переживало и идеологический кризис. Масонство явилось проявлением внецерковной религиозности. Оно, с одной стороны, было реакцией на широкое распространение европейской атеистической философии, а с другой — вызвано на свет тем, что церковь утратила свою роль главной духовной силы, покорно пойдя в услужение монархии. В среде масонов даже существовало мнение, что церковь — «отживающее учреждение». Религиозные искания просвещенных русских поневоле проходили мимо церковных врат. Среди масонов были подлинными праведники (например, С.И.Гамалея), которых смело можно поставить рядом с великими подвижниками XIV — XV веков; их нравственный подвиг ничуть не ниже.

В духовном плане масоны продолжили дело Петра I, ибо не только всячески искали связей с западными «братьями», но и жаждали научного знания. Сама задача борьбы с вольтерьянством, оперирующим данными позитивных наук, требовала овладения этими науками, с тем чтобы перетолковать их достижения в религиозно-нравственном смысле. Русские масоны были достойными детьми своего деятельного времени. Принадлежность к союзу «вольных каменщиков» приобщала к размышлениям о сокровенном смысле жизни. Легенды о храме Соломона и гибели мастера Хирама, символы, обряды — все это настраивало сознание на преемственность истории, пробуждало его к требованиям современности. Ритуальная игра, воскрешающая обряды тамплиеров, отвечала духу времени. Она вполне вписывалась «безумно и мудро» в пеструю картину столетия. В своей книге «Homo Ludens» Й.Хейзинга пишет: «На каждой странице истории культурной жизни XVIII века мы встречаемся с наивным духом честолюбивого соперничества, создания клубов и тайнственности, в страстном коллекционировании раритетов, гербариев, минералов и т.д., в склонности к тайным союзам, к разным кружкам и религиозным сектам, — и в подоплеке всего этого лежит игровое поведение... Именно увлеченность игрой и не умеряемая никаким сомнением самозабвенность делают их исключительно плодотворными для развития культуры»⁶. Масонские игры пронизывала серьезная мысль, ибо играющие искали воплощения своих идеалов в «сегодня». Результаты их трудов очень скоро стали явственными.

Историк русской философии В.В.Зеньковский справедливо отметил: «В русском масонстве формировались все основные черты будущей «передовой» интеллигенции — на первом месте здесь стоял примат морали и сознание долга служить обществу, вообще практический идеализм»⁷. Свою преемственность с масонами ощущали очень многие

из представителей этой передовой интеллигенции. В середине XIX века Герцен, публикуя в Лондоне записки виднейшего масона И.В.Лопухина, писал: «Откуда у Лопухина это единство, этот сознательный, верный себе шаг по дороге, однажды им избранной? Его странно видеть среди хаоса случайных, бесцельных существований его окружающих... Из пенящегося брожения столбовых атомов, тянущихся разными кривыми линиями и завитками к трону и власти, Лопухин был выхвачен своей встречей с Новиковым, своим вступлением в мартинисты... Между мартинистами были человеческая связь, опора, круговая порука, обмен сил, и, как бы они мистически ни понимали и какими бы иероглифами ни заменяли ее, они стояли гораздо выше шаткой и бесцельной толпы... У них было сознание совокупного труда. Член союза, член тайного общества чувствует себя не одиноким сиротой, а живой частью живого организма. И вот откуда нравственная сила Лопухина». По-своему и масоны, и Герцен утверждали свободу человеческого духа и право на вечные поиски.

Центральной фигурой российского масонства становится Н.И. Новиков. Он начал свою деятельность энергичным сторонником нового правительственного курса. Как было положено в то время дворянину, в юности он тянул солдатскую лямку. Но грянули перемены. В числе прочих гвардейцев Новиков был командирован в екатерининскую Комиссию депутатов для работы «по письменной части». Обязанности его были достаточно широкими. На его ответственности находились журналы заседаний отделения «о среднем роде людей»; он также вел журнал общих собраний депутатов и зачитывал его на докладах императрице. Уже с этого времени он стал лично известен Екатерине II.

После роспуска Комиссии Новиков показал себя даровитым и смелым журналистом, издателем сатирических журналов «Трутень», «Живописец», «Кошелек» (1771 — 1774). Надо отметить, что Екатерина II помещала в «Живописце» свои статьи. Но все перечисленное только этапы становления личности Новикова, подготовка к осуществлению его подлинной жизненной задачи. Новикова нельзя назвать выдающимся писателем; его чтят, переиздают, но не читают. По-настоящему он обрел себя, став масоном.

Новиков был посвящен в 1775 году в ложе «Астрея»; но в следующем году он переезжает из Петербурга в Москву, выходит из «Астреи» и образует новую ложу — «Гармония». В эту ложу входили многие авторитетные масоны: поэт М.М.Херасков, архитектор В.И.Баженов, один из «тузов первопрестольной» П.А.Татищев, правитель канцелярии московского генерал-губернатора С.И.Гамалея, даровитые молодые дворяне: И.П.Тургенев (отец знаменитых «братьев Тургеневых»), А.М.Жутов, И.В.Лопухин. Начиная с 1778 года Новиков издает журнал «Утренний свет», ставший органом новорожденного «братства».

В «Преуведомлении» издателя изложена позиция журнала. Новиков провозглашает: «Душа и дух да будут единственными предметами нашими». В фокусе его внимания «величие человеческой личности, ее преизящество и благородство», ибо «в природе человеческой находится много такого, что внушает в нас истинное к нему почитание и искреннюю любовь». Даже ангелы небесные полны удивления, лицезрея божественные свойства человека — его многочисленные таланты, цепкую память, всеобъемлющий ум. Но сам человек пренебрегает своими дарованиями. Он — раб плоти и слишком погружен в сиюминутное. Ему должно обрести самого себя и только тогда он достигнет подлин-

ного счастья. Главную жизненную задачу Новиков видит в «искании света», «нравственном совершенствовании». Другой путь к счастью — «подражание Христу», деятельная любовь к людям. Все это резко отделяло «Гармонию» от прежних масонских лож, от членов которых требовалось не столько «следование по пути добродетели», сколько «познание и передача потомству некоего важного таинства»; другими словами, труды братьев ограничивались лишь соблюдением обрядности и толкованием масонских символов.

Жизненная задача Новикова — выработка целостного мировоззрения. Ясно видя пороки современного общества, Новиков понимал, что правительственные «реформы сверху» не исправят их. Необходим был новый путь — и таким мог быть только путь «нравственного совершенствования». Именно этой идее была суждена великая миссия в русской культурной традиции.

«Искание света» Новиков понимал как «просвещение». Собственный опыт сатирического журналиста скоро разочаровал его. Публика охотно читала и «Труть», и «Кошелек», но мало кто серьезно думал об улучшении нравов. Кроме того, сама возможность журналистской работы зависела от расположения властей, которым ничего не стоило в одночасье прекратить ее. Новиков пришел к выводу, что более независимый и верный инструмент просвещения — книга.

Крупнейший современный знаток той эпохи Ю.М.Лотман пишет: «Новиков соединял в себе практика и мечтателя. Любое дело горело в его руках. Он умел и любил заниматься практическим организаторством, создавая типографии и журналы, научные общества и аптеки. Практическая хватка его была исключительной. Он мог, начав с копейки, взятой в долг, в короткий срок организовать дело, оборот которого исчислялся сотнями тысяч. Однако вся эта кипучая практическая деятельность имела для него смысл лишь потому, что с ее помощью он надеялся превратить Россию в прекрасное царство просвещения и братства»⁹.

Масонство дало Новикову не только целостное мировоззрение, но и обширные связи, столь необходимые для предпринимательской деятельности. Он использовал их прежде всего для распространения своих изданий. В то время замыслы Новикова казались обреченными на провал. Первоначальный капитал (около 20 тысяч рублей) он добыл, продав отцовское наследственное имение в Мещовском уезде. Всего один шанс против ста был за то, что он в самое близкое время не обанкротится и не впадет в нищету. Но случилось чудо: «безнадежное предприятие» приносило доход, во много раз превышающий сделанные затраты.

Ключевский разъясняет программу энергичного «ревнителя просвещения»: «Арендуя у Московского университета типографию и книжную лавку, Новиков имел в виду прежде всего потребности домашнего и школьного образования. Он старался, во-первых, составить достаточно обильный и легкодоступный запас полезного и занимательного чтения для обширного круга читателей, во-вторых, войти в общение с университетом, чтобы воспользоваться его силами и средствами для приготовления надежных учителей. Расстроенную университетскую типографию он вскоре привел в образцовый порядок и менее чем в 3 года напечатал в ней больше книг, чем сколько вышло из нее за 24 года ее существования до поступления в руки Новикова. Он издавал книги довольно разнообразного содержания, особенно заботясь о печат-

тании книг духовно-нравственных и учебных; в числе 366 книг, отпечатанных им до конца 1785 года, менее чем в 7 лет аренды, насчитываем около сотни изданий первого рода и более 30 учебников, разноязычных букварей, словарей, грамматик и т.п.»¹⁰.

К книгам «духовно-нравственным» относятся в первую очередь творения Отцов церкви (Василия Великого, Иоанна Златоуста, Августина Блаженного, Фомы Кемпийского), но сюда же можно причислить «Потерянный рай» Мильтона, «Мессиаду» Клопштока, «Путь паломника» Беньяна (изданный под характерным названием «Любопытное и достопамятное путешествие христианина и христианки к блаженной вечности»). Среди других авторов подобной литературы обращают на себя внимание имена Эразма Роттердамского и Гуго Гроция. Интересно отметить, что при всей нелюбви к современной французской философии Новиков выпустил несколько книг Вольтера, Монтескье и Руссо. Правда, у Вольтера он выбрал исключительно те писания, где «фернейский отшельник» воюет против иезуитов и вообще католических церковников. Особо следует остановиться на таком замечательном издании, как «Древняя Российская Вифлиофика». Она была первоначально выпущена в 1773—1775 годах и повторена с дополнениями в 1788—1791 годах. Впервые дошли до типографского станка произведения древнерусской литературы. Новиков писал в предисловии: «Полезно знать нравы, обычаи и обряды древних чужеземных народов; но гораздо полезнее иметь сведения о своих предках; похвально любить и отдавать справедливость достоинствам иностранных, но стыдно презирать своих соотечественников, а еще паче и гнушаться оными». Знаменитые «Деяния Петра Великого» историка И.И. Голикова также увидели свет благодаря неутомимому ревнителю российского просвещения. Этот старинный фолиант до настоящего времени остается главным источником для изучения жизни и трудов царя-реформатора. Но, конечно, требования коммерции заставили Новикова издавать книги и другого плана, а именно — «занимательное чтение». Он опять продемонстрировал незаурядный вкус и подлинное чутье, из обширного моря беллетристики извлекая только то, что приобщило бы читателя к «высокому и вечному» — комедии Мольера, трагедии Корнеля и Расина, романы Стерна и Ричардсона. Не оставлял Новиков вниманием и «первоначальный возраст», подарив русским детям сборники сказок и «Робинзона Крузо» Дефо.

Деятельность Новикова — одна из блестящих страниц в истории российского предпринимательства. Он был великим мастером «делать деньги». Его предприятие работало для того времени идеально. В.Ключевский поясняет: «Новиков превосходно устроил сбыт книг, завел комиссионеров, вступил в сношение с петербургскими книгопродавцами и вообще чрезвычайно оживил книжную торговлю в России. Случилось неслыханное дело: книжная лавка Новикова у Воскресенских ворот по спросу ее товара стала соперничать с модными магазинами Кузнецкого моста. Вместо двух существовавших в Москве книжных лавок с оборотом в 10 тысяч рублей при Новикове и под его влиянием явилось их здесь до 20, и книг продавали они ежегодно тысяч на 200 рублей»¹¹.

По мнению современников, Новиков создал в России читателя; благодаря широкому размаху дела новиковская книга проникла во все слои общества на всем пространстве империи; ее можно было найти и в Малороссии, и в западных прибалтийских губерниях, и в цен-

тре России, и в самых отдаленных медвежьих углах Сибири. Велико было и обаяние личности Новикова. Он умел быстро разглядеть человека и сразу же направить его «к лучшему». Вот примеры: однажды на постоялом дворе Новиков разговорился с молодым купцом из Коломны. Он нашел в нем недюжинные способности и горячую жажду образования. Новиков стал снабжать его книгами; тот их буквально проглатывал. Купец быстро богател; он купил неподалеку от Авдотьины два имения, где Новиков часто гостил. Его даже попросили быть крестным отцом первенца хозяина. Крестник Новикова — будущий знаменитый исторический романист И.И. Лажечников. Однажды Новиков получил письмо из глухой уфимской губернии от провинциальной барышни; в авторе письма он разглядел светлый ум и благородную душу. Завязалась переписка, в Уфу потекли посылки с книгами. Это была мать С.Т.Аксакова. На первых страницах «Семейной хроники» писатель вспоминает с благодарностью о переписке своей родственницы с Новиковым.

Своих союзников Новиков искал не только в масонской среде; он стремился привлечь к своему делу вообще просвещенных людей. Знаменитый агроном и садовод Болотов был приглашен им для редактирования научного журнала «Экономический Магазин» (выходил с 1780 года). Он быстро разглядел выдающееся дарование Карамзина и верил ему журнал «Детское чтение для сердца и разума». Этот журнал, как свидетельствует С.Т.Аксаков в «Детских годах Багрова-внука», почти полвека услаждал российский детвору. Для дела Новиков денег не жалел. Он одновременно поручал одну и ту же работу нескольким переводчикам, щедро платил им, но публиковал только лучший перевод. Свои книги он бесплатно рассылал по семинариям и академиям.

Новиков и ближайшие к нему масоны образовали «Дружеское учное общество». Это «Общество» получило официальный статус в октябре 1782 года, но фактически было создано еще в 1779 году. Средства были собраны среди братьев ложи «Гармония». Основным жертвователем был богач П.Татищев, увлеченный горячей проповедью Новикова. Опять-таки мысль о подобном союзе просвещенных людей сначала казалась пустым мечтанием. Современникам нравились такие планы, но они относили их реализацию к далекому будущему, когда будет построена идеальная республика, о которой проповедовал Платон. Но вновь скептики были посрамлены. Уже к 1784 году «Дружеское учное общество» выросло в миллионное предприятие. Оно ставило своей задачей покровительство наукам; ради этой цели его члены завязали переписку с европейскими знаменитостями. На средства «Общества» при Московском университете были открыты Учительская и Переводческая (Филологическая) семинарии; все студенты получали стипендии.

По неполным подсчетам — более трети образованных русских были масонами. Многие представители интеллектуальной элиты того времени деятельно трудились в ложах, «обтесывая свой камень». Их главной целью было общественное служение. Характерна фигура другого выдающегося просветителя-масона, И.Г. Шварца — экстраординарного профессора Московского университета по кафедре «философии и беллетров».

Имя Шварца забыто несправедливо. О нем слышали разве что те, кто интересуется историей масонства. Этому способствовала и кратковременность его деятельности, и то, что собственных трудов он не оставил. Личность Шварца быстро превратилась в «благородное пре-

дание». Он появился в Москве в 1779 году, но еще раньше поддерживал связи с московскими масонами, имевшими возможность оценить его широкие познания и таланты.

Шварц открывает список русских ученых — профессоров Московского университета, прославившихся не только на научной, но и на общественной стезе. Его ближайшими последователями были А.Ф. Мерзляков, Т.Н. Грановский, С.П. Шевырев. После Новикова он бесспорно был самой деятельной личностью среди членов «Дружеского ученого общества», на создание которого положил немало трудов. Ему принадлежит как сама мысль о воплощении «Платоновой идеи», так и первоначальные проекты Учительской и Переводческой семинарий.

Расцвет деятельности Шварца приходится на 1782 год (а умер он скоропостижно 17 февраля 1784 года в подмосковной князя Н.И.Трубецкого Очакове, где и похоронен). В этом году он прочел в Московском университете курс «Эстетической критики». Вынуженный покинуть его стены из-за интриг одного из кураторов Мелиссино (также масона, но усмотревшего в Шварце опасного еретика и опасавшегося его возрастающего влияния), он перенес занятия к себе на дом и прочел еще два курса: «О трех познаниях» и «Философской истории» — уже для более узкой и более духовно близкой аудитории. Получив свободу, Шварц с тем большей энергией отдался «общественному служению» и стал в культурной Москве значительнейшей фигурой, затмив на время даже Новикова.

С университетской кафедры в курсе «Эстетической критики» Шварц излагает теории древних (Аристотель, Цицерон, Горацій, Квинтиллиан) и новейших (Буало, Баумгартен) философов и поэтов, приобщал слушателей к сокровищам мировой культуры. Свои лекции он иллюстрировал многочисленными примерами из европейской литературы, одновременно сравнивая создания поэзии с живописью, скульптурой, архитектурой. Он выделял специфику и выразительные средства всех этих искусств. Конкретный анализ он сопровождал общими рассуждениями о границах познания, о возможностях человеческого разума. Один из его слушателей вспоминает, что Шварц «показал нам отношение чудес одной науки к другой, вперил в нас то под иероглифами, то на яснейших своих опытах, сколь удивительна связь материи и духовности, какой нерушимый узел между Богом и человеком и какие мы и вся природа имеем пределы и ограничения»¹².

Курсы, прочитанные Шварцем на дому, посвящены более отвлеченной проблематике. В курсе «О трех познаниях — любопытном, приятном и полезном» ставится проблема научного, художественного и религиозного познания. Лектор утверждал: «Любопытным познанием названо такое, которое питает наш разум, но не есть необходимо для пользы вечной, будущей жизни или спокойствия духа. Любопытное познание заставляет нас познавать, например, отчего гром? что такое воздух? каким образом земля производит растения? и пр. сему подобное. Познание приятное есть живопись, стихотворство, музыка и тому подобное. Оно удовлетворяет наш слух, наше зрение и воображением питает наш разум. Познание полезное есть необходимое для человека. Оно научает нас истинной любви, молитве и стремлению духа к высшим понятиям»¹³. Следовательно, и любопытное и приятное познания должны быть подчинены полезному. Именно поэтому «нужно, кажется, молодых людей упражнять в словесных науках, в музыке, в живописи и занимать их гармониею природы, которая, кра-

сотами своими привлекая чувства человеческие, делает их нежнейшими и удобнейшими к чистой любви и, приводя в приятное восхищение, заставляет примечать действие природы, приводит их в удивление порядку оной, возвышает их мысли до источника природы и, наконец, воспламеняет в них чистую любовь к Богу». Как Новиков своей просветительской деятельностью, так и Шварц своими философскими и мистическими исканиями впервые в России закладывали основы духовного облика русской интеллигенции. Шварц учил не только погружаться в таинства науки, но и «жить по правилам благонравия». Наука питает могущество разума, а воспитание согласно учению Христа — основа духовности человека, выделяющее его среди прочих творений Божьих.

Особняком от круга Новикова стоит историк М.М. Щербатов. Он первым позволил себе критически взглянуть на реформы Петра I. Его главное произведение носит характерное название «О повреждении нравов в России». Признавая, что царь-преобразователь дал могучий импульс ремеслам, торговле, наукам, искусствам, благодаря чему Россия «приобрела знаемость в Европе и вес в делах», Щербатов пишет, что он одновременно породил раболепство при дворе, «презрение истины» в обществе. Екатерина II даровала Щербатову титул историографа из уважения к ученым заслугам, но никогда не любила его за злой язык и за то, что он, говоря словами Державина, «в правде черт». Щербатов ей отплатил той же монетой, посвятив императрице несколько суровых страниц в своей книге, где говорит, что она действует «по новейшей философии», а не «на твердом камне закона Божьего». Последние годы едкий старик провел в своей подмосковной Васькине, куда часто наезжал его внук П.Я. Чаадаев, впитавший и развивший идеи своего деда.

Другой столь же необычной фигурой в масонской среде был великий вольнодумец — писатель А.Н. Радищев. Он был посвящен в ложе «Урания» в 1773 году, но в дальнейшем только время от времени поддерживал отношения с «вольными каменщиками». Однако следует вспомнить, что первыми словами Екатерины II при знакомстве с «Путешествием из Петербурга в Москву» были: «Автор — мартирист» (см. «Записки» секретаря императрицы Храповицкого). Литератор ближайшей эпохи к Радищеву — Пушкин открыто пишет, что эта книга вышла из среды масонов (статья «Александр Радищев»).

В новиковском журнале «Беседующий гражданин» Радищев поместил одно из центральных своих произведений — «Беседу о том, что есть сын Отечества». Статья без подписи; авторство Радищева установлено П. Щеголевым. Это своеобразный манифест нарождающегося гражданского сознания. Писатель выступает против официальной идеологии, рупором которой была книга «О должностях человека и гражданина», изданная по повелению Екатерины II. Правительство стремилось обуздать общественную активность и направить человека, желающего принести пользу Отечеству, на стезю, предусмотренную таблицей о рангах. До указа «О вольности дворянства» каждый дворянин обязан был служить. Радищев возражает, что подчас гораздо больше пользы можно принести, исполняя свой гражданский долг, не будучи чиновником или военным. Подобным свободным деятелем был Новиков — и это было в то время неслыханной вольностью, что в скором будущем императрица ему припомнила.

Смелое «Путешествие из Петербурга в Москву» посвящено Алексею Михайловичу Кутузову — одному из ближайших друзей Новикова, ма-

сону в ложе «Гармония». Кутузов был подлинным «сыном Отечества» в радищевском смысле. Он пожертвовал всем своим небольшим состоянием, когда встал вопрос о складчине на создание «Дружеского ученого общества». Кутузов был дружен с Радищевым с ранних лет. Вместе они были пажамы при Екатерине II, затем посланы учиться в Лейпцигский университет, где жили в одной комнате. Дружба продолжалась и после возвращения на родину; по воспоминаниям Кутузова, они прожили бок о бок 14 лет, пока судьба их не развела. Образованнейший человек своего времени, Кутузов был одним из основных сотрудников Новикова как переводчик и редактор. Современники рисуют его человеком одной идеи, готовым на беззаветное служение ей. Он помнился всегда серьезным, молчаливым, самоуглубленным. Главным в жизни Кутузов полагал деятельный труд на пользу человечества; характерно, что всякого рода отшельников, удалявшихся в пустыню ради спасения души и молитвы, он называл просто лентяями.

На первой странице своей книги Радищев обращается к «любезному другу»: «Я взглянул окрест себя — душа моя страданиями человеческими уязвлена стала. Обратил взоры во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто оттого только, что взирает непрямо на окружающие предметы... «Отыми завесу с очей природного чувствования — и блажен буду». Сей глас природы раздавался громко в сложении моем. Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и — веселие неизреченное! — я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть в благоденствии себе подобных. Се мысль, побудившая меня начертать, что читать будешь». Радищевское credo совпадает с программой нравственного совершенствования Новикова, его поисками истины внутри души человека. Но писатель, едва обсохли чернила, поспешил обнародовать свою книгу, прекрасно понимая, какими последствиями это грозит. Свои дерзновенные мысли он рассматривал как акт общественного служения. Однако даже в среде московских «братьев» Радищев не нашел понимания, о чем свидетельствует их переписка; они осудили его поступок как «не масонский».

Удивительное долголетие творения Радищева невозможно понять, если не услышать в этой книге первое по-настоящему свободное слово, произнесенное в России. Действительно, недостатки бьют в глаза; уже декабристам, воспитанным на «легкой» карамзинской прозе, «Путешествие...» казалось чересчур архаичной и темной по стилю книгой. Но из груди русского человека наконец-то вырвался горький стон боли за свое Отечество. С Радищева начинается то в российской интеллигенции, что олицетворяет больную совесть нации. В этой книге уже есть все, что отличает сознание интеллигенции: и критическое восприятие властей, и чувство отрыва от народа. Историк Н.Эйдельман определяет пафос «Путешествия из Петербурга в Москву» словом *стыд*. Этот стыд унаследовала великая русская литература. Вот почему книга Радищева еще долго не будет застывшим в своем безжизненном величии «литературном памятником».

Высокий моральный облик масонов из окружения Новикова поражал как современников, так и потомков. В этом один из секретов их влияния, перед которым мало кто мог устоять. О Гамалее Ключевский писал: «Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века,

мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалее подобает житие, а не биография или характеристика»¹⁴. Не только маститый историк, но и писатель А.Ф.Писемский (он завершил свой творческий путь романом «Масоны», повествующим о последних мегиканах этого движения в российской провинции 1830-х годов) отмечал связь «вольных каменщиков» с традициями русской святости. Он писал французскому литератору В.Дерели (переводчику его произведений): «Наши собственные масоны... с вашими... рознились. И вот, сколько я мог извлечь из чтения разных переписок между масонами, посланий ихних, речей, то разница эта состояла в том, что к масонскому мистическому учению... они присоединяли еще учения и правила наших аскетов, основателей нашего пустынножителства, и зато менее вдавались в мистическую сторону»¹⁵. Основными чертами русской святости религиозный мыслитель Г.П. Федотов считал «пост и труд», понимая под «постом» умеренность жизни; он особо акцентирует внимание на том, что наши подвижники никогда не чуждались «книжной премудрости», а некоторые (Авраамий Смоленский, Нил Сорский) достигали вершин учености¹⁶. Особо следует указать на Андрея Рублева — не только великого праведника, но и великого художника. Российские масоны вписываются в отечественную духовную традицию; уже поэтому они не были простыми аналогами европейских «братьев».

Нет ничего удивительного в том, что в масонских ложах было большое число художественно мыслящих личностей: архитекторов, художников, поэтов. Идея строительства внутреннего храма, искание Божественного света — все это оказывало могущественное влияние на творческие умы. Такой человек оказывался в положении учителя жизни; он указывал прочим — увлеченным его примером — путь следования по стезе добродетели. Сам «ученик», он в ипостаси «посвященного» становится наставником профанов.

Начнем с литераторов. В XVIII веке их — людей, профессионально занимающихся литературой, — было мало. Так, в Петербурге — крупнейшем городе империи — их насчитывалось всего около 80 человек; в Москве еще меньше. В провинции же никаких литераторов быть не могло. Масонами были поэты Сумароков, Херасков, Майков, упомянутый историк Щербатов. Надо отметить, что достаточно найдется и противоположных примеров; Ломоносов — рационалистически мыслящий ученый и поэт — резко отрицательно относился к масонству. Державин в похвалу Фелице ставил то, что

«К духам в собрание не въезжаешь,
Не ходишь с трона на Восток».

Главным поэтическим жанром XVIII века была ода. С течением времени ее реквизит значительно обветшал, и ныне под одой имеется в виду только торжественное стихотворение, приуроченное к какому-нибудь заметному событию или обращенное к одному из сильных мира сего. Но в эпоху классицизма поэты создавали оды и лирические, и сатирические, и духовные; другими словами, этот жанр был исключительно многообразен. Оды духовные представляли собой либо стихотворные переложения библейских текстов (в основном псалмов царя Давида), либо собственно авторские рассуждения на их тему. Понятно, что этот жанр предоставлял поэту большие возможности для того,

чтобы ставить и разрешать различные этические проблемы, оказавшиеся в центре его духовных исканий.

Первым русским выдающимся поэтом-масоном был Сумароков. Его жизненное credo — следование по пути добродетели. Сумароковское морализаторство сухо и напыщенно — и это тем более бросается в глаза, что сам поэт далеко не всегда придерживался собственных предписаний; тщеславие и вспыльчивость Сумарокова были общеизвестны. Тем не менее нельзя усомниться в искренности его нравственных убеждений.

«Все в пустом лишь только цвете,
Что ни видим — суета.
Добродетель, ты на свете
Нам едина красота!

.....
К вечности нас всех дорога.
Помни ты себя и Бога,
Гласу истины внемли:
Дух не будет вечно в теле.
Возвратимся мы отселе
Скоро в недра мы земли».

(Ода о добродетели, 1759)

Поэт полон ощущения бренности жизни; он никогда не забывает, что любая минута может быть последней. Но смерть он воспринимает прежде всего как приобщение к Богу; телесный распад влечет за собой духовное освобождение.

«Я тленный свой состав расстроенный днесь рушу.
Земля, устроив плоть, отъемлет плоть мою.
А от небес прияв во тленно тело душу,
Я душу небесам обратно отдаю».

Земное бытие, посвященное подготовке к смерти как к «верховному часу», дает человеку возможность постигнуть «Божественные тайны»; но они откроются только избранным, только тем, которые всю жизнь «искали истину». Для масона «искание истины» есть «искание света». «Истина» же и «Добродетель» — всего лишь разные названия одного и того же. «Ищущий истину» неизменно поднимается по ступеням Добродетели. Таковы основные мотивы «духовных од» Сумарокова. У него можно встретить и прямую масонскую декларацию:

«Кто хулит франмасонов
За тайный их устав,
Что те не чтут законов,
Своих держатся прав:
Когда бы ты спросился
Как верен франмасон.
В котором он родился,
Тот держит он закон...
... Любить людей как должно
И бедным помогать,
И сколько, где возможно,
Беды им отвращать.
Словом тебе сказать,

Он честный человек,
А тайну их спознати,
Нельзя тебе во век».

Но все-таки Сумароков был прежде всего драматургом и именно на этом поприще внес заметный вклад в русскую литературу. Собственно лирическая поэзия была для него второстепенным занятием; она заметно проигрывает не только рядом с творениями Ломоносова, но и гораздо менее даровитых стихотворцев. В «масонском контексте» внимание привлекают прежде всего В.И.Майков и М.М. Херасков.

Не каждый любитель поэзии вспомнит, что помимо Аполлона Майкова — поэта уважаемого и, главное, читаемого — был еще Василий Майков, его предок, основательно забытый уже в пушкинскую пору. Между тем, в свое время он занимал почетное место на поэтическом Олимпе. Сближение В.И.Майкова с масонами произошло на закате его жизни и творчества. Поэт в 1776 году переехал в Москву и сразу же окунулся в атмосферу эзотерических поисков. Интересно отметить, что именно он ввел в московские масонские круги Шварца, приехавшего из Могилева. Тогда же состоялось знакомство Майкова с Новиковым. Нет никаких сомнений, что если бы не преждевременная смерть (17 июня 1778 года), он бы принял самое активное участие в издательских и филантропических предприятиях Новикова. Масонский пафос Майкова был чрезвычайно сильным и на время он стал поэтическим рупором сообщества. Его стихотворения этого времени явились украшением новиковского журнала «Утренний свет». Поэт обращается к тем,

«... которых озаряет
Премудрости троякий луч,
Которых разум презирает
Грозу невежства мрачных туч!»

Подлинное счастье доступно только следующим по пути познания и добродетели.

«Тот своим великим духом
Счастье сам в себе родит,
Кто себя не беспокоит,
В сердце храм тот счастьем строит,
Счастье в нем свой зиждет трон».

Ищущие добродетели — «чада утреннего света»; у отвергающих этот путь «мглою ум покрыт». Лицемерие света доступно лишь постоянно совершенствующим свой ум. Но путь познания суров. Мудрец сталкивается и с непониманием, и с недоброжелательством, и с жестокостью; награду же за подвижничество на земле он найдет только в собственной душе. Однако Всевышний не оставит его. В оде «Страшный суд» Бог воздаст сполна «ищущим истинного света» за их праведность. Он вводит их в рай.

«Я вас, о чада, там спокою
Среди обителей святых;
Моих вас таин удостою,
Отдам вам часть судеб Моих!
Познаете состав вы свой,
Познаете состав вы света
И в нескончаемые лета

Довольны будете собой.
Се вам за подвиги награда,
Се мзда за тяжкие труды.
Среди небесна вертограда
Забудьте все свои беды!»

Крупнейший поэт-масон своего времени Херасков был прежде всего мастером крупных форм, пожалуй, единственным в XVIII веке автором поэм-эпопей, получивших широкое признание. Таковой в первую очередь явилась «Россиада», провозглашенная при своем появлении чуть ли не национальной героической поэмой. В масонских же кругах снискало глубочайший пиетет другое творение Хераскова — обширная поэма «Владимир», над которой он трудился до последних лет жизни. Поэма посвящена киевскому князю Владимиру — «крестителю Руси», но это не просто жизнеописание, даже не красноречивый рассказ о трудах и подвигах доблестного воителя и законодателя. Сам автор советует «читать оную... как странствование внимательного человека путем истины, на котором сретается он с мирскими соблазнами, подвергается многим искушениям, впадает во мраки сомнения, борется со врожденными страстями своими, наконец преодолевает сам себя, находит стезю правды и, достигнув просвещения, возрождается»¹⁷. Таким образом, жизненный путь князя Владимира оказывается масонской стезей духовных поисков и нравственного совершенствования.

В одах и переложениях псалмов Херасков повторяет основные мотивы масонской поэзии; он поэт-проповедник, призывающий читателей быть умеренными в своих жизненных требованиях и неуклонно придерживаться предписаний добродетели. Поиски истины не означают погружения в труды земных мудрецов. Только постоянные размышления о «Божественной сути» приведут к «истинному знанию». Поэт отдает предпочтение разуму перед чувствами; любовная лирика ему чужда. Вообще произведения Хераскова слишком сухи и дидактичны, что и оказалось главной причиной их недолговечности.

Херасков во многом вторит своему собрату В.И.Майкову. Достаточно прислушаться к призыву Хераскова «всем чтущим Добродетель»:

«Сединой старцы умащенны!
Когда вы правым шли путем,
Не молнией сует прельщенны,
Но Добродетели лучом:
С такою на челе печатью
Во храм, отверстый благодатью,
Не сомневайтесь войти.
Как лозы, юноши, цветите,
Но Добродетель сердцем чтите,
Да краше будете цвести».

Любопытно выражение «молния сует». Оно объясняется одной из деталей посвящения в масоны. «Ищущий истинного света» вводится в храм с завязанными глазами. Неожиданно с него срывают повязку и тут же гасят свечи; он как бы видит мелькнувшую молнию. Досточтимый Мастер провозглашает: «Так проходит суета мира».

Наиболее популярным и пережившим своего творца из лирических произведений Хераскова был псалом «Коль славен» (переложение псалма 64). Ему была уготовлена счастливая судьба. Положенный на музыку Бортнянским, он исполнялся курантами Спасской башни

Московского Кремля и Петропавловского собора в Петербурге. После февральской революции Временное правительство даже рассматривало вопрос о принятии его в качестве гимна России. Но следует подчеркнуть, что текст Хераскова далек от своего библейского первоисточника. Это явно масонский гимн, предназначенный для хорового пения. Он в самом деле был таковым; его пели в ложах при закрытии заседаний, чему есть и документальные свидетельства. Главная мысль выражена в заключительной строфе:

«О Боже! Во Твое селенье
Да взьдут наши голоса!
И наше взьдет умиление
К Тебе как утрення роса!
Тебе в сердцах алтарь поставим:
Тебя, Господь, поем и славим».

Однако путь в Божественные «селенья» открыт только «ищущим истинного знания» и ведущим высоко нравственную жизнь.

«Во Храм Твой дивный и священный
Не может ум непросвещенный,
Не может грешник досягнуть.
Для тех судьба Сиона трубит,
Кто истину, кто ближних любит
И за Тобой дерзает в путь».

Масонское мироощущение охватывало значительно более широкие круги, чем это отражено в списках лож. Печать масонства явственна и на духовной поэзии российских бардов, никогда не принадлежавших к «братству». Ода Державина «Бог» — яркое свидетельство сказанному. Сам Державин никогда масоном не был, несмотря на то, что таковыми были очень многие из обширного круга его знакомых. Возможно, что по зрелом размышлении знаменитый поэт предпочел близость к императрице и административную карьеру духовной работе в ложах. Его свойственник, архитектор и поэт Львов, даже писал едкие пародии на масонские гимны. Но совершенно в духе «вольных каменщиков» Державин провозглашает, что Бог — «свет, откуда свет истек». К Творцу он обращается со словами, которым пристало бы вылиться из-под пера Хераскова:

«Светил возжженных миллионы
В неизмеримости текут,
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют.
Но огненны сии лампы,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры
Перед Тобой — как ночь пред днем».

Но, в отличие от Хераскова, Державин ни словом не обмолвился о том, что путь к «Божественному свету» открывается только избранным.

Еще в 1920 годы маститые исследователи Н.К. Пиксанов и П.Н. Сакулин писали применительно к XVIII веку о масонском направлении, о характерном масонском стиле в русской литературе. Правда, делалась и существенная оговорка, ибо «масонскую литературу трудно обособить от других литературных направлений и группировок как в идейном, так и жанровом или вообще стилевом отношении»¹⁸. Тем не менее можно сказать, что если в целом для русской литературы той эпохи характерен высокий гражданственный и исторический накал, связанный с выдающимися достижениями Российской империи в области европейской политики, то в литературной продукции масонов преобладает индивидуализм и этически-религиозная проблематика. Основные мотивы масонской поэзии: пренебрежение мирской суетой, обличение пороков, самопознание, самосовершенствование, размышление о сущности Божественного. Все это придает музе «вольных каменщиков» «лица необщее выраженье». В своем анализе масонской поэзии Сакулин отмечает: «Эйдология, может быть, и не богата оригинальными образами, но все же содержит ряд чисто масонских, нередко символических образов (например, образ человека, ищущего истину, — странника, слепца, как в физическом, так и в духовном смысле; образ ночи и рассвета, тьмы и света и т.п.)»¹⁹. В какой-то мере эти образы и мотивы были унаследованы последующими поэтическими поколениями.

Классицизм как литературное направление объединил и поэтов-масонов (Майков и Херасков), и одическую традицию Ломоносова и Державина. Здесь действительно трудно говорить об обособлении «масонского» стиля. Глава нового литературного направления Карамзин гораздо яснее выразил эстетические концепции российских «вольных каменщиков». Справедливы слова Ю.М. Лотмана: «Если в общественной сфере масонские идеи раскрывались как утопические и филантропические, то в поэзии они характеризовались отрицательным отношением к рационалистическому искусству классицизма, вниманием к европейскому предромантическому движению»²⁰. Ни Корнель, ни Расин (вообще французская литература) не интересовали масонов; они противопоставляли им Шекспира, Мильтона, Клопштока. «Потерянный рай» и «Мессиаду» они глубоко почитали, видя в этих поэмах великие религиозно-нравственные аллегории. Другим кардинальным требованием (помимо чистоты моральной идеи), предъявляемым масонами к поэзии, был психологизм. Не стоит доказывать, что познание самого себя действительно есть первый шаг к самосовершенствованию. Кажется, что Карамзин, как никто другой, должен был соответствовать масонскому идеалу поэта. Однако он никогда не мог примириться с их диктатом, требовавшим подчинить чисто художественные задачи морализаторству. Только молодой Карамзин, едва сделавший в литературе первые шаги, безоговорочно следовал постулатам «вольных каменщиков».

Карамзин прошел в кругу Новикова школу духовного возмужания. Он был введен туда видным масоном, суровым ригористом И.П. Тургеневым. Приехав из Симбирска в Москву, Карамзин несколько лет жил в своеобразном масонском общежитии (вместе с Гамалеей и Кутузовым) в Кривоколенном переулке, в доме, купленном на «братские деньги». Новиков быстро разглядел таланты юноши и вручил ему редактирование журнала «Детское чтение для сердца и разума». Он даровал молодому литератору полную свободу, всецело веря в него. На-

чинающий автор писал стихи, делал переводы для своего журнала. Его дебютом в печати стал перевод «Юлия Цезаря» Шекспира; затем последовала «Эмилия Галотти» Лессинга. Мысль о необходимости реформы русского языка возникла у Карамзина тоже под влиянием масонских споров, которые пестрели научными терминами, аналогов которым на русском языке не было. Это ставило еще один барьер на пути просвещения. Карамзин упорно работает над разгадкой «языковых тайн», учится, читает, размышляет. Под свежим впечатлением таких начинаний Новикова, как «Древняя Российская Вифлиофика», просыпается интерес к истории.

Подобно Новикову, сознательно отказавшемуся от службы ради трудов на благо просвещения, Карамзин первым из русских писателей стал профессионалом. Они оба были «неслужащими дворянами», что было в тех условиях смелым шагом. Это — главное, по мнению Лотмана, что Карамзин вынес из ордена «вольных каменщиков»; таков был его собственный путь нравственного совершенствования. Своих воззрений он не изменил до последнего дня. Именно в недрах российского масонства зародился бунт личности против деспотии государства.

В речи, произнесенной при вступлении в Российскую академию (5 декабря 1818 года), Карамзин сказал: «Жизнь наша и жизнь империй должны содействовать раскрытию великих способностей души человеческой; здесь все для души, все для ума и чувства; все бессмертно в их успехах!»²¹.

Мастер жизненного компромисса, Карамзин придал своему отходу от масонства вполне приличную форму: он попросту отправился в длительное путешествие по Европе (причем, по-видимому, хотя бы на первых порах, опираясь на денежную помощь «братьев»). Отъезд по времени совпал с началом правительственных гонений на мартинистов. Вероятно, он был ускорен, помимо прочего, и желанием избежать неприятностей. Но одновременно это было началом новой главы в жизни Карамзина. За четыре года в кругу Новикова восторженный провинциальный юноша стал широко образованным и европейски мыслящим литератором. Несмотря на то, что он по-прежнему сохранял масонскую позу ученика, Карамзин позволяет себе беседовать на равных с такими светилами науки, как Кант и Лафатер. «Письма русского путешественника» показывают, что он окончательно писательски сформировался. Карамзин воспринял очень многое из системы эстетических взглядов масонов, передав это далее — новой русской литературе.

Подводя итоги, можно сказать, что через масонскую поэзию пролегал путь от классицизма к сентиментализму и предромантизму. Карамзин вопреки всеобщему преклонению перед Корнелем и Вольтером дерзнул провозгласить в стихотворении «Поэзия», что «Британия есть мать поэтов величайших», и первый среди них — «натуры друг» Шекспир. Из бардов более близкого времени на страницах новиковских журналов чаще всего упоминаются Юнг и Томсон²². Масонский психологизм требовал повышенного внимания к «миру души». С чело- века стаскивался официальный мундир, в который его облекали иные пииты. Характерный факт: первым словом новой русской поэзии признан перевод Жуковского элегии английского поэта Грея «Сельское кладбище». Это стихотворение было опубликовано в журнале Карамзина «Вестник Европы» в 1802 году. Но задолго до того времени в кругах масонов эта элегия уже приобрела большую популярность. В 1789 году в «Беседующем гражданине» был опубликован ее прозаичес-

кий перевод, а ранее, в 1786 году, в другом новиковском журнале — «Покоящийся трудолюбец» — стихотворный перевод последних строк. Молодой поэт как бы подхватывает протянутую ему эстафету.

Возникает чувство, что искусство XVIII века пронизано идеями масонства. Зодчий не может не быть масоном. В переводе с греческого архитектор — главный строитель. Действительно, из всех художественных профессий это единственная как бы стопроцентно «масонская», ибо призвана воплотить в зримых формах идеи «вольных каменщиков». Их планы постройки символического Храма истины и любви становятся конкретными архитектурными замыслами. Другими словами, архитекторы понимали масонство в прямом смысле — не как отвлеченную нравственную цель, но как каждодневный труд «и для души, и для денег». Красноречивый пример — уже упомянутый Кристофер Рен. Он был известным английским зодчим, перестроившим Лондон после Великого пожара 1666 года. Им же возведен собор святого Павла. Среди русских масонов находим Баженова, Кваренги, Камерона, Воронихина; иначе говоря всех тех, кто создал архитектурный облик того времени.

Кристофер Рен не принадлежит к числу великих зодчих, и собор святого Павла не является архитектурным шедевром. Современники упрекали Рена в том, что он просто и без большого искусства, как ремесленник, скопировал в уменьшенном виде римский храм святого Петра, созданный двумя гениями — Микеланджело и Браманте. Однако просчеты архитектора не помешали собору святого Павла оказаться вторым по значимости христианским храмом. Третьим надлежало стать собору святого Исаакия Далмацкого в Петербурге, небесного патрона Петра I. Возведение его планировалось еще самим державным преобразователем России и долгое время рассматривалось как один из пунктов духовного завещания царя-плотника. Строительство, начавшееся при Елизавете, продолжалось почти сто лет. Оно сопровождалось многочисленными перипетиями; например, в 1790-х годах собор, почти доведенный до завершения, рухнул. Целый ряд проектов следовал один за другим. Долголетнюю эпопею удалось завершить только архитектору Монферрану в 1845 году. Но главное — за полтора столетия идея собора не претерпела изменений в основных чертах. Он с самого начала был задуман как купольный храм по образцу главных храмов христианского мира.

Итак, собор святого Петра — католический, собор святого Павла — протестантский (англиканский), собор святого Исаакия — православный. Главные храмы трех основных ветвей христианства как бы зеркально отражают друг друга. Собор святого Павла построен масоном Кристофером Реном, собор святого Исаакия возведен по повелению масона Петра I. Трудно указать более наглядный пример проникновения масонства в культуру. Действительно, здесь находит свое художественное выражение одна из главных идей братства «вольных каменщиков» — равенство всех христианских вероисповеданий перед Лицом Всевышнего.

Колоссальный собор святого Петра в Риме был построен, когда католицизм достиг высшей точки своего могущества и претендовал на духовный универсализм. Но это было и его пределом. Герцен писал: «Соломонов храм — построенная Библия, так, как храм святого Петра — построенный выход из католицизма, начало светского мира, начало расстрижения рода человеческого»²³.

В России Исаакиевский собор на время стал эталоном церковного зодчества. Парадоксально, что правительство Николая I, подтвердившее запрещение масонских лож, требовало возводить именно купольные храмы по образцу главного собора империи. Оторвавшись от своего первоисточника, идея ордена «вольных каменщиков» как бы обрела новое существование в духовной жизни эпохи.

Но Исаакиевский собор не был единственной попыткой воссоздать в Петербурге храм святого Петра. Гораздо более успешным был опыт Воронихина. Его Казанский собор по своим художественным качествам значительно превосходит постройку Монферрана. Недаром он вызвал у поэта XX века Мандельштама великолепные строки:

“На площадь выбежав, свободен
Стал колоннады полукруг.
И распластался храм Господень,
Как легкий крестовик паук.
А зодчий не был итальянец,
Но русский в Риме; ну так что ж!
Ты каждый раз, как иностранец,
Сквозь рощу портиков идешь;
И храма маленькое тело
Одушевленное стократ
Гиганта, что скалою целой
К земле, беспомощный, прижат!»

Кажется, поэту удалось проникнуть в тайный замысел Воронихина. Об этом свидетельствуют строки, что «зодчий не был итальянец, но русский в Риме». Казанский собор поэт противопоставляет Медному Всаднику. «Маленькое тело» собора является обителю Святого Духа; оно — «духовное пространство». Храм выше монумента, олицетворяющего честолюбивые человеческие деяния.

Выдающаяся роль в масонстве сыграл В.И. Баженов. Судьба Баженова — удивительна, причудлива, как судьба любого гения. Сын бедного дьячка, он, едва шагнув за двадцать лет, уже член Римской, Клементийской, Болонской и Флорентийской академий, а вскоре и Российской академии художеств и наук. При всем этом он до сорока лет практически не построил ни одного здания. Баженов остался в истории искусства прежде всего как автор несущественных грандиозных замыслов.

Баженов пришел в масонское братство путем, очень схожим с тем, каким пришел туда и Новиков. Он горячо воспринял идеи просвещенного абсолютизма. Вскоре он получил первый крупный официальный заказ — постройку Большого Кремлевского дворца. Баженов задумал его как «дом Екатерины»; он должен был олицетворять собой идеи «Наказа», стать художественным воплощением Российской империи; в частности, в плане дворца был предусмотрен зал заседаний представителей сословий. Зодчий проектировал превратить императорский дворец в колоссальный, головокружительный ансамбль с площадями и амфитеатром для общенародных собраний; Кремлю надлежало стать представительным центром городской общественной жизни. Карамзин сравнивал эти замыслы с республикой Платона и утопией Мора. Однако, после пугачевщины сооружение такого гиганта не отвечало общественным настроениям, и здесь, а вовсе не в отсутствии средств (как было объявлено правительством), причина того, что строительство было

прекращено. Именно тогда, в период тяжелых переживаний в связи с крушением своего замысла, Баженов стал масоном.

Екатерина II вскоре дала Баженову новый официальный заказ. Архитектор должен был построить царскую резиденцию в купленном казной бывшем имении Кантемира «Черная Грязь», переименованном в Царицыно. Исход известен. Ныне трудно понять, почему венценосная заказчица приказала уничтожить баженовский комплекс. Вообще время завершения строительства (1785 год) совпадает с первыми симптомами недовольства императрицы активностью масонов. Широко бытующее мнение, что ей не понравилось, что Баженов возвел два равновеликих дворца — для нее и для наследника, — вряд ли соответствует истине. Ведь ранее представленные ей чертежи и планы зодчего были одобрены. Скорее всего, Екатерина II проникательно разглядела символический смысл замысла Баженова. Действительно, комплекс в Царицыне — вовсе не место увеселения, а, скорее, скорби, покаяния. Посетитель входит через арку, острые камни которой символизируют терновый венец. Рядом на пилонах знак трех горящих свечей — традиционный масонский символ угасания жизни человека. Вкус того времени был воспитан на витиеватой обтекаемости растреллиевского рококо — ясного, жизнерадостного. В Царицыне же ко дворцу надо попасть по мосту через овраг, странные четырехугольные колонны которого напоминают ножи; они перемежаются с круглыми колоннами, подобными свечам. Белокаменные шипы, рассеянные повсюду, создавали ощущение тревоги. В арках на фасаде основного дворца (перестроенного М.Ф. Казаковым) сохранились семь масонских шестиконечных звезд. Так называемый оперный павильон украшает вензель императрицы в змеевидном обрамлении солнечных лучей; он разительно напоминает солярные знаки, постоянно встречающиеся в рукописях «вольных каменщиков».

Каменная летопись Царицына еще требует своей дешифровки. Баженовские постройки причудливы; не сразу и поймешь, что они напоминают, ибо слишком далеки от привычной архитектуры. Возникает соблазн понять их как каменную масонскую книгу. Неудивительно, что была даже попытка расшифровать план всего комплекса как символическую картину посвящения в «вольные каменщики»²⁴. Трудно сказать, насколько это соответствует истине, но, бесспорно, рациональное зерно здесь имеется. Действительно, неоготика как бы зримо воплощает философию «вольных каменщиков». Недаром это был чисто московский архитектурный стиль; кроме первопрестольной он встречается только в ближних к столице провинциальных городах, встготееющих к ней.

Строения Баженова уникальны, ни на что не похожи. Он архитектор буйной, необузданной фантазии. Все созданное им не имеет аналогов в мировом искусстве. За стилем Баженова утвердилось наименование неоготики. Но одновременно зодчий умел подчинить полет своего воображения строгой мысли. Он сам подчеркивал национальный характер своего искусства и постоянно утверждал, что является продолжателем так называемого «нарышкинского барокко».

После неудачи в Царицыне Баженов лишился статуса официально архитектора. Заказов от правительства он больше не получал. Но надо отметить, что Екатерина II до конца своих дней относилась к Баженову с глубоким уважением. Подтверждением является то, что на процессе Новикова, где, по логике вещей, Баженов должен был стать одним из главных обвиняемых (именно он был связью между масонами и наследником престола Павлом), он не был даже допрошен.

Следует сказать несколько слов еще о некоторых тенденциях, внесенных масонами как в облик города, так и в парковое искусство XVIII века. Это прежде всего «египтомания» (obelisks в городах, пейзажных парках и т.п.) и идея парка-кладбища (элизиума). Вообще, пейзажный парк, приближающий человека к природе и словно вырывающий его из противостественных уз цивилизации, был близок эзотерической философии «вольных каменщиков»²⁶. «Египтомания» объясняется тем, что, по учению отцов ордена, основы храмового строительства были заложены в Древнем Египте. В этой связи вспоминаются слова Герцена, что «египетские храмы были священные книги», а обелиски — «проповеди на большой дороге». От древних времен пришло в современную культуру и уподобление сада (парка) вселенной. Вселенная представляет собой храм; она также прочитывается как Библия; соответственно сад — аналог Божественного текста; распифровка его знаковой системы равносильна погружению в святые таинства.

Русское искусство дает богатые и разнообразные примеры как первого, так и второго. Достаточно указать на Румянцевский обелиск (Бренна), ростральные колонны на стрелке Васильевского острова (Тома де Томон) в Петербурге. Знаменитые парки Царского Села, Павловска, Гатчины переполнены руинированными павильонами, башнями-руинами, полуразрушенными мостиками и т.д.

«Иду под рощею излучистой тропой;
Что шаг, то новая в глазах моих картина;
То вдруг сквозь чащу древ мелькает предо мной,
Как в дымке, светлая долина,

То вдруг исчезнет все... окрест сгустился лес;
Все дико вокруг меня, и сумрак и молчанье;
Лишь изредка струей сквозь темный свод древес
Прокравшись, дневное сиянье

Верхи поблекшие и корни золотит;
Лишь сорван ветерка минутным дуновеньем
На сумраке листок трепещущий блестит,
Смуцающая тишину паденьем...

И вдруг пустынный храм в дичи передо мной;
Заглохшая тропа; кругом кусты седые;
Между багряных лип чернеет дуб густой
И дремлют ели вековые.

Воспоминанье здесь унылое живет;
Здесь, к урне преклонясь задумчивой главою,
Оно беседует о том, чего уж нет,
С неизменяющей Судьбою.

Все к размышленью здесь влечет невольно нас;
Все в душу томное уныние вселяет;
Как будто здесь она из гроба важный глас
Давно минувшего внимает.

Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей,
Сей факел гаснущий и долу обращенный,
Все здесь свидетель нам, сколь блага наших дней,
Сколь все величия мгновенны».

В этом отрывке из элегии Жуковского «Славянка» поэт созерцает храм-памятник в парке Павловска, сооруженный скульптором И.П.Мартосом в память Павла I по повелению вдовствующей императрицы Марии Федоровны. (Жуковский и Мартос — масоны.) Искусствовед А.М.Эфрос отмечает, что Павловск в начале XIX века, когда заканчивалось его оформление, превратился в мемориальный парк — место скорби порфириносной вдовы по убиенному супругу²⁶. Недалеко от этого храма находилась так называемая березовая «семейная роца», где каждое дерево было посажено в честь какого-нибудь события в царской семье (рождение, бракосочетание и т.д.). К каждой березе была прикреплена медная табличка с именем того члена семьи, кому посвящалось это дерево. Посреди роци на пьедестале стояла мраморная урна, называемая урною судьбы. Сам по себе Павловск — уникальный пример парка-элизиума.

Нечто подобное можно было найти и вокруг Москвы. В поэме А.Ф.Воейкова «Сады», чрезвычайно популярной в свое время, описывается усадьба Савинское масона Лопухина:

«О Муза! Зрелищем роскошным утомлены,
В деревню поспешим под кров уединенный,
Туда, где Лопухин с природой жизнь ведет,
Древ тенью Савинских укрывшись от забот;
Не знаешь, в сад его вошел, чему дивиться,
Куда скорей спешить, над чем остановиться,
Сюда манит лесок, туда приятный луг;
Тут воды обошли роскошные вокруг;
Там Юнг и Фенелон, в дали кресты, кладбище
Напоминают нам и вечное жилище
И узы жизни сей; умеют научать,
Не разрывая их, помалу ослаблять.
Здесь памятник Гюен, сея жены почтенной,
Христовой ратницы святой и иступленной,
Которая, сложа греховной плоти прах,
До смерти, кажется, жила на небесах,
Которая славна и у врагов закона
Примерной жизнью и дружбой Фенелона».

Проникновение идей масонства можно заметить и в портретной живописи XVIII века. Главной причиной, обусловившей ее расцвет, стало внимание к человеческой индивидуальности в петровскую эпоху, но, конечно, были и другие стимулы. В XVIII веке живописцев называли «братьями гармонии», как бы намекая, что они составляют единый духовный союз; поэтому нет ничего удивительного и в том, что они охотно входили в ложи «вольных каменщиков». В стенах Академии художеств масонство пользовалось громадным влиянием. Ее многолетний конференц-секретарь А.Ф.Лабзин был одним из лидеров Ордена и фактически вторым после Новикова человеком в сообществе «вольных каменщиков», унаследовавшим его непререкаемый авторитет. Крупнейшие портретисты эпохи — Рокотов, Левицкий, Боровиковский — были масонами.

В среде «вольных каменщиков» не было столь нетерпимого отношения к отвлеченно-прекрасному, которое проповедовал позднее

Л.Н.Толстой. Несмотря на то, что они требовали неукоснительного следования строгому нравственному идеалу, масоны не были ригористами. Наоборот, Новиков утверждал, что если человек одарен каким-нибудь талантом (в науке, искусстве, литературе), то он обязан быть верным ему — и это его прямой путь к Богу, выделившему его среди собратьев. Наука и искусство — сестры-воспитательницы человеческой души. Подобные воззрения, конечно же, не могли не найти отклика в среде художников.

Масонство дало стимул развитию одной из сфер портретной живописи, а именно интимному мужскому портрету. Дело в том, что у масонов было обыкновение дарить «братьям» свои портреты. Это было не только знаком дружбы, но и символическим залогом братской верности. Портретам издавна приписывались магические свойства. По-видимому, в масонских кругах бытовали реликты этой веры. Но и вообще к портрету в то время относились так же, как сегодня к фотографии. Именно поэтому до нас дошли изображения почти всех известных масонов. Портретов же Новикова, повторяющих известный портрет кисти Левицкого, существовало целых шесть. Вообще его иконо-графия значительно богаче, чем кого-нибудь другого из людей той эпохи.

Образы Рокотова встают как бы из поэтического тумана; персонажи Левицкого — люди мысли, но всегда подчеркнуто земные; изображения Боровиковского рафинированно-утонченные. Кажется, трудно найти столь разных художников. Но, взглядываясь в их произведения, всегда ощущаешь некую тайну, как бы зашифрованную в предметах, окружающих изображаемого человека; но не только в них — загадкой кажется и сам человек. «Знаковость» русского портрета XVIII века общепризнана. Слово художник запечатлевает «иероглиф натуры», а не саму натуру. Большой соблазн рассматривать портреты перечисленных мастеров в свете символического мышления масонов. Кто знает — не здесь ли кратчайший путь к их постижению?

Трагический финал трудов Новикова был предопределен тем, что московские масоны позволили себе быть слишком независимыми. Как ни странно, но особое недовольство правительства вызвала энергичная деятельность Новикова во время голода, разразившегося под Москвой в 1787 году. При первых же слухах он поспешил в свое имение Авдотьино, где раздал бесплатно крестьянам в округе 50 верст не только собственные запасы, но и хлеб, закупленный им на масонские деньги. В самодержавной стране появилась филантропическая организация, готовая соперничать с властями. Правительство ничего подобного допустить не могло. Утеснения следовали одно за другим, и в конце концов по личному указанию Екатерины II срок аренды университетской типографии Новикову не был продлен. В 1792 году он был арестован и заключен в Шлиссельбургскую крепость.

После тюрьмы Новиков перестал быть центральной фигурой русского масонства. Обремененный многочисленными недугами, он жил отшельником в Авдотьино. При Павле I деятельность лож была негласно прекращена монаршей волей; она вновь оживилась после воцарения Александра I. Но масонство уже потеряло свой нравственный накал, как бы взвратывая на круги своя в доновиковский период. Вновь в центре внимания оказались «разгадки масонских тайн». Человека призывали сосредоточиться на «пробуждении внутреннего христианства», а вовсе не на «наружных делах». Наиболее автори-

тетным деятелем масонства в этот период был конференц-секретарь Академии художеств А.Ф.Лабзин, племянник Новикова. Он издавал журнал «Сионский вестник», имевший большой успех и даже рекомендованный «для семейного чтения». Новое масонство мало чем отличалось от господствующего в общественных настроениях мистицизма, получившего официальную санкцию в деятельности полуправительственного Библейского общества (петербургского отделения Британского Библейского общества). Интерес представляют только отдельные личности, как бы воплощающие собой жизненность новиковских традиций. В этой связи следует прежде всего упомянуть деятельность ложи «Избранного Михаила», Досточтимым Мастером которой был известный художник и гравер Ф.П.Толстой. В эту ложу входили журналист Н.И. Греч, молодые поэты Ф.Глинка, Дельвиг, Кюхельбекер. Основной заслугой «братьев» «Избранного Михаила» перед российским просвещением была организация ланкастерских школ, то есть специальных заведений для обучения грамоте детей городской бедноты. Это, может быть, единственный пример, когда масоны вновь попытались выйти «из стен храма» для энергичных трудов «в миру».

На короткое время масонство стало модой. Работа лож практически протекала у всех на виду. В обществе считалось даже неприличным не быть масоном. Трудно указать на кого-нибудь из известных людей того времени, кто бы в той или иной степени не примыкал к сообществу «вольных каменщиков»; но оно уже фактически исчерпало себя. Российское масонство, с одной стороны, стало светской игрой, с другой — переродилось в политическое движение. Первая декабристская организация — «Союз спасения» — возникла как ответвление ложи «Соединенных друзей». Да и власть, решительно вставшая на путь всеобщей унификации, все подозрительнее смотрела на масонские ложи как на очаги вольномыслия (пусть даже чисто религиозного). Финал был закономерен. Масонские ложи были запрещены в 1822 году.

Однако точку ставить преждевременно. Вырождение масонских сообществ не означало, что идеалы гармоничного жизнеустройства как в социальном, так и в индивидуальном плане исчезли; они продолжали оказывать влияние и проявляться в жизненных принципах отдельных людей, внутренне продолжавших относить себя к «вольным каменщикам». Конечно, на протяжении всего XIX века можно говорить только о традициях масонства в русской культуре; но импульс, данный Новиковым, был столь силен, что он буквально пронизал ее насквозь.

Последним словом русской архитектуры того периода, на котором лежит печать масонства, является храм Христа Спасителя в Москве. Оба его создателя: и «зачинатель» К.Л. Витберг, и «завершитель» К.А. Тон, были «вольными каменщиками». Но это тягостная повесть о том, как гениальный полет творческой фантазии воплотился всего лишь в помпезном официальном строении.

Имя Витберга мало известно в наши дни. Судьба этого архитектора еще более трагична, чем Баженова. Он так же автор неосуществленного грандиозного проекта. Но если Баженову все-таки удалось достаточно много построить, то зданий, сооруженных по чертежам Витберга, буквально единицы.

Храм Христа Спасителя в Москве должен был стать одним из глав-

ных мемориалов войны 1812 года. Об этом было объявлено в манифесте Александра I от 25 декабря 1812 года, изданном в Вильно сразу после изгнания французов из пределов России. Император взял на себя обет построить этот храм. Никто не верил, что исход наполеоновского похода будет столь стремителен и трагичен. Казалось, что действительно Россию спасла «рука Всевышнего». Впечатление было ошеломительным — и это объясняет порыв русского царя.

В объявленном конкурсе приняли участие не только русские академики, но и архитекторы из Италии и Германии. Но неожиданно одобрение монарха получил проект молодого художника Витберга. Ему удалось потеснить таких маститых мастеров, как Кваренги и Воронихин. Александр I пожелал видеть автора. Русскому царю пришлось по нраву и одушевление Витберга, и его страстная религиозность. «Вы говорите камнями» — такими словами император завершил беседу.

Витберг задумал систему трех храмов. Первый символизирует тело, второй — душу, третий — дух. Тройственность и неразделимость — основной догмат христианства. Соответственно в плане первого храма — гроб, второго — крест, третьего — круг. В целом комплекс опять же разительно напоминает собор святого Петра, что, по-видимому, и определило успех проекта. «Древняя столица» также должна была украситься сооружением, подобным Казанскому собору. Строительство храма Христа Спасителя началось на Воробьевых горах.

О замысле Витберга можно судить также и по замечательно яркому описанию Герцена в «Былом и думах»: «Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма, гроба, тела; его наружность представляла тяжелый портал, поддерживаемый почти египетскими колоннами; он пропадал в горе, в дикой необработанной природе. Храм этот был освещен лампами в этрурийских высоких канделябрах, дневной свет скудно падал в него из второго храма, проходя сквозь прозрачный образ Рождества. В этой крипте должны были покоиться все герои, павшие в 1812 году, вечная панихида должна была служиться о убиенных на поле битвы, по стенам должны были быть иссечены имена всех их, от полководцев до рядовых.

На этом гробе, на этом кладбище разбрасывался во все стороны равноконечный греческий крест второго храма — храма распростертых рук, жизни, страданий, труда. Колоннада, ведущая к нему, была украшена статуями ветхозаветных лиц. При входе стояли пророки. Они стояли вне храма, указывая путь, по которому им идти не пришлось. Внутри этого храма были вся евангельская история и история апостольских деяний.

Над ним, венчая его, оканчивая и заключая, был третий храм в виде ротонды. Этот храм, ярко освещенный, был храм духа, невозмущаемого покоя, вечности, выразившейся кольцеобразным его планом. Тут не было ни образов, ни изваяний, только снаружи он был окружен венком архангелов и накрыт колоссальным куполом»²⁷.

Проект Витберга не был осуществлен прежде всего потому, что Александр I потерял к нему интерес. Человек неустойчивый, он в своей деятельности и политике был склонен к частым сменам настроений и привязанностей. Сам архитектор неосторожно решился самолично возглавить строительство; он оказался лицом к лицу с неискоренимым российским казнокрадством. Правда, по мнению Герцена, на этой стройке воровали даже меньше, чем в других местах. Но для Витберга дело кончилось трагически. Уже при правительстве Николая I он был об-

виен в разного рода злоупотреблениях и сослан в Вятку. Именно там он познакомился с Герценом, также административно выселенным в этот город из Москвы. Писатель на всю жизнь сохранил в своей памяти «печальные, благородные черты художника, задавленного правительством с холодной и бесчувственной жестокостью».

Несколько слов о масонстве Пушкина. Он был посвящен в кишиневской ложе «Овидий» 4 мая 1821 года (запись в дневнике поэта). Эта ложа была местным отделением ложи «Астрея». Сам по себе этот факт в биографии Пушкина выглядит случайным, ибо ложа «Овидий» так и не была окончательно оформлена. Она была закрыта еще в ноябре 1821 года, в то время как указ о повсеместном запрещении масонских лож последовал только 1 августа 1822 года. Причину понять трудно; скорее всего, это было просто нежелание легализовать новую ложу накануне всеобщего прекращения деятельности масонов. Кроме того, правительство беспокоило распространение масонства в армии; в офицерах-масонах оно видело взрывоопасный элемент. В ложу «Овидий» входило несколько военных, но из людей декабристской ориентации только Досточтимый Мастер генерал-майор П.С.Пуцин и майор В.Ф.Равевский («первый декабрист»). Вообще же преобладали местные аристократы и купцы — контингент весьма консервативный.

Но Пушкин не был бы Пушкиным — русским национальным гением, — если бы такое сильное духовное движение, как масонство, прошло мимо него. Говоря стихом Баратынского, «на все отозвался он сердцем своим». Великий поэт был одновременно монархист и республиканец, истово православный и атеист, славянофил и западник. Уже на закате жизни Пушкин сказал прекрасные слова о масонах «новиковского периода»: «Мы еще застали несколько стариков, принадлежащих этому полуполитическому, полурелигиозному обществу. Странная смесь мистической набожности и философического вольнодумства, бескорыстная любовь к просвещению, практическая филантропия ярко отличали их от поколения, к которому они принадлежали» (из статьи «Александр Радищев»). Известная исследовательница русского масонства писательница Т.В.Бакунина пишет: «Связь поэта с масонством следует искать не во внешнем образе жизни, а в той внутренней озаренности, которая руководила всем его творчеством. Он, сам по своей природе «посвященный», лучше других мог понимать смысл и значение масонского посвящения, тайну «творческого труда». Радостное восприятие жизни и поэтическая сторона масонского учения — вот то, что могло увлечь его. Стремление «вольных каменщиков» построить свой собственный мир путем сверхчувственным, мистическим для Пушкина было его собственным творческим стремлением»²⁸.

Обратим внимание на так называемые библейские стихи Пушкина. Вообще упорное пристрастие к библейским мотивам не характерно для русской поэзии XIX века. Им отличались второстепенные поэты (вроде Л.А.Мея), но никак не классики. Пушкин же обращается не только к Библии, но и к Корану. В первую очередь вспомним знаменитого «Пророка»; это стихотворение Мицкевич назвал автобиографией Пушкина. Его пафос: жизнь как нравственный подвиг. Поэт, томимый «духовной жаждою», бесцельно влачит свои дни, ибо он не постиг своего человеческого предназначения. «Шестикрылый серафим» — посланник небес — открывает ему тайны бытия. Он проводит поэта через своего рода обряд посвящения:

«Моих зениц коснулся он.

.....
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык.

.....
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул.

.....
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал».

Все это очень напоминает обряд посвящения в масоны (что уже неоднократно отмечалось исследователями), где присутствуют и мечи, направленные в грудь, и вопрошающие голоса, и погружение в одиночество. Пушкин как бы отталкивается от того, через что он сам прошел и что произвело на него сильное впечатление. Одна из тайн поэтического вдохновения состоит в том, что поэт «пропускает через себя» жизненные реалии, которые отливаются в образы его произведений; происходит своего рода процесс кристаллизации. В основе «Пророка» лежит масонская идея, хотя сам Пушкин, может быть, и не осознавал этого.

На закате жизни великий поэт словно вернулся к своему заветному творению. Среди стихотворений последнего периода творчества Пушкина обращает на себя внимание цикл с ярко выраженным религиозным настроением, в котором поэт, уставший и душой, и телом, как бы мысленно подводит итог своему жизненному пути, мудро примиряясь и прощая всех и вся. Центральным стихотворением этого цикла является маленькая поэма «Странник». Сюжетная канва заимствована из «Пути паломника» Дж.Беньяна — книги высокочтимой в масонских ложах. «Странник» — «Пророк» наоборот. Мир позднего Пушкина трагичен. Обретение гармонии в этом мире невозможно.

Долголетний ближайший друг великого поэта масон П.А. Вяземский бросил в его гроб свою перчатку. Это — один из моментов ритуала прощания «вольных каменщиков» с почившим «братом». Вторая перчатка сохранилась в «пушкинской комнате» в Остафьеве.

Даже после запрещения некоторые масонские ложи продолжали свое существование. Но любая попытка легализовать их деятельность ни к чему не приводила. Правительство Николая I после выступления декабристов обрушило дикие репрессии на малейшее проявление инакомыслия, и это, естественно, привело к тому, что «вольные каменщики» не подавали голоса. Только в 1840-х годах наметилось некоторое оживление в духовной жизни общества, повлекшее пробуждение масонства. Правда, оно уже не было знаменем времени, в этот период им стал так называемый «утопический социализм». У русских юношей появились новые властители дум; Байрона сменила Жорж Санд. Громадной популярностью пользовались ее романы «Консуэло» и «Графиня Рудольштадт» (их охотно читают и ныне, хотя они низведены на уровень «дамской литературы»). Главный герой этой дилогии граф Альберт Рудольштадт — масон и мистик — создает организацию «Невидимых», целью которой является переустройство мира, с одной стороны, на началах правды и любви, а с другой — на лозунгах Великой

французской революции: свобода, равенство, братство. «Невидимые» — могущественный союз «высших посвященных», где масонство всего лишь первоначальная ступень.

Сама Жорж Санд тогда зачитывалась «писаниями масонов». Она объявила себя ученицей и эхом Пьера Леру — одного из самых ярких сенсимонистов. Пьер Леру причудливо соединял крайний политический и экономический радикализм со столь же необузданными мистическими видениями. Именно он ввел в широкий обиход само слово «социализм». В многочисленных книгах и статьях Леру проявил себя ярким революционером — ниспровергателем существующего государственного устройства, обломки которого должны были бы послужить фундаментом обществу «жесткой регламентации доходов и расходов». По его словам, о таком государстве пророчествовали и христианские визионеры средних веков, и масоны XVIII столетия. Следовательно, — исходя из логики Пьера Леру, масонство было одним из первых социалистических учений. Многословные речи графа Альберта из романов Жорж Санд почти дословно повторяют соответствующие пассажи сочинений темпераментного реформатора-прожектера.

Социально-утопические идеи, соединенные с романтической таинственностью, привели в масонство Аполлона Григорьева. Глубокий критик и темпераментный поэт, он был одной из самых ярких фигур на литературном фоне 40 — 50-х годов прошлого века. Несколько его стихотворений, ставших популярными «цыганскими» романсами, знают буквально все. Аполлон Григорьев тем более оказался склонным к масонству, что в его собственной семье жили предания о «вольных каменщиках». Его дед некогда дружил с Новиковым и при известии об аресте последнего сжег множество книг, подаренных ему неутомимым издателем (как сокрушенно пишет об этом в своих мемуарах внук). Принадлежал ли дед к масонам — Григорьев затрудняется дать утвердительный ответ. Но он отводит ему почетное место в воспоминаниях: «Была даже эпоха и... эпоха вовсе не первоначальной молодости, когда под влиянием мистических идей я веровал в какую-то таинственную связь моей души с душою покойного деда, в какую-то метепсихозу не метепсихозу, а солидарность душ. Нередко, возвращаясь ночью из Сокольников и выбирая всегда самую дальнюю дорогу, ибо я любил бродить в Москве по ночам, я, дойдя до церкви Николы-мученика в Басманной, останавливался перед старым домом на углу переулка, первым пристанищем деда в Москве, когда пришел он составлять себе фортуны, и, садясь на паперть часовни, ждал по получасу, не явится ли ко мне старый дед разрешить мне множество тревоживших мою душу вопросов»²⁹. Интересно, что в дружеском кругу за Григорьевым закрепилось прозвище «граф Альберт».

В середине 1840-х годов Григорьев создает поэтический цикл «Гимны», долгое время казавшийся загадочным, пока не было раскрыто, что он представляет собой ряд переводов из немецкого поэтического масонского сборника 1813 года (в этом сборнике были и стихотворения Гете и Шиллера)³⁰. Пафос гимнов — «смелый взгляд, поднятый всегда к небесам», призыв обратиться к «исканию вечных истин» (это как бы положительная сторона масонства).

«Руку, брата, в час великий!
В общий клик сольемте клики
И, свободны бранных уз,

Отложив земли печали,
Возлетимте к светлой дали,
Буде вечен наш союз!

Слава, честь и поклоненье
В горних Зодчему творенья,
Нас сотворшему для дел;
Разливать на миллионы
Правды свет и свет закона —
Наш божественный удел.

Вы, о мужи Божьей рати,
На востоке, на закате,
Вы на всех земли концах!
Вечной истины исканье,
Благо целого созданья
Да живут у нас в сердцах».

Судя по всему, Григорьев выполнил свои переводы по заказу масонов; гимны должны были распеваться во время заседаний ложи. Этим объясняются и следы небрежности и художественные упущения — неизбежные при спешной работе. (Отметим попутно, что у Гете также есть аналогичный цикл стихотворений под названием «Ложа».)

В этот же период Григорьев пишет ряд романтических повестей, где масоны играют главную роль. Фактически, они — разновидность байронических героев, взирающих сверху вниз на всех и вся. «Ледяные эгоисты», они без устали повторяют позы и сентенции, как бы позаимствованные у Арбенина из лермонтовского «Маскарада». Одновременно из их уст раздаются слова «о любви, о той Божественной струе, пробегающей по жилам мирозданья, связующей все его звенья единым Божественным чувством радости»; они постоянно твердят «о великом братстве людей между собою и еще более великом родстве их с Высшим существом». У масонов в повестях Григорьева «душа самолюбивая и сухая». Ему очевидно, что он имеет дело с «маленькими наполеонами». Григорьев объясняет все это тем, что вначале масонство явилось реакцией на требования французских энциклопедистов о безграничной свободе личности (и это было правомерно, ибо такая свобода означает пренебрежение любыми религиозными и нравственными нормами), но в конце концов само дошло до полного подавления личности и растворения в масонском братстве.

Связи с масонами у Григорьева были недолгими, хотя они определили большой и очень плодотворный период его творчества. В равной степени он был разочарован и утопическим социализмом. Поэту, особенно ценившему жизнь в «ее напряженности, в ее лихорадке, в ее, если хотите, лиризме», казалось, что всему этому нет места ни в масонской ложе, ни в фаланстере Фурье.

Казалось, что российские «вольные каменщики» окончательно отошли в область преданий. Однако ни кто иной, как Л.Н.Толстой, сделал масоном своего главного героя. Речь идет о Пьере Безухове, которого сам великий писатель считал своим вторым «я».

«Масонские главы» принадлежат к центральным во 2-м томе «Войны и мира». Сообщество «вольных каменщиков» стало важнейшим этапом психологической эволюции Пьера Безухова. Случайная встре-

ча на почтовой станции с известным масоном еще новиковского времени Осипом Алексеевичем Баздеевым как бы перевернула его жизнь. (Прототипом Баздеева был О.А.Позднеев — один из самых авторитетных московских масонов, своими душевными качествами напоминавший Гамалею.) Он вопрошает молодого аристократа: «Погляди духовными глазами на своего внутреннего человека и спроси у самого себя, доволен ли ты собой?» Пьер отвечает, что он ненавидит свою жизнь. Эти слова вызвали у Баздеева новые обличения и призывы: «Ты ненавидишь, так измени ее, очисти себя, и по мере очищения ты будешь познавать мудрость. Вы получили богатство. Как вы употребили его? Что вы сделали для ближнего своего?.. Вы говорите, что вы не знаете Бога и что вы ненавидите свою жизнь. Тут нет ничего мудреного, государь мой». В словах Баздеева слышится голос самого Толстого. Он не раз, буруемаемый душевными муками, задавал себе аналогичные вопросы и отвечал точно так же, как готов был сказать Пьер Безухов: «Мерзкая, праздная, развратная жизнь».

Отношение Толстого к масонству двойственное. Образ Баздеева рисуется им с большой симпатией. Такие фигуры русской жизни были ему дороги. Великого писателя не могли не привлекать конечные цели «вольных каменщиков», но его отталкивало разделение человечества на «посвященных» и «профанов». Умозрительной чепухой представлялась ему, человеку трезвого XIX века, и масонская мистика. Толстой масоном не был, да и современное масонство, если бы он столкнулся с ним, вероятно, вызвало бы у него резко негативное отношение. Но в своей общественной деятельности и в ипостаси писателя-моралиста он был продолжателем дела Новикова.

Сам Толстой относил свои духовные истоки к XVIII веку. Он ясно осознавал, чьим именно преемником является. Например, запись в дневнике молодого писателя от 20 декабря 1853 года: «Читал философское предисловие... к журналу *Утренний свет*... в котором он (Новиков. — В.Н.) говорит, что цель журнала состоит в любознательности и развитии человеческого ума, воли и чувства, направляя их к добродетели, я дивлялся тому, как могли мы до такой степени утратить понятие о единственной цели литературы — нравственной, что заговорите теперь о необходимости нравовучения в литературе, никто не поймет вас... Вот цель благородная и для меня посильная — издавать журнал, целью которого было бы единственно распространение полезных (морально) сочинений»³¹. Свое намерение Толстой претворил в жизнь сначала в журнале «Ясная Поляна», затем в «Новой азбуке», «Книгах для чтения», «Народных рассказах». Открывая яснополянскую школу, он мечтал спасти тонущих в народном невежестве «Пушкиных, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых», которых каждый день можно встретить на деревенской улице. «Новая азбука» была его «гордой мечтой». «Написав эту Азбуку, мне можно спокойно умереть»³², — открывается Толстой жене — самому близкому человеку.

Вся этическая программа толстовства, все постулаты его: непротивление злу насилем, общепользней труд, простота жизни — являются повторением в новых условиях нравственных установок Новикова и его окружения. Толстой рассматривал писательство как «духовное дело» и тяжело переживал, что вынужден брать за это деньги. Необходимо подчеркнуть, что и толстовство и русское масонство XVIII века были формой внецерковного христианства. На их преемственность среди прочих указал П.Н.Милюков. Толстовство, было порождено поре-

форменной эпохой, другими словами, очередной российской модернизацией. Имя Новикова редко встречается на страницах, вышедших из-под пера великого писателя земли русской, но поражает, что в жизни и того и другого было много схожего. Новиков в свое время спас подмосковных крестьян от голода; это же сделал и Толстой в Поволжье. Оба подверглись правительственным порицаниям за эту «неуместную» инициативу. Издательская деятельность Новикова нашла прямое продолжение в организованном В.Г.Чертковым (по мысли Толстого) издательстве «Посредник», публиковавшем дешевые «высоконравственные» книги для народа. «Посредник» должен был вытеснить низкопробную литературу, которой торговали офени. Толстой писал: «Направление ясно, выражение в художественных образах учения Христа, его 5 заповедей; характер — чтобы можно было прочесть эту книгу старику, женщине, ребенку и чтоб и тот и другой заинтересовались, умилились и почувствовали же себя лучше»³³. Соблазнительно сказать, что толстовство — это то же новиковское масонство, но такое, каким оно могло быть в XIX веке.

Зададимся вопросом — как же воспринималось масонство широкими слоями русского общества? До наших дней дожило слово «фармазон», которое Даль объясняет: «вольнодумец, безбожник»; но, тем не менее, оно не несет резко выраженного негативного оттенка. Ответ нужно прежде всего искать в литературе, которая всегда в России выполняла функцию социального зеркала; литература обязательно отражала то, что так или иначе будоражило общественный организм. Но после Пушкина, Аполлона Григорьева, Л.Н.Толстого необходимо принять во внимание свидетельства и писателей «второго плана».

С.Т.Аксаков оставил воспоминания о знакомстве с Лабзиным (очерк «Встреча с мартинистами»). Любознательный молодой человек, совсем недавно приехавший из провинции в Петербург, искал связи в столичном обществе. К числу домов, наиболее часто им посещаемых, относилась квартира старого отцовского знакомого (в очерке он назван Рубановским), занимавшего заметную должность начальника хлебных запасных магазинов. Это был фанатик бескорыстия, умудрившийся оставаться почти нищим, несмотря на то, что его «место» по всем российским понятиям было «небезвыгодное». Рубановский был масоном; у него-то Аксаков и познакомился с Лабзиным, который сразу же постарался привлечь к себе молодого человека, усмотрев в нем «ищущего истинного знания». Но коса нашла на камень. Аксаков быстро постиг, что Лабзин — человек необыкновенно умный, но деспот по природе. Неискушенный провинциал инстинктивно почувствовал, что, поддавшись его влиянию, он неизбежно попадет к нему в духовное рабство. Да и мистические книги, которыми Аксакова снабжал Рубановский, ему, чьи интересы были исключительно в области поэзии и театра, казались на редкость скучными. Таким образом, Аксакову удалось избежать сетей Лабзина; тот вскоре нашел его «безнадежным». Молодой человек, по его собственным словам, был «спасен».

Соприкосновение с масонами у Аксакова было недолгим; но он сделал свои выводы. Несмотря на то, что он, «увлеченный вихрем мирской суеты», не вошел в ложу, он запечатлел в памяти их резко характерный духовный облик, столь отличный от окружающей чиновничьей посредственности. Однако Аксакову было ясно, что если Рубановский — «честный пуританин», то среди масонов есть и такие, которые «в мутной воде рыбу ловят».

В провинции, как свидетельствует И.А.Гончаров, «все дворяне... или лучше сказать, вся русская интеллигенция» принадлежала к масонским ложам. Его фактическим воспитателем был дядя, старый моряк Якубов. Добрый гений семьи, прививший юноше мечту о море и дальних путешествиях, оказался масоном, как с удивлением узнал племянник, приехавший к родным пенатам после окончания Московского университета (очерк «На родине»). Он посвятил этому удивительно-мелкому старику несколько глубоко благодарных страниц.

Свой творческий путь Писемский завершил романом «Масоны». Это ностальгическое произведение бесконечно уставшего от житейских бурь старого писателя. Он обращается к 1830-м годам, когда еще доживали свой век последние могики Ордена «вольных каменщиков». Писемский писал своему переводчику на французский язык В.Дерели: «В настоящее время их (масонов. — В.Н.) нет в России ни одного, но в моем детстве и даже отрочестве я лично знал их многих, из которых некоторые были весьма близкими нам родственниками»³⁴. В центре романа стоит богатый помещик Марфин, старый масон, ревниво хранящий заветы новиковского времени. Он широко известен в уезде как бесстрашный боец со всяческой неправдой, обильно поставляемой российской провинциальной действительностью. И словом и делом он утверждает, что «масонства нет, но живы масоны». Подобные фигуры Писемский относил к далекому прошлому. Он твердо убежден, что «вольным каменщикам» нет места в современной «трезвой эпохе». Писатель подчеркивает, что масоны — просвещенные и честные люди, нравственно стоящие много выше окружающих.

Итак, можно сказать, что в русской литературе стараниями и великого Л.Н.Толстого, и «классиками заднего плана» — С.Т.Аксаковым, Гончаровым, Писемским создан своего рода стереотипный образ масона прошлого века. Он — человек безукоризненной честности, пронесший чистоту своих убеждений через все жизненные соблазны. Конечно, он привержен к мистическим писаниям и отвлеченным рассуждениям, но это вполне извинительные чудачества. Короче, он — один из интереснейших вариантов «русского праведника».

Век буржуазной трезвости, казалось, не оставил места никаким тайным орденам. Но приближалось начало нового столетия. Время «великих реформ» сменилось «застойным» десятилетием Александра III. Конец этого благополучного царствования поставил вопрос о неизбежной революции на повестку дня. Наиболее дальновидные общественные силы пытались направить страну по пути дальнейшей модернизации, стремясь избежать ужасов новой смуты. Именно в этих кругах масонство не только возродилось, но и получило широкое распространение. Однако оно совершенно изменило свой характер. Трагические предчувствия носились в воздухе. Нетрудно понять, почему новое русское масонство было пропитано духом политики; вопросы нравственности и культуры отошли на второй, если не на третий план. В списках лож почти нет имен литераторов или художников; зато обильно встречаются думские деятели, лидеры кадетов, представители верхов бизнеса. С масонами XVIII века их роднит лишь попытка найти собственный путь преодоления надвигающегося хаоса, ибо правительство все чаще демонстрировало свою бездарность. Но ни влиять на события, ни тем более руководить ими масонским ложам не удалось; и не в последнюю очередь потому, что политичес-

кая игра вообще была чужда историческим традициям российских «вольных каменщиков».

Нет правил без исключения. Около 1910 года в Москве возникла ложа «Люцифер», в списках которой значатся видные поэты-символисты: Вяч. Иванов, Брюсов, Андрей Белый. Однако на их творчество «масонская работа» практически не повлияла. Может быть, поэтому накануне первой мировой войны эта ложа была закрыта (по масонской фразеологии — «усыплена»). Но другие выдающиеся поэты этого времени проявили себя гораздо более активно в ипостаси «вольных каменщиков». Прежде всего речь идет о Максимилиане Волошине, который был, пожалуй, самым «младшим символистом».

Вересаев совершенно справедливо отметил, что по-настоящему крупным поэтом Волошина сделали революция и гражданская война. Волошин — поэт революции, но вовсе не в том упрощенном смысле, в каком эта роль отводилась Маяковскому, отдавшему свою «звонкую силу» захватившей власть партии. Волошин стоял выше злости дня. Он писал в статье «Россия распята»: «Поэту и мыслителю совершенно нечего делать среди беспорядочных столкновений хотений и мнений, называемых политикой... Поэт, отзывающийся на современность, должен совмещать в себе два противоположных качества: с одной стороны, аналитический ум, для которого каждая новая группировка политических обстоятельств является математической задачей, решение которой он должен найти независимо от того, будет ли оно согласовываться с его желаниями и убеждениями, с другой же стороны, глубокую религиозную веру в предназначенность своего народа и расы. Потому что у каждого народа есть свой мессианизм, другими словами, представление о собственной роли и месте в общей трагедии человечества. Первое — это логика развития драматического действия, которой подчиняется сам драматург, а второе — это причастность творческому замыслу Драматурга»⁸⁶. Волошин поставил себе целью разгадать этот «творческий замысел» истории.

С начала девятисотых годов наметился неожиданный поворот к XVIII веку. Одический строй столетия «безумно и мудро» зазвучал по-современному. В духовном климате наступавшей и канувшей в прошлое эпохи оказалось нечто общее. России вновь предстояло пройти через смуту и лихолетье и утвердить себя как могучую мировую державу. Возродившееся российское масонство было одним из плодов духовного брожения, предшествовавшего революции. Неудивительно, что в поэзии (как одном из зеркал эпохи) вновь зазвучали масонские мотивы; но, конечно, это было не простое реанимирование старого. Невозможно было перечеркнуть опыт, накопленный предшествующими поэтическими поколениями. Уже познанное оказалось и сложнее, и глубже, и мрачнее.

Свою жизнь Волошин разделял на циклы, охватывавшие семилетия: детство, отрочество, юность, годы странствий, духовные блуждания, война, революция. Он стал масоном в Париже в начале периода духовных блужданий, пришедшийся на 1905 — 1912 годы. Русские часто вступали в парижские ложи; примером является великий писатель И.С.Тургенев. Через призму масонства Волошин смотрел на события, развертывавшиеся в России. Поэт считал революцию справедливой мстью власть имущим за прошлые злодеяния; но при этом само понятие справедливости видоизменяется до неузнаваемости и превращается в величайшую несправедливость. Однако «мудрый» должен отделять пшени-

цу от плевел; семени, чтобы прорасти, должно истлеть. Только сгорев в революционном пожаре, Россия расцветет царством духа.

«Народ, безумием объятый,
О камни бьется головой
И узы рвет, как бесноватый...
Да не смутится сей игрой
Строитель внутреннего града...»

Пытаясь проследить следы прошлого в настоящем, поэт обращается как бы к предыстории масонства, к эпохе рыцарских орденов тамплиеров и иоаннитов. Наиболее ярко такой подход выражен в статье «Пророки и мстители». Волошин рассматривает Великую французскую революцию как историческое возмездие за убийство тамплиеров во главе с магистром Яковом Моле. Именно поэтому якобинцы — наследники его имени — явились самой жестокой и последовательной частью революционеров. Яков Моле основал первые четыре масонские ложи, которые стали хранителями заветов тамплиеров. Через них революция получила свой лозунг — «свобода, равенство, братство». Волошин писал: «Революция началась взятием Бастилии, потому что Бастилия была тюрьмой Якова Моле. Авиньон был центром революционных зверств, потому что он принадлежал папе и там хранился пепел великого магистра. Все статуи королей были низвергнуты для того, чтобы уничтожить статую Генриха IV, стоявшую на месте казни Якова Моле, и на этом месте тамплиеры должны были воздвигнуть Колосса, подпирающего ногами короны и тиары».

Поэт уверен, что настоящее было predetermined в далеком прошлом: «В тех местах, где на стенах церквей и зданий тамплиеры вырубали свои тайные знаки и символы, страшные «знаки Рыб», во время Революции разразились кровавые безумства с неудержимой силой... Во время сентябрьских убийств какой-то таинственный старик громадного роста, с длинной бородой, появлялся везде, где убивали священников... Он рубил направо и налево и весь был покрыт кровью с головы до ног. Борода его слиплась от крови, и он громко клялся, что вымоет ее кровью... После казни Людовика XVI этот самый вечный жид крови и мести поднялся на эшафот, погрузил обе руки в королевскую кровь и окропил народ, восклицая: «Народ французский! я крещу тебя во имя Якова и свободы»³⁶.

Писатель А.В. Амфитеатров (один из пионеров возрождения российского масонства) вспоминает, что Волошин полагал, что он обладает своеобразным мистическим даром и благодаря этому в состоянии слышать голоса из прошлого. Он по ночам ходил на остров Иль де Жюиф перед собором Парижской Богоматери, где были сожжены тамплиеры, и утверждал, что различает их предсмертные стоны, словно все происходит совсем рядом³⁷.

Свое поэтическое творчество Волошин воспринимал как «потаенный труд». Поэт ощущал себя «путником во вселенной»; он хранил память о далеких мирах, где некогда скитался его бессмертный дух, обуреваемый жадной познания. «Космизм» Волошина родственен русскому «философскому космизму», но одновременно он несет на себе неизгладимый отпечаток масонства. Отсюда своеобразная иерархичность духовного пути, представляющего как бы подъем по ступеням от низшего градуса к высшему. «Великие тайны» раскрываются поэту в Слове; поэтическое творчество есть познание Слова.

«Мне было сказано:
Не светлым лирником, что нижен
Широкие и щедрые слова
На вихри струнные, качающие душу, —
Ты будешь подмастерьем Словесного, святого ремесла.

.....
Когда же ты поймешь,
Что ты не сын земле,
Но путник по вселенным,
Что солнца и созвездья возникали
И гибли внутри тебя,
Что всюду — и в тварях и в вещах — томится
Божественное слово,
Их к бытию призвавшее,
Что ты — освободитель божественных имен,
Пришедший изназвать
Всех духов — узников, увязших в веществе,
Когда поймешь, что человек рожден,
Чтоб выплавить из мира

Необходимости и разума
Вселенную Свободы и Любви,
Тогда лишь
Ты станешь Мастером».

В работах русских лож Волошин участия не принимал; но духовную верность масонству он хранил до конца своих дней. Причем, в опровержение слов Марины Цветаевой, что Волошин — дитя Европы, в ипостаси масона он был продолжателем лучших новиковских традиций. Волошин писал в автобиографии: «Согласно моему принципу, что корень всех социальных зол лежит в институте заработной платы, — все, что я произвожу, я раздаю безвозмездно. Свой дом я превратил в приют для писателей и художников, а в литературе и в живописи это выходит само собой, потому что все равно никто не платит»³⁸. Во время гражданской войны коктейбельский отшельник был «меж двух станов»: при белых он скрывал в своем Доме Поэта красных, при красных — белых. Волошин — еще один «русский праведник», которому надлежало бы родиться в XVIII веке, а не жестоком столетии двух мировых войн.

Возрождение российского масонства укладывалось в контекст эпохи. Именно тогда Бердяев писал о приближении «нового средневековья»; он пророчествовал о конце безрелигиозного периода нового времени и о начале иной, уже религиозной эпохи. Русский философ подчеркивал, что «это не значит, что в новом средневековье обязательно количественно победит религия истинного Бога, религия Христа, но это значит, что в эту эпоху вся жизнь со всех своих сторон становится под знак религиозной борьбы, религиозной поляризации, выявления предельных религиозных начал»³⁹. На мысль о приходе «нового средневековья» Бердяева натолкнуло нечто, осязаемое в насыщенной умственными исканиями атмосфере духовной жизни начала века. Обратим внимание на акмеизм, рассмотрим его не просто как литературное течение, но как образец нового жизненного стиля, новое смысловое освоение реальности, как локус зарождения новых метафор через воспроиз-

ведение старых символических систем. Акмеизм не был предметом бердяевских размышлений. Но этюд о «новом средневековье» находится в ассоциативной связи с последними.

Среди поэтических направлений русского «серебряного века» акмеизм представляется маргинальным. В других европейских литературах аналогий ему нет (чего нельзя сказать относительно и символизма, и футуризма); тем удивительнее кажутся слова литературного оппонента Гумилева — Блока, что акмеизм явился всего лишь «привозной «заграничной штучкой». Ведь именно акмеизм оказался чрезвычайно плодотворным для русской поэзии XX века. Ахматовой и Мандельштаму удалось сказать «вечные слова». Да и Гумилев, вырванный из искусственного «тумана забвения», все чаще предстает одной из ярчайших личностей жестокого столетия революций и мировых войн.

Отличительной чертой акмеистского круга поэтов являлась их «организационная сплоченность». У символистов ничего подобного не было; попытки Брюсова воссоединить собратьев оказались тщетными. То же у футуристов, несмотря на обилие манифестов, которые они выпускали. Акмеисты сразу выступили единой группой. Своему союзу они дали знаменательное наименование «Цех поэтов». Они избирали синдиков. Единодушно были признаны таковыми Н. Гумилев и С. Городецкий. Откуда взялось это средневековое название «Цех поэтов»? Углубляясь дальше, недоумеваешь еще больше. Если средневековые ремесленные цеха были закрытыми структурами, то «Цех поэтов» был открыт буквально для всех. Именно акмеисты фактически создали знаменитую «Бродячую собаку» — то ли храм, то ли кабак. Скорее храм. Богемный характер кабака, обусловленный тем, что «Бродячая собака» была одновременно и коммерческим предприятием, не менял сакральной сути. Билеты на поэтические вечера продавались по высокому ценам. Публика должна была поставлять не только поклонников, но и кандидатов для приема в «Цех поэтов». По мысли Гумилева, поэт может стать каждый, овладевший специфическими законами, управляющими словесными комплексами. Блоку все это казалось просто жутким. Он писал: «До сих пор мы думали совершенно иначе; что поэт «идет дорогою свободной, куда влечет его свободный ум» и многое другое, разное, иногда прямо противоположное, но всегда — менее скучное и менее мрачное, чем... определение Гумилева»⁴⁰. Статью, направленную против акмеизма, Блок озаглавил: «Без божества, без вдохновения». Поэт-демиург, равный Богу, не мог иметь ничего общего с заземленным ремесленником.

Личность Гумилева доминировала в «Цехе поэтов»; но, по сути дела, он был только «первым среди равных». Созданная им поэтическая школа поглотила своего основателя. Акмеизм не стал бы крупным художественным явлением, если бы он не был порожден противоречиями своего времени. Ощущение приближающегося катаклизма носилось в воздухе. Но чувство конца есть одновременно и чувство начала. Если Великая французская революция знаменовала наступление эры рационализма и индивидуализма, то русская революция должна была завершить ее и в свою очередь породить новую коллективность. Акмеизм стал одним из первых плодов «нового средневековья»; отсюда цеховая организация, фактически уподобляющая поэта средневековому ремесленнику. Поэзия становится ремеслом, а поэт вовсе не носитель Божественной тайны (как полагали индивидуалисты-ро-

мантики), а ремесленник, все помыслы которого направлены на искусство обработки своего материала, в данном случае слова. Переосмысление функции поэта в мире явно обозначило то, что называют «концом индивидуализма».

Адепты «нового средневековья» были уверены: конец индивидуализма вовсе не означал падение личности, а, наоборот, ее новый взлет. Индивидуализм стал главной причиной нивелировки человека. Бердяев писал, что «личность была сильнее и ярче в средние века». В книге «Смысл истории» он подробно останавливается на этой проблеме: «Выковывание и укрепление человеческой личности совершилось в тот период истории, который долгое время, с гуманистической точки зрения, считался для личности неблагоприятным, — в период средневековья. Средневековье в период расцвета укреплялось и дисциплинировалось двояким путем — в монашестве и рыцарстве... Там личность была закована в латы как физически, так и духовно, и достигла независимости от действия внешних стихийных сил, которые разрывали ее в клочья... Вся христианская аскетика имела значение такой концентрации духовных сил человека и недопущения их растраты. Духовные силы человека были внутренне подобраны и сосредоточены. И если не всегда творческие силы получали возможность достаточно свободно себя проявить и расцвести, то они, во всяком случае, сосредоточивались и сохранялись. В этом был один из величайших и неожиданных результатов периода средневековой истории. Поэтому и был возможен внешний творческий расцвет в эпоху Ренессанса, что он был внутренне подготовлен в средние века»⁴¹. Аналогичным образом и Гумилев примерно в то же время определял акмеизм как «полный расцвет физических и духовных сил». Он, может быть, не совсем удачно выразил ту же мысль, что и Бердяев.

Ремесленник был только одной из определяющих фигур средневековья. По Бердяеву, тогда человеческая личность достигла своего наивысшего выражения в ипостаси монаха и рыцаря. Но существовала корпорация, объединяющая и то и другое. Это были монашеские рыцарские ордена иоаннитов и тамплиеров. И на войне и в мирной жизни Гумилев искал примеры возрождения рыцарского этоса и находил их в моряках и авиаторах, художниках и ученых. Показательно стихотворение «Родос» (на острове Родос была главная цитадель рыцарского ордена иоаннитов, родственного тамплиерам).

«На полях опаленных Родоса
Камни стен и в цвету тополя
Видит жаркое сердце матроса
В тихий вечер с кормы корабля.

Здесь был рыцарский орден: соборы,
Цитадель, бастионы, мосты,
И на людях простые уборы,
Но на них золотые кресты.

Не стремиться ни к славе, ни к счастью,
Все равны перед взором Отца,
И не дать покорить самовластью
Посвященные небу сердца!

.....
Нам брести в бесконечных равнинах,

Чтоб узнать, где родилась река,
На тяжелых и гулких машинах
Грозовые пронзать облака.

.....
Мы идем сквозь туманные годы,
Смутно чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы
Отвоевывать древний Родос».

Акмеизм, как известно, имеет и другое наименование, гораздо менее известное — адамизм. Дело не только в том, что новая школа означала «мужскую струю в поэзии» в противовес женственному символизму. Невозможно серьезно относиться к утверждению, что утонченно-рафинированные адепты «Цеха поэтов» «немного дикие звери»⁴². Вообще, проповедуемый Гумилевым «мужественный, твердый и ясный взгляд на жизнь» звучит по-библейски торжественно, как вещания пророков. Здесь в анализе образно-символической системы гумилевской поэзии возникает словно нарочито созданная туманность. Пристальное прочтение текстов Гумилева, внимательное взглядывание в образно-символическую систему его поэзии заставляет включить в ассоциативный ряд масонство.

Фигура Адама — одна из центральных в философии и мировоззрении масонства, где первый человек представляет собой духовный архетип всего исторического человечества. Таким он является и в небольшой поэме Гумилева «Сон Адама». В знаменитом «Духовном рыцаре» И.В.Лопухина читаем: «Первый человек непосредственно получил от самого Творца высочайшую мудрость в познании Бога, Натуры и всего сотворенного. Познание сие, всеобщую науку составляющее, сообщил он через детей своих в наследие роду человеческому. Сия Божественная Наука всегда будет и пребудет до скончания Мира в чистых руках мужей избранных»⁴³. Нравственное совершенствование человека означает преодоление «ветхого Адама» и приближение к Богу; именно в этом конечная цель истории.

В прагматическом XIX веке масонство в наиболее чистом виде продолжало беречь средневековые этосы рыцаря и ремесленника в своих символах и ритуалах, являя собою «подземную струю» в культуре, которая лишь изредка выходила на поверхность. Гумилева можно назвать самым «масонским» из русских поэтов. Факт его посвященности или непосвященности в Орден «вольных каменщиков» не так уж важен: документальные свидетельства участия Гумилева в деятельности масонских лож неизвестны. Та или иная образная система может жить в подсознании художника и культуры в целом, сохраняясь до поры до времени в ее памяти.

Свои поэтические труды Гумилев уподобляет возведению «Соломонова храма».

«Лишь изредка надменно и упрямо
Во мне кричит ветшающий Адам,
Но тот, кто видел лилию Хирама,
Тот не грустит по сказочным садам,
А набожно возводит стены храма,
Угодного земле и небесам».

О своих собратьях Гумилев пишет:

«Нас много здесь собралось с молотками,
И вместе нам работать веселей;
Одна любовь сковала нас цепями,
Что алмазанта тверже и светлей,
И машет белоснежными крылами
Каких-то небывалых лебедей.

.....
Все выше храм торжественный и дивный,
В нем дышит ладан и поет орган;
Сияют нимбы; облак переливный
Свечей и солнца, радужный туман;
И слышен голос Мастера призывный
Нам, каменщикам всех времен и стран».

Сообщество акмеистов действительно во многом напоминало не только цех ремесленников, но и масонскую ложу. «Цех поэтов» проводил постоянные собрания, которые устраивались по очереди на дому у Гумилева, Городецкого или Лозинского. Об их атмосфере вспоминает художественный критик и поэт-масон С.К.Маковский: «Никаких особых докладов на этих собраниях не читалось. Все ограничивалось чтением стихов и критическим разбором, причем Гумилев проводил свою «акмеистическую» точку зрения на качество прочитанных строчек»⁴⁴. Очевидно, что эти собрания были скорее творческой студией, а не литературным салоном, чем коренным образом отличались, к примеру, от сборищ «на башне» у Вячеслава Иванова. Еще одна существенная деталь — важное значение игрового начала; Гумилев и Городецкий активно соблюдали свои роли синдиков. Ахматова последовательно выступала в ипостаси блудницы; ее поэтическая поза кажется прямо заимствованной из средневековых моралите.

Нельзя не отметить, что «масонская параллель» имеет не только культурно-исторический характер. Гумилева принято сопоставлять с Киплингом. Действительно, у обоих поэтов много общего и в психологическом настрое, и в пристрастии к экзотической тематике, и в каком-то суровом мистицизме. Но аналогия пойдет еще дальше, если принять во внимание, что Киплинг отдал в своем творчестве обильную дань масонству; и это было одной из существенных сторон его поэзии. Любопытная деталь, свидетельствующая об универсализме предчувствий «нового средневековья». Им в одинаковой степени были подвержены и на берегах Невы, и на берегах Ганга.

Вернемся на берега Невы. Из «первого призыва» акмеистов самым близким к Гумилеву поэтом был Мандельштам. Следует отметить, что, склонный к резким переоценкам, он пронес верность своему мэтру через всю жизнь. Мандельштам, как никто другой, глубоко воспринял догматы новой поэтической школы. Его статья «Утро акмеизма» насыщена «масонской» символикой: метафоры «строительства храма» и «обтесывания своего камня» здесь являются самодовлеющими. Эта статья должна была стать одним из манифестов акмеизма, но была забраквана синдиками. Начинающий поэт Мандельштам оказался большим католиком, чем сам «папа» Гумилев.

«Я строю — значит, я прав» — горделиво провозглашает Мандельштам. Он пишет: «Акмеизм — для тех, кто, обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно

принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы... Мы вводим готику в отношения слов, подобно тому как Себастьян Бах утвердил ее в музыке»⁴⁶. Поэт уподобляется каменщику; он, как камень, обтесывает слово — свой строительный материал.

Этот материал требует нового подхода: «Булыжник под руками зодчего превращается в субстанцию, и тот не рожден строить, для кого звук долота, разбивающего камень, не есть метафизическое доказательство... Камень Тютчева, что «с горы скатившись, лег в долине, сорвавшись сам собой иль был низвергнут мыслящей рукой», — есть слово. Голос матери в этом неожиданном падении звучит как членораздельная речь. На этот вызов можно ответить только архитектурой. Акмеисты с благоговением поднимают таинственный тютчевский камень и кладут его в основу своего здания»⁴⁶. Мандельштам уподобляет архитектурное строение живому организму; он апеллирует к «физиологически-гениальному средневековью». Слишком многое утеряно современным человеком, переваренным в котле позитивистского XIX века. Готический собор действует угнетающе, а между тем он воплощение логического совершенства, но это ныне как бы стерто в сознании. Notre Dame Мандельштам воспринимает как «праздник физиологии, ее дионисийский разгул»; выверенная сложность собора сродни духовной сложности человека. В средние века каждый скромный ремесленник, ничтожный писец, таил в своей душе тайну сложности, что придавало его облику религиозное достоинство. Мандельштам заключает: «Благочестивая смесь рассудочности и мистики и ощущение мира как живого равновесия роднит нас (акмеистов. — В.Н.) с этой эпохой»⁴⁷.

Первый сборник Мандельштама носит многозначительное название «Камень»; оно было подсказано Гумилевым⁴⁸. Интересно отметить, что свой следующий сборник «Tristia» Мандельштам первоначально собирался озаглавить «Второй камень». Поэтесса С. Парнок метко определила метод Мандельштама как ваение из слова. Действительно, поэт трудится как каменотес:

«Кружевом, камень, будь
И паутиной стань».

Поэзия Мандельштама на удивление соответствует его собственным теориям, провозглашенным в «Утре акмеизма». Читателя поражает обилие «архитектурных» стихотворений в «Камне». По словам Гумилева, «здания он (Мандельштам. — В.Н.) любит так же, как другие поэты любят горы или море»⁴⁹. Эти стихотворения не только переполнены прозрачной символической, но и специфически философичны. Вот, к примеру, о Notre Dame:

Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом — дуб и всюду царь — отвес.

Архитектурно совершенное здание означает для Мандельштама и выход в астральные измерения. Таково стихотворение «Адмиралтейство»:

«Ладья воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота — не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.

Нам четырех стихий приязненно господство;
Но создал пятую свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?

Сердито лепятся капризные Медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря,
И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря!»

Впоследствии у Мандельштама уже нет столь пристального внимания к архитектуре; он быстро преодолел время своего ученичества у Гумилева. Но это еще один аргумент в пользу того, что в начальную эпоху «Цеха поэтов» Мандельштам, как самый правоторный из учеников, стал рупором идей учителя, в том числе и тех, которые вскоре оказались ему чуждыми.

В поэзии XX века (в отличие от XVIII века) отсутствует жесткая жанровая регламентация. Все попытки оды, сонета и т.д. не пошли далее лабораторных экспериментов. Поэт уже не вития, он становится просто лириком — влюбленным, тоскующим, размышляющим. Очевидно, что масонская поэзия умозрительна; она обращена к интеллекту, а не к чувствам. Одним из основных предметов раздумий становится Слово как выразитель Божественных тайн. У Мандельштама Слово — камень, строительный материал. Кстати, поиски Слова относятся к главным направлениям «духовной работы» масона. Слова сошлемся на уже цитированный текст Лопухина: «Истинный Мастер сияния Света и потерянного Слова (Герметический Философ) тот, кому во всем творении открыто Слово Им же вся быша; и кто умеет, расторгнув падением сотканный покров тленности, извлечь первое нетленное вещество, первую видимую Оболочку Духа Натуры, излияния оного Слова, Солнца, Света неприступного: вещество, из коего земля и небо сожиздуются новыя»⁶⁰. В знаменитом стихотворении «Слово» Гумилев напоминает, что

«И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово — это Бог».

Божественное Слово противостоит приземленному числу, которое всего лишь «домашний, подъяремный скот». Это стихотворение — последний шедевр Гумилева.

Итоговый сборник Гумилева, вышедший в свет уже когда поэт находился в застенках ЧК, озаглавлен «Огненный столп». Здесь цитата из Библии. Воплотившись в огненный столп, Ягве вел евреев по Синайской пустыне после исхода из Египта. Но по масонским воззрениям огненный столп есть духовная сущность человека, заключенная в теле; этот внутренний духовный огонь сосредоточен в позвоночнике — спинном столбе⁶¹. Следовательно, название завершающего сборника Гумилева означает самосовершенствующегося человека (совлекающего с себя зетхого Адама — по масонской фразеологии). Вышеупомянутое «Слово» — одно из центральных стихотворений этого сборника. Он открывается программным стихотворением «Память», где Гумилев пишет о себе:

«Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,

Я возревновал о славе Отчей
Как на небесах, и на земле.

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,
Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны».

Понятно, что и слово, и столп огненный — элементы общехристианской символики. Однако явно прослеживаются специфические масонские оттенки.

После революции деятельность Гумилева приняла по-настоящему широкий размах. В то бурлящее время он становится одной из центральных фигур литературной жизни и признанным наставником молодого поэтического поколения. «Прах старого мира» каждый отряхивал по-своему. Тенденции, только наметившиеся во времена «Цеха поэтов», нашли свое воплощение в стенах легендарного Дома искусств. Гумилев организовал студию, где обучал восторженную молодежь поэтическому ремеслу. Юные стихотворцы должны были овладевать степенями словесного мастерства, подобно тому как «братья» в ложах по мере самосовершенствования поднимаются по масонским градусам. Занятия студии обставлялись с необычайной торжественностью, несмотря на убогость обстановки; изысканно учтивый мэтр казался всеведущим как маг. Творческие семинары превращались в игру. Понятно, что нестандартность духовного облика Гумилева ставила современников в тупик. В романтическом облике поэта — воина, путешественника, конквистадора — им трудно было разглядеть упорного искателя Внутреннего Света, одним из предназначений которого было «высыхать в глубине кабинета перед пыльными горами книг». В памяти потомков остался упрощенный Гумилев, чему способствовало, в первую очередь то, что почти столетие имя поэта в России было под запретом. На западе же он превратился в своего рода «русского Андре Шенье». Яркость легенды замораживала критическую мысль.

В русском масонстве XX века не так уж часто встречаются столь же обаятельные личности, как М.А. Осоргин. Имя его овеяно ореолом праведности. Вступив в активную жизнь рядовым членом партии эсеров, он прошел через Таганскую тюрьму, бегство за границу, долгие годы политического изгнания. К литературе Осоргин шел через журналистику, вероятно, даже не подозревая, что в конце-концов она окажется его настоящим призванием. Уже в начале 1910-х годов он широко известен как корреспондент «Русских ведомостей» в Италии; тогда же имело место его посвящение в масонство в одной из итальянских лож (правда, деятельным масоном он в этот период не был). По преданию, это была та самая ложа, в которой некогда состоял Байрон.

Несколько лет Осоргину суждено было провести на родине. Эти годы кажутся коротким интервалом между его двумя изгнаниями. Он вернулся в Россию в 1916 году, когда старый режим шатался, и у верхов уже не доходили руки до таких, с их точки зрения, незначительных фигур революционного лагеря. Иначе повела себя большевистская диктатура, быстро разглядевшая в Осоргине своего непримиримого противника. Окончательно его погубило (как сто пятьдесят лет назад и Новикова) активное участие в борьбе с голодом. Он стал одним из лидеров Всероссийского комитета помощи голодающим, объединившего широкие круги общественности. Большевистское правительство

столкнулось с сильной филантропической организацией, получавшей финансовую поддержку Запада. Подобное было нетерпимо. Осоргин был арестован, провел два месяца в подвалах Лубянки, сослан, возвращен в Москву и, наконец, на печально знаменитом «философском пароходе» навсегда покинул Россию.

Осоргин стал писателем поздно — только в период своей второй эмиграции. Тогда же он вновь присоединился к ордену «вольных каменщиков», где быстро достиг высоких степеней; он был оратором в ложе «Северная Звезда», наиболее влиятельной и элитарной из русских лож. Каково было его духовное влияние, можно представить хотя бы из слов Н.Берберовой: «Девять из десяти образованных людей, среди которых мы жили, — масоны». В своей роли Осоргин проявил себя прямым продолжателем новиковских традиций. Цели движения так определены им в одной из речей при посвящении новых «братьев» (вообще эти речи Осоргина представляют собой блестящие эссе; их можно назвать подлинными шедеврами масонской литературы): «Масонство вовсе не система нравственных положений, и не метод познания, и не наука о жизни, и даже, собственно, не учение... Братство вольных каменщиков есть организация людей, искренне верящих в приход более совершенного человечества. Путь к совершенствованию человеческого рода лежит через самоусовершенствование при помощи братского общения с избранными и связанными обещанием такой же над собой работы. Значит — познай себя, работай над собой, помогай работе над собой другого, пользуйся его помощью, умножай ряды сторонников этой высокой идеи. Иначе — союз нравственной взаимопомощи»⁶². Другими словами, братство «вольных каменщиков» — альянс деятельных людей, объединенных целью совершенствовать себя и мир.

Главным Осоргин считал «нравственную работу»; именно поэтому он бдительно пресекал попытки направить деятельность «Северной Звезды» на путь прямой борьбы с большевизмом. (Надо сказать, что это гораздо больше соответствовало воинствующему духу «нового русского масонства», чем традиционалистская позиция Осоргина, казавшаяся подчас донкихотством.) Вскоре стало очевидным, что Осоргин был прав. Русским масонам правомерно было ставить политические цели тогда, когда они действовали в России. Но в эмиграции это было чревато лишь тем, что всплыли бы взаимные обиды и разногласия исторических неудачников. Короче, масонство оказалось бы раздираемым эмигрантскими склоками. Осоргину удалось это предотвратить. Под конец жизни, став Достойтым Мастером «Северной Звезды», он взял на себя миссию объединить русское масонство в единое целое. Новая мировая война решительно разрушила планы старого писателя.

Повесть Осоргина «Вольный каменщик» (1937) как бы завершает разработку масонской темы в русской литературе. Эта повесть целиком выдержана в традициях отечественной классики. Главный герой — маленький человек, отдаленный потомок «станционного смотрителя». Волею судьбы он оказался вместо родной Казани в многоязычном Париже. Его зовут Егор Егорович Тетехин (французы произносят Тэтэкин). Но, кажется, в его жизни мало что изменилось. Тетехин быстро приспособился, занял уютное чиновничье место и продолжает влачить спокойное обывательское существование (все как на родине). Неожиданно для самого себя он вступил в ложу «вольных каменщиков». Осоргин ставит целью показать, что дает масонство немудрствующему заурядному человеку. Его герой постепенно преобразуется. Тетехину оказываются

доступными высокие истины; он обретает подлинное братство — и все это на фоне того, что с внешней стороны его жизнь разрушена: он потерял работу в связи с кризисом, его покинула семья. Маленький человек из российской провинции отесал свой грубый камень и нашел ему место среди таких же камней, отесанных руками парижских «братьев».

Смешной, трогательный в своей наивности Тетехин — последний масон русской литературы. Этот глубоко человеческий образ трудно забыть; ведь им проросло одно из семян, брошенных в родную почву щедрой рукой Новикова.

Подведем итоги. Следы российского масонства теряются в концлагерях; и в России сталинской, и в России «развитого социализма» оно было невозможным, как любое проявление духовной независимости и инакомыслия. Уже в 1920 году на IV конгрессе Коминтерна Троцкий заявил, что «масонство — мост, соединяющий в мирном сожительстве классовых врагов»; это «буржуазное орудие, усыпляющее сознание пролетариата», нетерпимо в стране рабочей диктатуры. Следует отметить, что аналогичные обвинения были выдвинуты и против толстовства. К масонству Троцкий всегда был непримирим. В «Моей жизни» он с ехидством писал: «Французские мелкобуржуазные парламентарии, стремясь противопоставить расплывающейся силе современных отношений некоторое подобие нравственной связи людей между собою, не находят ничего лучшего, как надеть белый фартук и вооружиться циркулем или отвесом. Сами они при этом, собственно, имеют в виду не строить новое здание, а лишь проникнуть в давно построенное здание парламента или министерства»⁵³. Подобно многому другому в «цветущей красочности» национальной жизни, масонство было насильственно изъято из отечественной действительности жестоким «веком-волкодавом», по выражению О.Мандельштама.

Последние отзвуки масонства можно обнаружить в литературе 1920-х годов. Это была эпоха, когда «по свежим следам» были сделаны первые попытки осмыслить всероссийский катаклизм. Именно художественные свидетельства тех лет показывают нам, потомкам, как наиболее прозорливые современники воспринимали разразившуюся катастрофу. Например, один из героев «Голого года» Пильняка, страстный книжник и активный эсеровский агитатор Зилотов, видит в пятиконечной звезде на шлемах красноармейцев подобие масонской пентаграммы, означающей своим появлением новое скрещение России с Западом, которое ожидали и упорно готовили «вольные каменщики».

Роман Андрея Белого «Москва» принадлежит к крупнейшим, но до сих пор не вполне оцененным произведениям русской литературы XX века. Писатель ярко показывает «взбудораженность умов» накануне революции. Одна из центральных фигур романа — международный авантюрист Мандро — германский агент и масон, некогда состоявший в одной ложе с Муссолини. Эта злобная личность олицетворяет силы, поставившие своей целью сокрушить Россию. Ни у Пильняка, ни у Андрея Белого нет ни слова о культурно-нравственной работе «вольных каменщиков»; они оба считают масонов чисто политическим тайным союзом. Даже больше: через роман «Москва» в большую литературу впервые проникли слухи о мировом «масонском заговоре».

После Осоргина также и зарубежное русское масонство уже не двигало крупных культурных фигур. Оно как бы исчерпало себя, превратившись в обыкновенный «мужской клуб». Можно было бы говорить, что «масонская идея» выдохлась за сто пятьдесят лет после смер-

ти Новикова, если бы не пример того же Осоргина. Русская культура — сложнейший конгломерат; она создавалась литераторами, художниками, архитекторами, музыкантами самых разных эстетических направлений, политических взглядов, психологического склада. Массонская струя в русской культуре больше чем очевидна — и не только потому, что слишком многие из главных творцов ее принадлежали к братству «вольных каменщиков». Особенно большой вклад масонство внесло в русскую архитектуру и русскую поэзию, где целые направления формировались под воздействием философии этого тайного ордена «искателей истинного света». Продолжателями «духовной работы» масонов были Л.Н.Толстой и толстовцы — самые неистовые «нравственные мученики» XIX века. Да, пожалуй, именно в области этических поисков непреходящ вклад «вольных каменщиков» в русскую культуру.

Если же взглянуть шире, то исторически двойственная роль русского масонства становится очевидной. Ложи объединяли слишком разных людей, которые шли туда подчас с совершенно противоположными целями. Наряду с просветителями в ложах были мистики. Вождь декабристов Пестель сидел на одной скамье с будущим шефом жандармов Бенкендорфом. Пьеру Безухову, когда прошла первоначальная эйфория, было трудно забыть, что его «братья по каменщичеству» на самом деле слабы и ничтожны. Дело кончилось тем, что «из-под масонских фартуков и знаков он видел на них мундиры и кресты, которых они добивались в жизни»⁶⁴. Не столь уж несправедлив вывод Бердяева, что «масонство не столько есть тайная мировая организация... сколько есть форма тайного общества, которой пользуются все силы, все организации, все партии для осуществления своих целей, как злых, так иногда и добрых»⁶⁵.

Действительно, из масонства вышли не только декабристы, но и итальянские карбонарии и греческие гетеристы. Впрочем, в XX веке выдающийся революционер П.А.Кропоткин уже рассматривал масонство как проверенную десятилетиями форму, способную соединить на общей почве представителей противоборствующих социальных сил и тем предотвратить неизбежный государственный катаклизм⁶⁶. С другой стороны печально знаменитая итальянская ложа «П-2» в наши дни стала организующим центром целого ряда международных афер.

Запрет масонских лож в России в 1822 году был обусловлен не только тем, что многие из них превратились в ячейки тайного революционного общества, но и потому, что масонство в целом было раздраемо внутренними противоречиями. Задачу правительству облегчил один из столпов «вольнокаменщичества» Директориальный руководитель ложи «Астрея» сенатор Кошелев. В записке, поданной Александру I, он сам предложил закрыть те ложи, в работах которых не соблюдаются древние установления. Самого себя он предлагал поставить во главе русского масонства, обязуясь направить его в «правильное русло». Но император поступил проще и решительнее.

Правда, все это имеет к специфически культурной сфере лишь косвенное отношение.

Приношу глубокую благодарность за советы и помощь в работе кандидату исторических наук А.И.Серкову (Россия) и доктору Е.П.Кваадграсу (Нидерланды).

Прот. Георгий Флоровский

Пути русского богословия

Главы из книги

Масонство было событием в истории русского общества, того нового общества, которое родилось и сложилось в петровском переполохе. Это были люди, потерявшие «восточный» путь и потерявшиеся на западных. Вполне естественно, что новый путь они нашли с западного перекрестка... Первое петровское поколение было воспитано на началах служилого утилитаризма. Новый культурный слой слагается из «обратившихся», т.е. принявших реформу. Именно этим приятием или признанием и определяется в то время принадлежность к новому «классу». И новые люди привыкают и приучаются все свое существование осмысливать в одних только категориях государственной пользы и общего блага. «Табель о рангах» заменяет и символ веры и самое мировоззрение... Сознание этих новых людей экстравертировано до надрыва. Душа теряется, растеривается, растворяется в этом горячем прибое внешних впечатлений и переживаний. В строительной сутолоке петровского времени некогда было одумать и опомниться. Когда стало свободнее, душа уже была растрчена и опустошена. Нравственная восприимчивость притупилась. Религиозная потребность была заглушена и заглохла. Уже в следующем поколении начинают с тревогой говорить «о повреждении нравов в России». И, скорее, недоговаривают до конца. То был век занимательных авантюр и наслаждений повсюду... История русской души в XVIII веке еще не написана. Мы знаем из нее только отрывочные эпизоды. Но и в них так ясно слышится и отдается эта общая усталость, и боль, и тоска... От лучших людей екатерининского времени мы знаем, какой опаляющий искус приходилось им проходить в искании смысла и правды жизни, в этот век легкомыслия и беспутства, чрез стремнины хладного безразличия и самого жгучего отчаяния. Для многих из них вольтерианство было подлинной болезнью, нравственной и душевной... Во вторую половину века начинается духовное пробуждение. Это было

пробуждение от тяжкого духовного обморока. Неудивительно, что слишком часто оно походило на истерику. «Пароксизм совестливой мысли», — говорил об этом масонском пробуждении Ключевский... Но это не был только пароксизм. Вся историческая значительность русского масонства была в том, что это была психологическая аскеза и собирание души. В масонстве русская душа возвращается к себе из петербургского инобытия и рассеяния... Это был не только эпизод, но этап в истории нового русского общества. К концу семидесятых годов масонское движение охватывает почти что весь тогдашний культурный слой — система масонских лож своими побегami насквозь прорастает его, во всяком случае... В истории русского масонства было много споров, разделений, колебаний. Первые русские ложи были, в сущности, кружками деистов, исповедовавших разумную мораль и естественную религию, стремившихся к моральному самопознанию. Таковы были ложи первого Елагина¹ союза — (ср. еще «Конституции» Андерсона²). Сперва не было различия и разделения между «фармазонами» и «вольтеристами». Мистическая струя пробивается несколько позже (срв. искание «высших степеней» у Рейхеля³, так наз. «система слабого наблюдения»). Но именно кружок московских розенкрейцеров и был самым важным и влиятельным из русских масонских очагов того времени... Масонство есть некий орден, прежде всего, светский и тайный, с очень строгой дисциплиной, не только внешней, но и внутренней. Именно эта внутренняя дисциплина, или аскеза (не только здравая душевная гигиена) и оказалась всего важнее в общей экономии масонского действия, — тесание «дикого камня» сердца человеческого, как говорили тогда. И в этой «аскезе» воспитывался новый тип человека. С этим типом мы встречаемся в следующую эпоху, в «романтическом» поколении — сейчас уже бесспорно, что у романтизма вообще были «окультурные истоки»... Это было сентиментальное воспитание русского общества — пробуждение сердца. В масонстве впервые будущий русский интеллигент опознает свою разорванность, раздвоенность своего бытия и начинает томиться о цельности и тянуться к ней. Это искание, тоска и тяга повторяются позже в поколении «тридцатых годов» (и сороковых), в частности у славянофилов. Психологически славянофильство вырастает именно из екатерининского масонства (и совсем не из усадебного быта)...

Масонская аскеза вбирает в себя очень разные мотивы. Здесь было и рассудочное равнодушие стоического типа, и утомление житейской суетой, и докетическая брезгливость,

иногда «прямая любовь к смерти» («похоронный экстаз»), и подлинная трезвость сердца. В масонском обиходе была разработана сложная методика самонаблюдения и самообуздания. «Умереть на кресте самоотвержения и истлеть в огне очищения» — так определял задачу «истинного франк-масона» И.В. Лопухин. Борьба с самостью и рассеянием, собиравшие чувства и помыслов, отсечение страстных желаний, «образование сердца», «насилование воли». Ибо корень и седалище зла именно в этой самости, в этом своеволии... «Ни о чем столько не прилежи, как чтобы быть в духе, в душе и в теле совершенно без я»... И в этой борьбе с самим собою снова необходимо избегать всякого своеволия и самолюбия. Не искать или избирать для себя крест; но нести его, если и когда он дан. Не столько устраивать свое спасение, сколько надеяться на него и радостно смиряться под волю Божию... Масонство проповедовало строгость и ответственность жизни, нравственную самодеятельность, нравственное благородство, воздержанность и бесстрашие, самопознание и самообладание, «добродетель» и «тихую жизнь» «посреди сего мира, не прикаясь сердцем к суетам его»... Нужно высвободить в самом себе «внутреннего человека» из-под засилия плотяности, «совлечься ветхого Адама» — «ищи в самом себе истину»... Но масонство требовало не только личного совершенствования, а еще и деятельной любви — «первое явление, начало и корень царства Иисусова в душе». И филантропическая деятельность русских масонов того времени достаточно хорошо известна... Мистическое масонство было внутренним противодействием просветительному духу. В «теоретическом градусе» весь пафос оборачивался против «измышлений слепотствующего разума», против «лжемудрований Волтеровой шайки». Ударение переносится на интуицию. Это был второй полюс XVIII века. Этот скептический век был вместе и веком пиетическим. Фенелон в это время был популярен не меньше самого Вольтера. И «философия веры и чувства» для этой эпохи не менее характерна, чем самая «Энциклопедия». То была эпоха сентиментализма... Сентиментализм с масонством связан органически. Сентиментализм не был только литературным направлением или движением. Это было сперва именно мистическое движение, это был религиозно-психологический сдвиг. И его истоки нужно искать в испанской, голландской и французской мистике XVI и XVII веков... Это было воспитание души в мечтательности и чувствительности, в какой-то постоянной задумчивости и в некой «святой меланхолии» (ср. душевный путь молодого Карамзина, позже

— развитие Жуковского). И не всегда это бывало собиранием души. Привычка слишком пристально следить за самим собою гораздо чаще оказывалась квинетивом воли. Люди тех поколений легко и часто заболели «рефлексией», и в сложении типа «лишнего человека» вряд ли не всего сильнее повлияло именно это «сентиментальное воспитание»⁴. В «святой меланхолии» всегда есть некий привкус скептицизма... Люди тех поколений привыкли жить в элементе воображения, в мире образов и отражений, — и не то они провидели тайны, не то грезили наяву. Не случайно в эту эпоху повсюду пробуждается с таким напряжением творческая фантазия, вся эта сила поэтической пластики и лепки. «Прекрасная душа» становится парадоксально впечатлительной, вся вздрагивает и трепещет от всякого малейшего шороха в бытии. С конца XVII века уже сильны апокалиптические предчувствия. Для эпохи типично так называемое «пробуждение» («Erweckung») именно в массах. Теоретическая апелляция к сердцу уже вторично свидетельствует о его пробуждении. «Прибой благодати», *Durchbruch der Gnade*, как говорили пиетисты, — это было прежде всего непосредственное переживание, дар опыта... С такой мечтательностью «бесстрастие» вполне совместимо. В тогдашнем мистицизме была сдержанность воли, но не было трезвости сердца и воображения... Так выросло новое душевное поколение. Не случайно розенкрейцер А.М.-Кугузов перевел «Ночные мысли» Юнговы (*The Complaint of Night-thoughts*). Это не только исповедь сентиментального человека, но и мистический путеводитель этого нового пробужденного и чувствительного поколения. «Тогда же два раза прочитал я как благовестие, не как поэму, «Юнговы ночи», — вспоминает один из людей того времени... Следует оговорить: эта меланхолическая «философия вздохов и слез» была только преображенным гуманизмом. «Будь человеком, ты будешь богом, и притом наполовину создавшим самого себя» — *O me a man, and thou shalt be a god! And half self-made...* Только человек призван не только к внешней активности, но и к внутренней, к «серафическим грезам», — «не для обширного знания и не для глубокого понимания создано человечество, а для удивления и для благоговейных чувств». То был призыв ко внутреннему собиранию. «Наши внешние действия стеснены, — властвовать надо не над вещами, а над мыслями, — охраняй как можно лучше свои мысли, им внемлет Небо»... Такое настроение становится психологическим заслоном против вольнодумства...

О Шварце рассказывают, что на своих лекциях очень час-

то занимался он именно разбором «вольнодумческих и безбожных книг» — Гельвеция, Спинозы, Руссо — и рассеивал «сии восстающие мраки». Как вспоминает А.Ф.Лабзин, «простое слово Шварца исторгало из рук многих соблазнительные и безбожные книги, и поместило на их место Святую Библию»... В мистическом обороте была богатая литература, печатная и рукописьменная, всего больше переводная (ср. деятельность «Типографической Компании», открытой в Москве с 1784 года, и тайных типографий). Здесь были прежде всего западные мистики недавнего прошлого. Всего больше читали Беме, Сен-Мартена, еще Иоанна Масона. С.И.Гамалея перевел всего Беме (перевод не был издан). Переводили Вал. Вейгеля, Гихтеля, Пордеча. Очень много было переведено «герметических» авторов: Веллинг, Кирвегер, *Vividarium chimum* — «Химическая псалтырь» Пена, Хризомандер, Р.Р.Флудд. Кроме того, довольно пестрый подбор книг, старых и новых, — Макарий Египетский, Августина избранные сочинения, Ареопагитики, даже Григорий Палама, книга «О Подражании», Иоанна Арндта «Об истинном христианстве», Л.Скуполи, Ангел Силезий, Бениан, Молинос, Пуарет, Гион, Дузетаново «Таинство Креста». В ложах читали много, и предписывался строгий порядок или последовательность чтения, под смотрением и ведением мастеров. Но не меньше читали и сторонние люди. Издания московских масонов расходились хорошо... Так вдруг и сразу рождавшаяся русская интеллигенция получила целую систему мистических возбуждений и включилась в западную мистико-утопическую традицию, в ритм пореформационного мистицизма. Приучались и привыкали читать квиетических мистиков и пиетистов, отчасти же и Отцов (у Елагина в его последние годы целая система отеческого чтения, кажется, в противовес Шварцу)...

Культурой сердца масонство не исчерпывалось. В масонстве своя метафизика, своя догматика... Именно в своей метафизике масонство было предвосхищением романтизма, романтической натурфилософии. И опыт московских розенкрейцеров (а потом александровского масонства) подготовил почву для развития русского шеллингианства, проросшего от тех же магических корней (ср. прежде всего образ кн. В.Ф.Одоевского). В этой магической мистике, в этой «божественной алхимии» особенно важны два мотива. Во-первых, живое чувство мировой гармонии или всеединства, мудрость земли, мистическое восприятие природы. «Всегда у нас перед очами Отверста книга естества. В ней пламенными словесами Сияет мудрость Божества»...⁵ Во-вторых, острое антропоцентричес-

кое самочувствие — человек есть «экстракт из всех существ»... Натурфилософия не была случайным только эпизодом или каким-то наростом в масонском мировоззрении — это была одна из основных его тем (срв. «Пастырское Послание» графа Гаугвица, 1785, в переводе А.Петрова). Это было пробуждение религиозно-космического чувства: «натура есть дом Божий, где живет сам Бог». Это было пробуждение поэтического и метафизического чувства природы (ср. оживание природы в «сентиментальном» восприятии того же XVIII века). Однако в последнем счете эта масонская мистика тяготеет к развоплощению. Символическим истолкованием весь мир настолько истончается, что почти перерождается в некую тень... Догматически масонство означало, в сущности, возрождение платонизированного гностицизма, обновившегося уже со времен Ренессанса. Основным здесь было понятие «падения» — «искорка света», плененная во тьме. Для масонства очень характерно это острое чувство не столько греха, сколько именно нечистоты. И разрешается оно не столько покаянием, сколько воздержанием. Весь мир представляется поврежденным и больным. «Что есть мир сей! Зеркало тленности и суеты»... Отсюда жажда исцеления (и исцеления космического). Этой жаждой прежде всего и возбуждается «искание ключа к таинствам натуры»... Среди екатерининских масонов самостоятельных писателей или мыслителей не было. Шварц, Новиков, Херасков, Трубецкой, А.М.Кутузов, Ив.П.Тургенев, Ф.Ключарев, И.Вл.Лопухин, Зах.Корнеев, Гамалея — все они только подражатели, переводчики, эпигоны. Этим, впрочем, несколько не умаляется их влияние. В 80-х годах весь Московский университет стоял, собственно, под знаком масонства. «Набожно-поэтическое» настроение сохранилось и в университетском Благородном пансионе, учрежденном позже... Оригинальное претворение все это мистическое влияние получило только в творчестве Г.С.Сковороды (1722—1794). Он сам вряд ли состоял когда-либо в масонских ложах, но с масонскими кругами был близок. Во всяком случае, он принадлежит к тому же именно мистическому типу. Всего ближе созвучен он именно с немецкой мистикой XVI—XVII вв., с Валентином Вейгелем больше, чем с Я.Беме. Вместе с тем у него очень сильны эллинистические мотивы... Ковалинский в своем «житии» Сковороды перечисляет его любимейших писателей: Плутарх, Филон Иудеянин, Цицерон, Гораций, Лукриан, Климент Александрийский, Ориген, Нил, Дионисий Ареопагитский, Максим, «а из новых относительно к сим». Патристические воспоминания скрепчиваются у Сковороды с

мотивами платонического Ренессанса... Очень сильно у Сковороды влияние латинских поэтов, в том числе и новых, например Мурета, которого он часто только переводил. В этом можно видеть влияние школы. Впрочем, его поэтика, которую он составил для переяславской семинарии, показалась совсем непривычной... Во всяком случае, в латыни Сковорода был сильнее, чем в греческом. Это отмечает и Ковалинский: «Говорил весьма исправно и с особливою чистотою латинским и немецким языком, и довольно разумел еллинской»... Латинский его стиль легок и прост, а в греческом он и вообще нетверд. Любопытно, что пользуясь Плутархом в двойном греко-латинском издании, он читает именно латинский перевод... Эллинизм Сковороды не был прямым и непосредственным, и его филологическое вдохновение преувеличивать не приходится... Библию он всегда приводит по елизаветинскому изданию, а вся его мистическая филология попросту взята у Филона... Как сложилось мировоззрение Сковороды, сказать трудно. Не знаем в точности, где бывал он и с кем встречался он за границей. Вероятно, что уже в Киеве он вошел во все эти стоические, платонические и пиетические интересы... В образе Сковороды особенно характерно его странничество, его безытность («сердце гражданина всемирного»), почти что призрачность. Особенно сильно чувствуется в этом аскетический пафос, собирание мыслей, погашение волений (как ненасытности), уход из «пустоши» этого мира в «сердечные пещеры». Мир Сковорода воспринимает и толкует в категориях платонизирующего символизма: — «он всегда и везде при своем начале, как тень при яблоне»... Тень и след — его любимые образы... Для Сковороды основным было именно это противопоставление двух миров: видимого, чувственного, и невидимого, идеального — временного и вечного... Сковорода всегда с Библией в руках («глава же всем Библия», замечает Ковалинский). Но Библия есть для него именно книга философских притч, символов и эмблем, некий гиероглиф бытия. «Мырь символичный, сиречь Библия», говорит сам Сковорода. Об историческом понимании Библии он отзывается резко: «Сии исторические христиане, обрядные мудрецы, буквальные богословы». Он ищет «духовного» разумения, видит в Библии руководство духовного самопознания. Любопытно, что к монашеству Сковорода относился совершенно отрицательно. «В монашестве, — говорит Ковалинский, — видел он мрачное гнездо спершихся страстей, за неимением исхода себе, задушающих бытие смертоносно и жалостно»... Странничество Сковороды в известном смысле было именно

его уходом из Церкви, из церковной истории («потенциал сектанта» у Сковороды признавал даже Эрн) и возвращением к «натуре», своего рода пиетический руссоизм. У него была уверенность к природе: «вся экономия во всей природе исправна»...

Масонский опыт дал много новых и острых впечатлений рождавшейся тогда русской интеллигенции. Вполне сказывается это уже в следующем поколении, на грани нового века... Этот опыт был опытом западным. И в последнем счете этот бесцерковный аскетизм был пробуждением мечтательности и воображения. Развивается какая-то нездоровая искательность духа, мистическое любопытство... Вторая половина века вообще отмечена каким-то мечтательным и мистическим подъемом и в народных массах. Это было время развития или возникновения всех основных русских сект — хлыстовства, скопчества, духоборства, молоканства... В александровскую эпоху эти два потока, верхний и низовой, многообразно скрещиваются. Тогда вскрывается их внутреннее сродство, общим было именно это «томление духа», иногда мечтательное, иногда экстатическое... Следует отметить еще, что уже в екатерининское время создаются в России крепкие поселения или колонии немецких сектантов разных типов — гернгутеров, меннонитов, «моравских братьев»⁶. Их влияние в общей экономике душевной жизни эпохи до сих пор не было достаточно распознано и учтено, — хотя в александровское время оно было совершенно очевидным. Большинство из этих сектантов принесли с собою именно эту апокалиптическую мечтательность, часто и прямой адвентизм, склонность к иносказаниям и «духовному» толкованию Слова Божия... Любопытно, что поселение гернгутеров в Сарепте было одобрено особой комиссией, при участии Дмитрия Сеченова митрополита Новгородского, рассматривавшей и догматическое учение «евангельских братьев»; и Синод признал, что это братство в своей догматике и дисциплине более или менее приспособляется к порядкам первоначальных христианских общин (на это благоприятное заключение Синода есть прямая ссылка в именном указе 11 февраля 1764 о переселении братьев). Синод не признал удобным открыто разрешить переселенцам миссионерскую деятельность среди инородцев, как они того настойчиво просили; это и было им разрешено неформально. Впрочем, эта деятельность большого развития не получила.

Отношение екатерининского масонства к церкви было двойственным. Во всяком случае, внешнего благопочтения

масоны никогда явно не нарушали. Многие из них исполняли все церковные «должности» и обряды. Иные прямо настаивали на совершенной неизменности и неприкосновенности чинов и обрядов, «наипаче религии Греческой». Однако привлекал их православный обряд богатством и пластичностью своих образов и символов. Масоны ценили в Православии именно эту традицию символов, уходящую своими корнями все в ту же античную древность. Но всякий символ есть для них только прозрачный знак, путеводная помета, и нужно восходить к означаемому. Это значит: от видимого к невидимому, от «исторического» христианства к духовному или «истинному», из видимой Церкви в Церковь «внутреннюю». Такой «внутренней Церковью» масоны и считали свой орден, и в ней были свои обряды и «тайны». Это снова александрийская мечта об эзотерическом круге избранников и посвященных, хранящих тайные предания, — истина открывается только немногим и избранным, в порядке чрезвычайного озарения... В масонских ложах бывали членами и духовные лица, правда, очень редко... Когда в 1782 году московские масоны открыли свою «переводческую семинарию» (т.е. составили особую группу своих стипендиатов), в нее кандидатов они выбирали из провинциальных семинарий, по сношению с местными архиереями... При розыске 1786 года митрополит Платон⁷ нашел Новикова образцовым христианином. Но мерило у Московского митрополита не было очень твердым...

Мистическое напряжение чувствуется в обществе с самого начала века. Оживают и вновь открываются масонские ложи. Возобновляется мистическое книгоиздательство. Это было возрождение новиковских традиций. Вновь выступают и продолжают действовать люди, сложившиеся еще тогда: Лопухин, З.Корнеев, Кошелев, И.Тургенев, Лабзин... Для начала века всего характернее деятельность Лабзина (1766—1825). Уже в 1800 году он, тогда конференц-секретарь Академии художеств, открывает в С.-Петербурге ложу «Умиряющего Сфинкса». Это был замкнутый и обособленный кружок розенкрейцеров. Сам Лабзин был в свое время восторженным слушателем Шварца. При Павле он переводил с немецкого историю Мальтийского ордена (совместно с А.Вахрушевым, изд. 1799—1801 гг.). Теперь он повторяет московский опыт 1980-х годов... Лабзин действительно сумел повторить типографический опыт того времени. Уже в 1803 году он возобновляет издание мистических переводов Юнга Штиллинга и Эккартсгаузена больше всего. Это были его главные авторитеты, или «образцы», и еще Беме и Сен-Мартен, отчасти же и

Фенелон. В 1806 году Лабзин предпринимает издание «Сионского Вестника». В эти годы общая политическая обстановка еще не была благоприятна для такого издательства. Лабзин принужден был приостановить свой журнал. Лабзин сам указывает образец, которому следовал, — это были «Христианский магазин» Пфеннингера и Эвальда «Christliche Monatsschrift»... Действительный размах мистическое книгоиздательство вообще получает у нас уже только после Отечественной войны, в связи с деятельностью Библейского общества. «Сионский Вестник» возобновляется уже только в 1817 году «по Высочайшему повелению», но снова ненадолго... На эти «мистические книги» был тогда достаточный спрос. Эти книги были тогда в руках у многих (мы можем о том судить по признаниям и воспоминаниям современников). Для той эпохи характерно, что мистицизм становится общественным течением и одно время даже пользуется правительственной поддержкой. Создается мистическое силовое поле. И в биографиях людей того времени мы обычно встречаем «мистический» период или хоть эпизод... Проповедь Лабзина была проста и типична. Это смесь квиетизма и пиетизма — проповедь «пробуждения» или «обращения» прежде всего... Это был призыв к самонаблюдению и раздумью. И все внимание было сосредоточено именно на этом моменте «обращения». Это был единственный «догмат», который в новом учении признавался существенным. Отречение от горделивого разума в богословии приводило к агностицизму (иногда почти что к афазии). Весь религиозный опыт расплывался в какую-то смесь пленительных и томительных переживаний. «В Священном Писании мы вовсе не видим никаких условий со стороны понятий о вещах Божественных». Разуму с его понятиями противопоставляется Откровение. Но не столько Откровение историческое или писанное, сколько «внутреннее», т.е. некое «озарение», или «иллюминация». «Священное Писание есть немой наставник, указующий знаками на живого учителя, обитающего в сердце»... Не так важны догматы и даже видимые таинства, сколько именно эта жизнь сердца. Ведь «мнениями» нельзя угодить Богу. «Мы не найдем у Спасителя никаких толков о догматах, а одни только практические аксиомы, поучающие, что делать и чего удаляться». И потому все разделения между исповеданиями от гордости разума. Истинная Церковь шире этих наружных делений и состоит из всех истинных поклонников в духе, вмещает в себя и весь род человеческий. Это истинно вселенское, или «универсальное», христианство расплывается в толковании Лабзина в некую

сверхвременную и сверхисторическую религию. Она одна и та же у всех народов и во все времена, и в книге Натуры и в Писании, и у пророков, и в мистериях и мифах, и в Евангелии. Единая религия сердца... У каждого есть свое тайное летосчисление, своя эра — от дня рождения или обращения, от дня рождения или вселения Христа в сердце...

Для всей этой мистики очень характерно резкое различие ступеней или степеней, и эта несдержанная стремительность в искании или приобретении каких-то «высших» степеней или посвящений. Только «низший класс людей едва оглашенных» довольствуется обрядовым благочестием в исторических церквях... В этой мистике мечтательность и расщепленность странно сплетаются, есть в ней прекраснотупное упрощение всех вопросов, чрезмерная прозрачность и ясность. «Его разум представлял все ясно и просто, основывал все на законах необходимости и на законе, соединяющем видимое с невидимым, земное с небесным. Итак, — думал я, — есть наука религии — это было для меня большое и важное открытие» (М.А.Дмитриев⁸ в своих воспоминаниях о Лабзине)... О Лабзине мнения расходились. Многих привлекало и примиряло с ним его резкое и решительное выступление против вольтеррианства и всякого вольнодумства. Это отмечает о нем даже Евгений Болховитин: «Многих отвратил если не от развращения жизни, то от развращения мыслей, бунтующих против религии». Филарет признавал за Лабзиным чистоту намерений. «Он был добрый человек, только с некоторыми особенностями в мнениях религиозных»... Другие судили о нем гораздо резче и совсем непримиримо. Иннокентий Смирнов считал переводческую деятельность Лабзина вполне вредной и опасной, и у него были единомысленники. Фотий видел в Лабзине одного из самых главных начальников ересей. Действительно, Лабзин был очень нескромен, настойчив и навязчив в своей пропаганде. Он не был терпим, у него был пафос обращения. И он имел успех. В его ложу входили, кажется, и духовные лица (называют двух архимандритов, Феофила и Иова). В ложу Лабзина входил и Витберг. Любопытно, что именно для лабзинской ложи «Умирающего Сфинкса» был написан Херасковым известный гимн «Коль славен», этот типичный образец мистико-пиегического стихосложения того времени.

Другим очень стильным представителем тогдашних «мистических» настроений был Сперанский (1772 — 1834). Как и Лабзин, это был в сущности человек еще предыдущего века. Оптимист и резонер Просветительной эпохи в нем

чувствуется очень остро. Современников Сперанский удивлял и даже пугал своей крайней от всего отвлеченностью. Он был силен и смел только в элементе отвлеченных построений, схем и форм, а в жизни сразу уставал и терялся, не всегда умел соблюсти даже нравственный декорум. От своей природной рассудочности Сперанский не только не освободился чрез многолетнее чтение мистических и аскетических книг, но в этом искусстве медитаций его мысль стала еще суше, хотя бы и тверже. Он достиг не столько бесстрастия, сколько бесчувствия. В этой рассудочности вся сила Сперанского, и в ней же его немочь. Он стал неподражаемым кодификатором и систематиком, он мог быть бесстрашным реформатором. Но его мысли не живут. Они часто бывают яркими, но остаются и тогда ледяными. И всегда есть что-то нестерпимо риторическое во всех его делах и речах. В его ясности и прозрачности было что-то оскорбительное, потому что его никто не любил, да и сам он вряд ли кого любил. Это был очень умышленный и надуманный человек. Он слишком любил симметрию, верил во всемогущество уставов и во всеилие форм (в этой оценке сходятся Филарет и Ник.И.Тургенев). При всей смелости своего логического проектирования Сперанский самостоятельных идей не имел. Его ясный ум не был глубоким. Его мировоззрение было каким-то беззвучным, вялым, в нем не хватает именно мужества или живости. Самое страдание он воспринимает как-то мечтательно... Сперанский не был мыслителем... И тем характернее, что человек такого типа и стиля был увлечен и вовлечен в мистический водоворот... Сперанский был из духовного звания, прошел обычный курс духовной школы, потом был учителем и даже префектом в той же Александровской главной семинарии, где учился. Но богословием заинтересовался он только позже. Около 1804 года он сближается с И.В.Лопухиным и под его руководством вдается в мистическое чтение. В эти годы он читает всего больше «теософические» книги — Беме, Сен-Мартена, Сведенборга. Только позже, уже в ссылке, в Перми и в Великополье, переходит он к «мистическому богословию», т.е. к квиетической мистике, отчасти и к Отцам, переводит книгу «О Подражании». В то же время он учится по-еврейски, чтобы читать Библию по-еврейски, еще позже начинает учиться по-немецки, уже в Пензе... Для Сперанского очень характерно типическое тогда различие «внешнего» и «внутреннего», скорее даже разрыв между ними. К истории Сперанский был более, чем равнодушен, об «историческом» и «внеш-

нем» христианстве отзывался неприязненно и резко: «Сие обезображенное христианство, покрытое всеми цветами чувственного мира». Своему школьному другу П.А.Словцову он писал однажды: «Искать в Св.Писании наших бесплодных и пустых исторических истин и суесловного порядка нашей бедной пятичувственной логики — это значит ребячиться, забавлять себя безделками учености или литературы». Библия для Сперанского была книгой притч и таинственных символов, книга скорее мифическая или «теоретическая», чем историческая. Такое восприятие Библии очень характерно для всего тогдашнего мистицизма и пиетизма вообще. У Сперанского удивляет его рассудочное визионерство, игра схем, даже не образов. Любопытно, что к Юнг Штиллингу и к апокалиптике вообще Сперанский относился сдержанно, в апокалиптике для него было слишком много жизни и истории... Сперанский был масоном. Но он примкнул не к розенкрейцерам, а к «сциентической» системе Фесслера. Де Местр считал Сперанского «почитателем Канта» без достаточных к тому оснований... Вызов Фесслера очень характерен. Видный масонский деятель, реформатор немецкого масонства на более рационалистических и критических основаниях, он был вызван Сперанским для занятия кафедры во вновь тогда открытой С.-Петербургской духовной академии. Сперанский подчеркивал впоследствии, что Фесслер был вызван «по особому Высочайшему повелению». Вызван он был на кафедру еврейского языка, который и преподавал раньше во Львове (там его слушал Лодий, который и указал на него Сперанскому). Но с прибытием его Сперанский открыл в нем отличные сведения философские, и кроме еврейского языка ему была вверена и кафедра философская, «протектором» которой считался Сперанский... Даже старый и официальный биограф Сперанского, барон Корф, догадывался, что были и скрытые виды в вызове Фесслера. С тех пор стали доступны очень интересные заметки Гауеншильда, служившего одно время при Сперанском в Комиссии законов. Гауеншильд рассказывает о масонской ложе, учрежденной Фесслером в Петербурге, куда входил и Сперанский, — собиралась она в доме известного барона Розенкампа. «Предполагалось основать масонскую ложу с филиальными ложами по всей Российской империи, в которую были бы обязаны поступать наиболее способные из духовных лиц всех состояний. Духовные братья были бы обязаны писать статьи по известным гуманитарным вопросам, говорить проповеди и т.д., и эти бумаги должны были

затем препровождаться в главную ложу»... Гауеншильд напоминает, что при первом же с ним свидании Сперанский заговорил о «преобразовании русского духовенства»... Можно думать, что именно с этим умыслом и был призван Фесслер и введен в Академию...

Фесслер был вольнодумцем, не мистиком. Он примыкал к идеям Лессинга и Фихте, задачу истинного масона он полагал в созидании новой гражданственности, в перевоспитании граждан для наступающего века Астреи. Московские розенкрейцеры встретили весть о Фесслере с негодованием и страхом: «Ибо это подкрадывающийся враг, отвергающий божество Иисуса Христа, а признающий его только великим мужем» (отзыв Поздеева в письме к гр. А.К.Разумовскому). Враждебно его встретили и в Петербурге. Однако, в его ложу вошли видные люди — С.С.Уваров, А.И.Тургенев, ряд карпато-россов из Комиссии законов — Лодий, Балудьянский, Орлай, лейб-медик Стоффреген, известный врач Е.Е.Эллизен, филантроп Помиан Пезаровиус, основатель «Русского Инвалида» и Александровского Комитета о раненых... В Академии Фесслер преподавал недолго, скоро был обнаружен его социнианский образ мыслей. Конспекты его предположенного курса были найдены «темными». И вскоре Фесслер был перемещен на службу «корреспондентом» в Комиссию законов, а вслед за тем Сперанский, защищавший и его, и его конспекты и бывший до тех пор самым деятельным членом «Комиссии духовных училищ», вовсе перестал приходить на собрания и даже просил его уволить. Это было в 1810 году. В 1811 году Фесслер должен был уехать в Поволжье, к тамошним гернгутерам. В 1818-м он снова вернулся в Петербург в должности лютеранского генерал-суперинтендента, и пользовался здесь благосклонностью князя Голицына... Этот эпизод очень характерен для тогдашних смутных лет — так ясно сказывается здесь вся сбивчивость и двусмысленность религиозных представлений.

В.В.Зеньковский

История русской философии

Главы из книги

Русское масонство XVIII и начала XIX в. сыграло громадную роль в духовной мобилизации творческих сил России. С одной стороны, оно привлекало к себе людей, искавших противовеса атеистическим течениям XVIII века, и было в этом смысле выражением религиозных запросов русских людей этого времени. С другой стороны, масонство, увлекаемая своим идеализмом и благородными мечтами о служении человечеству, само было явлением внецерковной религиозности, свободной от всякого церковного авторитета. С одной стороны, масонство уводило от «вольтеринства», а с другой стороны, — от Церкви; именно поэтому масонство на Руси служило основному процессу секуляризации, происходившему в XVIII веке в России. Захватывая значительные слои русского общества, масонство, несомненно, подымало творческие движения в душе, было школой гуманизма, но в то же время пробуждало и умственные интересы. Давая простор вольным исканиям духа, масонство освобождало от поверхностного и пошлого русского вольтеринства.

Гуманизм, питавшийся от масонства, нам... знаком по фигуре Н.И.Новикова. В основе этого гуманизма лежала реакция против одностороннего интеллектуализма эпохи. Любимой формулой здесь была мысль, что «просвещение без нравственного идеала несет в себе отраву». Здесь, конечно, есть близость к проповеди Руссо, к воспеванию чувств, — но есть отзвуки и того течения в Западной Европе, которое было связано с английскими моралистами и с формированием «эстетического человека» (особенно в Англии и Германии), т.е. со всем, что предвещало появление романтизма в Европе. Но здесь, конечно, влияли и различные оккультные течения, поднявшие голову как раз в разгар европейского Просвещения.

В русском гуманизме, связанном с масонством, существенную роль играли мотивы чисто моральные. В этом от-

ношении гуманизм XVIII века находился в теснейшей связи с моральным патетизмом¹ русской публицистики XIX века. Но в русском масонстве для нас сейчас важнее остановиться на других его сторонах — на его религиозно-философских и натурфилософских интересах. И то и другое имело чрезвычайное значение в подготовке к философскому творчеству в XIX веке.

Обращаясь к религиозно-философским течениям в масонстве, отметим, что масонство распространяется у нас с середины XVIII века — в царствование Елизаветы. Русское высшее общество к этому времени уже окончательно отошло от родной старины. Кое-кто увлекался дешевым «вольтеризмом», как выражался Болтин², кое-кто уходил в националистические интересы, в чистый гуманизм, изредка — в научные занятия (особенно русской историей). Но были люди и иного склада, которые имели духовные запросы и болезненно переживали пустоту, создавшуюся с отходом от церковного сознания. Успехи масонства в русском обществе показали, что таких людей было очень много: масонство открывало им путь к сосредоточенной духовной жизни, к серьезному и подлинному идеализму и даже к религиозной жизни (вне Церкви, однако). Среди русских масонов попадались настоящие праведники (самым замечательным из них был С.И.Гамалея), было среди них много искренних и глубоких идеалистов. Русские масоны были, конечно, «западниками», они ждали откровений и наставлений от западных «братьев», вот отчего очень много трудов положили русские масоны на то, чтобы приобщить русских людей к огромной религиозно-философской литературе Запада.

В переводческой и оригинальной масонской литературе довольно явственно выступает основная религиозно-философская тема — учение о сокровенной жизни в человеке, о сокровенном смысле жизни вообще. Здесь теоретический и практический интерес сливались воедино; особую привлекательность этой мистической метафизике придавала ее независимость от официальной церковной доктрины, а в то же время явное превосходство, в сравнении с ходячими научно-философскими учениями эпохи. «Эзотеричность» этой мистической антропологии и метафизики, ее доступность не сразу, а лишь по ступеням «посвящения», конечно, импонировала не менее, чем уверенность масонских учений в том, что истина сохранилась именно в их преданиях, а не в церковной доктрине. Для русского общества учения, которые открывались в масонстве, представлялись проявлением именно современности

— в ее более глубоком течении. Легендарные рассказы о храме Соломона, символические прикрасы в книгах, в церемониях импонировали вовсе не тем, что их считали идущими от древности, а тем, что за ними стояли современные люди, часто с печатью таинственности и силы. Масонство тоже, как и вся секуляризованная культура, верило в «золотой век впереди», в прогресс, призывало к творчеству, к «филантропии». В русском масонстве формировались все основные черты будущей «передовой» интеллигенции — и на первом месте здесь стоял примат морали и сознание долга служить обществу, вообще практический идеализм. Это был путь идейной жизни и действительного служения идеалу. Наука, вопросы мировоззрения и «внутренняя» религиозная жизнь (т.е. свободная от следования Церкви) — все это соединилось вместе, создавало свой особый стиль жизни и мысли.

Для значительной части масонов была очень привлекательна и ценна надежда на проникновение в «эзотерическую» сторону христианства, которую им заслоняла «внешняя» Церковь. На этом пути масонство призывало к единству веры и знания — разум без веры не в состоянии познать таинственную сторону бытия, а вера без разума впадает в суеверие. В обоих случаях необходима свобода — и разум, и мистическая жизнь «вольностью процветают»; свобода нужна и во взаимных отношениях науки и мистического ведения. Любопытно отметить напечатание в журнале Новикова «Утренний свет» ... передовой статьи, в которой доказывается нелепость учений Руссо: если бы люди попали «в состояние, сходное с природой», то они были бы не блаженными и счастливыми, а «плутами и негодьями». Так же энергично отвергается и другая идея Руссо, что просвещение (цивилизация) привело к «порче нравов». В этой защите культуры и просвещения звучит у масонов гностический мотив: необходимо успевать в просвещении (конечно, «истинном»), чтобы возрасть морально. Высшие ступени духовной жизни открываются через углубление мистического ведения, и этот путь восхождения по существу бесконечен. Один историк той эпохи (П.Н.Милюков. — В.Н.) удачно говорит о масонском утопизме («конечному существу возможно дойти до такого совершенства, что осуществится подробное понятие о целом мире», — говорил наиболее глубокий из русских масонов Шварц). Совершенно напрасно и решительно неверно замечает Шпет о русском масонстве, что «философия задохнулась в его добронравии» — надо сказать как раз обратное: оккультное, мистическое понима-

ние морали требовало «просвещения», но, конечно, в единстве с идеей добра. Моралистическая установка в отношении к науке, к истине, вытекавшая в масонстве из принятой в нем антропологии, оказалась особенно близкой русскому сознанию — до наших дней тянется непрерывной цепью учение о неотделимости «истинного» знания от идеи добра.

Рядом с призывом к «истинному просвещению» в масонстве идет и «пробуждение сердца». Тут вливается в масонство аскетическая традиция оккультизма, требующая «отсечения страстей», «насилование воли» (без чего невозможно освободить в себе «внутреннего человека»). Справедливо замечает Флоровский, что здесь «характерно острое чувство не столько греха, сколько нечистоты» (как препятствия к взлетам духа ввысь). В мистической антропологии, которой следовало масонство, громадное значение имела доктрина первородного греха и учение о «совершенном» Адаме. «Восстановление» этого «изначального совершенства» в XIX веке приняло более натуралистическую окраску в учении о «сверхчеловеке», в замыслах «человекобожества...»

Нет надобности нам входить в подробности мистического учения о космосе и человеке, как оно развивалось на страницах русских масонских изданий. Все же приведем один характерный отрывок, утверждающий принципиальный — антропоцентризм всего умонастроения. «Без человека вся природа мертва, — читаем здесь, — весь порядок не что другое, как хаос. Виноградная лоза не услаждает самой себя, цветы не чувствуют своей собственной красоты, без нее алмаз лежит в кремне без всякой цены. В нас все соединяется, нами открывается во всем премудрость, стройность и первая точная красота...» «Человек есть экстракт из всех существ», — читаем у масонов.

Очень существенна для этого умонастроения свобода ищущего духа, который жадно впитывает в себя догадки, «откровения» и разные домыслы, чтобы проникнуть в сферу «сокровенного ведения». Но если одних это, по существу, уводило от религиозной жизни, то у других (самый яркий человек этого второго типа И.В. Лопухин) это было крещением в новейший «христианский синкретизм», который еще со времени Себастиана Франка стал распространяться в Западной Европе в качестве суррогата христианства. Весь XVIII (и даже XVII) век шел под знаменем «примирения» христианских конфессий во имя «универсального христианства»...

Русским людям XVIII века и именно тем, у которых были религиозные запросы, было очень по душе такое «внутреннее

понимание христианства». Особенно яркой фигурой является в этом отношении названный выше И.В.Лопухин (недаром он написал книгу на тему «О внутренней церкви»)... Будучи очень склонным к моральному резонерству и сентиментальности, он ощущал Церковь как отживающее «учреждение»... Неудивительно, что благодаря масонам на русском языке появились многочисленные переводы западных мистиков, оккультистов (вплоть до защитников «герметизма»). Наиболее влиятельным был, конечно, Беме, а также граф Сен-Мартен (его книга «О заблуждениях и истине», вышедшая в 1775 году, была напечатана в русском переводе Лопухина в 1785 году), M-me Guyon, Poiret, Ангел Силезий, Арндт, Пордеч, Вал. Вейгель и др.

Нам остается сказать несколько слов о натурфилософском течении в русском масонстве. Оно связано преимущественно с именем Шварца... Шварц был горячим энтузиастом оккультизма и своим увлечением заражал окружающих (кроме Новикова, которому были чужды натурфилософские интересы). Оккультизм и на Западе примыкал к научному естествознанию, дополняя его своими фантазиями; так было и у нас. Но как на Западе оккультизм предшествовал более строгой «философии природы» (Шеллинг и его школа, вся романтическая натурфилософия), так и у нас оккультизм с его пытливым устремлением к «тайнам природы», с его предчувствием живого единства природы оформлял философский интерес к изучению природы. Согласно древне-христианскому еще учению, и оккультизм учил, что нынешний лик природы являет нам поврежденность ее: благодаря грехопадению человека, и природа «облеклась грубою одеждою стихии». Задача познания заключается в том, чтобы, расторгнув сотканный падением покров тленности, извлечь «видимую оболочку Духа Натуры, вещество, из коего создадутся новые небо и земля».

В своих фантастических построениях эта оккультная натурфилософия иногда вступала в резкое противопоставление науке, например, отрицая реальность Урана (так как это расходилось с учением о семи планетах и мистическим пониманием числа семь). Но в общем натурфилософские фантазии подготовляли те философские движения, которые уже в XIX веке нашли для себя новое, более серьезное выражение в шеллингизме.

В.О.Ключевский

Воспоминания о Н.И.Новикове и его времени

Н.И.Новиков, собственно, не писатель, не ученый и даже не особенно образованный человек в духе своего времени, по крайней мере сам он не признавал себя ни тем, ни другим, ни этим, хотя он и писал, даже хорошо писал, и издал много ценного научного материала, и своею деятельностью много лет привлекал к себе сочувственное и почтительное внимание всего образованного русского общества. Настоящим своим делом он считал издательство; на типографию и книжную лавку положил он лучшие силы своего ума и сердца. Типография, книжная лавка — это не просвещение, а только его орудия. Но именно как издатель и книгопродавец Новиков сослужил русскому просвещению большую службу, своеобразную и неповторенную. Нам теперь трудно представить себе типографическую и книгопродавческую деятельность, которою можно было бы сослужить такую службу. Правда, и в наше время нелегкое и немаловажное дело дать в руки простому читателю, не любителю и не ученому, полезную и приятную книгу, попасть во вкус и потребности грамотного общества; в малограмотные времена Новикова это было во много раз труднее и важнее, чем теперь. Но Новиков по-своему понимал задачи печатного станка и повел свое дело так, что в его лице русский издатель и книгопродавец стал общественною, народно-просветительною силой, и постигшая Новикова катастрофа произвела на русское образованное общество такое потрясающее впечатление, какого, кажется, не производило падение ни одной из многочисленных «случайных» звезд, появлявшихся на русском великосветском небосклоне прошлого века...

При мысли о Новикове невольно перебираешь в памяти целый ряд явлений в умственной и нравственной жизни русского общества с самого начала прошлого века — так тесно связана была издательская деятельность Новикова с ходом нашего просвещения, особенно с судьбою книги на Руси, с историей книжного чтения. Мы привыкли в своем

представлении соединять просвещение с книгой как с одним из главных его средств или пособий. Но в истории нашего просвещения был момент, когда средство начинало удаляться от своей цели, когда книга грозила вступить во вражду с просвещением. Этот момент был дурным перепутьем между двумя великими реформами, какие вынесло русское общество в прошлом веке, между петровскою реформой порядков и екатерининскою реформой умов. Такой разлад между средством и целью подготовлен был некоторыми туземными и заносными условиями, действовавшими на состав и направление книжного чтения, каким питалось тогдашнее грамотное общество на Руси.

В Древней Руси читали много, но немногое и немногие. Этим чтением с строго ограниченным содержанием и направлением вырабатывались мастера-начетчики, которые знали свою литературу, свое божественное писание, как они ее называли, не хуже, чем Отче наш или Святцы. Такие начетчики не переводились у нас во весь XVIII век, не перевелись и доныне. Реформа Петра потребовала от высших служащих классов новых знаний, выходявших далеко за пределы древнерусского книжного кругозора, и заставила читать новые книги преимущественно учебного характера. Так как читали для учения, а учились по долгу службы, то эта литература разновозрастных учебников не могла стать популярной ни в младших, ни в старших возрастах, не могла привить читателям внутренней потребности в ней, которая пережила бы ее внешнюю принудительность. Ведь любознательность ее записных потребителей поддерживалась более всего экзаменной проверкою и служебною ответственностью с энергическими последствиями той и другой, и по мере того, как со смертью Петра истощились эти деятельные писатели научного огня, гасла и самая любознательность и застаивались в пыли на полках все эти повелительно втиснутые Петром в руки временнообязанных читателей Пуффендорфии, Юсты, Липсии, Кугорны, Девигнолы (Виньола), Гюйгенсы, Боргсдорфы, Бухнеры с их руководствами истории, политики, артиллерии, фортификации, с книгами мирозрения (космография), марсовыми, архитектурными, слюзными и другими подобными.

Было бы, однако, несправедливо утверждать, что эта сухая учебная литература бесследно свеивалась с обязанных учебною повинностью умов льготным временем ближайших преемников и преемниц преобразователя. Немного прочных зданий и отчетливых понятий умели почерпнуть из нее обя-

зательные ее читатели, а их необязанные службой сестры не почерпали никаких, ибо и не читали ее. Но тех и других она самым появлением и видом своим приучала к книге гражданской печати, освобождала от древнерусского страха перед ней, как перед аптечною банкой, и при всей скудости извлекаемого из нее научного содержания все же мирила с ней как с неизбежным злом на службе и в общежитии.

И вот приблизительно с половины царствования Елизаветы Петровны на ниву русского просвещения, все более очищавшуюся от засаженных Петром тощих цифирных и технических порослей, пал сначала редкими каплями освежительный дождь амурных песенок, усердно сочинявшихся доморощенными стихотворцами с легкой руки Сумарокова... А за песенками полился поток назидательно-пресных мещанских трагедий и сентиментально-пикантных романов, в изобилии изготовлявшихся на Западе. Колючая литература научного знания сменилась произведениями сердца и воображения, щекотавшими элементарные инстинкты, которые не нуждаются ни в подготовке, ни в поощрении. Из холодной и сухой области научной мысли перескочив прямо в распаренную наркотическую атмосферу вольного чувства и образа, светски образованные люди так живо почувствовали разницу между тою и другою средой, что наука и беллетристика, долженствующие идти об руку одна с другой к одной цели — к познанию жизни, в сознании этих людей стали непримиримыми врагами, и эти люди решили, что можно и должно вкушать сладкие плоды учения, отбрасывая его горький корень...

...Среди самого разлива этого чувственно-чувствительного чтения стало проникать в наше общество влияние просветительной философии. Может быть, нигде в Европе эта философия так наглядно, как у нас, не выказалась обеими своими сторонами, лицевой и оборотной. В нашей разреженной культуре, как в решете, сор мысли как-то сам собою отсеивался от ее зерна. После 28 июня 1762 года у нас было немало умных и благомыслящих людей, которые, становясь у дел, понимали, чем могут воспользоваться из содержания этой философии политика, право и общежитие, и русское законодательство стало провозвестником ее зиждательных идей. Но популярную силу этой философии составляли не столько планы построения нового порядка, сколько критика существующего, приправленная насмешкой. Наша модно образованная публика особенно понятливо воспринимала это критическое направление просветительной философии и не столько самую критику, сколько ее припра-

ву. Подобно ночным мотылькам, которые ничего не видят при дневном свете, непривычные к размышлению умы слепо бросались на яркие парадоксы тогдашних *esprits forts* и на них сжигали последние остатки здравого смысла, уцелевшие от романов и идиллий. Развинченное ими вольное чувство, встретившись с вольною смеющеюся мыслью, спешило устранить все сдержки и преграды и прежде всего набросилось на простейшие нравственные связи...

...Таким образом, открылось неожиданное и печальное зрелище: новые идеи просветительной философии являлись оправданием и укреплением старого доморощенного невежества и нравственной косности. Обличительный вольтеровский смех помогал прикрывать застарелые русские язвы, не исцеляя их. Доисторические привычки и одичалые понятия, которые прежде припрятавались от глаз закона или которых стыдились перед добрыми людьми, как стыдятся неубранного домашнего сора перед гостями, теперь самодовольно выставлялись напоказ как указание или требование природы. Новые идеи нравились, как скандалы, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский смех освобождал нашего вольтерианца от законов божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского, нечувствительным ни к каким угрызениям, кроме физических, — словом, этот смех становился для нашего вольнодумца тем же, чем была некогда для западного европейца папская индульгенция, снимавшая с человека всякий грех, всякую нравственную ответственность...

...Так книга, эта разносчица просвещения, стала ему помехой. В обеих литературах, беллетристической и философской, ставших у нас наиболее ходячими, наш просвещенный свет особенно охотно и успешно черпал лишь чувства и идеи, малопригодные для частного, как и для общественного блага, только соблазнявшие сердце и ум своею вольностью или недозволенностью. В то время строгие судьи видели в таком направлении мысли и вкуса только недомыслие и безвкусие, слепое увлечение и надеялись исправить грех, открыть слепцам глаза насмешкой. Случилось так, что в одно время с первою турецкою войной, с борьбой против внешних врагов европейской цивилизации русские писатели снарядили целую экспедицию против внутренних недугов русского быта и просвещения, и в продолжение 5 — 6 лет, пока русские войска поражали турок и татар на море и на суше, русские сатирические журналы громили и домо-

пороки русского общества... Что же одних усилий русской сатиры? Есть то она больше обогатила литературы, научила добродетели только до-

волясь сатира, было не слабостью, не то вроде порока сердца, т.е. болезнью, а болезни лечат, не осмеивают. Уж медицинским языком, эту болезнь можественного сознания и нравственной с неестественным отношением к человеческая культура, приносимая воспринималась так, что не просветление родной действительности: лось равнодушием к ней, продолжали и завершалось ненавистью или преи несчастьем быть русскими и, подина, утешались только мыслью, что в в России, но души принадлежали

герини II чувствовало эти недуги руспринимало меры против них. Отсюда оведь о необходимости воспитания, переродило бы общество, его усиленх воспитательных заведений, о со, или среднего сословия, которое стало ах Европы, носителем научного образпросвещения в России. И.И.Бецкий в атрице указывал именно на отсутсткой среды, питательной почвы, к коопеться научное образование, говоэставшие такое образование, скоро теь в прежнее невежество по недостатдля их знаний.

ие усилия правительства не были своэдоразумений. Спешили заводить заие училища. А где учителя и учебника, которые восполняли бы учебники Как, наконец, подготовить обществоых в новых училищах питомцев, чтоб й массе и не возвращались в прежнее

мело пошел навстречу этим усилиям известно, как складывался его взгляд

на свое дело. Новиков появился в литературном мире как-то вдруг, исподтишка, без заметной подготовки. Сын достаточного, но небогатого дворянина, 16-ти лет исключенный из дворянской гимназии при Московском университете «за леность», признававший себя и в старости невеждой, не знающий никаких языков, после 8 лет службы в гвардии он вышел в отставку армейским поручиком, а с 1769 года, когда ему было 25 лет, последовательно выступал с тремя лучшими в то время сатирическими журналами, привлек к себе обширный круг читателей, стал известным литератором и издателем, в то же время и после выпустил ряд ученых изданий по русской истории и литературе, из которых некоторые, особенно «Древняя российская вивлиофика», сборник разнообразных памятников по русской истории, изданный при содействии Екатерины II, доселе не потеряли своей ученой цены. Из впечатлений и размышлений, накопившихся в продолжение 10-летних литературно-издательских опытов в Петербурге, у Новикова, по-видимому, сложился ясный взгляд на то, что ему следует делать. С этим взглядом он в 1779 году переехал в Москву, заарендовал на 10 лет университетскую типографию с книжною лавкой и принялся за дело.

В 1792 году, разбитый постигнутою его бедой, Новиков на допросе произвел на враждебного ему следователя впечатление человека острого, догадливого, с характером смелым и дерзким. Бесспорно, Новиков был человек умный и решительный. Труднее было заметить в нем еще одну черту — энтузиазм сдержанный и обдуманый. У него было два заветных предмета, на которых он сосредоточивал свои помыслы, в которых видел свой долг, свое призвание, это — служение Отечеству и книга как средство служить Отечеству. Если в первом сказывалась одна из лучших исторических привычек старого русского дворянства, поднимавшаяся в лучших людях сословия на высоту нравственного долга, то во взгляде на книгу надобно видеть личную доблесть Новикова. И до него бывали дворяне, посвящавшие литературе свой служебный досуг. В лице Новикова неслужащий русский дворянин едва ли не впервые выходил на службу Отечеству с пером и книгой, как его предки выходили с конем и мечом. К книге Новиков относился, мало сказать, с любовью, а с какой-то верой в ее чудодейственную просветительскую силу. Истина, зародившаяся в одной голове, так веровал он, посредством книги родит столько же подобных правомыслящих голов, сколько у этой книги читате-

лей. Поэтому книгопечатание считал он наивеличайшим изобретением человеческого разума.

На этой вере в могущество книги Новиков строил практически обдуманый план действий. Этот план был тесно связан со взглядом на недостатки и нужду русского просвещения, какой просвечивает в изданиях и во всей деятельности Новикова. Один из главных врагов этого просвещения — галломания, не само французское просвещение, а его отражение в массе русских просвещенных умов, то употребление, какое здесь из него делали. «Благородные невежды», как называл Новиков русских галломанов, сходились с простыми невеждами старорусского покроя в убеждении, что они достаточно все понимают и без науки, что «и не учась грамоте, можно быть грамотеем». Значит, вольномыслие не от учения, а от невежества и есть не более как легкомыслие. Всякий мыслящий человек, так писал Новиков в одном из своих журналов, чувствует сострадание, взирая на простодушных людей, которые беззащитно увлекаются надменными и остроумными мудрованиями, разрушающими основы человеческого общежития, или гнушаются всем отечественным, обольщаясь наружным блеском иноземного. Истинное просвещение должно быть основано на совместном развитии разума и нравственного чувства, на согласовании европейского образования с национальной самобытностью. В составе воспитания Новиков не отставлял разума на задний план, не ронял цены научного образования, как это делали иногда литературные и даже должностные педагоги того времени. Неосторожно было набрасывать тень на разум в обществе, где и без того многие им тяготились, воздерживать от увлечения науками, которыми и без того не занимались. Когда Сумароков в речи при открытии Академии художеств восклицал: «Воссияли науки — и погибла естественная простота, а с нею и чистота сердца», — сколько господ Простаковых готовы были аплодировать этим желанным словам, так легко и просто разрешавшим все их материнские муки со своими Митрофанами! Ведь Руссо у нас потому особенно и был популярен, что своим трактатом о вреде наук оправдывал нашу неохоту учиться. В «Живописце» Новиков насмешливо сопоставлял мудрость доморощенных философов донаучной чистоты с учением Руссо, говоря им: «он разумом, а вы невежеством доказываете, что науки бесполезны». Новикову принадлежит честь одного из первых, кто заговорил у нас о разграничении заимствуемого и самобытного, о черте, за которую не должно переступать иноземное влияние. В «Кошельке» 1774 года он восстает против мнения, что русские должны заимствовать у иноземцев все,

даже характер, который у всякого народа особый: не одной же России отказано в нем и суждено скитаться по всем странам, побираясь обычаями у разных народов, чтоб из этой сборной культурной милостыни составить характер, никакому народу не свойственный, а идущий к лицу только обезьянам.

Где же было найти у нас опору истинному просвещению? Такою опорой не мог быть большой свет ничему не хотевших учиться вольтерианцев и модных петиметров: здесь надобно было предоставить мертвым хоронить своих мертвецов. Екатерина с Бецким задумывала отнять у всего дворянства принадлежавшее ему с Петра значение хранителя и проводника европейского научного образования и передать это значение особому «среднему сословию», подобному французской буржуазии, сделав его специальным питомником наук и художеств. Но такого сословия не существовало в России, его еще надобно было созидать. Это была радикальная мера, хлопотливая и несколько самонадеянная. В ней сказался философский XVIII век, любивший кроить общество по своим идеям. Новиков думал, что удобнее кроить платье по плечу, чем выламывать плечо по платью. Он надеялся обойтись наличными средствами, не ломая общества: ведь легче издавать полезные книги для читателей из готовых сословий, чем создавать особое сословие для чтения полезных книг. Он рассчитывал не на средний род людей, которого у нас не было, а на средний круг читателей, и его расчет состоял в том, чтобы из грамотного люда разных сословий создать читающую публику. В этой среде он находил благоприятные задатки для успехов просвещения. Он сам на себе испытал ее значение для литературы: его «Живописец» выдержал в прошлом веке пять изданий. Новиков объяснял такой успех журнала тем, что он пришелся по вкусу мещанам, ибо, добавлял он, у нас те только книги четвертыми и пятыми изданиями печатаются, которые этим простосердечным людям по незнанию ими чужестранных языков нравятся. В самом выборе чтения здесь можно было найти более просвещенного вкуса и любознательности: по словам Новикова, в числе любимых книг у мещан были «Синописис», учебник русской истории, «Совершенное воспитание детей» и тому подобные книги, не пользовавшиеся никаким уважением просвещенных людей большого света.

«Имей душу, имей сердце» — проповедовала гуманная педагогика века, а это была прекрасная проповедь при бездушной школьной выучке и бессердечном вортопрашестве светской мысли. Но мало сказать доброе правило, надобно

еще сотворить и научить, указать, как его исполнить, и подать пример исполнения. И в деле просвещения есть своя черновая часть. Сколько нужно понести пыли и грязи, чтобы вырастить хлебный злак? Современный сеятель просвещения, выходя на свою ниву, находит много готовых вспомогательных средств для своего дела: не говоря о широко распространенном сознании пользы учения, о внутренней потребности образования в значительной части общества, об обильном запасе учебной и образовательной литературы, достаточно вспомнить о довольно налаженном типографском и книгопродавческом деле. Правда, в книжном деле у нас и теперь бывают прискорбные недоразумения: так, нередко книга и читатель ищут друг друга и не находят, как будто играют друг с другом в жмурки с завязанными глазами; порой появляются книги, которых некому читать, и есть охотники чтения, которым нечего читать. Во времена Новикова таких недоразумений было несравненно больше, а вспомогательных средств просвещения гораздо меньше, даже совсем мало. В единственной тогда университетской столице просвещения было всего две книжных лавки, годовой оборот которых не превышал 10 тысяч. рублей; в провинции книга была редкостью и продавалась втридорога, на что жаловался сам Новиков; издательское дело велось так вяло, что не поспевало за спросом читателей простонародных романов и повестей вроде «Бовы» или «Еруслана Лазаревича», и были отставные подьячие, кормившиеся перепиской таких произведений. Новиков видел, что надо начинать дело с самого начала, с черновых вспомогательных средств просвещения, и, надев рабочий передник, не побрезговал подойти к типографской сажке и стать за пыльным прилавком книжной лавки. В обществе, где, по сознанию самого новиковского «Живописца», даже звание писателя считалось постыдным, надобно было иметь немалую долю решимости, чтобы стать типографщиком и книжным торговцем и даже видеть в этих занятиях свое патриотическое призвание. У Новикова с энергией и предприимчивостью соединялась та добросовестность мысли, которая побуждает выбирать себе дело по наличным силам, не преувеличивая своих сил по внушениям затейливого самомнения. Этим отчасти можно объяснить его нелюбовь действовать одиноко, без товарищей. Зато он глубоко верил в могущество совокупного труда и умел соединять людей для общей цели. Именно на поприще народного образования обнаружил он это умение собирать раздробленные силы в большое дружное дело.

Московский кружок Новикова — явление, не повторившееся в истории русского просвещения. Можно радоваться, что такой кружок составил именно в Москве, где особенно трудно было ожидать его появления. Про эту столицу русского просвещения, единственный тогда университетский город в России, Сумароков, конечно в припадке капризного раздражения, писал, что там все улицы вымощены невежеством «аршина на три толщиной». Правда, это был тогда город разнообразных крайностей. В его многочисленном дворянском обществе с довольно независимым, даже оппозиционным настроением, направляемым выброшенными из С.-Петербурга величиями, у которых прошлое было лучше будущего и которые потому бранили настоящее, — в обществе, где встречались носители всех перебивавших в России мирозерцаний от «Голубиной книги» до «Системы природы» Гольбаха и где на одном и том же пиру за менюэтом иногда следовал доморощенный трепак, среди суетливого безделья и дарового довольства нашлось десятка два большею частью богатых или зажиточных и образованных людей, которые решились жертвовать своим досугом и своими средствами, чтобы содействовать заботам правительства о народном просвещении. Некоторые из этих людей стоят биографии и все — самого теплого воспоминания. Из них рядом с Новиковым мне бы хотелось поставить прежде других И.В. Лопухина. Чтение его записок доставляет глубокое внутреннее удовлетворение: как будто что-то проясняется в нашем XVIII в., когда всматриваешься в этого человека, который самым появлением своим обличает присутствие значительных нравственных сил, таившихся в русском образованном обществе того времени. С умом прямым, немного жестким и даже строптивым, но мягкосердечный и человеколюбивый, с тонким нравственным чувством, отвечающим мягкому и тонкому складу его продолговатого лица, вечно сосредоточенный в работе над самим собой, он упорным упражнением умел лучшие и редкие движения души человеческой переработать в простые привычки или ежедневные потребности своего сердца. Читая его записки, невольно улыбаешься над его усилиями уверить читателя, что его любовь подавать милостыню — не добродетель, а природная страсть, нечто вроде охоты, спорта; что с детства он любил любоваться удовольствием, какое доставлял другим, и для того нарочно проигрывал деньги крепостному мальчику, приставленному служить ему; что во время его судейской службы в уголовной палате, совестном суде и Сенате

сделать неправду или не возражать против нее было для него то же, что взять в рот противное кушанье, — не добродетель, а случайность, каприз природы, вроде цвета волос. Все это очень напоминает красивую застенчивую женщину, которая краснеет от устремленных на нее пристальных взглядов и старается скрыть свое лицо, стыдясь собственной красоты как незаслуженного дара. Мы если не больше сочувствуем нашему высшему крепостническому обществу прошлого века, то лучше понимаем его, когда видим, что оно если не помогло, то и не помешало воспитаться в его среде человеку, который, оставаясь барином и сторонником крепостного права, сберег в себе способность со слезами броситься в ноги своему крепостному слуге, которого он, больной, перед причащением, в припадке вспыльчивости только что разбил за неисправность. И в то время не на каждом шагу встречалась привычка во всяком Петрушке искать человека и во всяком человеке находить ближнего.

А по другую сторону Новикова надобно поставить И.Г.Шварца, по выражению Новикова, немчика, с которым он, поговорив раз, на всю жизнь до самой его смерти сделался неразлучным. Откуда-то из Трансильвании попав домашним учителем в Могилев, а оттуда в Москву на профессорскую кафедру в университете, Шварц полюбил приютившую его чужбину, как не всегда любят и родину, и посвятил ей все еще молодые силы своего ума, весь жар своего горячего сердца. Восторженный и самоотверженный педагог до тончайшей фибры своего существа, неутомимый энтузиаст просвещения, вечно горевший, как неугасимый очаг, и успевший сжечь себя дотла в 33 года жизни, Шварц будил высшее московское общество, где был желанным гостем, без умолку толкуя в знатных и образованных домах о необходимости составить общество для распространения истинного просвещения в России, будил и университетскую молодежь своими одушевленными мистическими лекциями о гармонии наук в изучении таинств природы, о связи духа и материи, о союзе между Богом и человеком, о стремлении к свету и добру, к познанию Божества и внутреннего человека.

А для изображения С.И.Гамалеи, правителя канцелярии московского главнокомандующего, у меня не найдется и слов: хотелось бы видеть такого человека, а не вспоминать о нем. Я недоумеваю, каким образом под мундиром канцелярского чиновника, и именно русской канцелярии прошлого века, мог уцелеть человек первых веков христианства. Гамалее подобает житие, а не биография или харак-

теристика. Сомневаюсь, сердился ли он на кого-нибудь хоть раз в свою жизнь. Во всем мире только с одним существом он воевал непримиримо — это с своим собственным, с его пороками и страстями, и с какими страстями! — с нюханьем табаку, например, и т.п. Когда ему предложили обычную в то время награду за службу крепостными в количестве 300 душ, он отказался: ему-де не до чужих душ, когда и со своею собственной он не умеет справиться. Слуге, укравшему у него 500 рублей и пойманному, он подарил украденные деньги и самого его отпустил с Богом на волю; но он не мог простить себе ежегодной траты 15 рублей на табак, которую считал похищением у бедных, и постарался победить столь преступную привычку, обратив новое сбережение на милостыню. Блаженный в лучшем смысле этого слова, которого современники справедливо прозвали «Божьим человеком»!

И другие члены кружка были проникнуты тем же новиковским или лопухинским духом; это были лучшие, образованнейшие люди московского общества: князья Трубецкие и Черкасский, И.П.Тургенев и другие, между которыми и Московский университет имел своих представителей в лице куратора Хераскова и нескольких профессоров. Среди этого товарищества просвещения и благотворительности радушною хозяйкой на Покровке и в подмосковном Очакове, самоотверженною пособницей и ободрительницей в каждом деле и в затруднении кружка являлась царившая в нем энергичная княгиня Варвара Александровна Трубецкая, урожденная княжна Черкасская, одна из прекраснейших русских женщин прошлого века, у которой ни дух времени, ни светское образование, ни таланты и влияние на окружающих не ослабили силы и непосредственности христианского чувства. Надобно думать, что дух и состав кружка сообщали ему большую притягательную силу, если ревностным сподвижником его стал богач, скучавший жизнью от пресыщения ее благами, сын бывшего недоброй памяти петербургского генерал-полицмейстера, П.А.Татищев, своим значительным вкладом давший возможность осуществить заветную мечту Шварца об основании просветительного общества; а другой богач, сын верхотурского ямщика и уральского горнозаводчика, Г.М.Походяшин, тронутый речью Новикова о помощи нуждающимся в голодный 1787 год, расстроил свое огромное состояние щедрыми пожертвованиями на дела просвещения и благотворения, но, умирая в бедности, услаждал свои последние минуты тем, что с умилением

смотрел на портрет Новикова как своего благодетеля, указавшего ему истинный путь жизни.

Эта нравственная сила многим членам кружка далась не даром. Когда мы читаем признание Новикова, что он мучился сомнениями, находясь на распутье между вольтерьянством и религией, и не имел краеугольного камня, из которого мог бы основать свое душевное спокойствие, когда И.В. Лопухин рассказывает в своих записках, как он, быв усердным читателем Вольтера и Руссо и задумав распространять в рукописях свой перевод из восхитившей его «Системы природы» Гольбаха, вдруг охвачен был чувством неопisanного раскаяния, не мог заснуть прежде, нежели сжег приготовленную к пропаганде красивую тетрадку вместе с черновой, и успокоился вполне только тогда, когда написал «Рассуждение о злоупотреблении разума некоторыми новыми писателями», когда мы читаем о подобных пароксизмах совестливой мысли, может быть, мы впервые застаем образованного русского человека в минуту тяжкого раздумья, какое ему не раз пришлось и не раз еще придется пережить впоследствии. Это раздумье, естественно, рождалось из самого положения русского образованного человека. Запоздалый работник в культурной мастерской, принужденный учиться у тех, кого должен был догонять, он уже в продолжение двух-трех поколений привык обращаться к западноевропейской мысли за советом, к общественному порядку, в котором эта мысль вырабатывалась, за опытами и уроками. Но западноевропейский разум, вырабатывавший и эту мысль, и этот порядок, в прошлом веке потянуло в противоположные стороны. Фонвизин резкими чертами изобразил это раздвоение, когда писал из Франции в 1777 году, что там при невероятном множестве способов к просвещению весьма нередко глубокое невежество с ужасным суеверием, что одни воспитываются духовенством в сильном отвращении к здравому рассудку, а другие заражаются новой философией, так что встречаются почти только крайности — или рабство, или нахальство разума. В борьбе, возникшей из этого раздвоения, европейская мысль, постепенно разгораясь и разгорячаясь, приняла отрицательное направление, из светоча превратилась в зажигательный факел и решительно пошла против служившего ей очагом общественного порядка. Тогда русский образованный человек, если он притом был еще и человек мыслящий, почувствовал себя в неловком положении: служивший ему образцом строй понятий, чувств, общественных отношений был осужден как неразумный. Зда-

ние отечественной гражданственности, над которым он призван был трудиться, нельзя стало продолжать ни по старым образцам, ни по новым идеалам. В ожидании огромного крушения, не надеясь ничего найти на Западе для этой постройки, кроме раскаленной лавы да гнилых развалин, он вынужден был искать доморощенных средств. Но, видя вокруг себя умы больше воспаленные, чем просвещенные новыми идеями, люди новиковского направления решили, что для улучшения общественного порядка каждый отдельный человек, пока не касаясь его оснований, должен обратиться к самому себе, сосредоточить работу на своей личности, на своем личном умственном и нравственном усовершенствовании, чтоб этой дробною мозаическою работой приготовить живой годный материал для будущего общества.

Так понимал этих людей хорошо знакомый с ними Карамзин: он называл их христианскими мистиками, пренебрегавшими школьною мудростью, но требовавшими от своих учителей истинных добродетелей и не вмешивавшимися в политику. Та же мысль о необходимости и достаточности личного усовершенствования для подъема общественного порядка высказывалась и в любимых книгах этих людей, и в их собственных признаниях. «В школах и на кафедрах твердят: люби Бога, люби ближнего, но не воспитывают той природы, коей любовь сия свойственна». Это говорит И.В.Лопухин в своих записках, настаивая на необходимости для человека морально переродиться, чтобы сродниться с евангельскою нравственностью и стать в христианские отношения к ближним, к обществу. А как эти люди считали возможным достигнуть такого перерождения и чего от него ожидали, о том читайте в книге английского моралиста Иоанна Масона о самопознании, переведенной членом кружка И.П.Тургеневым и кружку же посвященной. Эта книга учит, что, чем лучше мы себя познаем, тем с большею пользой занимаем то место в жизни человеческой, на какое мы поставлены провидением, и что успехи в науке познания самого себя сопровождаются быстрым и счастливым изменением нравов и мыслей человеческих. Могут сказать, что в таком взгляде много оптимистического самообольщения, что нравственный уровень обществ так же мало зависит от совершенства отдельных его членов, как мало поднимается температура окружающего воздуха от подъема ртути в термометре, который держит теплая рука. Я не вхожу в разбор этого взгляда, а хочу только отметить момент, когда, по моему мнению, образованный русский человек впервые почувствовал затруднительность своего культур-

ного положения и как он пытался выйти из этого затруднения. Опять скажут: люди новиковского кружка нашли такой выход, потому что были масоны, мартинисты, и их христианские добродетели сильно омрачены этою сектантскою тенью. Можно сказать и так, можно и наоборот: они потому стали и масонами, что нашли такой выход из своего затруднения, больше масонствовали, чем были масонами; они — воспользуемся их же фигурным языком — вступили в состав «мало́го избранного народа» вольных каменщиков только для того, чтобы самих себя переработать в пригодные камни для мысленного храма Соломонова, т.е. для будущего идеального русского общества. Что же касается их добродетелей, то я не берусь судить, насколько нравственная доблесть Гамалеи тускнела оттого, что он прикрывал ее от недоброжелательных людских глаз театральным рубищем какого-то масонства. Но, когда я припоминаю, как отозвался о Новикове архиепископ московский Платон, испытанный в законе Божиим по распоряжению императрицы и заявивший, что он молит Бога, чтобы не только в его пастве, но и во всем мире были такие христиане, каков Новиков, у меня не хватает решимости искать пятен на христианстве этого мистика: ведь я не сумею быть православнее православного русского иерарха.

...План действий, как он обнаружился в предприятиях кружка и по частям, был высказан в записках Лопухина и изданиях Новикова, можно изложить в таких чертах. Для успеха правительственных попечений о народном просвещении необходимо содействие частных лиц, соединяющих свои силы и средства с целью споспешествовать воспитанию юношества в полезных обществу науках и издавать книги, утверждающие корень чистой нравственности и добродетели. Для этого такие общества частных людей на свои средства, во-первых, устроят пробные или образцовые учебно-воспитательные заведения, во-вторых, готовят надежных учителей и воспитателей при помощи университета и, в-третьих, разборчивым изданием книг и журналов создают самобытную дельную печать для обширного круга читателей. Такими способами можно вывести русское просвещение из тесного круга оторванных от народа «просвещенных людей», модно воспитанного высшего дворянства, в широкий мир «простосердных мещан», простого грамотного люда, и обдуманном сочетании общечеловеческих и национально-исторических элементов дать этому просвещению самобытный склад, который изменит дух общества, господствующее направление умов. Что было осуществлено

из этого плана, который сам по себе есть уже немалая заслуга русского просвещения?

Арендуя у Московского университета типографию и книжную лавку, Новиков имел в виду прежде всего потребности домашнего и школьного образования. Он старался, во-первых, составить достаточно обильный и легкодоступный запас полезного и занимательного чтения для обширного круга читателей; во-вторых, войти в общение с университетом, чтобы воспользоваться его силами и средствами для приготовления надежных учителей. Расстроенную университетскую типографию он вскоре привел в образцовый порядок и менее чем в 3 года напечатал в ней больше книг, чем сколько вышло из нее в 24 года ее существования до поступления в руки Новикова. Он издавал книги довольно разнообразного содержания, особенно заботясь о печатании книг духовно-нравственных и учебных: в числе 366 книг, отпечатанных им до конца 1785 года, менее чем в 7 лет аренды, насчитываем около сотни изданий первого рода и более 30 учебников, разноязычных букварей, словарей, грамматик и т.п.

Новиков нашел деятельную поддержку в образовавшемся из его друзей по мысли Шварца «Дружеском ученом обществе», которое при торжественном открытии своем в 1782 году объявило одной из своих задач печатание и даровую раздачу учебных книг по школам. Указ 1783 года о вольных типографиях дал возможность обществу завести две собственные типографии на имя своих членов — Новикова и Лопухина; потом, в 1784 года, завелась еще обширная компанейская типография, когда из дружеского кружка Новикова образовалось издательское товарищество на паях под фирмой «Типографической компании», со складочным капиталом в 57 500 рублей и с поступившим от Новикова запасом книг на 320 тысяч рублей по продажной цене. Новиков превосходно устроил сбыт книг, завел комиссионеров, вступил в сношение с петербургскими книгопродавцами и вообще чрезвычайно оживил книжную торговлю в России. Случилось неслыханное дело: книжная лавка Новикова у Воскресенских ворот по спросу ее товара стала соперничать с модными магазинами Кузнецкого моста. Вместо двух существовавших в Москве книжных лавок с оборотом в 10 тысяч рублей при Новикове и под его влиянием явилось их здесь до 20, и книг продавали они ежегодно тысяч на 200 рублей. Ежегодный доход «Типографической компании», по показанию Новикова, простирался свыше 40 тысяч рублей, доходя в иные годы до 80 тысяч рублей.

О размерах предприятия можно судить по тому, что после закрытия компании в 1791 году, когда все дело ее было разрушено, несмотря на обширный сбыт изданных ею книг, их оставалось еще по каталожной цене без малого на 700 тысяч рублей, не считая 25 тысяч экземпляров книг, сожженных или переданных в духовную академию и университет.

Трудно сметить даже на глаз, какие успехи достигнуты были такими усилиями. Люди, близкие к тому времени и к самому Новикову, утверждали, что он не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению; что благодаря широкой организации сбыта и энергическому ведению дела новиковская книга стала проникать в самые отдаленные захолустья и скоро не только Европейская Россия, но и Сибирь начала читать.

Если частный случай что-нибудь доказывает, я приведу библиографическую подробность из своего детства: в деревенской глуши, где нецерковная книга была большой редкостью, мне попались две изданные Новиковым поэмы — «Иосиф» Битобэ и «Потерянный рай» Мильтона и вместе с альманахом Карамзина «Аглаей» были в числе первых книг, мною прочитанных. Новиков хотел сделать чтение ежедневною потребностью грамотного человека и, кажется, в значительной мере достиг этого. Число подписчиков «Московских ведомостей», издание которых он взял на себя вместе с арендой университетской типографии, при нем увеличилось всемерно (с 600 до 4 тысяч). При них выходили прибавления разнообразного содержания: по литературе, сельскому хозяйству, натуральной истории, химии и физике, также листы для детского чтения. Не упоминаю о других московских периодических изданиях Новикова. Он был не только типографщиком и книгопродавцем, но и издателем, выбирал, что нужно печатать, заказывал работы переводчикам и сочинителям, небывалым гонораром оживил переводную и оригинальную письменность, отдавая предпочтение произведениям научным и духовно-нравственным. Этим он внес в текущую литературу того времени новую струю, шедшую против господствовавшего направления умов и литературных вкусов тогдашнего светского общества.

Книжная лавка Новикова, откуда шла эта струя, получила своеобразный вид, и в ней бывали характерные сцены: приходил покупатель, рылся в книжных новостях, разложенных на прилавке, находил все издания духовно-нравственного содержания, которых не хотел покупать, спрашивал, почему нет романов; Новиков отвечал, что перево-

дчики что-то перестали носить ему такие сочинения, и, набрав связку книг, какие были на прилавке, просил покупателя принять их от него в дар. После сам Новиков показывал следователю об усилении спроса на духовные книги, а один из учеников Новикова писал, что целое море душеспасительных книг было им пущено против потока вольнодумческих сочинений. В продолжение 10 арендных лет издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество: это — общественное мнение. Я едва ли ошибусь, если отнесу его зарождение к годам московской деятельности Новикова, к этому новиковскому десятилетию (1779 — 1789). Типографщик, издатель, книгопродавец, журналист, историк литературы, школьный попечитель, филантроп, Новиков на всех этих поприщах оставался одним и тем же — сеятелем просвещения.

Это новиковское десятилетие — одна из лучших эпох и в истории Московского университета. В тот год, когда Новиков взял в аренду университетскую типографию, этот университет доживал свое первое двадцатипятилетие. Но он еще не успел закончить своего обзаведения: были аудитории и кафедры, профессора и студенты, были обстановка и личный состав науки, но сама наука с трудом пробивалась сквозь то и другое, не успела еще обжиться на новоселье. Число студентов в иные годы не доходило и до сотни; иногда на всем юридическом, как и на всем медицинском факультете, оставалось по одному студенту и по одному профессору, который читал все науки своего факультета; студенты занимались в университете не более 100 дней в году; родной речи почти не слышно было с кафедр; люди хорошего общества еще побаивались пускать в университет своих сыновей; благовоспитанность не всегда примечалась и порой как будто даже совсем отсутствовала.

У Новикова литературная и издательская деятельность еще в Петербурге неразрывно соединялась с педагогической и благотворительной: с кружком тамошних друзей он основал два училища для бедных детей и сирот и в пользу этих школ назначил выручку от издававшегося им журнала «Утренний

свет». Московский кружок по господствовавшему в нем направлению умов мог только усилить и расширить деятельность, начатую Новиковым в Петербурге. Главным дельцом по воспитательной части стал, разумеется, Шварц. Приготовление учителей было настоятельнейшею потребностью русского просвещения. Став профессором в 1779 году и по поручению университета составляя учебники и проекты об улучшении преподавания, Шварц набрал у своих друзей пожертвований, присоединил к ним 5 тысяч рублей своих кровных сбережений и в конце того же года открыл при университете учительскую семинарию, в которой стал инспектором и начал преподавать педагогику. Так началась деятельность открывшегося позднее «Дружеского ученого общества», которое чрез епархиальных архиереев стало вызывать из духовно-учебных заведений лучших учеников, чтобы готовить их на свой счет к учительскому поприщу в университетской семинарии. Через 3 года в этой семинарии было уже до 30 стипендиатов, на содержание которых общество давало по 100 рублей на человека, купив притом дом для их помещения; в числе их находились два будущие с.-петербургские митрополита: Михаил и Серафим.

Задумав переводить и издавать лучшие иностранные сочинения и желая заготовить себе хороших переводчиков, в которых чувствовался крайний недостаток, «Дружеское общество» по мысли Шварца в 1782 году учредило при университете другую семинарию, переводческую, или филологическую, в которую приняло 16 студентов; из них шестеро переведенных из духовных семинарий содержались на средства уже известного нам Татищева, остальные — на счет других членов кружка. Лучших своих питомцев «Дружеское общество» посылало для довершения образования за границу. Заботы общества распространялись на всех студентов: им подыскивали занятия, заказывали литературные работы, переводы и статьи для изданий общества. Студенты, преимущественно питомцы общества, были сотрудниками и даже руководителями периодических изданий Новикова — «Вечерней зари» (1782) и «Покоящегося Трудлюбца» (1784) Неугомонный педагог общества не ограничивался этим: ему хотелось снабдить выходящего из университета студента возможно обильнейшим запасом надобного в пути багажа. Сверх лекций в университетской аудитории об эстетической критике он читал еще у себя на дому приватный курс о видах познания и особый курс «Философской истории» для семинаристов общества, к которым присоединялись и посторонние слушатели «вся-

кого рода и звания», по выражению одного из них, так что эти домашние лекции превращались сами собой в публичные курсы. Их цель обнаруживалась в их действии: они противодействовали вольнодумству. В этом направлении, может быть, наиболее сильное влияние имело на студентов устроенное Шварцем «Собрание университетских питомцев». Это было если не первое, то, наверно, второе в России общество, составленное из учащейся молодежи. Это студенческое общество имело целью образование ума и вкуса своих членов, их нравственное усовершенствование, упражнение в человеколюбивых подвигах. Студенты на заседаниях читали и обсуждали свои литературные опыты, произносили речи на моральные темы, задумывали издания с благотворительною целью. Все это, конечно, было молодо, суетливо, немножко нервно; молодежь больше чувствовала, чем познавала науку. Но по-тогдашнему и этого разве было мало? В штатных лампах науки, прежде больше декорировавших, чем освещавших университетские стены, что-то затеплилось: дайте срок — они разгорятся. Среди студентов стали зарождаться нравственная товарищеская солидарность, склонность к размышлению, некоторый навык самонаблюдения и та способность загораться от идей, которая, как фонарь впотьмах, предшествует исканию истины.

Трудно проследить поприща, по которым рассыпались питомцы «Дружеского общества», как трудно уследить, куда попали книги, которое оно рассеивало. Известно, что оно дало Московскому университету одного директора (т.е. ректора) и пять профессоров.

Так кружок Новикова стал посредником, через которого завязалось тесное нравственное общение между московским обществом и Московским университетом. Эта связь не прервалась с исчезновением связующего звена, поддерживаемая взаимным нравственным тяготением и обоюдными научными услугами. Общество дало университету несколько профессоров, ожививших университетское преподавание. Университет, с своей стороны, немного позднее воспитал в своих аудиториях профессоров, ожививших общественную мысль и не раз собиравших московское общество на студенческих скамьях. Нет нужды напоминать всем памятные имена их...

Р.В.Иванов-Разумник

История русской общественной мысли

В преддверии XIX века
(Эпоха литературного мещанства)

До середины XVIII века в России не было интеллигенции как преемственной группы внесословного и внеклассового состава, не было и активной преемственной борьбы за определенные идеалы и против определенной системы: были отдельные «интеллигенты» своего времени, была стихийная народная борьба с насилием (будь то польское нашествие или петровская реформа), но не было интеллигенции. Типичный русский анархист Федосий Косой¹, типичный русский «либерал» XVI века Курбский, Котошихин, Хворостинин, бояре Салтыковы («польская партия»), Посопков, Татищев — все они были отдельными, одинокими «интеллигентами»; но как ласточка одна не делает весны, так и отдельный интеллигент не создает группы интеллигенции.

Петровская революция сильно распатала сословные перегородки и хотя выдвинула на сцену новый исторический класс — шляхетство, но в то же время дала первый толчок к образованию внесословной и внеклассовой интеллигенции. Дворянство помимо своей воли принуждено было войти в жизнь Европы: и как ни поверхностна часто бывала прививка европейского просвещения, но число отдельных «интеллигентов» начиная с петровской эпохи измеряется уже не единицами, а десятками и сотнями. Это еще не группа, связанная преемственно развивающейся идеей, а просто отдельные представители интеллигенции *in statu nascendi*²... Достаточно было трем — четырем «интеллигентам» сплотиться вокруг идеи самоосвобождения личности и проводить эту идею в сфере социальной и политической, чтобы образовать группу интеллигенции, которая начиная с этих пор продолжает свое преемственное развитие. Это случилось в середине XVIII века и проявилось в только что возникавшей тогда русской литературе...

...«Петр Россам дал тела, Екатерина — душу» — это несомненная истина с хронологической точки зрения: действительно, с екатерининской эпохи начинается в России рост

общественного самосознания, которое составляет «душу живу» каждого народа; с екатерининской эпохи начинается поэтому история русской литературы по содержанию, так же как с Петра и Ломоносова история эта начиналась по форме. Насколько во всем этом велика заслуга самой Екатерины — вопрос, на который, с нашей точки зрения, не может быть двух ответов: роль личности в истории мы вообще не признаем настолько существенной, чтобы объяснить ею начало возникновения новой и значительной эпохи. Особенно это относится к области государственной и общественной жизни; что же касается самой литературы, то в этой области значение Екатерины слишком малозначительно. Несмотря на это, нельзя не отметить появления знаменитого «Наказа» (1765 — 1767) — попытки Екатерины одухотворить и обработать сырой материал, доставшийся ей в наследство от Петра. Для нас второстепенное значение имеет тот факт, что «Наказ» — произведение не оригинальное, заимствованное, а также и то, что он никогда не был проведен в жизнь вследствие реакционного поворота мыслей самой императрицы; для нас это произведение интересно как первое официальное провозглашение прав человека; хотя в нем мы имеем дело не с реальной личностью, а с абстрактным человеком, но это было уделом всех русских общественников XVIII века, и не только их одних, а и большинства мыслителей и общественных деятелей того времени: даже во Франции Великая французская революция 1789 года положила в основание интересы абстрактного человека, а не реальной личности. Везде мы имеем дело с тем общим математическим интегралом, который носит название Человека и который фиксировал свое существование в Декларации прав Человека и Гражданина (*Declaration des droits de l'Homme* — непременно с большой буквы)...

...Общественное сознание проявилось не в «Наказе», но в одном литературном событии, одновременном ему: мы говорим о зарождении русской журналистики и выступлении на историческую сцену ряда общественных деятелей и работников с Новиковым во главе и с Радищевым в виде эпилога. Вот к этому эпизоду середины восемнадцатого века и относится факт зарождения и начала концентрации русской интеллигенции как проявительницы общественного самосознания. Интеллигенция эта была внесловной и эта бессловность осталась навсегда наиболее типичным признаком группы, объединяемой под понятием интеллигенции. Это не противоречит тому, что в разные эпохи интеллигенция заключала в себе то или иное сословное большин-

ство; так, к эпохе «Наказа» окончательно сформировалось дворянство, прониклось сознанием своих прав и, в лучшей своей части, стало сознавать и свои внесловные обязанности. Иначе говоря, интересы этой интеллигенции никогда не были сословными; если даже интеллигенция и была более или менее сословной (до середины XIX века большинство ее составляло дворянство), то зато она никогда не была классовой — например, «землевладельческой» — так как классовые интересы (для помещиков-дворян — землевладельческие) оставались за бортом интеллигенции. В этом была и есть ее слабость, но в этом также и источник ее неиссякающей силы. Как бы то ни было, но сословное большинство интеллигенции не внесло в нее сословных и классовых интересов: права человека стали основой работы этой интеллигенции... На первый план вполне естественно были выдвинуты интересы абстрактного человека. Началась политическая борьба, неизбежно имевшая в своей основе требования социальной реформы...

...Общественное течение русской интеллигенции ярче и резче всего проявилось в одной из наиболее замечательных книг XVIII века, в «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищева (1790). Книга эта явилась только логическим развитием и продолжением того, что когда-то высказывал Новиков в «Трутне»... «Человек рождается в мире равен во всем другому. Все одинаковые имеем члены, все имеем разум и волю»... «Все равны от чрева материя в природной свободе, равны должны быть и в ограничении оной»... «Опомнитесь, заблудшие, смягчитесь, жестокосердные, разрушьте оковы братии вашей, отверзите темницу неволи и дайте подобным вам вкусити сладости общежития, к нему же всецелым уготованы, яко же и вы. Они благодетельными лучами солнца равно с вами наслаждаются, одинаковые с вами у них члены и чувства, и право в употреблении оных должно быть одинаково»... («Путешествие», гл. X и XV). Такими словами в преддверии XIX века был высказан (хотя и не впервые) принцип естественного права...

...Для Радищева «человек» есть некоторый собирательный тип, с которым он оперирует, как с математическим понятием. Можно сказать, что для него реальная личность не существует или по крайней мере не существенна: прежде всего его интересует Человек, которого он любит писать с большой буквы. В то время как для индивидуалиста личность есть нечто глубоко реальное, вполне конкретное, субъективное, безусловно неделимое, *individuum*, для

общественника человек есть фикция, абстракция, сумма бесконечно многих слагаемых; для индивидуалиста личность есть некоторый дифференциал, быть может, нечто и бесконечно малое (индивидуалист может признавать роль личности в истории весьма близкой к нулю, хотя заметим в скобках, дифференциал может и не быть бесконечно малым), но во всяком случае личность для индивидуалиста есть нечто не суммарное, нечто самодовлеющее, целое, в то время как для общественника человек есть некоторый интеграл, сумма бесконечного числа бесконечно малых элементов — личностей.

...Первая ласточка не делает весны, но предвозвещает ее, хотя и может замерзнуть сама от вьюг и морозов. Радищев погиб, но указал дорогу многим; преемственная связь в группе русской интеллигенции с тех пор не прекращалась... Работа этой интеллигенции в преддверии XIX века... заключалась в борьбе за права абстрактного человека... Это течение мало интересовалось реальной личностью и признавало человека за некоторый интеграл; благо общества, благо миллионов, «величайшее блаженство величайшего числа людей» — вот что было их идеалом. Они были первыми «кающимися дворянами», они первые мучительно почувствовали страдания народа и задолго до Герцена и Тургенева дали Ганнибалову клятву его освобождения. Заслуги их никогда не забудутся, а потому не для осуждения их мы подчеркиваем еще раз, что наша интеллигенция XVIII века, занимаясь абстрактным человеком, чаще всего не обращала внимания на реальную личность. Параллельно с течением общественным шло другое течение, пренебрегавшее человеком и благом народа, не заботившееся о миллионах рабов, не терзавшееся проклятыми социальными вопросами, но мирно процветавшее в грубоватом эпикуреизме; это течение, главным представителем которого был Державин, обращало все свое внимание на реальную личность, на индивидуальность. Здесь мы видим зачатки индивидуализма, правда одностороннего, наивного, детского, но все же здесь именно лежит первое зерно положительного отношения к реальной личности, к определенной и живой индивидуальности.

На сером фоне сплошного литературного мещанства XVIII века эти два течения выделяются красными нитями. Антимещанство Новикова и Радищева было направлено против мещанства жизни; Державин являлся протестом литературному мещанству. До Державина поэзия была «способностью выражаться мерной речью или стихами и созвучиями или рифмами, в украшенных картинах и описаниях»

ми сочинениях, коих обыкновенная речь не допускает»; так определяли в XVIII веке поэзию. Державин первый приблизил поэзию к жизни; он первый вместо надутых высокопарных псевдоклассических од стал писать «в забавном русском слого» и первый придал своим произведениям жизненное содержание проведением в них двух основных идей, характеризующих всю его поэзию. Конечно, эти произведения не составляют даже четверти его литературного багажа: все остальное написано в мертвом, мещанском, ложно-классическом стиле; но как в одах Ломоносова прорывались искорки поэзии, а значит и жизни, там, где ему приходилось касаться любезных его сердцу вопросов о «божественных науках» и «возлюбленной тишине», так и у Державина жизнь и поэзия присутствуют там, где он затрагивает вопрос о личности. Конечно, это еще не вопрос об отношении личности к обществу — до такого вопроса далеко не дорос Державин со своим примитивным эпикуреизмом; личность интересует поэта главным образом как объект для противопоставления понятий жизни и смерти в единичном, индивидуальном случае. Жизнь и смерть реальной личности, особенно в моменте их столкновения, составили то содержание, которым Державин одухотворил поэзию XVIII века.

...Восемнадцатый век — лучшее и наиболее ясное предисловие ко всей русской жизни и литературе XIX века. Индивидуалистическое и общественное течения, переплетавшиеся, борющиеся и сливавшиеся на всем протяжении последнего века, проявились уже в восемнадцатом столетии. Знамя Радищева — абстрактный человек, Державина — реальная личность; синтез этих начал — вот задача, поставленная на разрешение грядущим поколениям русской интеллигенции. Уже в XVIII веке была первая попытка разрешения рокового вопроса. Мы говорим про масонство.

Масонство — первая попытка синтеза реальной личности и абстрактного человека; по крайней мере таким оно было на русской почве. В различных группах русского масонства на первый план выдвигалась то личность, то человек, то вопросы личной морали, то общественные проблемы. В так называемой «елагинской системе» русского масонства главное внимание было обращено на мистическую, символистическую и обрядовую стороны; система эта совершенно устраняла не только всякие политические вопросы и задачи... но даже и общественную деятельность; весь круг деятельности членов елагинского масонства ограничивался попытками личного нравственного развития. Но эта группа

масонства была немногочисленна; главную роль в русском масонстве сыграли московские мартинисты. Они также совершенно исключили политические вопросы, но в то же время не обращали большого внимания на внешнюю, обрядовую сторону масонства; деятельность этих московских розенкрейцеров была направлена на две цели: первая была общественно-просветительная, вторая касалась личной морали, причем обе эти цели были тесно связаны между собой. В этом и заключалась попытка синтеза между индивидуализмом и общественностью. Основная задача масонства — самосовершенствование реальной личности; это несомненно черта индивидуалистическая, если она не положена во главу угла и не становится самодовлеющей целью; тогда самосовершенствование становится узостью, плоскостью и признаком самодовольного мещанства...

У московских розенкрейцеров XVIII века самосовершенствование никогда не было искусством для искусства; оно было тесно связано с общественно-просветительными задачами и целями. Достаточной причиной этого служило уже и то, что во главе этой группы масонства стоял Новиков. Он, вместе со Шварцем, основал (в 1779 году) знаменитое «Дружеское ученое общество», а позднее (в 1784 году) и «Типографическую компанию», занявшуюся изданием просветительных книг и их возможно широким распространением. В этом соединении самосовершенствования с общественной работой мы видим первую — хотя и не формулированную — теоретическую попытку синтеза индивидуализма с общественностью, реальной личности с абстрактным человеком. Ровно сто лет спустя попытку буквально такого же синтеза мы увидим у Л.Толстого, признавшего основой всего самосовершенствование и в то же время обратившего особенное внимание на общественно-просветительную деятельность (учреждение книгоиздательства «Посредник»). Разница главным образом в том, что просветительная деятельность Л.Толстого была направлена главным образом на народ, на крестьянство, на «миллионы грамотных», которые, как «голодные галчата», ждут пищи, хлеба духовного; деятельность масонов была направлена на образование (в прямом и переносном смысле) русской интеллигенции из среднего дворянства и высшего мещанства. Конечно, их попытка синтеза не удалась, ибо была простым механическим соединением понятий личности и человека; но ведь и нет ничего удивительного в том, что им не удалось решение вопроса, до сих пор остающегося открытым.

Дальнейшие судьбы русского масонства нам малоинтересны. Как известно, московские мартинисты возбудили против себя подозрения Екатерины II; сперва она пыталась высмеять внешние формы масонства в целом ряде комедий и памфлетов, например «Обманщик», «Обольщенный», «Шаман Сибирский», «Тайна противонелепого общества»; после 1789 года были приняты более крутые меры. В 1790 году, по прочтении книги Радищева, Екатерина говорит про него: «Тут рассеяние французской заразы, отвращение от начальства, автор — мартинист»; в другом месте: «Автор едва ли не мартинист или чего подобное». Немедленно производится разгром «Типографической компании», а Новиков (в 1792 году) заточается на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость, по предположению Карамзина, за то, что в 1787 году он организовал бесплатную раздачу хлеба голодающим, а прежде всего несомненно за то, что он стоял во главе русского масонства. Масонство никогда не оправилось от этого погрома, хотя Новиков и был освобожден в 1796 году; но с этих пор общественно-просветительное масонство все более и более стало приближаться к елагинскому толку; в лучшем случае оно проявляло общественный индифферентизм, в худшем — впадало в обскурантизм; в первом десятилетии XIX века масоны занимались писанием доносов даже на Карамзина! И мы говорили только о московском розенкрейцестве XVIII века, указывая, что в нем можно видеть первую попытку синтеза реальной личности и абстрактного человека.

Итак, в XVIII веке мы уже имеем постановку той проблемы, над решением которой истратила так много сил интеллигенция XIX века. Проблема о личности и обществе родилась одновременно с появлением русской интеллигенции, и сразу, с самого начала, определились те три основных течения, которые только и могут возникнуть при решении этой проблемы. Первое — общественность, выставление на первый план «человека»; если течение это в то же время совершенно игнорирует «личность», то оно становится анти-индивидуализмом. Второе — индивидуализм, выставление на первый план «личности»; если течение это в то же время совершенно игнорирует «человека», то оно становится ультраиндивидуализмом. Третье, наконец, — синтез индивидуализма и общественности; в зависимости от того, что превалирует в этом синтезе, человек или личность, он может носить индивидуалистический или антииндивидуалистический характер. Все это можно проследить и на явлениях русской жизни и литературы XVIII века. В наивном эпикуреизме Державина мы видим

зародыш ультраиндивидуализма; в сатирических листках и в произведениях Новикова, Фонвизина, Радищева, Пнина — начало общественного течения; в масонстве московских розенкрейцеров — первую попытку синтеза, попытку, принимавшую все более и более индивидуалистический характер, растворившуюся в ультра-индивидуализме самосовершенствования, а потому и впавшую в окончательное мещанство... В этих основных течениях XVIII века лежат все зерна литературного и общественного развития следующего столетия, так что в преддверии XIX века мы знакомимся со схемой дальнейшей эволюции русской мысли и направления русской интеллигенции: «как солнце в малой капле вод», здесь отразилось все будущее русской жизни и литературы.

Н.А.Бердяев

Жозеф де Местр и масонство

(La franc-maçonnerie. Memoire au Duc de Brunswick par Joseph de Maistre. Publie avec une introduction par Emile Dermenghem; Dermenghem E. Joseph de Maistre mystique, 1923; Georges Goyau. La pensee religieuse de Joseph de Maistre, 1921)

Интерес к масонству в русской эмигрантской среде носит характер исключительно эмоциональный, а не познавательный. Этот интерес рожден на почве патологической мнительности и подозрительности и находится на уровне сознания книги Нилуса¹ и протоколов сионских мудрецов, то есть на крайне низком культурном уровне. Вопрос о масонстве ставится и обсуждается в атмосфере культурного и нравственного одичания, порожденного паническим ужасом перед революцией. Вопрос этот отнесен целиком к сыскной части, к органам контрразведки. Розыск агентов «жидо-масонства», мирового масонского заговора, имеет ту же природу, что и розыск большевиками агентов мирового контрреволюционного заговора буржуазии. Толком никто ничего о масонстве не знает. Обличители масонства питаются подметными листками, крайне недоброкачественными и рассчитанными на разжигание страстей, написанными в стиле погромной антисемитской литературы. Концепция масонства как мирового заговора против христианства, как церкви сатаны создана католиками правого лагеря. Католики верят, что Церковь Христова есть внешняя мировая организация. Отсюда они делают дедукцию, что и церковь сатаны должна быть такой же внешней мировой организацией, столь же иерархической и подчиненной единому центру. В сущности католические специалисты по масонству считают масонами всех противников католичества, они делят мир на две части — католическая церковь и масонство и в масонство зачисляют почти всех замечательных людей нового времени. В таком духе написана известная католическая книга о масонстве N.Deschamp'a «Les societes secretes et la societe

ou Philosophie de l'histoire contemporaine»². Нет, кажется, ни одного деятеля (не католика) в области мысли и в области общественной жизни, которого бы отец Дешамп не причислил к масонам. Концепция масонства как мирового сатанического заговора против христианской Церкви и христианских устоев жизни в русской черносотенной литературе в стиле Нилуса целиком скопирована с католической литературы, но с сильным понижением умственного и культурного уровня. Настоящего познания масонства нет ни там, ни здесь. Крайнее легкое верие, неспособность к критике поражает в этой литературе. Русские маниаки масонского заговора, мнящие себя православными, забывают, что православному сознанию совсем не свойственно понимание Церкви Христовой как внешней мировой организации, и потому совсем не обязательно для этого сознания мыслить церковь сатаны как внешнюю мировую организацию, как централизованный мировой заговор. Православие предоставляет сатане, силам зла возможность действовать разнообразными, не непременно организованными и централизованными путями. В основе концепции масонства, изобличающей его зловещую мировую роль, лежит философия истории, до крайности переоценивающая значение организованных и централизованных сил в мировой истории. В действительности в мировой истории огромную роль играют силы стихийно-иррациональные. У людей есть потребность искать сознательного, организованно действующего виновника своих несчастий и злоключений. Когда-то так же повсюду видели иезуитский заговор, как теперь видят масонский заговор.

Большим ударом для господствующей в правых католических кругах концепции масонства является опубликование найденного в бумагах Ж. де Местра³ трактата о масонстве. Для тех, которые специально занимались Ж. де Местром, ничего неожиданного книга «La franc-maçonnerie»⁴ не представляет. Я много занимался Ж. де Местром и мне было известно, что Ж. де Местр был близок к масонству, был в молодости учеником Сен-Мартена⁵ и что его следует трактовать как своеобразного иллюмината⁶ и христианского теософа. Но во вновь опубликованной книге де Местр развивает герцогу Брауншвейгскому, Великому мастеру шотландского франкмасонства, целый план обращения масонства на служение христианской церкви. Он устанавливает для масонства деятельность трех ступеней: 1) филантропическая деятельность помощи ближним; 2) содействие объединению христианского мира с подчинением его Католической Церкви;

3) высший христианский гнозис, то, что де Местр называет «revelation de la Revelation»⁷.

Ж. де Местр признает, что есть масонство зловредное, революционно-разрушительное и направленное против Церкви и христианства. Таково, например, революционное иллюминатство немца Вейсгаупта. Но также может быть масонская организация направлена на служение добру, на торжество христианства в мире. Сен-Мартена, который был христианином, но не ортодоксальным католиком, Ж. де Местр горячо защищает. Между тем как о. Дешамп считает Сен-Мартена атеистом, разрушителем христианства и страшным революционером. Вопрос о религиозных взглядах Ж. де Местра, об его отношении к мистике, а также к масонству, иллюминатству и мартинизму обстоятельно исследован в прекрасных книгах Ж. Гойо⁸ и Е. Дерменгема.

Ж. де Местра, гениального мыслителя, соединявшего в своей необычайной индивидуальности сложное многообразие, знают понаслышке. Все повторяют шаблонный взгляд на него как на крайнего реакционера, апологета инквизиции и палача, фанатического католика и роялиста, ультрамонтана⁹, провозгласившего до Ватиканского собора догмат папской непогрешимости. Но в действительности образ Ж. де Местра совсем иной, несоразмерно более сложный, не вмещающийся ни в какие шаблонные направления и школы. Ж. де Местр, как и большая часть замечательных людей, был одинок, он сам по себе. Когда была опубликована переписка Ж. де Местра, то все были поражены, какой это был чудесный человек, нежный, любящий, мягкий, необыкновенно благородный, так много страдавший в жизни. Ж. де Местр совсем не дореволюционный человек, он пореволюционный человек, он не банальный реакционер, он обращен к грядущему. Он понимал не только сатанический характер революции, но и ее своеобразное величие, видел в ней действие Божьего Промысла. Он относился резко отрицательно к эмигрантам французской революции и не хотел насильственной, кровавой контрреволюции. Он ждал наступления новой мировой эпохи в христианстве, нового откровения Св. Духа. Он любил Платона и Оригена, что очень оригинально для представителя латинского католичества. Он был своеобразным христианским гностиком, веровавшим в возможность более глубокого и эзотерического понимания откровения в духе сокровенной духовной мудрости. Он признавал тройственный духовно-душевно-телесный состав человека, чего не признает господствующая доктрина католичества. Он горячо стоял за символическое

толкование Священного Писания. Взгляды его отличались большой широтой, а не узостью. И всегда в нем чувствуется человек утонченной культуры. В нем нет никакого мракобесия, столь свойственного русским правого лагеря. Вопреки принятому о нем мнению Ж. де Местру свойственна была своеобразная гуманность. Это показано в книгах Дерменгема и Гойо. Масонство для де Местра было наукой о человеке. Он стоит на грани двух веков и оказывает огромное влияние на мышление XIX века. Известно, какое значение имел он для Сен-Симона и Огюста Конта, не говоря уже о католических течениях. Условием для вхождения в масонство Ж. де Местр предлагал поставить веру в божественность Иисуса Христа. Масонство в конце XVIII и начале XIX века было мистически окрашено, в те времена оно не приобрело еще того характера, какое оно имеет сейчас, то есть характера политических клубов, через которые делают карьеру. Ж. де Местр интересен для русских еще потому, что он провел свое изгнание в течение семнадцати лет в Петербурге в качестве посла при дворе Александра I, написал книгу о России и в письмах своих много говорит о России. Он предсказал русскую революцию и предвидел ее ужасный характер. Православия Ж. де Местр не увидел и не понял. Он вращался в русском светском обществе начала XIX века, которое само не видело и не понимало православия. Кстати сказать, и ныне Дерменгем в своей книге неверно изображает религиозную жизнь в России, основывая свое суждение на книгах П. Милюкова, который враждебен не только православию, но и вообще религии.

Де Местра представляли себе политиком по преимуществу и даже взгляды его на папскую непогрешимость обычно считали прежде всего политической доктриной, обосновывающей суверенитет власти. Новые книги о де Местре разбивают этот взгляд и устанавливают, что для него на первом плане всегда стоял интерес религиозный. Де Местр был мистиком, и только признав это, можно понять его судьбу. Как и все мистики, он был не понят и искажен. Про Ж. де Местра сказал де Бональд, что не находит себе места в настоящем тот, что чувствами своими принадлежит прошедшему, а мыслями своими принадлежит будущему. Когда Ж. де Местр вернулся во Францию, он оказался там чужим, к нему отнеслись почти враждебно. А это было время Реставрации, когда должны были бы признать его заслуги. Ватикан тоже не был особенно расположен к светскому мыслителю, написавшему книгу «О папе», и в конце концов осудил фидеизм и традиционализм, с которыми было

связано мирозерцание де Местра. Ж. де Местр не был схоластиком и интеллектуалистом в томистском смысле, он был иррационалистом и вместе с тем своеобразным гностиком. Его христианская теософия была тем соединением и смешением мистики, теологии и философии, которого не допускает победивший в католичестве классический томизм. Ж. де Местр был прежде всего историософом, а историософия никогда не вмещается в рамки официальной теологии и философии. Он создает мистическую философию истории. Он один из очень немногих в западном католическом мире, настроенных апокалиптически и эсхатологически. Ж. де Местр, подобно Фр.Баадеру¹⁰, ближе нам, русским, чем другие мыслители Запада. Его ожидания новой эпохи Духа Св. очень близки ожиданиям русской религиозной мысли.

Как оценить книгу Ж. де Местра о масонстве? Она сбивает распространенные сейчас представления об истории масонства и требует более сложного отношения к этой проблеме. Величайший католический мыслитель Франции, глава контрреволюционной теократической школы, был масоном, причастен к мартинизму¹¹ и развивает план обращения масонских организаций на служение христианству и католической церкви. Правда, активное его участие в масонских ложах связано с его молодостью, но он до конца жизни защищал учителя своей молодости Сен-Мартена, столь третируемого в шаблонных католических книгах о масонстве.

Приходится признать, что в истории масонство бывало разным и служило разным целям. Значение книги де Местра в том, что она помогает разбить мрачную легенду о масонстве, которая способна довести слабых и склонных к одержимости людей до сумасшедшего дома. Согласно этой легенде, масонство есть мировой заговор, сатанинская мировая организация, которая все себе подчиняет и обращает все в орудие своих темных целей, скрытых от большей части самих масонов. Легенды этой нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Тайная организация не поддается извне изучению до глубины. Никакой легенды о тайной организации нельзя опровергнуть точно и документально. Всегда маниаки этой легенды могут сказать, что само опровержение есть лишь новая хитрость для осуществления темных и таинственных целей этой организации. Перед нами разверзается дурная бесконечность подозрений и обвинений. Для легенды о масонстве есть много оснований и поводов, но она, как и всякая легенда, есть мифотворчество коллектива, пораженного известного рода аффектами и эмоциями. Легенда

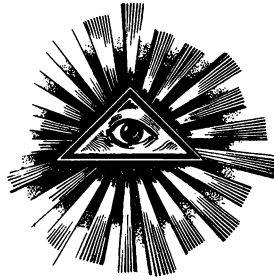
не может быть простым констатированием факта, и она не поддается эмпирическому обоснованию, она всегда творится и в ней есть домысел. Легенда всегда убедительна для тех, которые эмоционально в ней заинтересованы. И в легенде всегда есть своя доля истины, реальности. Масонство все-таки существует и играет роль. Происхождение масонства теряется в глубине веков и окружено оккультными преданиями, его связывают с орденом тамплиеров. В наше время во Франции масонство играет довольно большую политическую роль, оно есть путь к власти и оно ведет борьбу против католической церкви. Но когда выпускают книгу с документами, доказывающими, что правительство Эррио точно исполняло предназначения масонских лож, я спрашиваю, что это прибавляет к нашим суждениям о правительстве Эррио или о другом каком-либо правительстве. Важна оценка всякого явления по существу, по плодам его. Если какое-либо правительство ведет резко антихристианскую и антицерковную политику, то я даю ему отрицательную оценку с точки зрения моей веры, независимо от того, действует ли оно от масонских организаций или от себя самого. Современный мир полон отрицательными антихристианскими и антицерковными движениями — таково господствующее состояние сознания, и ничего не прибавляется к оценке этих движений оттого, что я признаю их масонскими. В наше время нет надобности скрывать и маскировать безбожия и вражды к христианству, скорее наоборот. В нашу эпоху сплочиваются и организуются антихристианские силы самыми разнообразными и открытыми путями, и масонство совсем не обязано тут играть руководящей роли. И без него делают свое безбожное дело. Самая большая и самая злоедейшая антихристианская сила — коммунизм — менее всего носит характер масонский.

Чтение масонских и антимасонских книг, общение с людьми и длительные размышления на эту тему привели меня к той гипотезе, что масонство не столько есть тайная мировая организация, которая пользуется как своим орудием, всеми силами, всеми организациями, всеми партиями для осуществления своей неведомой конечной цели (легенда), сколько есть форма тайного общества, которой пользуются все силы, все организации, все партии для осуществления своих целей, как злых, так иногда и добрых. Только этим можно объяснить, что в разное время и в разных местах масонство окрашивается в разный цвет. Было масонство мистическое и масонство резко атеистическое, масонство правое и масонство левое, в

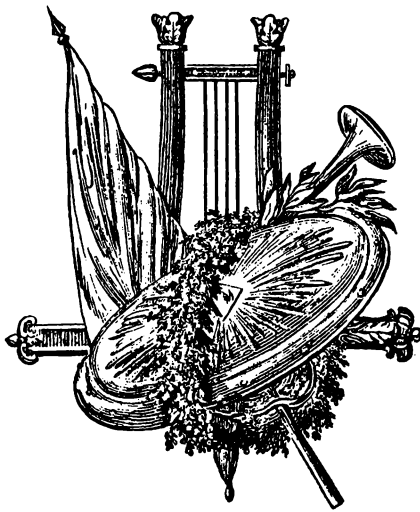
нем участвовали цари и революционеры. В конце XVIII и в начале XIX века в масонстве преобладали направления мистические и оккультно-теософические. Наш Новиков был христианином и мистиком. В конце XIX и в начале XX века в масонстве преобладают направления атеистические и воинствующе антихристианские. Но и сейчас масонство очень разнообразно. Так, в странах латинских и католических, во Франции и Италии, масонство прежде всего имеет характер антицерковный и антихристианский. Таков, по-видимому, «Grand Orient»¹² во Франции. В Америке и Англии масонство имеет характер по преимуществу протестантско-христианский, есть даже епископы среди масонов. Тайные общества существуют с древних времен, они были и в Древнем Египте, Индии, Греции, и ими пользовались для разных целей. Сейчас в масонской идеологии преобладает антихристианский гуманизм, но не всегда так было, да и теперь не везде так. Пример Ж. де Местра доказывает, что принципом масонской организации, тайного общества, можно пользоваться для целей самых противоположных. Масонство есть то, чем все пользуются, а не то, что всем пользуется. И сейчас по преимуществу пользуются им для целей не христианских и антицерковных. Политически европейское масонство есть сейчас направление буржуазного радикализма. Менее всего масоны коммунисты. Масонство есть чисто буржуазная идеология, и духовно буржуазная и социально буржуазная, вокруг него группируются левые и свободомыслящие буржуазные элементы, представители буржуазного, прогрессистского гуманизма. И мне представляется вредным окружать масонство ореолом. Господствующая идеология масонства, в сущности, очень плоская, это есть самая банальная вера в прогресс и в гуманность, непонимание глубокого трагизма мировой истории. Масоны неатеисты исповедуют плоский деизм. Мистические и оккультные элементы в масонстве ослабели и остаются пережитком прошлого, они являются достоянием отдельных людей, а не групп. Возрождающийся в наше время оккультизм, по-видимому, не имеет тесной связи с масонством. Масонство окрашивается в цвет эпохи и цвет тех групп и слоев, которые в него входят.

Когда на вопрос, задаваемый специалистам по масонству, в чем же сейчас положительная цель масонства, отвечают, что оно стремится к созданию соединенных штатов Европы, и говорят это с выражением ужаса на лице, то мне это представляется очень смешным. Сама по себе цель создания соединенных штатов Европы не есть еще злодейская цель, к ней могут и добрые христиане стремиться, но с иным

духом. К созданию соединенных штатов Европы стремятся открыто многие политические направления, и оценивать это нужно по существу. Я не могу считать, что объединение народов Европы и мир между этими народами есть цель злодейская и сатаническая, потому что и масоны работают над осуществлением подобной цели. Это — пустое и извращенное рассуждение. Я бы хотел, чтобы объединение народов Европы и мир между ними совершился во имя Христа, и я верю, что только во имя Христа можно достигнуть реального объединения и мира. Но когда христиане не осуществляют правды в жизни, когда они не творят дело единения и мира, тогда это берет на себя антихрист и духовно искажает его. Христиане должны по-христиански решать социальный вопрос. Иначе он будет решен в духе антихриста. Нужно прежде всего на себя взять вину и ответственность, а не искать повсюду масонского заговора, что есть дело не христианское и духовно вредное, столь же не христианское и духовно вредное, как и искание повсюду еврейского заговора. Французские католики-националисты не хотят примирения между Францией и Германией, потому что над этим примирением работают масоны. Но это примирение есть прежде всего обязанность христиан, призывы же к вражде и крови в духе "Action Francaise"¹⁸ есть дело антихристианское и безбожное, губящее Европу. К масонской легенде нужно отнестись морально-прагматически. Она вредна для духовного здоровья людей, она действует разрушительно на душу, ввергая ее в атмосферу сумасшедшей мнительности, подозрительности и злобности, она делает душу не более вооруженной, а менее вооруженной, так как патологический эффект страха, подозрения делает человека слабым, превращает человека в дрожащую тварь. Мой долг прежде всего мужественно и бесстрашно творить добро, а не быть растерзанным ужасом перед злом. Чтение Ж. де Местра должно действовать облагораживающе. Де Местр всегда и во всем пленяет своим духовным аристократизмом, которого так не хватает людям нашей эпохи. В частности, книга де Местра о масонстве и книги Дерменгема и Гойо о де Местре должны способствовать пробуждению благородно-аристократического духа познания в отношении к сложной проблеме масонства, столь вульгаризованной патологическими аффектами эпохи.



НА АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА



Преуведомление

«Утренний свет»
(сентябрь 1777 г.)

Благосклонный читатель!

Издатели сего Журнала, приступая к сему предприятию толико были обременены страхом и надеждою, что и теперь не находят себя в состоянии вдруг открыть своего намерения.

Собрание наше состоит только из десяти; а сложи вместе время нашей жизни, составит не более тридцати лет. Таковая младость едва достигает и до *Утреннего Света* в нашей жизни; почему, как то и со всеми молодыми людьми бывает, мы хотя и великую полагаем надежду на свое прилежание и трудолюбие, однако ж не смеем уповать, что по желанию удостоят нас многие своим чтением.

Более девяти дней размышляли мы о средствах, которыми б могли снискать многих читателей. Собрание наше подобно было Афинскому ареопагу. Имело оно столь важный и почтенный вид, что и сама грозновидная Минерва была б им довольна; однако ж со всем тем не могли мы ни на что решиться. Все, что ни было предлагаемо, казалось нам или весьма младым, или крайне старым, или очень искривленным, или слишком прямым, или весьма кратким, или чрезмерно протяженным; словом, при окончании всех наших советов приметили мы, что наше желание быть Издателем, не сопряжено не только ни довольною смелостию, но не подстрекаемо тщеславием, самолюбием или гордостью.

Наконец выступил один из наших возлюбленных сочленов, коего малые, глубоко впадшие и пронизанием украшенные очи и длинный нос, осеняющий на сухом лице его сильно изображенные черты, предсказывающие всегда, о чем он помышляет; и который приобвык не прежде начинать говорить, как только Венера проходит через Солнце. Таковой то сочлен наш, выступив, вопрошает: «Друзья! уверены ли вы, что наши сограждане охотно будут читать лучшие, по вашему мнению, вновь избранные сочинения? Разве перья ваши очинены по новейшей французской моде? Разве снабдила вас Англия и

Немецкая земля материею к писанию?» Проговорив сие, садится он паки с важностью, потирает зардевшее чело свое.

Подобно как сильным громовым ударом мрачные тучи разгоняются и солнечным лучам дают свободное происхождение, тако от сего вопроса души наши вдруг исполнились светом. Сколько ученые наши споры о избрании сочинений были прежде живы и громогласны, толико по сем настало глубокое молчание. Долгое время взирали мы друг на друга, не зная, что нам думать, говорить или делать должно; и для того просили мы его, чтобы он нас своим полезным советом из сего нового затруднения исторгнул. Сие ты, говорили мы, сделать должен для того, что немилосердно принудил нас воспрянуть от сна, весьма для нас приятного. Долго мы принуждены были просить сего противу слабостей, погрешностей и пороков неукротимого нравоучителя. Наконец патриотическая ревность к возлюбленному Отечеству преодолела его упрямство. Пылающее его желание приобщить что-либо к пользе и благосостоянию своих сограждан разверзло его человеколюбием тронутое сердце, и начал он вещать тако:

«Друзья! о чем я вас прежде вопрошал, без сомнения, есть столь важное дело, что вы о нем в прежних ваших советованиях и помышлять не могли. Все ваши старания и изящные предприятия, все ваши с непрестанным бдением издаваемые ученые труды были бы тщетны и бесполезны, если б они читателям вашим не понравились. Я весьма далек от сомнения о любви к чтению наших единоплеменников; но мы не в состоянии ныне заключить о таком деле, которое время решить должно. Однако ж положим, хотя без утверждения, что любовь к чтению не во всех еще российских городах совершенно распространилася; будем ли мы тем освобождены от нашей должности, которую обязаны к нашим единоплеменникам, когда некоторые из них сами к себе свой долг позабывают? В сем случае не должно ли наше усердие о благе таковых наипаче усугубляться? Не должны ли мы тогда все наши старания с большим предвидением и благоразумием учреждать, дабы читающим согражданам доставлять удовольствие, а нечитающих привлекать к собственной их пользе? Обольщенные сочинениями некоторых иностранных писателей подобными блеску сусального золота, скоро могут прийти сами в себя, если мечтательные оных красоты, подобно в нашем воздухе зимою блещущим снежным частицам, увидят растаивающими и в ничто обращающимися при восхождении солнца правды. Итак, вопрос мой

не должен был приводить вас в сомнение в вашем намерении, но только сделать вас осторожными во исполнении одного, ибо он приводит вас вдруг ко всему расположению вашего журнала и в молчании подает совет: *будьте полезны для благоразумных.*

Сим мог бы я окончить мое слово, а прочее оставить вашей достохвальной ревности, если б еще не усматривал из очей ваших нетерпеливого желанья узнать подробнейшие мои заключения. Итак, противу моего свойства хочу я теперь несколько обстоятельнее и пространнее говорить. Я думаю, что лучшим предметом настоящих трудов наших избрать не можем, как сердца и души возлюбленных наших единоплеменников. Сии наши единоплеменники суть разумные существа, из тела, души и духа состоящие. Мы оставим парикмахерам, портным и изобретательницам новых мод украшать их наружность; оставим искусным врачам иметь попечение о пользовании их телесных болезней; но души и дух их да будут единственным предметом нашим; им-то врачевание, укрепление и тому подобное предлагать станем. И для того издаваемые нами листы должны наполнять истинами, в природе человеческой основание свое имеющими; истинами, от естества проистекающими и тем же самым естеством объясняемыми. Нужно ли вам, чтоб я сие утвердил доказательствами? Изрядно: послушайте меня еще несколько минут.

Если небо, землю, воду, воздух и огонь — словом, все естество будем по намерению исследовать, то нам, во-первых, не иное что представится, как человек, для коего все произведенное натурою достойно рассуждения. Величественное солнце со всем великолепным сонмом звезд было бы недостойно нашего внимания, если бы благотворящие оных влияния не показывали нам, что они немало споспешествуют нашему благу. Все три царства природы были бы для нас незначительны, если бы нам опыты не доказывали, что человек всего одного сотворен владыкою. Все пространное поле наук и художеств преобразилось бы в пустое, бесплодное и сведений недостойное мечтание, ежели б оные не стремились к исправлению человеческого сердца, ко споспешествованию человеческому благополучию и к расширению души и сил ее. Все нам доказывает, что между видимыми вещами, кои в течение толиких лет мы узнали, ничего преизящнее, величественнее и благороднее человека и его от Источника благ происходящих свойств не находим; а из того и следует, что мы не несправедливо судим — и кто может сие великое и благородное самолюбие похулить! — если челове-

ков за истинное средоточие сей сотворенной земли и всех вещей почитаем! Ничто полезнее, приятнее и наших трудов достойнее быть не может, как то, что теснейшим союзом связано с человеком и предметом своим имеет добродетель, благоденствие и счастье его.

Все мы ищем себя во всем; побуждающие нас к тому причины были бы слабы и недействительны, если б мы, предпринимая что-нибудь, самих себя или надежду нашего удовольствия, нашего счастья и благосостояния из виду упускали. Итак, нет ничего для нас приятнее и прелестнее, как мы сами себе. Удивительно ли, когда с охотою внемлем разговорам о нас, и если беспрестанно алчем знать, что другие о нас рассуждают? Какое благородное движение души замечаем даже и в неосторожном юношестве, когда оного дела достаиваем нашей похвалы? Самый непорядочный человек недолго будет противиться, если о его заблуждениях станут ему доказывать кротким образом. Итак, если бы возможно было людей привести к тому, чтоб они сперва вообще себя, как средоточие всех вещей, почитали за образ благонравия и добродетели, тогда б мы каждого особливо находили склонным признавать себя за важную и достойную часть сего средоточия.

Как вы, друзья мои, могли сомневаться в приобретении многих читателей такого издания, которое будет вещать о самих читателях? Если только вы постараетесь подавать помощь врожденному в людях желанию ко приобретению знания вашим искусным избранием сочинений. Великим споспешествованием служить вам будет незнание многого, что до самих себя касается. Большая часть, странствуя мыслями по беспредельной обширности мира, ищут познания всех возможных, всех существующих вещей, а в своем собственном малом мире пребывают неизвестны и чужды. Многие *науку познания самих себя* не почитают за нужную и требующую великого прилежания; но яко не приносящую довольной пользы, считают за домашнее ремесло и легчайшее к изучению. Другие отчасти думают, что сей как лучшей науке тогда обучаться должно, когда уже все в их понятие вмещено будет. Иные же — и сколько есть таковых! — подвержены всегдашним непостоянствам, подобно алчным пчелам, летают от одного цветка познания к другому; пространство сего поля и множество на нем красотою привлекающих цветов суть причиною, что они на сих прелестных полях теряются и никогда не могут возвратиться ко благоухающему амаранту самих себя. Наконец другие, коих

числом более всех, меняют нужные вещи на бесполезные; теряют прямой путь, почитая малость за нечто важное; и для того никогда сами до себя не достигают. Итак, удивительно ли, когда познание самого себя есть наука, между людьми мало еще известная?

Не можем отрести, чтоб не было и таких людей, которые всю свою жизнь только в том проводят, что всегда взирают на себя; но они рассматривают одну поверхность чело- века. И сие их познание самих себя не то, о коем нам древние египетские и греческие мудрецы толь много превыспреннего и полезного обещают.

Такое познание, друзья мои, не может вам в намерении вашем воспрепятствовать, но еще тем более способствовать будет, если вы некоторых, переменчивостью бабочкам подобных, со кротостью поставите перед *зерцалом истины* и покажете в оном путь, по коему могут они с поверхности тела нисходить во внутренность сердец их.

Все пространство поля высокого, среднего и общего нравочения открыто нашему предпринятому труду. Обрящем на оном некоторые места пусты и необработанны. Не будем страшиться насмешливых и уничижающих остряков, которые нравоучительные сочинения за нечто старое и излишнее разглашают. Весьма униженную на свете добродетель возвести паки на ее величественный престол, а порок, яко гнусное и человеческой природе противоречащее вещество, представить свету во всей его наготе; таковых трудов и одно намерение уже достойно похвалы, хотя б душевные силы и не в состоянии оных поддерживать. Чем больше сердца наши подают важное свидетельство, что никакие другие намерения не будут упражнять нашего пера, тем покойнее и равнодушнее станем мы сносить и слушать все посмеяния и ругательства, касающиеся до нашего *Утреннего Света*, доколе наконец великое солнце все просвещающего Духа посреди нашей тверди явится; и тогда мы с радостью в лучах его света исчезнем.

Человек, как я уже прежде сказал, есть нечто возвышенное и достойное. Священное Откровение научает нас притом, что он прежде всех творений получил свое образование по образу Всевышнего и что животворящее дуновение Всемогущего даровало ему жизнь. Сие обстоятельство само по себе есть толь велико и важно, что может в нас вперить подобострастие к такой твари, которая самим Творцом почтенна толикими преимуществами; следовательно, и должны мы важности сего дела соразмерные писания упот-

реблять и важно о таковых свойствах вещати. Да будет нам дозволено с теми только людьми иначе поступать, кои сами свое высокое человеческое достояние ногами попирают и достойное почтения свойство уничижают; которые противятся врожденным благородным побуждениям; отрицаются своевольно от чистых человеческих чувствований; такие люди, конечно, заслуживают, чтоб мы их за диких в человеческом только образе скитающихся зверей почитали и к чести человечества строже с ними поступали, нежели наша склонность к кротости нам повелевает. Итак, всеобщая сатира да будет бичом, коим мы станем пороки и сих нечеловеков наказывать. Да будет также сие нерушимым для нас законом, чтоб давать восчувствовать сие наказание единым токмо порокам, а не особам, поелику они суть человеки. Порок и человек, сии два предмета, должны в наших листах быть подобны двум параллельным линиям, которые вечно одна другой прикоснуться не могут. Станем, друзья мои, прежде всего стараться быть человеколюбивыми, дабы, все терпя и не касаяся личной укоризны, могли мы удобнее писать к *споспешествованию добродетели*; и если при сем предполагаемое нами всеобщее человеколюбие будет нам служить Полярною звездою, то легко можем пройти сквозь камни, нас окружающие, и сильное учинить нападение на одни пороки, злобу и бесчеловечие.

Древность оставила многие прекрасные и преизящные сочинения о таковых важных материях. Время и обстоятельства большую часть оных погребли под их развалинами. Исторгнем оные оттуда, друзья мои; предадим их нашим согражданам на их собственном языке. Таким образом честь древности спасем для пользы нашего Отечества; и при-том будем часто иметь случай читателей наших препровождать к дверям доброго вкуса и разумного познания. Новейшие времена должны благодарить высоким разумом одаренных людей за обретение стезей и пути к познанию человека и его естества. Многие великие духи дерзали проникать во глубину человеческого сердца и примечания свои обнародовали. Не презрим мы ничего намерению нашему полезного, хотя б оно предрассуждениями и испорчено было.

Да будет для нас неценно все, что предмету нашему, то есть благу сограждан наших, споспешествовать может. Я знаю, друзья мои, сколь мы далеко отстоим от ненависти и гордости и сколь алчно желаем, чтоб все наши возлюбленные сограждане присоединили свои труды к нашим для достижения единого намерения. И для того позвольте, чтоб

все, которые во всеобщем знании человека и самих себя приобрели откровения, могли наполнять своими сочинениями несколько наших листов. Просите и поощряйте их явно к сему полезному для общества труду; уверьте их, сколь много они нас обяжут, если свои писания нам сообщать будут. Они могут присылать письма свои к книгопродавцу, у которого продаваться будет наш журнал, а мы уже о прочем с великим удовольствием стараться не преминем. Какая приятная надежда питает мое сердце! Сим случаем познакомимся мы со многими великими умами, с истинными патриотами и с прямыми человеками. Во древности Диоген искал их с фонарем, но и в нынешнее время, друзья мои, не на всех улицах они встречаются с нами!

Наконец нужно для отвращения подозрения в корыстолюбии, чтоб вы пред согражданами не сокрывали, с каким намерением прибыль от сего журнала получать желаете. Почто не дать знать свету, что вы все вырученные деньги от продажи сего журнала определили к содержанию училищ для бедных детей?

Правда, не всегда шуйца должна ведать о добрых намерениях десницы; да и когда благодеяния явно проповедываются, тогда лишаются они внутренней своей цены, и благотворители уподобляются фарисеям. Но здесь совсем иное; учреждение таковых школ не может быть тайно. Они требуют знатного и постоянного подкрепления. Добрый ваш пример может побудить других добронравных людей. Любовь их к бедным, воспитанная к неимущим согражданам, через сие поострится; потщатся помогать в подъятии бремени, которое возлагают на рамена свои некоторые охотно на то согласившиеся; бремя легкое, приятное и никого не удручающее и которое, однако ж, человечеству и должности к Отечеству великую честь приносит. Итак, где доброе дело требует явного примера, там хулы достойна стыдливость, заставляющая сокрывать честные намерения и благородные действия. Смелость и неустрашимость имеют всегда в себе нечто привлекающее, что люди часто как бы непреодолимую силу употреблять принуждены. Плутарх во своем сочинении о случае написав, что без угрызения совести о своих добрых делах говорить возможно, может быть, о таком намерении не помышлял. Я думаю, что мы, без всякого опасения быть почитаемы тщеславными, можем не только о сем возвестить, но еще и долг наш требует, чтоб мы сие обнародовали. Ежели мы через сие нашим любезным согражданам отворим новые врата, покажем новый путь ко благу человечества, то и

отвратим от них нареkanie, что им случаев не доставало оказать их любовь к человекам, к их согражданам и их возлюбленному Отечеству».

Сим прекратил свое предложение наш любезный сочлен. По строгом разыскании нашли мы, что он, исключая последнее предложение, ничего такого не сказал, в чем бы мы с ним совершенно согласны не были. Мы положили, чтоб сие мнение его было напечатано вместо предисловия к нашему журналу; для того, что предисловие при всяком новом сочинении обыкновенно связано с некоторыми трудностями. Может быть, мало было таковых писателей, которые при вступлении ко своему сочинению не трепетали. По счастью, любезный наш сочлен от сего нас избавил; и мы не должны умиловать хулу или стараться привлекать внимание. Узнают и без того наши почтенные читатели все наше намерение и чего они впредь от наших листов ожидать могут.

По примеру Фукидида не завещали мы им навеки своего сокровища, а потому и не должны им возвещать о цене оногo. Известны уже они, как о нашем намерении, так и о нашем страхе: и время покажет, основательно ли было то и другое!

О письменах славянороссийских и тиснении книг в России

**“Утренний свет”
(сентябрь 1777 г.)**

Древность славянороссийских письмен в таких же мраках погружена, каковы и прочие источники наук и народов от нашего сведения утаили. Были ли какие начертания до времен Владимировых между обитающими в полнoчной стране народами, нам неизвестно: общежитие в таком обширном владении, построение сел и городов, учрежденное, но разнообразное правительство, сведения, касающиеся до государя и народа, военные подвиги, посольства, подати и проч. заставляют думать, что ежели не совершенные буквы, то какие ни есть знаки или изображения еще во времена киевского князя Кия и до учреждения Новгородской республики существовали. Время, внешние брани и внутренние мятежи древности нашей следы загладили. Может быть, и последние открытия старобытности нашей вовеки

бы исчезли, ежели бы острая прозорливость и тщательное о российской истории рачение премудрой Екатерины II от совершенного истления оных не предохранило.

Другие владетели ищут сокровищ в земной утробе; Екатерина ищет их под развалинами древностей и, народ свой обогащая сведениями о протекших веках и праотцах наших, просвещает страну полночную и всю любопытную Европу.

Отворились в ее царствование едва известные донные книгохранилища, и некоторые трудолюбивые писатели уже очистили первоначальное историческое сияние, многие веки тьмою окруженное.

Но еще великую часть нужных для нас сведений густая ночь покрывает; время сокрыло оные, время и сыщет их. От сего поздние дошли познания до нас о славяно-русских письменах; мы имеем о них сказания (но и те сомнительны), не имеем далее, как до исхода осьмого столетия по Синописису, когда греческий царь Михаил, учинив со славянами мир, прислал к ним в дар славянские буквы, что надлежит считать еще до Рюрикова княжения, то есть 855 года. История повествует, будто в круге тех же времен Константин Философ, в иноках нареченный Кириллом, и брат его Мефодий изобрели нам писмена и многие священные преложили книги на язык славянский; но подлинно ли существовали оные книги и россияне имели сведения о них, или в отдаленной только Иллирике и другим славянским народам они известны были, все сие мрачная древность от нашего любопытства и от нашей догадки сокрыла; однако мы должны воспользоваться теми знаниями, которые до наших дней достигли, и слепо иногда историческим преданием пользоваться. Некоторые летописатели вероятно утверждают, что вся наша азбука принята с греческой азбуки; но недостаток подлинника по славянскому наречию в последующие времена дополнен был. Тако удостоверены будучи о изобретателях славянских букв, перейдем вкратце к последующим векам.

Озарившее Россию во дни княжения святого Владимира христианское крещение озарило и державу его первым светом учения; источник всех наук, Священное Писание, русскими юношами еллинскому языку обученными и многими греческими мудрецами преложено на язык славяно-русский. Коль великие трудности предлежали переводчикам, из того легко заключить возможно, что вся полночная страна до того времени была во тьме идолослуже-

ния погруженна; образ мыслей и самих природных чувств в наших предках вдруг долженствовал преобразиться; свойство их языка и законоположения весьма было удаленно от важности, красоты и силы православного Богословия; ученым чужестранцам и россиянам нужно было изобрести слова и целые составить речи для изображения таинственных, глубоких и одному христианскому закону приличных выражений; и для показания важности стихословия греческого каждая новость дикою и не вдруг понятною представляется; а душевные чувствования, законом в нас впечатленные, трудно словами изъясняться могут. Оттого, может быть, вкрались в древние наши книги странные, непонятные и несвойственные речения; но стези проложены: остается благоразумно уравнивать их, расширить и совершить.

Каковы бы ни были оные священных книг переводы, но то истинно, что в самое то время, когда все почти европейские народы на чужих языках богослужение отправляли, россияне уже на природном своем языке, установив церковные обряды, прославляли Бога и пение к небесам воссылали; но гордость и самолюбие заставляли думать прочие державы, что северные народы во глубине невежества пресмыкаются; таковые ошибки не к одному Богословию в рассуждении России относятся, сколько мог я приметить, но до многих наших обстоятельств и до самых нравов, чувств и мыслей наших коснулись.

Ежели обстоятельства и случаи дозволят, то приложу старание и сравню домашних историков с повествованиями внешних; и тогда, может быть, оправдаются предки наши пред целым светом; докажут, сколь несправедливо современные внешние писатели об них судили, и еще изобличат в невежестве самих порицателей.

Признаться должно, что художества и некоторые механические науки поздно пришли в Россию; но тому препятствовали не неспособности наши, а некоторый род предубедительного суеверия, будто светские науки христианскому благочестию несвойственны или повреждению нравов причиною быть могут. Здесь не место подтверждать или опровергать таковые мнения; существо сего дела само собою доказывается в настоящее время; прямой свет учения людям никогда вреден не бывает.

Упомянув о художествах, не могу я не упомянуть о начале тиснения книг в нашем Отечестве. Вскоре по изобретении оного началось в Москве тиснение, и первая кни-

га *Деяния святых Апостолов* напечатана во время царствования царя Иоанна Васильевича при дворе его в собственных чертогах; буквы тогда употреблялись, как то всем известно, церковные, называемые Евангельскими, Кутеинскими¹ и прочими именами. Сей род тиснения был единообразен до времен Петра Великого, которого прозорливость всякого рода искусства озарила. В бытность мою директором при синодальной типографии видел я набранный лист гражданскими буквами и собственною рукою сего великого государя подписанный тако: *Петръ*. Сохранил я оный лист от истления, приказав, яко достопамятный монумент, соблюдать его в особливом хранилище; ибо таковые знаки попечения о пользе общей в роды родов сохраняться должныствуют. Итак, ежели можно сказать о сем великом государе, что был он первый в России солдат, первый корабельщик, первый законоподвижник, то был он и первый справщик гражданской печати; при нем появилось новое тиснение и некоторые книги в Амстердаме, а другие в Москве напечатаны.

Сие заставляет думать, что по неискусству тогдашних российских словолитцов Петр Великий повелел вырезать буквы, по данному от него образцу, в Голландии; потом с примера оных и в Москве разной величины и вида слова резать и отливать начали. Разосланный по всем губерниям в 1708 годе указ сей довод ясно подтверждает. Оный указ точно касается до отлитых в Голландии, но не довозенных в Россию букв. Тако писмена и тиснение в России учредились. Мы с охотою примем наставления, ежели кто, имея больше сведений о двух таковых пользах и основаниях наук, сообщит нам свои примечания на оные, ибо другой цели, кроме общей пользы, мы в наших трудах не поставляем.

О достоинстве человека в отношении к Богу и миру

**«Утренний свет»
(декабрь 1777 г.)**

Ежели захотим мы рассматривать *человека* надлежащим образом, во всех окрестностях его, тогда неминуемо должныствуем разобрать и то, в каких отношениях находится он ко всем вещам, вне его сущим. Но ежели рассматривания наши ограничим и на одну только внутренность его,

то и тогда без прекословия должны будем признаться, что в природе человеческой находится много такого, что внушает в нас истинное к нему почитание и искреннюю любовь. Бессмертный дух, дарованный человеку, его разумная душа, его тело, с несравненным искусством сооруженное к царственному зданию, и его различные силы суть такие вещи, которые безмерно важны и трудны для рассмотрения посредственно рачительного. Между тем человек со всеми дарованиями, находящимися в нем, только тогда является в полном сиянии, когда взираем мы на него, яко на часть бесконечной цепи действительно существующих веществ.

Когда единожды во предисловии нашем изъяснились мы и обещали любезным согражданам нашим стараться малопомалу познакомить их самих с собою и прежде всего высокое достоинство человеческое представить понятным, то и желали б мы усердно, дабы все почтенные читатели наши с самого начала возымели сие высокое понятие о свойствах человеческих, ибо мы предполагаем, что ни единый человек не может ни мыслить, ни делать благородно, когда он, возвышаясь благородною гордостью, не будет почитать себя важную частию творения.

Правда, есть много и таких людей, которые, ослепясь тщетною гордынею, думают о себе очень много. Но мы стараемся доказать, что таковой высокомерный горделивец ни истинной своей цены, ни высокого достоинства человеческого отнюдь не знает и превозносится тем, что к человеческой природе или не точно принадлежит, или составляет малейшую частицу его совершенств. Богатство и знатность рода не точно проистекают из человеческой природы; следовательно, высокомерие богача или дворянина есть смешная гордость. Но кто хочет мыслить о себе возвышенно и гордиться человеческим достоинством, тот должен рассматривать себя совсем в других видах.

Много было нравоучителей, да еще и ныне находятся между человеками пресмыкающиеся духи, которые человеческую природу столь страшно унижают, что, если бы возможно было им поверить, надлежало бы стыдиться быть человеком. Иные думают, что Божественное смиренномудрие требует, дабы о человечестве иметь толь низкие понятия; и потому почитают за должность свою презрительнейшими и гнуснейшими образованиями учинить человеческую природу мерзостною и ненавистною. Но человек, себя за ничто почитающий, не может и к другим иметь никакого почтения и в обоих сих случаях являет низкость мыслей.

Вне человека находится Высочайший Виновник природы и весь мир. Итак, если мы восхотим рассматривать человека в отношении его ко всем веществам, вне его существующим, тогда долженствуем обозреть не токмо то, в каком отношении находится он к Богу, но и то, сколь тесно связан он со всемирным зданием.

Когда рассматриваем мы, в каком отношении человек, по естеству своему, находится к Богу, то всеконечно должно возыметь превосходное понятие о человеческой природе, если рассудить, что сия человеческая природа от Бога истекает, от Него беспрестанно сохраняется и что Он сам ее к тому уподобляет, дабы открыть Себя и Свою славу достойною обожания и представить оную в мире светлейшею и блистательнейшею. Богу было бы возможно произвести другие бесчисленные творения; бесконечно многие иные от нас отменные люди суть возможны; и мы бы вечно пребывали в нашем первом ничтожестве, если бы наш Творец не преимущественно нас извел из оного своим Всемогуществом. Он восхотел устроить мир, который бы Его Божества достоин и Его Премудрости приличен был. Итак, при сем поступил Он, как мудрый строитель, который лучшие деревья и лучшие камни и проч. избирает; и потому мы надежно уверены быть можем, что понеже Бог из всех возможных веществ, которые на место нас могли бы произведены быть, преимущественно нас как свое совершеннейшее творение одушевить удостоил; то, следовательно, мы и были лучшее в царстве веществ, из коих Господь нас предызбрал. Всякое иное существо, сотворенное вместо нас столько ж бы совершенно, как мы, занимало наше место в сем мире; следовательно, мы Богу были угоднее других бесчисленных веществ, Им несотворенных для того, что Он нас сотворил. И если великий и премудрый монарх восхощет возложить на кого важную должность и из множества особ, ему для сего представленных, единую избрет, тогда по справедливости заключить возможно, что такое избрание той особе творит великую честь. Сколь же таковое избрание мало в сравнении со избранием Всемогущего и Премудрого Творца! Благоразумнейший монарх в своем выборе может ошибиться; но Всевидящий не может обмануться; следовательно, по справедливости можем мы то для себя великою честью почитать и тем гордиться, что Бог нас из многих других возможных веществ в человеков избрал, человеками создал и человеками сотворил.

К сему еще следует, что Он нас своим Провидением от самого первого мгновения времени нашего бытия во веки

веков сохранить хочет. Мы в тот же бы час погрузились паки в первое наше ничтожество, если бы Творец нас, так сказать, не беспрестанно носил на своих дланях; если бы в наших действиях ежечасно своим могуществом не действовал; и если б все окрест нас таким порядком не учреждал, чтобы мы беспрестанно жить могли. Когда же Великий Бог, Господь Господей ежечасно нами упражняется, то из того единственно следует, что Он непрестанно о нас помышляет, что Его бдящее Око беспрестанно на нас и на наши малейшие деяния обращено и что Он в нас ежеминутно действует. Итак, предписал уже Он начертание всей нашей жизни даже до будущей вечности; и таким образом учреждает все, дабы сие начертание во всех его частях совершенно точно исполнено было. Какою же радостью и каким благородным возвышением духа сия мысль долженствует оживлять каждого человека особенно и всех совокупно, созерцающих все сие и во всей важности, и во всех отношениях! Колико радуются и колико гордятся служащие земному монарху, когда познают, что об них часто он воспоминает и часто уверяет о попечении своем о их благоденствии! Но сколь далеко отстоят сии воспоминания и уверения от тех, кои проистекают от Существа Всевысочайшего! Первые иногда бывают для некоторых только намерениями, для других же позабываются и без действия остаются; да и одни неприятели наши часто разрушают все наше земное счастье; но в промысле Божиим о нас сего избавления не долженствуем опасаться; ибо в каждое мгновение ока приобретаем мы новые доказательства о непрерывной Его к нам любви, милости и щедроте; даже и тогда, когда действиями нашими и не заслуживаем оных.

Итак, сия мысль, что Всевысочайшее Существо беспрестанно об нас помышляет и преимущественно пред всеми другими творениями об нас печется, не долженствует ли вперячь в нас почтение к самим себе? Сие Всевысочайшее и Милосердное Существо никогда не позабывает и никогда не теряет нас из виду между бесчисленным множеством тварей. Он, яко Всеведающий, может помышлять о всем; яко Всемогущий, может обо всем пещися; яко суцая Любовь и Милость, изливает благодеяния избраннейшему творению своему, даже что и бесстыднейшая неблагодарность человеческая от сего не отвращает.

Какое отношение может с тем сравняться, в котором мы, человеки, находимся, как человеки к нашему Богу, к нашему Создателю, к нашему Отцу? Познайте же, любез-

ные сочеловеки сего мира, величие и достоинство, которыми вы в сем отношении превознесены. Мы уверены, что вы чувствуете в сердцах ваших ощущения, приличные сему вашему достоинству.

Очевидно, что Бог нас сотворил и содержит для того, дабы нами свое Величество, Силу и Премудрость вселенной предъявити. Мы дело рук Его, а дело превозносит творителя своего. Когда мы, совершеннейшие из всех веществ, которые бы могли вместо нас сотворены быть, то Бог поступил бы противу собственной своей чести, если бы Он вместо нас другое что сотворил. А если мы такие творения, которых Виновник естества сам почел достойными поместить на чреду своих величайших и славнейших деяний, то для чего же сие не должно нам дать достопочтеннейшего и преимущественнейшего вида во всех окрестностях творения?

Могут сказать, что все здесь о нашем отношении к Богу говоренное, может быть сказано и о червяке, которое в наших глазах есть презреннейшее творение; и следовательно, непонятно, как сия мысль в нас, человеках, такие высокие помышления о самих себе внушить удобна? Неоспоримо, что все твари в равном отношении к Богу, в рассуждении их бытия и сохранения, состоят; но сии суть против разумных тварей несмысленные и разумным подчиненные творения. Человеки как разумные существа принадлежат ко классу творений первой степени; следовательно, что о всех тварях сказано быть может, то преимущественно и прежде о человеках должно быть сказано. С нашим предметом не согласнo выискивать из высочайшей теологии основания к доказательству того, что Бог человеков преимущественно своей любви и почитания пред всеми другими тварями предпочтил. Сверх сего, мы не хотим сими мыслями человекoв возгордить. Гордый все окрест себя презирает и хочет единый имети все, что имя чести носит. Но благородная гордость думает о себе возвышенно, присвоет себе честь соразмерную своему существу, а при том и о других думает высоко, и от всего сердца готова им такую же честь или еще и большую приписывать, когда того истина требует.

Если теперь рассмотрим, в каком отношении состоят человеки по своему естеству к прочим тварям и к остатку всего мира, то предположим, что все вещества в мире таким образом друг с другом соединены, как реки с океаном, которые попеременно свои воды друг другу сообщают. *Всякая вещь в мире есть цель всех других и средство ко всем другим.*

Если человек почтем за честь всего мира, то как великолепно поставлены они в оном — как средоточие в сей окрестности творения; как владыки мира; как божества, для коих солнце сияет, звезды блистают; которым звери служат; для которых растения зеленеют, процветают и плоды приносят. Люди, преимущественно пред другими творениями, имеют по естеству своему возможность мир себе представлять, об оном размышлять и рассуждать. Итак, можно их почитать за властителей, для коих некто театр со всеми махинами великолепно устроил, оперу сочинил и оную действительно представляет, дабы и очи и ушеса сих властителей увеселены были. Весь мир есть сей театр, а люди суть зрители сего мира, которые должны, оный созерцая, веселиться и всяческие выгоды из оного извлекати; да и надежно сказать возможно, что Бог весь мир для каждого человека устроил таким, каков он есть, а не иначе. Исполнен сею мыслию, ступай во время прекрасного летнего вечера во приятный сад прогуливаться; тогда поистине о себе не низкие мысли возымеешь. Увидишь, как нам и небо, и земля свои услуги оказывают; как оне нас оцедряют и рачительно платят нам должную дань; луна освещает нам зрелище природы; звезды украшают своды небесные; зефир, шумящий древесами, веет нам благоуханием, собранным со цветов; бдящий соловей увеселяет пением наш слух; словом, вся тварь стремится к нам, дабы доставить или выгоду какую, или удовольствие. Итак, люди могут, по благоугождению своему, всем царствовать и всем учреждать, а из прочего, что не в их власти состоит, могут они себе, по крайней мере когда восхотят, почерпать увеселение. И потому всякий человек может некоторым образом сказать сам себе: *весь мир мне принадлежит.*

Если же мы воззрим на человека как на средство всех прочих вещей сего мира, то и по сему не меньших же мыслей должны мы быть о нем. Если бы люди были токмо единою целию всех вещей сего мира, а притом не были б средством оных, то были бы они подобны шмелям, которые у трудолюбивых пчел поедают мед, а сами оного не делают. Тщетная честь! Бедное достоинство, которое людей равняло б со свиньями, проедающими все время жизни своей и в сластолюбии валяющимися в грязи; и которые уже после смерти становятся средством. Истинные люди не должны тако проводить жизнь. Если они хотят быть властителями мира и достойными почтения, то да будут подобны достопочтенным монархам, которые себя отцами Отечества

своим сочеловекам оказывают и которые то думают, что чем важнее и достойнее сан в общежитии, тем более особа, облеченная в оный, долженствует Отечеству служить и быть полезною. Какое величие! какое достоинство! какое превосходство! Всякий в государстве ли, в земле ли какой, или во граде живущий человек, почитая себя средством, долженствует своему Отечеству и каждому своему сочеловеку служить и быть полезен. Какое благородное упражнение, какое гармоническое велелепие, какая искренняя любовь, верность, честность и справедливость в таковых местах будут встречаться на улицах! И когда единое сие воображение вливает уже во все наши жилы сладчайшее чувство удовольствия, то что ж бы было, если бы сие в самом деле исполнялось? если бы всякий человек по величию своего достоинства поступал?

Итак, если люди будут почитать себя за средство всех вещей сего мира, то, не согрешая, могут думать, что они в оном много значат и что остатку прочего света в них великая нужда: собственная польза сего мира требует оногo. Мир и все прочие творения, исключая человекoв, не могли бы никоим образом так быть совершенны, и столь бы хорошо им не было, если бы мы не были человекoв, как теперь они то обретают, когда мы человекoв.

Сия последняя мысль открывает нам в человеческой природе еще особливую сообразность с Богом, которая придает ей совершенно достопочтенный вид. Бог никоим образом от вещи вне себя не может иметь пользы; ибо Он сам в Себе столь совершен, что Ему самого Себя для Себя довольно, и не имеет нужды ни в какой вещи. Он не против того, сам всесовершенно полезнейшее Существо, сотворяет все твари совершенными, сколько возможно, и им всем всяческое благо уготовляя и подавая, оным утверждает их благоденствие, единственно только для них, а не для Себя. Здесь да вообразит себя каждый из человекoв, которые по достоинству человеческому живут как цари мира, себя средством почитают, окрест себя только устроят благо, во всех частях себя до совершенства довести стараются и всякое благодеяние чинят не из какого другого намерения как только из единого удовольствия творить добро; таковые человекoв да возымеют тем более божественное мнение о себе самих, чем более они исполнением сего своего царственного достоинства Всевышнему Божеству уподобляются. Итак, человекoв, почитаемые *средством*, суть более, нежели когда бы они только почитаемы были *единою целью* или *средоточием*,

для которого все вещи на свете пребывают. Итак, при толких ясных доказательствах и истинах, нужно лишь нам желать искренно благосклонным читателям нашим неутомимого наблюдения и сохранения их достоинств.

О главных причинах, относящихся к приращению художеств и наук

**«Московское ежемесячное издание»
(апрель 1781 г.)**

От самого начала мира человек единственно о том только старался, как бы иметь нужное себе пропитание или защитить свое владение от лютости медведей и львов. Не имея ни законов и никакого сообщения, он препровождал дни свои, скитаясь в страхе и грубости, подобно диким, рассеянным по лесам американским, опасаясь всегда то жадности себе подобных, то свирепства диких зверей. В сии ли то времена будем искать начала наук и художеств, произрастающих обыкновенно в спокойствии и тишине? Конечно, нет. По прошествии некоторого времени, которого точно определить нельзя, опыт показал выгоды нечаянного соединения; после опасного своевольтва следовала, по счастью, общая тишина, и чрез долговременные опыты почувствовали нужду в установлении законов; разум человеческий, избавившись от страха, до сих пор его объемлющего, находил удовольствие рассматривать зрелище естества и был также свободен рассуждать и о самом себе. Сие есть чаятельно то время, в котором науки начали произрастать. И как скоро заметили важную пользу, которую может иметь из наук рождающееся общество, то все стали ревностно в них упражняться; изящные же искусства в великом множестве соединились к умножению человеческого удовольствия и к отвращению нужды.

Науки, перенесенные на другое место, уподобляются полевым скоро иссыхающим цветам. Они не иначе процветают, как усиленным старанием садовника, не привыкают к новому климату и не сообразуются со свойствами той земли. Они удобно прозябают, и сильный ветер их не беспокоит. Народ есть первый собиратель плодов, науками приносимых; к знатным же оне приходят весьма поздно. Не должно думать, чтоб оные вдруг процвели в каком-либо народе или чтобы для сего довольно было только ученых людей из

других государств. Они могут украсить царский дом; но весьма редко бывает, чтоб они могли и все государство сделать ученым. Птоломей Филодельф, Константин Порфирогенит, Карл Великий и Альфред¹, хотя имели у себя великое число ученых, из разных мест собранное, однако науки и у них не утвердились, и хотя оные процветали под тенью престола, но до того только времени, пока десница государская орошала, а лишившись сего призрения, испытали всю суровость чуждого климата; оставленные увяли со всеми своими плодами, принесенными во время короткого споспешествования их покровителей.

Художества и науки столь медленно шествуют, что государство, в котором оные начинают произрастать или которое их принимает, необходимо должно пребыть долгое время без всякой перемены в управлении. Колико стараний должно употребить без успеху; колико трудов предпринять с самого первого заведения наук до приведения оных в совершенство; из самого простого рисунка, сделанного наудачу, довести до совершенного искусства Апеллеса²! Между тем временем, как сие совершенство постепенно происходит, то науки еще как бы сном отягощены бывают, и великого стоит труда, чтоб возбудить их от глубокого сна; тогда должно представить себе все опыты своих предшественников, приложить к ним новые изобретения и привести к концу то, что лишь только было начато; собрать все нужное для строения, прежде сего разбросанное и оставленное первыми художниками; и сделать из сих остатков, до половины уже разрушенных, совершенное строение. Все сие можно надеяться получить в таком только государстве, которое непоколебимо стоит чрез многие века. Науки в короткое время возрастают купно с политическими учреждениями. Они одинаковую имеют судьбу и вместе разрушаются. Такой точно был жребий наук у аравитян.

Долговременность государства подает наукам случай приходить в совершенство; вольностью же они процветают. Физики научают нас, что все животные стараются о средствах к своей безопасности и обыкновенном их удалении от насильствия прочих. Свободны будучи от страха и угнетения, склонность их действует во всей своей силе. В государстве, в котором царствует естественная вольность, слон почитается гражданином, а бобер архитектором. Но как скоро хищный человек станет тревожить их общество, то сия естественная их ревность к вольности кажется упадающею и они более ни в чем не упражняются как только в защите-

нии самих себя и разум их, затмен будучи вместе с благосостоянием их республики, терпит то бедное состояние, к которому мы их приводим.

Сие примечание не несправедливо в рассуждении рода человеческого. Ибо и мы также теряем от страха все свое рачение, дарования и горячность. В рабском состоянии добродетель и знание навлекают на нас подозрение. В деспотическом правлении Азии великая слава бывает предзнаменованием великого несчастья. И всякий человек, какого бы состояния ни был, желающий отличить себя от прочих, подвергается бесчисленным опасностям.

В благополучном веке Рима вольность была душою красноречия и заставила Суллов и Помпеев дрожать перед народным трибуном. Но когда после благородной гордости сих республиканцев последовало подлое рабство во времена императоров, то сей благороднейший жар вдруг погас и разум римлян вместе с их вольностью погребен был на полях Фарсальских.

Англичане оказали великие успехи в философии, причину тому полагаю я гордую вольность их мыслей и сочинений, которые могут быть примером целому свету.

Всякому известно, что Домициан умертвил Меция Помпониана за то, что он имел у себя общий чертеж света и сокращения Тита Ливия. Никому также не безызвестно, что Эрмоену Тарсискому некоторые внесенные им в историю описания стоили жизни. Да и нигде, где только рабство, хотя оно было и законно, связывает душу как бы оковами, не должно ожидать, чтоб оно могло произвести что-нибудь великое.

Для хорошого успеху в науках требуется притом чистый и приятный воздух, способный учинить жизнь счастливую столько, сколько разум того желать должен. Плодоносная земля щедро обогащает своих жителей во время нужды; ибо когда случится недостаток в нужном, тогда нимало не помышляют о излишнем удовольствии; для сего нужен приятный и умеренный климат, чрезмерный же зной изнуряет тело и ослабляет разум; а противная сему крайность заграждает все поры, затмевает чувства и отягощает умы. Притом должно знать, что науки сперва произросли на плодоносных берегах Нила, оттуда получены оне афинянами, которые их обогатили, римляне привели их в совершенство, а Париж украсил их; Лондон же, желая их размножить, дал им важный и печальный вид, сходствующий с воздухом, их окружающим.

О действии наук над сердцем и нравом человеческим

«Московское ежемесячное издание»
(август 1781 г.)

Речь, говоренная одним из лейпцигских профессоров на случай произведения его в профессорское достоинство

Никто не отрицает и отрицать не должен, что науки изощряют разум, оживотворяют изобразительную силу и обогащают память множеством знаний, без которых ни в божественных, ни в человеческих науках, ни в народных, ни в домашних делах никогда выше посредственности возвыситься не можно. Обесчестил бы я век сей, если бы пространно сие хотел доказывать. Воззрите, благородные юноши, воззрите здесь на почтенное собрание знатоков и учителей во всяком роде наук. Одни их примеры сильнее вам докажут, нежели все риторические доводы! Какими путями достигли они сей высоты? Чем приобрели они все те в высших науках достоинства, которые мы в них почитаем? Каким образом дошли они до состояния преподавать вам толикий свет, основательность и одобрение? Тем ли, что со скукою изучили они несколько систем и ученых сокращений, отяготив память множеством пустых и сухих положений, или тем, что снискали они точное познание языков, древностей и нравов всех времен; изучив рачительно священную и светскую историю; познав лучшие сочинения стихотворства и красноречия; и дух, и красоту древних и новых писателей чтением, размышлением и подражанием как бы своими собственными учинили? Правда, имя великого ученого не только обучением, правилами, искусством и бдением приобретается; потребно также природное дарование и естественная великость души и живость, долженствующие одушевлять человека во всех великих предприятиях.

Но что может остроумие без наставления, без искусства, без употребления? Что великое производит величайший дух, если он не будет обработан наукою, снабжен прекрасными и нужными мыслями, обогащен сокровищами языка и изъяснения? Можно ли быть верну, точну, красноречиву и разными украшенну мнениями, можно ли правильно и живо изъясняться; преподашь ли учение, поправишься ли, тронешь ли сердце человеческое, если не приобрел ты хорошего вкуса, сведения о полезных истинах, и особливо если не

узнал ты человеческого сердца? Преимущества сии суть дары изучения свободных наук. Но что? разве с сей только стороны любви достойны; для того ли только драгоценны, что засевают они семя богатой жатвы в одном разуме, а не в сердце? Разве они нас тому только научают, чтоб мы правильно, красно и высоко мыслили и говорили, а не тому, чтоб мы притом и чувствовали и желали доброго, прекрасного и благородного? Разве они обогащают нас только тонкими и высокими мнениями, красивыми изречениями и изображениями того, что в природе есть прекрасного, правильного и любви достойного, не исполняя сердца нашего склонностью и усердием к добродетели и честности, к благородному и изящному? Ежели польза свободных наук заключается только в кабинете ученых и в сочинениях; если она не последует за нами в свет, в беседе, в упражнениях житейских и в делах домашних; если она просвещает только дух наш, не оживотворяя его благородным чувствованием; если польза от наук при удобрении ума оставляет сердце диким и не возделанным, то не слушайте, юноши, поощрения моего к изучению наук сих, не слушайте; берегитесь пристрастного языка, остерегайтесь подозрительного гласа учительского, только то восхваляющего, в чем он упражняется, и ради того хвалящего, что сам он тем занимается; превозносящего то только, что льстит его гордости и тщеславию. Но когда я вам докажу, сколько тесны пределы слова, и драгоценное терпение ученых мужей позволяет, что основательное изучение свободных наук имеет великое действие над сердцами и нравами нашими в общей жизни, то не оставьте явить любви вашей и прилежания к сим наукам.

Порядочным и прилежным изучением свободных наук приобретается известный добрый вкус, т.е. нежное, скоро постигающее и верное чувствование всего того, что в произведениях духовных, как в единственных мыслях, так и вообще в целом здании какого-либо сочинения, есть правильно, прекрасно, благородно, согласно; и, с другой стороны, всего того, что порочно, несносно, незрело, неосновательно и нестройно. Тонкое сие чувство, сопровождаемое в первом случае тайным удовольствием, а в последнем сокровенным негодованием; добрый сей вкус от употребления становится нам столь природным, что мы ему не токмо в наших сочинениях, но и в разговорах и поступках наших последуем. Действие его не токмо на образ мыслей наших простирается, но и на целое свойство души нашей. Бдит он, подобно верному надзирателю, над всеми должностями нашей жиз-

ни, показывая нам неприметным образом те драгоценные средства, по которым обязаны мы исполнять оные. Не делает он нас добродетельными, но придает добродетелям нашим цену и уважение, которого бы оные без него лишились. Чем же мне вам доказать сие? доводами, извлеченными из природы самой души и свободных наук, или свидетельствами и примерами?

Представьте в мыслях ваших друга свободных наук; мужа, лучшие сочинения древних и новых читающего, и читающего с чувством сим; и оных красоту, изрядство и величество не только постигающего, но и чувствующего красоту сию, сие изрядство и величество; и тем сильнее чувствование сие, чем более восхищается он трогаящим звуком и живыми оных изображениями; не только замечающего великие примеры человеколюбия, соболезнования, дружества, благодарности, любви к Отечеству, к геройству, к истинному честолюбию, которые он повсюду в сочинениях остроумных открывает, но впечатлевающего оные тем глубже в сердце свое, что он зрит их в виде любви достойном, в прекрасном их свете. Представьте себе мужа, изучающегося таким образом свободным наукам и читающего остроумия исполненные сочинения древних и новых, и скажите, пребывает ли польза от его учения, заключенная в одном только разуме, и не разливается ли она и на его сердце, на нравы и на всю жизнь? Может ли тот удобно сделаться во общежитии неблагодарным гражданином, жестоким отцом, несносным мужем, вероломным другом, неприятным собеседником, холодным и нечувствительным зрителем ближнего, в несчастье погруженного, кто цену дружбы, святость данного слова, удовольствия щедро оказанного или с благодарностью принятого благодеяния столь часто чувствовал; кто толь часто поражаем был нежностью и сожалением трогаящих изречений; кто толь часто видя великие примеры, к величайшим предприятиям себя чувствовал готовым? Не скажет ли такому сердцу его, науками к чувствованию красоты и блага приученное, не научит ли оно его тайным гласом во всех делах его, в разговорах — словом, во всех отношениях жизни его так, как учило оно его в чтении и писании, что при каждом происшествии, в каждом месте и в каждом положении есть прекрасное, доброе и благоприспособленное, что чрезмерное и что недостаточное?

Не утверждаю я сим, что изучение свободных наук вкореняет в нас самую добродетель, но что оно те добродетели, которыми обязаны мы природе или паче святому закону,

делает для нас приятнейшими и употребительнейшими. Какая польза для общежития! Для большей его очевидности вообразите еще в мыслях ваших друга наук, начертайте в уме вашем мужа чтением книг познавшего, сколь много приобретает вещь от способа предложения, которым оную обращать можно в пользу и самым неохотно слушающим, представляя им оную с приятной стороны; мужа, от беспрестанного упражнения в хороших сочинениях постигнувшего искусство, как избегать всего того, что в мыслях и в изъяснениях низко, скверно, грубо и несносно; и как соблюдать везде благопристойность — не будет ли муж сей в разговорах и делах своих с друзьями своими, с супругою, с детьми, с посторонними и ближним; не будет ли, говорю, неприметно повиноваться сему чувству благопристойности, которое его, яко истинный и верный друг, никогда не оставляет? И тонкое обхождение и исполнение должностей добродетели и благопристойности не прибавит ли большей цены самым должностям оным? Будет ли он язвителен в шутках, темен в порицании, горд в повелениях, тщеславен в оказании благодеяния, в разговорах подл и груб, видом надменен и несносен? Сей муж, изученный тонкому чувствованию, довольно ведает, что в остроумных произведениях благородно, что велико, естественно и свободно, что прекрасно и что безобразно?

Итак, да не думают, что изучение свободных наук только для того хорошо, кто хочет быть сочинителем или учителем оных, кто желает быть ритором, стихотворцем, историком. Нет, дух учения, яко верный наш сопутник, последует за нами во всяком состоянии жизни нашей, в упражнениях домашних, в отправлении дел государственных и в подвигах воинских. Он оживотворит Цицерона, защищающего и жалобы в Риме приносящего, оживотворит его и тогда, когда он управляет, когда укрощает бури заговоров, спасает Рим от разрушения, решит судьбу чистых людей и целых областей. Оный же добрый вкус, который господствует в словах его, будет и тогда господствовать, когда он или говорит с друзьями своими о домашних происшествиях, или к ним пишет. Тот же дух порядка, благоразумия, соразмерности, научающий Павла Эмилия преимущественно располагать войско, научит сего и распорядить всеобщее празднество для всея Греции с пристойным велелепием. То же благородное чувство, оживляющее Плиния в похвалах Трояновых, оживит его и в письмах к супруге, и в описаниях ей любви его. Тот же дух человеколюбия, коим он под-

вигнут на просьбу к Траяну о друзьях своих, будет водить пером его, когда он дела христиан описывать будет. Тот же хороший вкус, с которым купец читает остроумные сочинения, соделает его в домашних упражнениях приятным и убедительным, в изобретениях новым и богатым.

Но скажут некоторые: если знание свободных наук имеет действие над сердцем, нравами и деяниями людскими, то откуда являются многие неблагонравные, зверообразные, сварливые, гордецы, сластолюбцы; откуда толикое множество педантов в числе посвятивших всю свою жизнь свободным наукам? Весьма многие, коих учености нельзя не признать, нанесли благонравию бесчестие скверными своими сочинениями и постыдными ссорами. Разве не должно по их сочинениям судить и о свойствах души их? Правда, выражение сие наносит стыд любителям наук, но не касается до моего предложения; я не приписываю наукам волшебной силы, творящей почитателей их противу воли благонравными, и всякое порочное сердце в добродетельное применяющей. Не трудно узнать и причины, для чего многие предавшиеся учению свободных наук часто не сохраняют наружности или того, что под именем введенной благопристойности разумеется. Горя жаждою к науке своей, запирают себя в кабинетах и убегают обхождения с теми, к которым они должны бы были обращать познания свои. Они становятся пришельцами в мире, и потому удивительно ли что они исполняют звание свое с боязливостью и со скукою, обходясь весьма редко с людьми? Удивительно ли, что они, имея хороший вкус и не полезны будучи в беседе, кажутся не имеющими хорошего вкуса, и боясь показаться педантами, суть уже педанты? Самая то правда, что одно обхождение без вкуса и порицания научает только тебя иметь вид людкости и делает из тебя блистательного безмозглого щеголя и учтивого глупца; также и то истина, что вкус в свободных науках, обхождением обращенный на общежитие и на законы благопристойности, не делает человека, знающего людкость. Также нетрудно найтись и тому причины, для чего посвятившиеся наукам при исправленном разуме исправленного сердца не имеют и остаются горделивыми и тщеславными. Они учатся для того только, чтоб более знать, чтоб уметь порицать и превосходить других в науке, и прилежность свою награждают гордостью и презрением других. Не думают о делах своих, но о себе. Учатся они не ради открытия и восчувствования красот в писателях, но для показания своей учености. Итак, не науки, но порочное

употребление рождает порочные нравы многих ученых. Не видим ли многих, разумом своим блистающих, жизнью же учению бесчестие приносящих? Разве и сие припишем мы недостатку священного закона, святой веры, коя большую, нежели всякая человеческая мудрость имеет силу исправлять сердца? Необходимо нужен свет очам нашим, но чрезмерный ослепляет! Престанет ли вино быти сильным лекарством, драгоценным натуры даром для того только, что оно имеет силу затмевать разум и что его многие столь неумеренно употребляют, что доходят до безумия? Итак, если утверждаю я, что свободные науки имеют действие над сердцем и нравами людскими, то утверждаю сие по правильном их употреблении. Не придаю им силы истреблять вкорененную склонность и претворять порочное сердце в добродетельное; но силу принимать в сердца наши изрядные и благородные чувствования, украшать добродетели наши, поколику они украшают наше остроумие. Пусть представляют мне вопреки скупых Сенек, столь изрядно о презрении богатства писавших! Я хочу верить, что они без наук еще бы скупее или подлее были; но Цицерон твой, скажут мне, великий знаток и защитник свободных наук, Цицерон, коего дух более был, нежели господство целого Рима, разве не был толико же горд сколько учен? Не оставил ли он в письме своем к Лукцению вечного памятника тщеславию своему? Согласен, но будь так велик, как Цицерон, содейлай столько же славного, напиши столько же превосходного, окажи толикие же услуги Отечеству своему, управи Римом, управи целым светом, то будет твоя жажда к славе простибельным пороком.

Вы скажете, может быть, мне, что много таких, которые добронравны, не учившись наукам, и часто лучше нравом тех, которые всю жизнь свою препровождают в учении? Я полагаю, что есть много таких. Но ежели спросите сих добронравных о их обращении, о воспитании, о книгах, читаемых ими, то найдете, что их родители, учителя, друзья и некоторые хорошие книги заступили у них место свободных наук. Не тот, который с жадностью все читал, не тот, который все сокровища мудрости гордым образом себе присвоил, не тот, который с трудом испытывает все то, что имеет вид учености, разрешает тысячу темных вопросов, исследует бесчисленные философские тонкости; не таковой, говорю, может по справедливости хвалиться, что учил он свободные науки для своего сердца. Но с прилежностью, примечанием и с чувствами прочитавший хотя некоторые,

но лучшие книги так, что часто даже к сложению себя одушевленным чувствовал; или от обхождения с учеными приятелями пользу чтения дознавший; таковой только заимствовал свет от учения, и сердце свое и нрав устроил соответственно их предписанию. Так подлинно; не буду я удивляться, если и одна книга, если Кларисса и Грандизон¹ примечательному читателю более изрядных и благородных вольет чувствований, нежели полная библиотека нравоучительных сочинений принесет пользы ученому человеку, в том единственно намерении читающему, чтобы только читать и говорить о том и блистать прочтением многих книг. Итак, верно, что короткое знакомство с произведениями красноречия и стихотворства, а особливо для сердца писанными и показывающими добродетель в любезнейшем ее виде или порок с гнуснейшей и смешной стороны представляющими, не только соделает чувствительным сердце и несовершенно наукам посвятившееся, но и примечающим за самим собою и за своими погрешностями. Итак, добрые и злые характеры в героической поэме, трагедии, комедии, в романе, и так называемые басни и сказки, не заимствуя вида учительского, научат лучше, нежели Краттипп и Крантор²; и оставят по себе тем яснейшие и незагладимые следы, чем больше они в чтении восхищают.

Пройдите мыслями времена древние — везде узрите вы свободные науки, проводяемые тонким обхождением и общественными добродетелями. Под стопами их прозябали, как розы под ногами Грациев, приятные и любезные афинские нравы. Вместе с свободными науками вошли в Рим и людкость, и учтивость. Никогда не являлись они народам, не сделавшись от благоразумных любимыми и мало-помалу всем приятными, не сообщая прелестей своих обществу, не исправив склонности народной и не учиня чувств их тончайшими и благороднейшими. И могло ли сие быть иначе? Сей есть всеобщий закон, вечное и неизменное правило для нашего духа, чтоб отдалять от себя неприятное и несносное и искать того, что ему кажется приятным и прекрасным. То же чувство порядка, пристойности, согласия, которые мы всегда видим в произведениях художественных, в правильных и великолепных строениях, которое примечаем, взирая на прекрасную живопись и читая остроумные сочинения; то же чувство, неприметно впечатляющееся в душу нашу, и в ней укореняющееся, сопутствующее нам в приложениях общественных и домашних, и здесь научает нас неприметным образом соблюдать правила благопристойнос-

ти, порядка и натуры; изгонять дикое и принужденное из нравов и из мыслей наших и принимать по крайней мере хотя наружную благоприятность и вид людкости, порядка, снискания ради похвалы.

Но что мне много доказывать? от доказательства моего затмится очевидность предложения; не один уже раз нанесен истине вред излишним изъяснением, ибо истина дозволяет себе токмо чувствовать, а не доказывать. Надежнейшее средство, дражайшие юноши, каким образом можете вы увериться об истине предлагаемого мною, есть то, чтобы вы со всяким усердием продолжали посвящать себя свободным наукам. Точно так. Почтите их, любите, предавайтесь им совершенно, и вы будете не только ученые и славные мужи; но как вы теперь украшаетесь именем милых и любезных юношей, так и впредь во всю жизнь вашу пребудете честными и нежными друзьями, добрыми и любви исполненными отцами, услужливыми и великодушными благодетелями, приятными и угодными товарищами, уверительными и дружественными в семьях своих начальниками и приносящими честь хорошему вкусу во всяком возрасте, состоянии, во всяком обществе и при всяком случае.

Знаю я, что поощряю людей, одаренных природным устроением и украшенных добронравием; знаю, что уловили вас просьба моя, примеры великих мужей, здесь присутствующих, достойные награды, воздаваемые свободными науками их почитающим, и невинные удовольствия, по стопам за ними шествующие. Знаю, что вы друзья мне, и пример друга вашего вас одобряет. Ежели я в самом деле был столь счастлив, что доселе нравился и трогал вас моими сочинениями, то я одолжен сим счастьем свободным наукам, любви к тому, что есть честно и благородно, следовательно, одолжен вашею дружбою вам самим. Верите ли вы, что я так счастлив, что наслаждаюсь одобрением и благосклонностью сих достопочтенных мужей? Сим должен я любви к свободным наукам, любви к тому, что есть честно и благородно. Верите ли вы, что к настоящему моему счастью руководствовали мне высокие меценаты? Я по милости их должен любви к добрым нравам, прилежанию к свободным наукам, ими покровительствуемым и защищаемым. Распространяйте, распространяйте оные прилежно, и вы опытом узнаете, сколь то истинно, что Цицерон говорит к похвале оных: они старых украшают в счастья, несчастье уменьшают, суть приятным увеселением в дому нашем, неприятствуя в отпращивании дел наших, ночуют с нами,

нам сопутствуют и убегают с нами от шума градского к лишине сельской жизни. Посвящение наукам умягчает нравы наши и научает нас человеколюбию. Тако воспеваает Овидий: распространяйте науки, и вы увидите истину слов сих.

И.Т.

Преуведомление к читателям

“Вечерняя заря”, 1782 г.

Может быть, некоторым из наших почтеннейших читателей покажется странным сие данное нами ежемесячному нашему изданию наименование *Вечерней Зари*, тем паче, что оно служит продолжением *Утреннего Света*, за которым натурально следует прежде быть полдневному свету, а потом вечернему. Но как и *Утренний Свет* и *Вечерняя Заря* в прямом своем смысле не значат известного солнечного течения, то мы и надеемся избежать нареkania в нарушении естественного порядка.

Сколько справедливо начало сего издания в рассуждении несовершенства человеческих познаний получило название *Утреннего Света*, столько правильно приличествует ему и имя *Вечерняя Заря*. Ибо сравнивая теперешнее наше состояние с тем, в котором наш праотец до падения¹, блистал полдневным светом мудрости, находим, что свет нашего разума едва можно уподобить и вечернему свету. Почему кажется, что прежнее утро согласно с сим вечером.

Имя же зари дали мы для того, что во время сияния ее над нашим горизонтом мы обыкновенно отправляем наши работы, и притом служит оно нам нравоучительным и прекрасным гиероглифом.

Премудрый Зиждитель вселенной, сооружив сей видимый мир, утвердил для освещения оного на тверди небесной бесчисленное множество блистающих светил; в малом же мире, то есть человеке, для освещения его путей возжег свет разума, который сначала так был велик, что не было такой глубокой тайны, которой бы он не проникал. Но сим светом недолго пользовался наш праотец, он его присвоил себе, и отразив обратно Божеские лучи, сделался мрачным. Прежнее его просвещение заступила тьма, непорчное его сердце исполнилось скотских или, лучше сказать, дьявольских свойств и склонность к пороку восторжествовала над оным; за сим последовало проклятие Божие, и закон возложен на его действия, яко противоборствующее зло приняло над че-

ловеком совершенную власть; так возможно ли было, чтоб кто мог исполнить закон и спастись? почему нужно было сыну Божию снiti на землю и, воплотивися, спасти человеческий род, то есть привести из состояния под законом в состояние благодати. Правда, что многие сомневаются, все ли, и ныне еще именующиеся христианами, освободились от проклятия и закона, видя, что и до днесь грех и зло яко причины закона царствуют по большей части в роде человеческом.

Но мы о сем как не принадлежащем к нашему предмету рассуждать здесь не станем, а скажем только то, в чем и все согласны, то есть что человеческий разум несчастным падением нашего праотца весьма потемнился, и сие то изображает наш смутный и бледный свет *Вечерней Зари*. Но он гораздо умножен и почти в прежнее состояние приведен быть может, когда воля наша в действиях, а разум в познаниях, подражая вечерней заре, которая непрестанно последует за солнцем, будет течение свое править за великим светом Божества.

Сего света и мы не лишены, он есть в нас, однако, закрыт и, так сказать, задавлен нашими дурными делами. Он блистает и в природе, но поелику не светит в нас, то мы его и вне себя не видим. И посему истинные мудрецы древних и новейших времен первым упражнением для человека поставляют *познание себя*; хотя правда, что многие еще несогласны, в чем то состоит познание себя. Ибо иные полагают оное в познании нашего происхождения и конца; а иные в познании души и тела, другие же в другом; но то достоверно, что познание себя начинать следует от познания и исправления своих нравственных действий и после приступать к рассматриванию таинств, находящихся в самом существе человеческом.

Когда таковым образом приуготовлен будет наш дух и откроется обитающий в нас свет, тогда можно обратить свое внимание на внешние предметы или природу и в чудном ее строении познавать великие совершенства, искусство и величие ее Строителя.

Наконец, желающий видеть премудрость в полном ее сиянии да приступит с истинным усердием и ревностью к чтению Священного Писания, в котором все таинства Божества и природы сыщут объяснены, но на духовном языке. И чрез сии-то три степени вечерняя душа нашей Зари может паки получить прежнее свое лучезарное сияние *Полдневного Света*.

Мы, соответствуя данному нами названию наших тру-

дов, употребим все наши силы выбрать из лучших древних и новейших писателей материи, руководствующие к выше объявленным трем познаниям. И поелику во всех действиях человеческих разум должен предшествовать и светить, а воля последовать и нас сопровождать, то на первом месте будут помещаемы у нас открытия, касающиеся до познаний и просвещения разума; на втором для исправления испорченной нашей воли поставлены будут нравоучения; а для сильнейшего их впечатления на третьем месте будут примеры или истории; наконец, любопытные материи с забавными, ученые анекдоты и другие сочинения в стихах и прозе, дабы всяк мог сыскать что-нибудь по своему вкусу.

И вот все то, что мы за нужное сочли, удержав возможную краткость, донести почтеннейшим нашим читателям о нашем сем издании; что же касается до обыкновенно употребляемого теперь защищения противу критиков, то мы относительно к нашим работам еще при начале сказали, что оные деланы и делаются при *Вечерней Заре*; почему и могут иметь какие-нибудь недостатки; относительно же к пересмешникам можем сказать, что они ругаются над чужим или из привычки, или из того, что их испорченный желудок часто и здоровой пищи варить не может.

Рассуждение о познании самого себя

**«Вечерняя заря»,
август 1782 г.**

Познание самого себя есть точное сведение о своем начале, своих способностях, своих должностях, своих правах и своей цели; познание, которое древние имели за образец в приобретении премудрости и столько оное высоко почитали, что написали золотыми буквами на дверях Дельфийского храма сии слова: познай себя, себя самого¹. Кроме того, по мнению некоторого древнего мудреца, сие Аполлоново правило не с тем предписано было, чтобы познавать свои члены, свой стан и свой вид, поелику тела наши не могут быть собственно то, что мы; но «познай себя, себя самого» значило: учись хорошо познать свою душу. И хотя тело есть вместилище души и ее обиталище, однако мы не можем похвалиться, чтобы мы то сделали сами собою, что приведено в совершенство душою.

Сие «познание самого себя», порядочно понимаемое, приводит человека к познанию своего начала и своей должности, которую он обязан исполнять в сем свете, будучи в естественном состоянии. Чрез сие самое он узнает, что человек сам по себе не существует, что он должен своим бытием высочайшему началу, украсившему его гораздо благороднейшими от скотов качествами; что он не один на земле и не для себя одного рожден; что он член рода человеческого и должен исполнять все предписываемые ему обществом законы; ибо они суть источник, от которого истекают все человеческие обязательства. Вот дух мыслей одного о сем разумно написавшего древнего стихотворца: «Научитесь, смертные, научитесь заблаговременно познать себя самих и судить о вещах; узнайте, что есть человек, для чего он в сем свете и какой во всем должен он наблюдать порядок; с какою осторожностью должен убегать опасностей и бед сей жизни; какое он должен положить начало и какой предел; с какою умеренностью он должен искать богатства, и до коих пор должны простираться его желания; как он должен располагать своим имением и сколько из оного употреблять для ближнего, сколько для Отечества; узнайте без притворства, что небо определило вам делать в сем мире и какое вы занимаете в оном место!»

Познание самого себя заключает в себе испытания наших сил и нашего могущества, и есть смысл, заключенный Сократом в надписи Дельфийского храма, как о сем говорит Ксенофонт². К сему можно прибавить еще и испытание человеческих действий, отношений, всех наружных и с нами соединенных вещей и оных подлежащее нам употребление.

Сие «познание самого себя» научает человека различным полезнейшим способам для снискания себе счастья. И, во-первых, как Бог нас одарил благородными способностями следовать своему началу и первоначальному правилу, то мы не должны поступать безрассудно, но всегда иметь predeterminedенную, возможную и с разумом сходную цель и для достижения оной предпринимать пристойные средства.

Отчего происходит, что человек должен предположить себе конец, сообразный его природе; поелику сие есть славное оное начало древнейшей стоической нравственности: что жить должно по природе; должен соображать с сим главнейшим концом свои собственные дела и другие средства, к тому ведущие; не прежде употреблять оные, как разве положительно избрав себе predeterminedенный конец, и не стремиться никогда к оному, не помыслив прежде о нужных к тому средствах.

Кроме того, как истина и право суть всегда непременны, то и мы должны располагать наши рассуждения таким же образом, чтобы никогда не судить об одних и тех же вещах различно; или чтобы судить об одной вещи хорошо, после того себя не обманывать. Наблюдение сего правила особливо относится к суждению об одних и тех же вещах различным образом; то есть когда дело идет о нас самих или о других, о наших друзьях или неприятелях, или когда мы бываем заняты пристрастием или совершенно спокойны. Сие есть выговор, столь живо Сократом сделанный афинцам в рассуждении моря, которым они хотели овладеть в то самое время, как сие почитали у других непозволительным и насильственным. «Сие есть, — говорит Сократ, — поступать бесстыдно против одного из яснейших законов, хорошего чувства, ежели бы кто захотел везде и во всем судить одинаково об одних и тех же действиях». И хотя всякого состояния люди погрешают против сего правила, однако власти чаще всех его нарушают, что касается до их подчиненных, будучи в таких мыслях, что они не подлежат общим законам правосудия и правоты.

Следствие другое из сего происходит то, что наша воля и наши желания не должны ни предшествовать правильному рассуждению нашего разума, ни противиться одного решению. Цицерон сделал на сие следующее очень хорошее примечание: «Разуму, — говорил он, — свои желания покорять должно так, чтобы они его не предупреждали и чтобы никакая леность и слабость не препятствовал им за оным следовать. Они должны также быть спокойны и не делать никакого помешательства разуму; поелику из одного истекают нами именуемые равенство и умеренность».

Во-вторых, «познание самого себя» научает нас, что наши способности, хотя бы они были и самые превосходные и великие, суть ограничены и не могут ко всему достигнуть; от чего произошло премудрое правило, что мы не должны чрез суетную и ложную надежду и бесполезное старание истощать наших сил в рассматривании вещей превыше нас и которых мы никак понять не можем. Но, напротив того, мы должны употреблять всю нашу живость на исследование вещей, от нас зависящих, т.е. на хорошее употребление наших способностей и нашего рассудка. В сем-то заключается наше превосходство!

Но чтобы изъяснить явственнее сей превосходнейший закон, то мы сделаем примечание, что в свете сем находится бесчисленное множество вещей, которые нам не подлежат или

которых действию мы противиться совсем не можем. Есть другие, которые хотя в самой точности не превышают наших сил, но исполнению их могут препятствовать сильнейшие причины. Есть также наконец и такие, кои не прежде уступают нашим силам, как разве по принятии в помощь искусства. К сему относится и славное оное древнейшее разделение вещей на вещи, от нас зависящие, и вещи, от нас независящие.

Что чем более от нас зависит, в том мы имеем волю, а особливо что относится к действиям, свойственным разумному животному; ибо хотя употребление сей способности находит всегда в своих действиях некоторое сопротивление и хотя сии препятствия всегда удерживают равновесие с одной или с другой стороны, однако нет ничего такого, чтобы было так нераздельно с нами и которого бы действие своею внешнею силою могло нас удерживать, следовательно, и приписываемо быть некоторым особеннейшим образом; для того всяк должен стараться особливо предвидеть и исправить все могущее ограничивать человеческую волю и вообще употреблять все свои способности и все свои силы сообразно с законом здравого разума, а наипаче иметь постоянное и беспрестанное желание делать все, сколько возможно, сходно со своим разумом и обязательствами.

Что же касается до того, что находится вне нас, прежде, нежели мы что-нибудь предпримем, должно испытывать, сходно ли то с нашими силами, может ли оно служить к приобретению порядочного конца и стоит ли нашего труда?

Также, сделав все зависящее от нас, оставшееся должно препоручить провидению и утвердить себя, сколько возможно, к пренесению всего могущего случиться; не должно беспокоиться о зле, которое случилось или которое может случиться, сделалось бы оно только без нашей вины. Чрез сие самое забвение мы избавимся от всех бедствий, следующих за сильными возмущениями печали, гнева, страха и суетной надежды, ввергающей часто в безрассудное предприятие.

От сего происходит еще, что чрез одно просвещение разума не можно снискать для себя другого счастья, кроме происходящего от прямого употребления наших способностей, поддерживаемых провидением. И в самой точности во всех вещах, где предосторожность человеческая имеет место, не должно никакого происшествия оставлять случаю; но сделав все от нас зависящее, должно наперед себя утешать на случай непредвиденного несчастья, которое, хотя и может случиться, но за оное никто отвечать не будет; ибо никто не судит о делах по происшествиям так, как делают магометане, кото-

рые вообще смотрят на счастливые успехи как неложный знак хорошей причины или внутреннее согласие неба. Сие есть то мнение, которое должно причислиться к общенародному заблуждению; как о сем некоторый древний стихотворец написал тако: «Такой получил корону, который достоин был виселицы, не менее в самом деле на оной повешенного. Столько то есть истинно, что одно и то же преступление может иметь совсем различные следствия!»

Сие есть знак разумного человека, чтобы не только видеть, что пред глазами находится; но еще предвидеть заблаговременно, что должно случиться; и когда по довольном исследовании кто решится что-нибудь сделать, тот должен употребить все свои силы, чтобы не отстать от того или чрез страх от непредвидимого какого-либо зла, или чрез прелесть какого-нибудь настоящего удовольствия. С другой же стороны, должен быть тот безумен, который бы захотел кружиться по подобию источника и не приспособлялся бы к вещам, как говорит Эпиктет, когда они не приспособляются к нам.

Наконец как предвидение человеческое есть весьма ограничено и как от нас не зависит предопределять себя к будущему, посему не должно чрезмерно полагаться на настоящее, ни излишне беспокоиться о будущем. По той же самой причине не должно гордиться получением хороших успехов и не унывать в неудаче, как Гораций Делию о сем написал:

«Не позабудь ты, смертный Делий,
В несчастья равнодушным быть,
Равно как посреди веселий
Умеренность во всем хранить».
(Книга II, ода 3)

Словом, познание самого себя и нашего состояния научает нас, что мы, будучи члены общества, к соделанию себя счастливыми имеем средством то, чтобы стараться о благополучии и других.

Ежели бы основатели обществ и государи вникнули в сию важнейшую истину, то бы законы и обыкновения были везде одинаковы. Но мы еще далеко от сего счастья отстоим, и оно убегает от нас, поелику всяк из государей предписывает законы по своему произволению и склонности. Разность, показывающаяся в их изложениях, бывает пременяема по их прихотям. И для того по справедливости обвиняют законодателей, что они причиною бывают несогласия, владычествующего между людьми, не только потому, что они общую пользу совсем противоположили пользе частной; но еще особливо, что они не научили людей, что всяк частный человек благополучие

свое почерпать должен из общего. Хотя же Ликург³, следуя по особеннейшей от всех дороге, подходит к сему совершенно весьма близко, однако со всем тем план его законодательства имел естественные недостатки. Сие весьма вероятно, что частное благополучие есть и всеобщее, однако каждый в особенности не может оно сыскать и получить нимало, не стараясь о благополучии общественном; ибо одно частное благополучие есть счастье тех ограниченных духом, которые думают быть в безопасности и в огне, обнявшем дом их соседа.

Похвала женскому полу

«Покоящийся трудолюбец», 1784 г.

Если что есть прекрасно в природе, то это пригожая женщина; что же во всей природе более разнствует от хорошей женщины, то это дурная женщина в молодых своих летах. Все, что есть приятное, восхитительное и прелестное в свете, то сделано для их украшения или для принесения им в жертву. Для их шеи, белизною подобной лилеям, и для их белых рук блестит жемчуг и рубин; для их перевязей сияет карбункул; роза цветет для их груди, но розовые их щеки оную превосходят. Если согласие музыки имеет приятности, то сие для того, чтоб их воспевать; если плоды имеют приятный вкус, то сие, конечно, за тем, чтоб женские уста были оными услаждаемы; и если наконец имеем мы сердце, то для того, чтоб им жертвовать.

Надменный и угрюмый циник, слушающий и порицающий меня, ты уже не помнишь больше того, что ты думал так же, как и я, пока то чувствовал. Ты, который считаешь меня глупым, скажи мне, что бы ты сделал без женщин из сапфира, в который солнце вливает красоту на востоке. Что бы ты сделал из цветов, весною расцветающих, и из согласных песней? К твоей ли грубой коже пристают яхонтовое ожерелье? Твоим или женским волосам приличен розовый венок? Тебе ли должно приписываться согласие твоей лиры? Я не говорю тебе, но кому бы сии жертвы приличествовали, если не женщине, или таковому существу, которое произведено для нашего благополучия? Не думаешь ли ты, что сии доказательства единственно основаны на возмутительных началах беспокойного общества? Взгляни пронизательным оком на животных и увидишь, что сии преимущества и сии нежные попечения показаны от

самой природы. Последуй за мной к сему крылатому и домашнему народу, которого ты кормишь и пожираешь. Смотри на сего прекрасного петуха, гордящегося своими перьями среди своих товарищей. Превосходные его качества сделали бы нежные его попечения не так нужными; вид его и действия, кажется, возвещают заботу его о пище, нужной более для него, нежели для куриц, его окружающих. Но нет нужды, брось ему со стола крошки и примечай, может ли голод, возбужденный приманкою новой пищи, заставить его позабыть те старания, коих ты не знаешь и которые суть должностью его, равно как и удовольствием. Смотри, как он останавливается в своем бегу, если и не весьма пригожая курица подбегает к той же добыче; посмотри, как его когти опускают взятую им добычу и как она упадает из отверстого его рта, если хотя единый взор или крик курицы его беспокоит. Научайся из сего и согласишься, что как ты не можешь быть петухом, так и хорошим философом.

О женщины! Прекрасный пол, мною обожаемый и почитаемый, были ли когда-нибудь права лучше учреждены, как ваши? Прелесть жизни, очарование дней, забвение несчастий, все приятные чувствования и совершенная способность оные чувствовать, о женщины; всем сим мы вам одолжены. Вот малейшее титло наших вам похвал. Но мы вам должны еще добродетелями.

Есть ли какое существо столько несчастное, для которого бы в сей истине нужны были изъяснения? Но какие те добродетели? Человеколюбие, предпочтение чьего-нибудь благополучия собственному нашему; нечто полезное и чрезвычайное, вместе большее, нежели должность. Мудрость определяется своим благополучием в самом себе. Но я определяю добродетель своим благополучием в других. Оно может там находиться; должно, чтоб оное было чистейшее, и вы одне, о женщины! можете нас научить, что тамо должно его искать.

Что бы мы были без вас? Самственники (эгоисты), пожирающие людей, и алчные тигры, имея вместо богов единственно жажду и голод и заменяя когти, коих мы не имеем, грубейшим понятием, если вы одного не исправите. Без вас мы не имели бы другого свойства, как грубость без живости, чувствительность нашла бы тройной панцирь около нашей груди, а подлый страх занял бы открытые входы нашей души. Но вы над нашею грудью держите щит храбрости, а в сердце производите отголосок, отзывающийся на вопль несчастных. Сие сердце было бы без вас железом. В

пламенных же очах ваших железо сие делается мягким, и вы одне можете обращать оное к славе и благополучию.

Храбрость рождается с любовью. Посмотрите на юношу: он робок, и один листок, колеблемый вечерним ветерком, приводит его в трепет в лесу при склонении дня, но он же, летя к ногам любовницы, вдруг презирает гром и молнию.

Нет добродетели, нет храбрости без чувственности, и первый луч, произрастивший в душе нашей сию драгоценную отрасль, проникает всегда из глаз чувствительной матери. Нежность матери начинает то, что любовь приводит в окончание; но во всяком возрасте мы всегда одолжены женщинам тем, что возраст наш не доставляет самого приятнейшего. Женщины научают нас все заслуживать и удвояют цену всего того, что они сделали нас достойными. Колико кратко лавр покрывается зеленью у ног любовницы! Если вместо хорошего правления хорошая женщина учинится ценою победы, то сколько рождается великих воинов! А особливо, когда злато правителя не будет участвовать в обладании прелестною женщиною.

Конечно так, прекрасные женщины, если вы были тем, чем должны и можете быть, то бы имя богини было излишне в языке или означало бы нечто иное, а не вас. Вы, которым все обязаны добродетелями, не делайтесь никогда наградою порокам. Вы, сокровище целого света, цветы общества, вы, владычицы, не давайте никогда права подлейшим своим невольникам быть вашими повелителями за украденное или за законно приобретенное золото. Выше всего того, что могут они вам дать, и ниже всего, что вы осмелитесь принять, да дается вам все, кроме платы; удовольствие — за деньги! Женщина — за злато! Ужасное смешение, страшное несогласие! Смешное, варварское и тщетное предрассуждение полагает вам наименее приятнейшее удовольствие в число пороков. Не то приятнейшее удовольствие, чтоб иметь любовников, но то, чтоб иметь хотя одного бесчестного. Подлец, целующий ваши руки, затмевает совсем ваши прелести; но нежный, учтивый и храбрый человек скорым употреблением ваших благосклонностей возобновляет черты вашего лица. Сердца ваши становятся чистейшими. Небо и люди радуются согласно вашему благополучию. Гоните порок, гордость, подлость, корысть и слабость. Увенчайте добродетели, дарования и науки. Да будет название любовника священнейшим титулом честного человека. Делайте героев и приятных людей, ибо те и другие редки, а в том вы сами

виноваты. Будьте нежны, скромны, приветливы, веселы и просты; общество будет прекрасным, а государство процветающим.

Прекрасный пол, я тебя похваляю с вершу высокой горы, дабы глас мой раздался далее. Тело мое долго останется нежным, а сердце — навсегда. Женщины! Я вас почитать и хвалить буду во всю жизнь, но не буду любить никогда, кроме одной.

О таинствах Цереры Элевзинской

«Покоящийся трудолюбец», 1785 г.

Во время величайшего народного суеверия, которое едва не преобратило род человеческий в жестокосердных зверей, одно спасительное учреждение воспрепятствовало части людей погрузиться в совершенное невежество и зверообразность; я говорю об установленных таинствах. Между великим множеством невежествующего народа были еще мудрые и кроткие умы; были еще такие философы, которые старались возвратить людям рассудок и возделывать их нравственность.

Сии мудрецы самое суеверие употребили средством к исправлению вкравшихся гнусных злоупотреблений, подобно как употребляют сердце ящериц к излечению от их жала; многие басни смешали они с полезными истинами, и истины сохранились единственно чрез сокрытие их в баснословии.

Неизвестны нам таинства Зараостровы, мало также знаем мы и об Изиדיных; но мы не можем сомневаться, чтобы они не заключали в себе высоких понятий будущей жизни; как то видно из сих Цельсовых¹ слов к Оригену (кн.8) о христианах: «Вы хвалитесь, что вы верите будущей жизни, вечному наказанию и вечной награде; но и все священнодействующие в таинствах не возвещали ли того посвященным в оные?» и проч.

Единство божества составляло великий догмат всех таинств; мы видим то из молитвы Изиדיных священниц, которую сохранил нам Апулей и которая состоит в сих словах: «Тебе служат небесные силы, ад Тебе покорен; вселенная есть шар, катящийся в Твоей деснице; ноги Твои попирают тартар; звезды повинуются Твоему гласу; времена проходят и возвращаются Твоим мановением; стихии покорствуют Тебе».

Обряды в таинствах Цереры были подражанием таинственным Изидиным обрядам. Вступая в сии общества должно было раскаяться, признаться в своих пороках и принести жертву; надлежало поститься, очищаться и раздавать щедрые милостыни! Все обряды содержаны были в тайне, и всяк к тому клятвенною присягою обязывался, дабы чрез то оные сохранены были в большем уважении. Таинства отправлялись в ночное время для вдохновения священного ужаса. Присутствующим при сем представляемы были некоторого рода трагедий, и сии зрелища изъявляли благополучие праведных и мучения грешных. Великие в древности люди, Платоны, Сократы и Цицероны, превозносили похвалами сии общества, когда оные не потеряли еще прежней своей чистоты, правости и непорочности.

Некоторые ученейшие мужи доказывали, что шестая книга Вергилиевых *Энеид* есть не что иное, как изображение того, что происходило на сих столь славных и столь скрытых зрелищах. В самом деле, Вергилий не говорит тут о Демиурге (который представлял Творца), но показывает в предхрамии, т.е. выводит на театр, детей, оставленных отцами; и это было извещением их отцам и матерям. *Continuo auditaе voces, vagitus et ingens etc.*². Потом выходит Минос, судия мертвых. Злые низвергаются в тартар, а праведные отводятся на Елисейские поля. Это были сады, столь прекрасные, что ничего не можно было вздумать лучше для обыкновенных человек; ибо честь восходить на небо отдавали они одним токмо героям, или полубогам, которые рождены были или происходили от Богов, хотя сие может быть и в особливом каком смысле разуметь должно. Все веры приняли сад жилищем праведных, так что когда иессеане в израильском народе приняли догмат грядущей жизни, то и они полагали, что добродетельные по смерти отходят в сады на берегу моря; что ж касается до фарисеев, то они принимали преселение душ, а не воскресение; да и самое понятие, какое обыкновенно имеем мы о рае, употребляемом столь часто в Ветхом и Новом завете, подтверждает сие всеобщее согласие всех религий.

Элевзинские таинства учинились всех славнейшими; примечания при сем достойно то, что оные принимали начало Санхониатова³ богов родословия, чем доказывается, что и Санхониатон исповедовал единого верховного Бога, Создателя и Правителя мира. Сие то учение преподавали они втайне посвященным своим, воспитанным в вере многобожия, что сокрывать было для них необходимо. Вообразим

ебе между нами какой-нибудь суеверный народ, привыкший младенчества своего отдавать апостолам, мученикам и святым равное с Богом почитание, не опасно ли будет захотеть друг отторгнуть его от сего предрассудка и извести из заблуждения. И не гораздо ли разумнее поступлено будет, когда откроем мы сперва рассудительнейшим и умереннейшим людям бесконечное расстояние между Творцом и тварями. Сие-то всегда точно наблюдали Мистагоги⁴. Участвующие в таинствах собирались в храм Церерин и Иерофант⁵ их научал, что вместо обожания Цереры, давшей Триптолему запряженную драконами колесницу, должно почитать Бога, питающего человек и благоволившего, чтобы Церера и Триптолом ввели земледелие в уважение.

Справедливость сего свидетельствует и то, что Иерофант прочитывал им и сии стихи древнего Орфея: «Шествуй по пути истины, чти единого Господа вселенной; он есть един, и един от себя; все существа ему должны своим бытием; он действует в них и чрез них; он все видит, но сам никогда не был видим от очей смертных».

Ученый епископ Варбунтон, сколь ни несправедлив часто в смелом и решительном утверждении своих мнений, однако и он подтверждает все сказанное мною о нужде скрывать догмат единства Божия от народа, зараженного предрассудком многобожия. Плутарх повествует, что когда Алкивиад, допущенный к присутствию при отправлении таинств, бывши в беседе между своими друзьями, ведая ложность многобожия, начал Меркуриевой смеяться статуе, то народ, взволновавшись, собрался и требовал, чтобы он за сие был судим по законам в оскорблении божества и наказан примерно.

Итак, нужно тогда было наблюдать величайшую скромность, дабы не тронуть предрассудка толикого множества невежествующих. Сам Александр, получив позволение от Иерофанта Египетских таинств открыть матери своей тайну посвященных, не преминул тогда заклинать ее, чтобы она, получив его письмо, по прочтении сожгла оное непременно, дабы каким-нибудь случаем, попадшись в руки кому-нибудь, письмо сие не разгласилось и не ожесточило бы греков.

Те ж, кои обманувшись ложною своею ревностию, думали, что сии общества были не другое что, как совет развратных и распутных людей, обманывались в том по одному предрассудку о словах: *тайна и таинство*; а иные о слове: *посвященный* — *initiatus*, ибо сие значит человека, начавшего новую жизнь.

Несомнительным доказательством тому, что сии таинства установлены были для насаждения в людей добродетели, служит также и принятое ими слово, по которому распускали они собрание. У греков при сем случае употреблялись сии два древние финикийские слова: *Коф Омфет — Бодрствуйте и будьте чисты.*

Наконец последнее тому доказательство есть то, что сколько ни велик был тогда для света император римский, сколько ни страшен был Нерон, однако он в путешествии своем в Грецию никак не мог получить принятия в таинственные общества и сан его не поколебал посвященных допустить к тому убийцу своей матери и законопреступного злодея.

Итак, можно утвердительно сказать, что и у тех народов, которых называем мы язычниками, идолопоклонниками, погаными, и в самое то время, когда приняты были гнусные обыкновения, ребяческие обряды и смешные учения и когда часто проливали кровь человеческую в честь богам, были такие люди, которые сохраняли чистую веру; и сия чистая вера состояла в признании бытия единого Бога, верховного Владыки, всяческих Его промысла, провидения и правосудия. Есть ли ж что в сих таинствах странным показаться может, то сие есть, по повествованию Тертуллианову, обряд их возрождения. Посвящаемому надлежало возродиться; т.е. представить, будто бы он воскресает, и сие было у них символ новой жизни, которую они должны были предпринять. Ему подавали корону, но он повергал ее к своим ногам и попирал ее. Иерофант, подняв, держал над ним жертвенный нож и делал вид, будто бы им его закалывает; посвященный с своей стороны упал на землю; после чего он воскресал.

Павзаний⁶ рассказывает нам, что во многих Элевзинских таинственных обществах кающийся посвящаемый бил себя бичом и другие претерпевал мучения; но сие ужасное обыкновение долгое время было в обыкновении и в христианских церквах. Я не сомневаюсь, чтобы и во всех сих таинственных обществах, имевших столь благие и мудрые основания, не вкрадывались после какие-либо предосудительные суеверия. Суеверие ввело развращенность, а сия навлекла презрение. Но таков почти обыкновенно бывает конец всего, что ни было священного на сей известной нам половине земного шара.

Клятва

Я, N.N., клянусь перед Всемогущим строителем вселенныя и пред сим высокопочтенным собранием, чтобы всеми моими силами стремиться к тому, чтобы сохранить себя в непоколебимой верности к Богу, закону, правительству, Отечеству и к сему высокопочтенному братству; чтобы любить их всем сердцем и помогать ближним моим всеми силами; я обещаю, чтобы по всем силам моим стараться быть во всех моих деяниях предусмотрительну и мудру; в действиях моих осторожну, в словах моих умеренну, в должностях моих праведну, в предприятиях моих честну, в образе моего обхождения человеколюбиву, благородну, добросердечну и преисполненну любви ко всем человекам, а наипаче к моим братьям; я обещаюсь быть послушну начальникам моим во всем том, что мне для блага и преуспеяния Ордена, которому я обязан во всю жизнь сохранять верность, повелено будет; я обещаю быть осторожну и скрытну; умалчивать обо всем том, что мне поверено будет, и ничего такого не делать и не предпринимать, которое бы могло открыть оное; в случае же малейшего нарушения сего обязательства моего подвергаю себя, чтобы голова была мне отсечена, сердце, язык и внутренняя вырваны и брошены в бездну морскую; тело мое сожжено и прах его развеян по воздуху. В чем да поможет мне Господь Бог и его милосердие.

Аминь.

Записки сенатора И.В.Лопухина

Предисловие Искандера¹

Всякое правдивое сказание, всякое живое слово, всякое современное свидетельство, относящееся к нашей истории за последние сто лет, чрезвычайно важно. Время это едва теперь начинает быть известным. Времена татарского ига и московских царей нам несравненно знакомее царствования Екатерины, Павла. История императоров — канцелярская тайна, она была сведена на дифирамб побед и на риторичку подобострастия...

Лопухин представляет явление редкое. Тихий, честный, чистый, твердый и спокойный, он со своим мистицизмом и мартинизмом идет так непохоже, так противоположно окружающему морю интриг, исканий, раболепия, что это бросается в глаза не только генерал-губернатору Брюсу, но даже самой Екатерине, которая велит сослать его покаявшегося товарища, а его не велит; Павлу, который вынес от него два раза возражение; Александру, благодарившему его за превосходную записку о духоборцах. Советником московской уголовной палаты Лопухин начинает свою карьеру тем, что склоняет сурового генерал-губернатора по мере возможности уменьшить число ударов кнутом, а через двадцать лет с энергией отстаивает сперва духоборцев — перед сенатором, ревизирующим Слободско-украинскую губернию, и убеждает государя остановить разбойничьи набеги на них хищной полиции и хищных попов; потом, возвратившись из Крыма, с такой ревностью защищает Джантемира Мурзу и его товарищей татар, которых невинно хотели отодрать кнутом и послать в каторжную работу. Своей горячностью в этом деле Лопухин заслужил насмешки сенаторов. Еще вот что странно, говорит он, оправдание мертвого Каласа² читают с восторгами, а что свои беспокровные бедняки живые сидели в тюрьмах безвинно и пытаны, это дело кажется очень не важным; и сделается по нем что-нибудь разве потому, что уже нельзя иначе или когда нет никакой подпору тем, которые теснили и пытали! Неужели от того, что

там Вольтер, Калас и Франция — а здесь Джантемир-Мурза, поселяне Мухин с Гласовым и русская Таврида?

Во всей жизни И.В.Лопухина удивительное единство, он нигде не изменяет своего нравственного склада. Молодым советником он восстает против дикого гонения нищих Прозоровским... Стариком сенатором он отвечает своим товарищам, говорившим ему часто по поводу голосов, которые он подавал: «Ведь не будет же по-твоему». «Как будто надобно резать и грабить людей для того, что многие грабят и режут?»...

...Откуда у Лопухина — это единство, этот сознательный, верный себе шаг по дороге, однажды им избранной? Его странно видеть среди хаоса случайных, беспцельных существований его окружающих; он идет куда-то, а возле, рядом целые поколения живут ощупью, впросонках, составленные из согласных букв, ждущих звука, который определит их смысл, из людей слабых, без отпора, людей азартных, в том смысле, в котором так называют бескозырные игры, в их жизни есть внешняя необходимость, связь оглавления, табель о рангах и послушной список, но единства высшего порядка, связующей мысли, общего стремления — никакого.

Из пенящегося брожения столбовых атомов, тянущихся разными кривыми линиями и завитками к трону и власти, Лопухин был выхвачен своею встречей с Новиковым, своим вступлением в мартинисты. Ими пустое брожение, покорное стихийным силам, старалось вынырнуть, схватить в свои руки свою судьбу. Удачно ли или нет — все равно. Присутствие стремления и силы было неотразимо. Между мартинистами была человеческая связь, опора, круговая порука, обмен сил, и как бы они мистически ни понимали и какими бы иероглифами ни заменяли ее, они стояли гораздо выше шаткой и беспцельной толпы образованных русских. Они жили задней мыслью, у них было сознание совокупного труда. Член союза, член тайного общества, чувствует себя не одиноким сиротой, а живую часть живого организма.

И вот откуда нравственная сила Лопухина.

Лондон, 22 июля 1860

Время отставки было для меня самое спокойное, самое приятное и самое интересное.

Прожив лето, осень и половину зимы 1785 года в деревне с отцом³ и братом моим, возвратились мы в Москву, в которой с того времени жил я больше десяти лет сряду, вне ее не ночевав ни одной ночи. На первых днях нашего в нее

приезду отец мой, имев слишком восемьдесят лет, лишился зрения; и главным упражнением моим было попечение о сем родителе, истинно добром и чадолюбивом.

Свободные часы проводил я в чтении духовных книг, которые стали тогда моими любимыми⁴; в беседах с друзьями, имевшими ту же склонность, и много занимался, как уже и за несколько пред тем лет, известным обществом, которое и поныне называют мартинистским и о коем много было и есть странных и ложных заключений, происходящих или от пристрастия, или от злобы, или от невежества. Мартинистским же назвали его потому, что в то же время, как оно сделалось здесь известным, Мерсье⁵ в своей картине Парижа, называл там мартинистами некоторое число людей, с особливым любопытством занимавшихся чтением недавно вышедшей известной книги «О заблуждениях и истине», которая тогда же и у нас была переведена и напечатана и которой сочинитель был некто Сен-Мартен, муж почтенный своими знаниями и добродетелями.

Цель сего общества была издавать книги духовные и наставляющие в нравственности истинно евангельской, переводя глубочайших о сем писателей на иностранных языках, и содействовать хорошему воспитанию, помогая особливо готовящимся на проповедь Слова Божия, чрез удобнейшие средства приобретать знания и качества, нужные к оному знанию; для чего и воспитывались у нас больше пятидесяти семинаристов, которые отданы были от самих епархиальных архиереев с великою признательностью.

Члены общества сего упражнялись в познании самого себя, творения и Творца по правилам той науки, о которой говорит Соломон в Книге Премудрости; содержащимся в Библии и в писаниях мужей непосредственным откровением просвещенных от Бога: науки, открывающей начала всех вещей, без познания коих никогда натура вещей истинно известна быть не может. Возможность же откровения оного во все времена несомнительна для всякого разумного и верующего христианина; и самый нехристианин, но только бытие Всемогущего Бога не отрицающий и здравый имеющий смысл, не может отвергать возможности сей, без ощутительной погрешности против рассудка.

Вот какое было наше упражнение. Мы учились. Многим это казалось и покажется смешно: но простолюдинская половица — век живи, век учись — гораздо умнее такого смеха.

Когда человек сколько-нибудь с благоразумием помыслит о бытии своем, то поразится удивлением, как мало люди,

и самыми разумными слышущие, занимаются тем, что необходимо нужно для вечного их благополучия и для истинного блага в самой здешней жизни, которое состоит в том едином, чего никто и ничто лишит человека не может.

Единое сие заключается в духе Христовом — долженствующем быть единою жизнью человека — в духе чистой любви к Богу и ближнему, которое есть единственный источник совершенной добродетели.

В школах и на кафедрах твердят: люби Бога, люби ближнего; но не воспитывают той натуры, коей любовь сия свойственна; как бы расслабленного, больного, не вылечив и не укрепив, заставляли ходить и работать.

Надобно человеку, так сказать, морально переродиться. Тогда евангельская нравственность будет ему природна, тогда он будет любовью к Богу любить ближнего, и очень возможно будет ему исполнение заповеди: обращать другую щеку ударившему по одной; заповеди, смысл которой есть, конечно, тот, чтоб в самом глубоком смирении и без гнева сносить обиды. Пример чувствований, с каким сносим мы, порочны будучи, огорчения и обиды от тех, коих мы любим по страстям нашим, легко может объяснять нам возможность неограниченного терпения и любви к ближним и к самим врагам своим у людей, имеющих сердца, очищенные Божественною добродетелью.

Сие моральное перерождение, чрез которое только человек становится образом и подобием Божьим и которое долженствует быть главным предметом всех уставов и упражнений христианской церкви — не может, конечно, произойти без действия силы Всемогущей; но непременно содействовать оному должна и воля человеческая, коей свобода дана от Бога как дар величайший и особенно составляющий величие человека. Само познание долженствует руководствовать оное содействие, открывая человеку, сколь далеко он совратился с пути истинного, с пути нерушимого блаженства своего. Познание Творца и творения открывает человеку связь его с ними и цель его создания. Без сего познания не может быть основательное познание самого себя. Без познания же самого себя не можно иметь премудрости. Страх Божий есть начало ее. О сем пишут и говорят при всяком воспитании, но нимало не пекутся вселять спасительный страх сей в души.

Здесь представляется вся глубина того падения и забвения, в котором мы живем. Всякий скажет, что он нимало не сомневается в том, что Бог везде, все знает, все видит и

все слышит; в чем не можно, конечно, и сомневаться, не сомневаясь в бытии Божьем. Но ежели б имели мы в сердцах истинную, как должно, к сему веру, то как бы могли мы, зная, что всегда мыслим и действуем пред очами Божиими, мыслить и действовать таким образом, как бы мы постыдились или убоялись и пред человеком целомудренным или почтенным.

Не можно довольно с самого младенчества и до конца жизни воспитывать в людях оный святой навик ощущения везде присутствия Божия. Одно сие ощущение может рождать страх Божий, который есть соль истинной добродетели и коего совершенство должна быть любовь, побуждающая вести жизнь, угодную Богу, не из страха наказаний от Него, а из любви к Нему; подобно тому, как дети, прямо любящие родителей чадолюбивых, опасаются огорчить их не для того, что боятся их наказаний. Они уверены в их любви, коей нежность оскорбить боятся.

Но и самые наказания Божии в здешней жизни и по смерти суть только очистительные действия любви Его к нам и следствия нашей собственной нечистоты и грехов наших; как боль резца в руках врача бывает иногда необходимым и спасительным средством к исцелению болезни, которая есть следствие порока и невоздержности.

Вот некоторые черты предмета бывшего у нас общества и наших в нем упражнений. Люди, как бы почитающие себе за должность осуждать других и порицать то, чего совсем не знают, распускали разные о нас толки. Шум был велик, потому что людей таких много; и больше еще тех, которые столько же охотно верят всякому дурному о других, сколько не хотят поверить доброму.

Порочили особливо тайность общества и его собраний. Для чего говорили: тайно делать хорошее? Ответ на это легок. Для чего в собраниях, так называемых лучших людей или публики, не только никогда не говорят, да и не можно говорить о Боге, о добродетели, о вечности, о суете жизни, о том, сколь порочны люди и как нужно им заботиться о нравственном своем исправлении и проч.

Между тем коварство и алчность к наградам, за выслуги на клевете и вреде ближнему основанные, старались представлять нас подозрительными и для спокойствия общего небезопасными. Таким образом действующих во мраке наветничества было немало. Но один, хитрейший на то время вельможа и царедворец, в часы колебаний своего могущества, которое и в нем не могло быть беспрестанно неподвиж-

ным, хотя при разных переворотах и жизнь его скончалась среди блеска оного, для поддержания себя выдумал навлечь подозрение на существовавшую будто связь с обществом нашим у ближайшей к престолу особы⁶.

Искусно внуша такое подозрение, искусно же не допускал он и до розыска; вероятно для того, что, не имев сердца жестокого, при всей своей политической нещадности, не хотел он жертвовать людьми, никакого зла ему не причинившими; каковыя жертвы подобные ему характеры приносят себе только тогда, когда сие необходимо требуется их интересами, для которых они кроме себя всем жертвуют.

Сие вероятно. А известно то, что розыск бы обличил его выдумку, которая тогда обратилась бы во вред ему самому. И так он старался только питать вселенное им подозрение, выставляя себя за знающего все, что в государстве происходит, с тем, что когда он хранитель особы государиной, то ей нечего опасаться, он все предупредит.

По сему расположению удерживался он от строгостей; и все следствия возбужденного подозрения и гнева государыни на общество долго ограничивались тем, что несколько раз запечатаны были и пересматриваемы изданные нами книги, некоторые из них запрещены и Н.И.Новиков отослан был на испытание в законе к московскому архиепископу, который нашел его таким христианином, каких бы желал он, чтоб было больше. Сими словами доносил преосвященный Платон о порученном ему испытании.

Первое же действие придворного негодования на общество наше явно открылось против меня; и сие-то было оное сильное предубеждение, с которым граф Брюс приехал начальствовать в Москву ...

По приезде своем в Москву не только обходился он со мною крайне ласково и учтиво, но даже уверял, и казалось искренне, в желании иметь самое короткое и приятельское со мною знакомство, изъявляя притом особливое ко мне уважение. Сие продолжалось несколько времени ...

Но вдруг граф Брюс говорит мне наедине, что известно, что я нахожусь в оном обществе, и что, хотя он сам бывал в подобном и зная всю святость его цели и упражнений, понесет он в сердце своем уважение к ним и в гроб (сии были точные его слова), однако в некоторых чинах и летах уже непристойно сим заниматься. Если это таково, как ваше сиятельство сказать изволите, отвечал я ему, то мне кажется, что чем больше лет и чинов имеет человек и чем важнейшею обязан должностью, тем пристойнее и нужнее уп-

ражняться ему в том, что его просвещает, учит добродетели и заставляет исполнять ее правила.

Разговор наш был длинный и долго с обеих сторон довольно равнодушный. Предмет его был тот, что граф Брюс настоятельно требовал, чтоб я оставил общество и упражнения оные, и что это будет угодно государыне. Волю ее о сем, что ли, спросил я, объявляете вы мне? Нет, говорил он: но можете разуметь, что не от себя говорю я вам это. Что ж, отвечал я, неужели государыня изволит знать о моих связях и упражнениях? Я думаю, едва ли ей известно мое имя и существование на свете. Да, сказал он, вы ей слишком известны, и она непременно требует от вас того, что вы от меня слышите. Позвольте мне усумниться, говорил я, чтоб такой мудрой государыне было не угодно такое доброе дело, каким и вы его признаете. Да она не так думает, отвечал он. Может быть, потому, говорил я, что оно ей непрямо известно; так стоит только ей объяснить; а об делах добрых не только полезно — да и для верного подданного нужно объяснять государям правду. Ты поди объясняй ей! сказал он мне с жаром с очень сильным, требовал моего согласия на его предложение.

Я говорил, что осмеливаюсь сказать ему откровенно и так, что он может донести мои слова самой государыне: что не могу я поверить, чтоб ее величеству угодно было, чтоб кто-нибудь оставил столь хорошие упражнения. Если ж она того желает по противному об них понятию, не имея способа получить истинного, то я думаю, угождать в таком случае мыслям ее была бы слабость и чувство противное тому уважению, какое иметь естественно к столь великой государыне; и что великодушие ее представляю я себе в столь высокой степени, что такие-то подлые угождатели должны ей быть больше всего не удобны. Знайте ж, сказал мне граф мой голосом дрожащим от досады, что с теперешней минуты буду я всякое вам зло делать — и побежал вон, хлопнув дверью, а я спокойно поехал домой ...

Так в конце 1784 года открылись давно уже продолжавшиеся негодования и подозрения двора против нашего общества. Коварство, клевета, злоба, невежество и болтовство самое публики питали их и подкрепляли. Одни представляли нас совершенными святошами, другие уверяли, что у нас в системе заводит вольность; а это делалось около времени Французской революции. Третьи, что мы привлекаем к себе народ, и в таком намерении щедро раздаем милостыню. Иные рассказывали, что мы беседуем с духами, не веря

притом существованию духов, и разные разглашали нелепости, которым столько ж неблагоприятно верить, сколько непохвально распускать их. Однако все сии слухи имели свое действие, сколь ни были они ложны и один другому противны; ибо и самые бунтовщики, и проказники, и суеверы, и замысловатые обманщики; всего этого, рассудя, нельзя связать хорошенько.

У страха, говорят, глаза велики. Вот от чего прямо родились и возросли негодования оные и подозрения. А содействовали доверенность к наветам, обычай слушать шпионов, которые должны необходимо лгать; потому, что ежели они будут доносить правду о тех, коих подозревают напрасно, то естественно потеряют несчастную к ним доверенность и с нею корысть свою; обычай также полагаться на искусство полиции, которая почти всегда строит свою фортуна на беспокойстве жителей, вместо того чтобы сохранять их покой.

Много также действовали предубеждение и ненависть, которыми с невежеством исполнены люди, против строгой морали и всякой духовности, коими отличались издаваемые нами книги.

Все сие усилилось началом революции в Париже в 1789 году, которой произведение тогда приписывали тайным обществам и системе философов; только ошибка в этом заключении была та, что и общества оные и система были совсем не похожи на наши. Нашего общества предмет был добродетель и старание, исправляя себя, достигать ее совершенства, при сердечном убеждении о совершенном ее в нас недостатке. А система наша — что Христос начало и конец всякого блаженства и добра в здешней жизни и будущей. Той же философии система — отвергать Христа, сомневаться в бессмертии души, едва верить, что есть Бог, и надуться гордостью самолюбия. А обществ оных предмет был заговор буйства, побуждаемым глупым стремлением к необузданности и неестественному равенству.

Но из того, что бывают тайные общества вредные, никак не можно с благоразумием заключить, чтоб не могли быть и полезные. Известны примеры, что давали отраву в причастии. Но что ж из того заключить можно против причастия? Мистерии древних служат сильным доказательством возможности добрых и полезных тайных обществ.

Впрочем, главною причиною революции ставить самую оную философию и общества, похоже, мне кажется, на то, как иногда больные, изнузив себя и все свои соки испортив невоздержностью и неосторожностью, не желая признавать-

ся в прямых причинах своих болезней, стараются их приписывать каким-нибудь неважным посторонним случаям, в коих они невинны и которые бы для них совсем нечувствительны были, если б расслабленное тело их не было уже готово разрушиться.

Злоупотребление власти, ненасытность страстей в управляющих, презрение к человечеству, угнетение народа, безверие и развратность нравов — вот прямые и одни источники революции. Все законодательства, все училища, все устройства без истинного живого духа веры — без духа Христова — без света премудрости Божией суть то для тела политического, что без кровоочистительного лекарства и пластыря, могущих залечивать наружные болячки — больного, у которого кровь нечистотами испорчена.

Неудовольствия оного правительства, подозрения, скрытые присмотры полиции, толки и шум публики, то уменьшаясь, то прибавляясь, продолжались лет семь. Много имели мы неприятелей, а защитников с голосом никого, ни при дворе, нигде. Мы столько были невинны, что и не старались оправдаться, а только при случаях простодушно говорили правду о цели и упражнениях нашего общества; но нам не верили.

Хотя и собрания наши наконец пресеклись, однако подозрение на нас нисколько не уменьшилось. Открывали на почте наши письма и всех моих писем копии, особливо к одному тогда приятелю, бывшему в чужих краях, отсылались к государыне⁷. Я сим нимало не беспокоился и знавши писал всегда так, как бы я говорил наедине в полной откровенности.

Однажды вздумалось мне воспользоваться сим обстоятельством, чтоб в письме к моему приятелю, кстати располага, описать все существо и действие нашего общества; и так справедливо, что никакими бы следствиями и розысками иного не могло открыться; потому что сам Сердцевидец видел, что иного не было. И подлинно, в плане и общих действиях нашего общества не было ничего, кроме очень доброго и полезного для сердец наших и для Отечества. Если же и были между нами частные, в обществах людских неизбежные слабости или ошибки, то они имели не больше влияния на общее государство, как слабости и ошибки миллионов, составляющих его, и подверженных таковым недостаткам в человечестве.

В письме том к приятелю моему повторил я сказанное мною некогда графу Брюсу, что и государи могут ошибать-

ся; и что ежели государыня, не имея прямого понятия о какой-нибудь доброй вещи, дурных о ней мыслей, то никак нет долга соображаться с таким ее заключением и угождать ему была бы величайшая подлость, измена в душе правилам добродетели, грех перед Богом и пред ее собственно истинным величием. Я написал сие точно для того, чтоб она прочитала.

Еще изданием и публичною продажею некоторого катехизиса употребил я средство представить в самых истинных и кратких чертах все начала науки и нравственности нашего общества. Сие мне случилось нечаянно. Часто бывал я тогда у преосвященного Платона Митрополита Московского, отличным благорасположением которого я всегда пользовался. Он очень в разговорах восставал против нашего общества; однако ж расставались мы всегда приятелями. Однажды, разговаривая с ним, при возражениях на его критику, родилась у меня мысль об оном катехизисе; и я его тут же составил так, что, приехав домой, тотчас его написал и, переведя на французский и напечатав его в типографии нашей, отдал знакомому книгопродавцу продавать как новую книжку, полученную из чужих краев. Все сие тогда известно было только троим из самых коротких моих ...

Подозрения, шпионства и все виды притеснения общества нашему до крайней степени возросли при вступлении в управление Москвой князя Прозоровского, сменившего Петра Дмитриевича Еропкина, который был человек разумный, богобоязливый и самых честных правил; а потому и делал он разве только то, что необходимо принужден был делать, исполняя поручения.

Портрета князя Прозоровского писать я не буду, для того чтоб не дать как-нибудь пищи своему пристрастию, ибо он так много был лично против меня, как только бы можно быть против своего злодея человеку, не имеющему даже понятия о том, что можно прощать врага своего; а я не только никогда ему зла не желал, не делал и не мог делать, да и сердит на него не бывал. Его же такого неприязненного ко мне расположения, кроме многих доказательств, видел я одно самое сильное в своеручных его письмах, кои он писал тогда в глубочайшем секрете и, конечно, не воображал, чтоб я мог когда-нибудь их читать.

Напрасно, однако ж, думают, чтоб князь сей был причиною всего того, что мы наконец потерпели. Нет — при описанном уже мною расположении государыни это было

действие замысловатейших и сильнейших при дворе, нежели он, которые действие свое вмещали в план упрочивания и большего со временем возвышения своей фортуны, а князя Прозоровского только выставляли и употребляли как самое надежное по характеру орудие.

И подлинно, он везде видел зло и опасность, особливо подозревал он раздачу милостыни. Обо мне отзывался между прочим, что я так много ее раздаю, что едва ли не делаю фальшивых ассигнаций; и даже, как я слышал от людей весьма вероятно достойных, навлекал в том на меня сомнение, приплетая тут и типографию, которая некогда была под моим именем и тогда уже не существовала. А что представлял он меня человеком небезопасным для общественного покоя, то видел я в оных его своеручных письмах.

Кстати о милостыне. Странно, как очень многие против ее умствуют. Главная тому причина, кажется, желание оправдывать свое нехотение подавать ее.

Правительству, конечно, нужно и должно стараться, чтобы нищие не шатались по улицам и по дорогам, однако такими средствами устройства, чтоб, во-первых, не было их, если то можно, и наконец, чтоб их переводя, не сделать вдвое несчастных; т.е. чтоб лишать людей сих единственного способа к пропитанию, и притом еще с притеснением.

Но частному человеку, имеющему в сердце хотя искру любви к ближнему, как отказать ему в помощи, какая может быть в том ошибка? Что поданных несколько копеек иной пропьет? А ежели от сделанного по сему отказа, иногда человек должен будет сутки или больше терпеть голод, или покусится на преступление, или замарает душу свою ропотом на судьбу; то каково должно это быть душе того, кто откажет, ежели в ней есть чувствительность истинного человеколюбия.

И мне случалось иногда отказывать и с некоторою досадою потому, что просящий милостыни покажется мне пьяным; однако признаюсь, я всегда очень рад бывал, когда в таком случае воротив того, кому отказал, заслуживал ему, и себя как бы наказывал дачею ему вдвое, говоря себе в мыслях: что! разве ты сам не преступал никогда пределов трезвенности и разве бедному, и подлинно крайнюю нужду имеющему, не может случиться лишнее выпить.

Впрочем, я в себе расположение к милостыне никак не считаю добродетелью. Это во мне природная склонность, как в иных бывает к разным охотам. Делать удовольствие людям всегда была страсть моя. Будучи еще ребенком, я

нарочно проигрывал мальчику, служившему при мне, деньги, какие у меня случались, и любовался его о том радостью.

Но с того времени, как я, по счастью, узнал, в чем состоит истинная добродетель, уже я старался склонность оную обращать на исполнение закона сей добродетели, чувствами делания для угождения Источнику любви, который повелел просящему давать. Помощь ближнему, при старании делать ее из искреннего к нему сострадания и для Бога, особливо воспитывает дух в чистой любви, которая есть магнит, привлекающий вездесущего духа Божия, готового всегда соединиться с духом человеческим; а в сем соединении состоит все истинное просвещение и блаженство.

В таком расположении милостыня всегда бывает полезна дающему, если б она и не нужна была тому, кому подается: напротив, благодеяние, сделанное в прямую пользу того, кому оно сделано, но из тщеславия или самолюбия нисколько не приносит благословения благодетелю, и не только не удобряет сердца его, но еще ожесточает его в самолюбии, которое есть корень всех в человеке пороков; и коего владычеству должно со всем истребиться, дабы дух Божий воцарился в человека.

Но князь Прозоровский отменный был неохотник до такой морали, и подаватели милостыни казались ему бунтовщиками. Представления его не усиливали, конечно, несколько уже лет постоянно существовавшего против нас расположения; но, естественно, что частыми напоминаниями питали его.

В начале 1791 года князь Безбородко, бывший тогда графом, под видом прогулки приезжал в Москву с Николаем Петровичем Архаровым, для того чтоб произвести над нами следствие, с указом о том князю Прозоровскому, как главнокомандующему в Москве. Вручение указа сего для исполнения предоставлено было усмотрению на месте князю Безбородку. Однако он, подлинно погуляв несколько недель в Москве, возвратился, ничего не предпринимая и не отдав указа князю Прозоровскому, как слышал я от самого последнего, при сетовании за то на князя Безбородку.

Безбородко ни к чему не приступил по своей проницательности, по мягкосердечию своему и, может быть, по некоторым личным уважениям дворским. Впрочем, он и по рассуждению своему был совершенно против всего того, что с нами делали, и после мне даже говорил, почти при первом свидании знакомства его со мною (в 1794 году), еще при

жизни государыни, когда я жил в отставке и под некоторым присмотром, что сие дело несоответственно ее славе.

Но не мог он (или не имел довольно твердости) не исполнить сделанного ему поручения как ненужного, а представил причину неудобности исполнить его, и такую, которая на несколько месяцев удержала следствие; но подозрение умножила до крайности. Он сказал, что я сжег бумаги и что чрез то скрылися следы к улике и к основательному исследованию. С чего же это он взял, о том я расскажу как о весьма достойном примечании, с той стороны, что иногда самые невинные поступки, по связи с обстоятельствами, могут иметь все виды подозрения и неоправданного. Сие особливо полезно для судей в делах уголовных.

Имея большую дирекцию и большую переписку по обществу нашему, имел я у себя много и бумаг такого рода. Собираясь переходить в новые комнаты, хотел я очистить свое бюро и, разобрав бумаги, несколько лет копившиеся, драг и жег самые неважные и ненужные, а нужнейшие и важнейшие оставлял и теперь могу поклясться, что точно так было. Сие делалось месяца за три до приезда князя Безбородко и когда я не ожидал никакого следствия, особливо обыска в доме отца моего, с которым я жил всегда вместе. Шпионство, окружавшее нас, о сем донесло. Князь Прозоровский принял это по-своему; а Безбородко, узнав, обрадовался этому случаю по своим же видам и совсем иным.

Я и не подозревал того; и вот как сперва сведал. Чрез несколько месяцев после отъезда князя Безбородко, разговаривая на один с графом Алексеем Григорьевичем Орловым-Чесменским о происходящем против нашего общества, говорил я ему, что мне удивительно, как государыня, при отлично великом уме своем и чрезвычайной проницательности, не может открыть невинность нашего общества и успокоиться от напрасных на него подозрений; что самый обыкновенный, только опытный взор полицейский, увидеть это может, что действия наши явные и по ним судить можно.

Мы воспитали, говорил я, несколько молодых людей — стоит только исследовать образ мыслей, который мы старались им вселить. Мы издали много книг. Конечно, на каждой странице почти каждой из них найдете вы поучение, что надобно истреблять в себе самолюбие, смириться, все сносить, принимая все от руки Божией, покоряться властям, как от Него поставленным, и тому подобное. Что можно, не понимая, или не любя таких правил, их осуждать; но не сходно с рассудком внушающих такие правила подозревать в замыс-

лах мятежных. Пусть можно закрываться ими затейщикам, притворно проповедуя их иногда словами, обкладывая себя такими книгами, но так усердно и прилежно рассеивать чрез такое множество книг в народе, было бы точно притуплять свое орудие и действовать совершенно против себя. Что можно проведать о свойствах и поведении составляющих общество, и увидели бы, что они не хуже лучших из прочих, и что те, которые в службе из них, отправляют ее не хуже и не с меньшим усердием, нежели другие. Что можно нечаянно схватить наши бумаги.

При сем-то граф, который меня лично столько же любил, сколько был против общества нашего и правил его, а по связям большей близости своей тогдашней ко двору многое знал; и во многом скрытно участвовал и при сем деле сказал мне: «Какие же схватить бумаги, когда ты их сожжешь?» Почему ж, говорю, думать что их жгут? Да ты первый, отвечал он мне, сжег, перед приездом сюда Безбородки с Архаровым.

Я истинно даже и забыл, что жег бумаги, как описывал выше, и долго уверял его, что этого не бывало, но он рассказывал мне даже почти часы те и положение места. Я вспомнил и рассказал ему, что такое подлинно было и что совсем напротив, что я жег только самое ненужное и напрасно занимавшее у меня ящики; а самое интересное и нужное у меня цело; и я могу то доказать. Однако он при всей любви своей ко мне и отлично хорошем обо мне заключении этому не верил и умер с тем.

Вот как откровенность коварством и самое обыкновенное, ничего не значащее действие важным и злым казаться могут!

Наконец (в апреле 1792 года) решилось много раз и несколько лет предпринимаемое поражение нашего общества.

Все вдруг книжные лавки в Москве запечатали, также типографию и книжные магазины Новикова, и дома его наполнили солдатами, а он из подмосковной взят был под тайную стражу с крайними предосторожностями и с такими воинскими снарядами, как будто на волоске тут висела целость всей Москвы.

Остро и смешно при сем случае сказал граф Кирила Григорьевич Разумовский князю Прозоровскому, который ему рассказывал о важности ареста Новикова и о всех своих к тому распоряжениях: вот расхвастался, как будто город взял; старичонка, скорченного геморроидами, взял под караул, да одного бы десяцкого или буточника за ним послать, и так бы и притащил его.

Новиков содержался недели три в Москве и потом отвезен окольными дорогами в Шлиссельбург. Его везли на Ярославль и на Тихвин. Приставу от князя Прозоровского предписано было с особливою опасностью проезжать Ярославль, потому-де, что в нем была некогда масонская ложа под покровительством там бывшего генерал-губернатором Алексея Петровича Мельгунова, которого тогда и с ложей уже несколько лет на свете не было. Я описываю подробности сии для того, чтоб представить, как действовали. Можно прямо сказать, что с своею тенью сражались.

В С.-Петербург Новиков ни на час привезен не был; а известный Шешковский ездил допрашивать его в Шлиссельбург. Месяца три ничего не открывалось о том, что там происходило; и вдруг князь Прозоровский получил секретный именной указ, чтоб князя Николая Никитича Трубецкого, Ивана Петровича Тургенева и меня, как главных сообщников, допросить по приложенным от государыни пунктам и потом объявить нам ссылку на житье в дальних от Москвы деревнях, под присмотром и без выезда из тех губерний, в которые мы отправимся.

Тургенева не было тогда в Москве. После очень скорого окончания в одно утро допроса Трубецкому призвал для одного же Прозоровский меня к себе. Я очень спокойно принял этот призыв и поехал с присланным за мною с его генерал-адъютантом, который, крайне удивляясь моему спокойствию, простодушно говорил мне, что он, видя меня, совершенно уверен в моей невинности. Спокойство мое не заслужило удивления, ибо оно подлинно при невинности естественно было; и напрасно многие думают, что без вины страдать тяжелее. При чувствах совести вина, конечно, тяжелее казни: а невинность в человеке немалодушном или торжествует, или спокойна.

Беспокоила меня только мысль о том, что происходящее со мною может поразить отца моего, который тогда имел уже около девяноста лет и, лишенный зрения, был в крайней слабости тела, кроме головы, коей здравость сохранилась в нем почти до последнего часа его жизни; а для того и старался я все от него скрывать.

Князь Прозоровский приступил к допросу моему с весьма строгими изъяснениями о важности дела. Я имел честь быть главною целью его сиятельства. Он ожидал раскрыть во мне превеликого злодея государственного и надеялся, что доведется меня арестовать, что ему позволено было, если б открылось что-нибудь важнейшее из наших допросов и из бумаг,

кои велено было от нас отобрать. Но как уже было предубеждение, что бумаги сожжены, то в допросных пунктах сказано было только, чтоб мы при сем представили наши бумаги под страхом смертной казни за малейшую утайку.

Итак, ласкаясь, что доведется оказать со мною все возможные строгости, князь Прозоровский призвал к себе в Петербургский подъездной дворец, где он тогда жил и где все сие происходило, обер-полицеймейстера, очень скрытно, и посадил его одного в особую комнату часу в пятом около обеда, в котором и я к нему приехал. Занимаясь со мною, забыл князь об обер-полицеймейстере, который в ожидании приказа просидел один до полуночи без свеч. Забыли или не смели их к нему внести, а это делалось уже в августе. Князь, против чаяния своего, не нашед ему упражнения со мною, отпустил его домой с извинением, что так продержал его. Это мне сказывал сам тогдашний обер-полицеймейстер, признаваясь, что не одну сотню бранных слов, которых непристойно пересказывать, отпустил он в потемках нам с князем Прозоровским.

Предисловие князя сего к допросу было предлинное, гораздо свысока и жестко. Наскучив, сказал я ему, что когда он имеет от государыни указ и вопросные мне пункты, то я думаю, ему следует только по ним исполнять, а от себя прибавлять, кажется, излишний только труд для него будет: прошу мне дать пункты, так и буду отвечать. Очень хорошо, говорил он, спрашивая меня, сам ли я буду писать ответы или позвать секретаря, и весьма уже смягчился. Я бы желал сам, если можно, сказал я, но только не знаю, не много ли будет помарок. Тем лучше, отвечал он мне; ибо мне приказано прислать ответы ваши вчерне и точно в таком виде, как они напишутся. И подлинно ему так предписано было.

Все сие происходило у нас с ним наедине в его кабинете. Я сел за его бюро и начал писать на лучшей с золотым обрезом приготовленной для того бумаге, очень по руке очищенными перьями. Он давал мне на особливых листах списанные пункт за пунктом; так, чтобы, отвечая на один, не знал я содержания следующего. Всех пунктов было, помнится, восемнадцать; а в ответы на них исписал я кругом двадцать листов и без одной помарки, в двух местах поправил только по одному слову, поставя те, которые мне казались складнее. Сего, конечно, при всем самолюбии, нельзя мне приписать моему искусству или уму.

Вопросы сочинены были очень тщательно. Сама государыня изволила поправлять их и свои вмещать слова. Все

метилось на подозрение связей с тою ближайшею к престолу особою, как я упоминал выше; прочее же было, так сказать, подобрано только для расширения завесы.

В четвертом или пятом пункте началась эта материя, и князь Прозоровский, отдавая мне его, дрожащею, правда, немножко рукою, таким же голосом говорил: посмотрю, что вы на это скажете? О! на это отвечать всего легче, сказал я; и написал ответ мой, так справедливо и оправдательно — после много сие конечно, участвовало в причинах благоволения ко мне оной высокой особы. Князь Прозоровский, прочитав ответ сей с чрезвычайною досадою, бросил лист на бюро и, подошед ко мне, сказал: что ж, разве злых-то умыслов не было у вас? Да как же быть-то, не было, холодно отвечал я ему, сидя за бюро.

Он дал мне для ответа следовавший за тем пункт и пошел ходить по комнате, которая была пребольшая. Отошел от меня так далеко, что думал, я не могу слышать, говорит про себя: «Не так бы с ними надобно». Подходя ближе ко мне, говорит, будто про себя, однако так, чтоб я слышал: «Теперь Новиков-то здесь, так с ним можно тотчас и свести».

Признаюсь, что сим удалось ему на несколько минут смутить меня. Не для того, чтоб я боялся очной ставки с Новиковым, который, конечно, также невинен был, как и я. Но, представив себе, что его привезли в Москву после нескольких месяцев заключения в тайной экспедиции, изнуренного, обросшего бородою, может быть, окованного; прискорбно было ожидать такого тут свидания с человеком, которого я всегда очень любил и с коим так долго был в самом коротком знакомстве.

После сих розыскных стратегий князь Прозоровский, подошед к бюро, за которым я писал свой ответ, говорит мне: «Новиков-то ведь во всем признался». Не сомневаюсь, отвечал я ему. Я думаю, что Новиков также не виноват; а если в чем виноват, то, конечно, признался: он не дурак и боится Бога.

Однако, говорил мне князь Прозоровский, с французами-то вы имели переписку? Кто? спросил я. Вы и именно вы, сиречь ты. Имел, отвечал я. Обрадовался мой князь; и с веселым вдруг лицом, самым ласковым тоном продолжал: это хорошо, что вы чистосердечны; да и дело уже известное; скажи пожалуй, о чем же и когда вы к ним писывали. Не упомнишь, отвечал я, всего, о чем и когда. Однако, сколько можешь вспомнить? Ну, я писывал к ним, чтоб прислать

табаку, вина, конфект, сукна какого-нибудь, игрушек в подарки детям. Вы шутите, осердясь, говорил мне князь: к каким же французам вы писали это? К лавочникам здешним, а то к каким же? Нет, вы были в переписке с якобинцами. А ваше сиятельство бывали с ними в переписке? Может ли это быть, чтоб я с ними переписывался, говорил он. Так знайте ж, сказал я ему, сидя и гораздо не учтивясь, что в чести, в верности к государю и Отечеству я никак вам не уступлю; и не смейте мне делать таких вопросов.

Князь, очень сбавивши своего жару, говорил мне: «Что ж ты эдак на меня нападаешь; ведь не я, государыня об этом тебя спрашивает?» — «Где ж этот вопрос?» «Вот будет». — «А я буду отвечать». — «Что ж отвечать будешь, скажи пожалуй?» — «Тогда увидите». — «Лучше скажи, пожалуй, прежде, так, может быть, мы и посоветуемся. И очень прилежно уговаривал меня рассказать ему наперед этот ответ. Скажу вам только, отвечал я, что ежели государыня изволит меня об этом спрашивать, то я конечно в ответе своем ей шутить не буду; и чем он будет серьезнее, тем основательнее отразится клевета.

Я продолжал писать ответы; и ни в одном пункте не нашед такого вопроса, сказал князю Прозоровскому, что такой поступок с его стороны слишком явно доказывает неблагоприятное положение его ко мне и не принесет ему, конечно, никогда славы. Да, говорил он, в присланных от государыни пунктах нет такого вопроса; но мне поручено спрашивать, о чем я рассужу, если бы того и не было в тех пунктах. Так ваше сиятельство очень несправедливо рассудить изволили, отвечал я ему; и еще вам скажу, не уступлю я ни вам, никому: а образ спрашиванья вашего неоспоримо открывает личное недоброжелательство. Замолчал, однако, князь мой.

Описываю только главные черты обращения со мною князя Прозоровского, все же описывать было бы слишком пространно и не весьма интересно. Но описываю точно как было

Одно еще обстоятельство, отменно характеристическое с его стороны, при оных допросах рассказать надобно.

В тех же годах была в Германии секта, под именем иллюминатов, подлинно вредная и намерениями своими противная христианству и властям. Незнающие смешивали с нею общество наше, которое совершенно противных было правил; и у нас даже сочинен был план, как остерегаться от всякого прикосновения оной секты, и меры к сему прилеж-

но внушены были каждому члену. План сей в главном правлении общества нашего сочинял я.

Во время допроса князь Прозоровский говорил мне, что мы иллюминаты. Я ему отвечал, что мы не только не они, да мы их неприятели и, зная всю вредность этой секты, постановили самые строгие меры осторожности от нее; чему и план, за несколько лет назад мною сочиненный, привезу я к нему хотя сейчас писанный моею рукою. Очень хорошо, сказал он, завтра привезите. Привез я завтра. Это было в другой день моей с ним допросной беседы. Прочитав бумагу мою, князь мне ее возвращает, говоря, что она ничего не значит. Она только то значит, что мы не иллюминаты, отвечал я, так прошу принять ее в оправдание. Пусть вы не они, говорил мне Прозоровский, да все то же. Уже как скоро это доказывает, что мы не иллюминаты, какими нас считают, то естественно доказывает и ложность заключения об нас; следовательно, и оправдывает, говорил я; но если б это мне и казалось только оправданием, то я думаю, ваше сиятельство должны от меня принять эту бумагу; ибо я не думаю, чтоб было намерение только винить нас. «Не приму», — отвечал он мне решительно.

Между тем, продолжая писать ответы, увидел я, что в одном вопросе сказано, чтоб я при сем представил все мои бумаги под описанием наистрожайшей казни за сокрытие хотя одной. Тут я обрадовался, что Прозоровский не принял от меня той бумаги, потому что он с расположением своим мог бы ее, приняв особо, и утаить; а то, я подумал про себя, принужу тебя, князь, принять эту бумагу, и таким образом, что уже нельзя будет тебе скрыть ее. Замолчав об ней, спрашивал я его, как же могу я при сем представить все мои бумаги. Их со мною нет, и так их много, что я всем им и реестра в скором времени сделать не могу.» Да это не нужно, говорил он мне, а вы их привезете после, только все и за вашею печатью. На другой день поутру привез я их к нему без разбора запечатанные в нескольких больших пакетах. Когда он их принял, то я вынул из кармана ту негодную ему бумагу, просил особо ее принять. Я уже вам сказал, что не приму ее, отвечал он мне — и никак отнюдь не приму, и оборотясь к случившемуся тут по тому же делу князю Н.Н.Трубецкому, говорит ему: «Помилуй, уговори его; навязывает на меня эту бумагу, к чему она?» Трубецкой не поддержал меня. Однако я продолжал мнимое свое для них упрямство, говорил князю Прозоровскому: за что так особливо не нравится эта бумага вашему сиятель-

ству? Она ничего не значит, и я уже сказал, что не приму ее, отвечал он мне. Так позвольте ж сказать, продолжал я, вы должны ее принять, какая б она ни была. Когда государыня приказывает представить мне все мои бумаги, то я обязан все их отдать, а вы обязаны принять.

Одумался князь: и с некоторою торопливостью, принимая ту бумагу от меня, говорил: извольте, я ее приму, если то вам непременно надобно. Когда он принял, то я просил его позволить мне в ответах моих прибавить, что я в исполнение требования отдал ему все бумаги. Зачем же, говорил он: государыня мне и без того верит? Не сомневаюсь, отвечал я; но признаюсь, что я немножко педант и в приказной службе к формам сделал привычку. Пожалуйте позвольте. Он вынул из бюро своего тетрадь моих ответов; и я в ней приписал, что отдал ему все мои бумаги и в какой форме. О вручении же ему спорной оной описал особо, представя обстоятельно ее содержание и причину, для чего я вручил ему ее особливо.

Ответы писал я два дня, в которые отдыху мне было только что в первый, ездил ночевать домой, а на другой обедал у князя Прозоровского; и обед наш точно представлял трапезу тайной экспедиции. Кроме княгини хозяйки сидели за ним только служители сей экспедиции и хозяйские адъютанты, которые во все это время одни и в доме его находились, ибо он тогда не принимал никого, даже губернатора. Однако в кабинет никто и из них не входил; и мы со лбу на лоб с князем Прозоровским беседовали в нем по крайней мере часов двадцать.

Во всех вопросах важнейшее было, как я описывал, о связях с оною ближайшею к престолу особою; и еще поважнее два пункта: 1) Для чего общество наше было в связи с герцогом Брауншвейгским и в чем состояла наша с ним переписка? 2) Для чего имели мы сношение с берлинскими членами подобного общества в то время, когда мы знали, что между российским и прусским дворами была холодность?

На первое отвечал я, что хотя по вступлении моем в наше общество не было уже никаких отношений к герцогу Брауншвейгскому, но известно мне, что оные ни в чем ином состояли, как в церемониальных к нему отзывах по обрядам известного масонства, в коем был он тогда титулярным начальником некоторых лож в Европе, а что касается до содержания переписки с ним, то об ней только то помню, что нечего помнить.

На второе: что хотя с берлинскими сообщниками никогда в переписке не было ни одного слова, касающегося до

политики, но когда узнали мы о холодности между дворами, то всякая с ними переписка пресеклась, что может быть доказано всяким исследованием и подлинными бумагами.

Прочие вопросы сочинены были, как я уже сказал, только для расширения той завесы, которая закрывала главный предмет подозрения; а предмет сей столько же казался важным, сколько в основании своем мечтателен был.

Спрашивали, например: где собирались, для чего скрытно от полиции, об обрядах, о числе лож, о составлявших оные и тому подобное.

На все отвечал я со всею искренностью и очень подробно. Нигде по совести не обвинял я ни себя, ни общество. Везде изъяснял пользу цели его и упражнений. Что же касается до скрытности от полиции, то писал я, что не можно правосудно почитать бывшие наши собрания от нее тайными, когда не только она про них знала, но в праздничные собрания и команду давали для порядка в разъезде и проч.

Долго помнил я все мои ответы, так что мог бы записать их почти от слова до слова; но я столько устал от упражнения в оригинальном их сочинении, что очень много дней после того приняться за перо была самая тяжкая для меня работа.

... Сия сцена была последняя наших допросов. Был при ней и князь Николай Никитич Трубецкой, которого он призвал тогда для объявления нам вместе указа о ссылке. После оного изъяснения со мною князь Прозоровский объявил нам указ сей, коим решалось все вообще дело, прочитав из него только то, что касалось до нашего осуждения, и показав нам подпись на нем государыни. Всего же содержания не читал. Мне оное случилось уже прочесть лет через десять после; и признаюсь, что читал с превеликим негодованием, коего во все производство над нами суда и по выслушивании самого незаслуженного мною приговора и тени во мне не было. Можно поистине сказать, что весь указ составлен был только из слов, подобранных для распецрения покрова обвинения невинности.

Князь Прозоровский по снисхождению товарищу моему князю Трубецкому (и потому что он находился тогда при должности в казначействе, о сдаче коей ничего предписано не было при указе о ссылке, который шел по тайной экспедиции) дал ему десять дней времени прожить здесь для распорядения своих дел в ожидании возвращения курьера, которого он отправит с нашими ответами и притом спросится о смене князя Трубецкого. А мне сказал: «Вы ведь не в

службе, так можете скоро отсюда выехать». Очень бы скоро мог и выехал, отвечал я, если б не нужно мне было подумать, как объявить отцу, лежащему почти на смертном одре; а притом мне около сорока лет, одиннадцать жил сряду в Москве, так и у меня натурально также должны быть дела, которые бы распорядить надобно. Князь Прозоровский позволил и мне пробыть в Москве десять же дней.

... Нужно было приготовиться к объявлению отцу моему. Оное приняли на себя по приязни графы Орловы (Алексей и Федор). Я хотел, чтоб объявление то сделано было сколько можно позже, ожидая перемены. Граф Алексей Григорьевич говорил мне с сожалением, что я помешался на этом пункте. Можно ли, чтоб государыня отменила указ, ею подписанный и объявленный; этого не делала она ни одного разу все ее царство, и не сделает, конечно, никогда. Я коротко ее знаю, говорил он мне; однако я просил его подождать до самого последнего дня, который уже был одиннадцатый по объявлению указа и отсылки наших ответов.

Курьер не возвращается. Князь Прозоровский торопит меня выехать, измуча между тем агентов своего шпионстволюбия подзорами за мною. По расчету времени, потеряв уже надежду получить ожидаемое, просил я графов Орловых объявить отцу моему. Они приехали и объявили ему без меня пред обедом. Минуты объявления сего были для меня таковы, что, я думаю, не мучительнее были бы они для меня на эшафоте. При всей беспредельной любви ко мне и привязанности отца моего, Бог помог ему точно чудесным образом терпеливо принять сей удар.

Все к отъезду у меня уже было готово, подорожная взята. В вечеру привели почтовых, с тем чтоб назавтра до свету мне выехать. Но часу в двенадцатом пополудни прислал за мною князь Прозоровский и объявил полученный им именной указ, в коем было написано, что государыня изволила читать наши ответы и вследствие того повелевает: о князе Трубецком исполнить точно поданному прежде об нас указу, должность же его поручить старшему под ним; а меня оставить в Москве.

... Государыня с такими чувствами, приняв мои ответы, точно переменяла обо мне свое заключение и решилась освободить меня от ссылки. Но имел, как известно, особливую твердость поддерживать основательность своих повелений и строго сохранять весь вид порядка, при такой и подлинно, может быть, во все ее царство однажды случившейся отмене ее указа, предлогом поставила опасность сразить

престарелого отца моего; хотя она знала о его состоянии и подписывая указ о моей ссылке; и гораздо прежде в несколько лет ее против меня предубеждения, я очень ей известен был, как знала она и то, чей я сын.

Легко можно представить себе, сколько оставление меня в Москве утешило отца моего и меня — для него. Он, конечно, бы и не сведал ничего о том, что со мною происходило, если б курьер, который отвозил наши ответы, суткидвое лишних не был удержан, по причине пребывания в то время государыни в Царском Селе.

Все удивлялись случившейся со мною перемене. Граф Алексей Григорьевич Орлов, можно сказать, поражен был удивлением, и тем больше, говорил он, что правила государыни очень ему известны. Не хотел он верить, чтоб я не имел при дворе сильной партии. И подлинно, у меня была самая сильная. Невинность и один сильный ее Покровитель.

Итак, я остался в Москве. Князь Н.Н.Трубецкой и И.П.-Тургенев отправились на житье в деревни. Новиков заключен был на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость. Студенты Колокольников и Невзоров⁸ оставлены также под тайною стражею. Дома Новикова остались под арестом, также и магазины с книгами. Разбор им продолжался несколько лет. Множество сожжено, и все почти исчезло; многим участвовавшим в прежде бывшей между ними Типографической компании нанесло оное крайние убытки — и мне особливо. Это главная причина долгов моих, но я не жалею, потому что намерение к издержкам было самое доброе.

А как при аресте Новикова запечатаны были в Москве все русские книжные лавки, при разборе коих нашлись в продаже у некоторых книгопродавцев запрещенные книги, то книгопродавцы сии преданы были публичному суду.

До конца 1796 года жил я в Москве очень спокойно, занимаясь попечениями о престарелом отце моем, любимым своим чтением⁹, знакомством с малым числом добрых друзей и прогулкою пешком, которая всегда очень мне полезна была к сохранению здоровья и которая также давно, на смех сказать, подвержена была толкам во вред моему поведению, представленному, как уже я выше писал, небездостойным уважения в рассуждении общественного покоя.

Некоторые, доброжелательствуя мне, и даже из тех, коим тайно поручен был за мною присмотр, убедительно мне советовали оставить привычку мою к ходьбе как навлекающую мне опасность, хотя и безвинно. Я им, смеючись, отвечал, что не оставлю, и по причине самой основательной.

Ведь никто из смертных, говорил я, не может мне больше сделать вреда, как лишить меня жизни, чего, вероятно, и не случится, а если я разнакомлюсь с ходьбою своею и с воздухом, то верно сам себя тем скоро убью.

Пока был в Москве главнокомандующим князь Прозоровский, я все окружен был подсмотрами: только спасибо — он их так учреждал, чтоб я не мог о них и догадываться; а я не хотел о них знать, хотя и очень знал. До того даже не беспокоился я сим, что, зная, что в собственном доме моем есть подкупленные, и виду о том не показывал. Однажды вздумалось мне из любопытства только поручить моему камердинеру, человеку очень верному, обстоятельно о том разведать. Но в ту же минуту, жалея что и ему сказал, строго запретил ему исполнять мое поручение и совсем забыть его не только приказывал, но просил.

И.В.Лопухин

Нравоучительный катехизис истинных франкмасонов

*Могий вместити, да вместит,
Аще Сын высвободит, тогда свободны будете*

1. Истинный ли ты ф.м.? Мне известны та невидимая и неустроенная Земля, и те Воды, на коих носился дух Великого Строителя Вселенной при ее сотворении.

2. Чем наипаче отличается истинный ф.м.? Духом Собратства, который один есть Дух с Христианским.

3. Какая цель Ордена истинных ф.м.? Главная цель его та же, что и Цель Истинного Христианства.

4. Какой главный долг истинного ф.м.? Любить Бога паче всего, и ближнего как самого себя, или еще более по примеру Св. Павла, который желал даже быть анафема и отлучен быть от Иисуса Христа ради братьий своих. Рим. IX. 3.

5. Какое должно быть главное упражнение (работа) истинных ф.м.? Последование Иисусу Христу.

6. Какие суть действительнейшие к тому средства? Молитва, упражнение воли своей в исполнении заповедей Евангельских, и умерщвление чувств лишением того, что их наслаждает: ибо истинный ф.м., не в ином чем должен находить свое удовольствие, как токмо в исполнении Воли Небесного Отца.

7. Где истинный ф.м. должен совершать свою работу? Посреде сего Мира, не прикасаяся сердцем к суетам его, и в том состоянии, в которое каждый был призван. I. Кор. VII. 20.

8. Какие суть самые верные знаки последования Иисусу Христу? Чистая любовь, Преданность и Крест.

9. На какой Материи работают Мудрые Отцы истинных ф.м.? На той же, из которой все сотворено.

10. В чем состоит их Искусство? В Науке ведать тайны Царствия Божия, кои другим сообщают они в притчах, поколику то нужно к созиданию Царства сего.

11. Где место их пребывания? В обновленном Едеме.

12. Почему Таинство Ордена не может быть всякому известно? Потому же, почему не всякий может видеть и ощущать Присутствие Бога Вездесущего.

13. Чем приобретается оное Таинство? Возрождением.

14. Что открывается сим Таинством? То, чего око не видело и ухо не слышало, и на сердце Человеку не всходило: сие то Бог чрез Таинство оное открывает возлюбленным своим.

15. Все ли ф.м. должны искать оного Таинства? Изучаясь познавать в Натуре пути к нему ведущие, должны они все искать, во-первых, Царствия Божия и Правды Его; и каждому из них потребное приложится Волею Божиею, которую одну любить должно.

16. Каких свойств должен быть тот, который может получить (иметь) оное Таинство?

Он должен быть таков, что хотя бы имел способ излечать все болезни тела и жить несколько сот лет по примеру древних Праотцев, со всем тем мог бы терпеливо сносить и не помогая себе, жесточайшую боль; и быть в готовности назавтра умереть без роптания; также чтоб был готов сносить величайшую бедность, обладаючи способами производить богатства, превосходящие богатства всего мира; и имея средство беседовать с Ангелами, мог бы смиренно пребывать в глубочайшем невежестве, когда то угодно Воле Источника Света; и имея с Иисусом Навином силу остановить Солнце, и с Илиею отверзать и затворять Небо, считал бы себя менее всех; и мог бы скитаться без роптания по земли, не имея места, где на оной приклонить главу свою. Одним словом: ничем бы не желал наслаждаться, и на все бы решился, если бы оное потребно было для исполнения Воли Небесного своего Владыки.

17. Какая должность истинного ф.м. в рассуждении своего Государя?

Он должен Царя чтить, и во всяком страхе повиноваться Ему, не токмо доброму и кроткому, но и строптивому. I. Петр. II. 17. 18. Ефес. VI. 5. 7.

18. Какие его обязанности в рассуждении Властей управляющих?

Он должен быть покорен высшим Властям, не токмо из страха наказания, но и по долгу совести. - Рим. XIII. 1 - 5.

19. Какая обязанность истинного ф.м. в рассуждении внешнего Богослужения?

Почитая его Установления и Обряды, должен он прилежно ими пользоваться как средством для внутреннего;

чему надлежит быть их предметом во всех Христианских Учреждениях Богослужения внешнего.

20. Как истинный ф.м. должен поступать с подвластными ему? Наиболее должен он пещись о их вечном блаженстве, воспитывая их во Страхе и Учении Господнем; обязан наблюдать между ими правду и уравнение, оказывать им снисхождение и обходиться с ними без жестокости, памятуя, что все имеют общего Владыку на Небе, у Которого нет лицепрятия. Ефес. VI. 4. 9. Колос. IV. I.

21. Как должен он поступать со всеми людьми вообще? Всех должен любить для Бога, желать им всем всякого в Нем Блага и вспомоствовать им сколько возможно.

22. Как он должен расположен быть противу своих врагов? Любить их.

23. А против тех, кои клянут его? Благословлять их.

24. Как он должен поступать с ненавидящими его? Делать им добро.

25. А с теми, которые гонят его? Молиться за них.

26. Как должен истинный ф.м. поступать с теми, которые у него просят? Он не должен отказывать тому, кто хочет у него занять; просящему должен давать; и когда дает милостыню, то чтоб его левая не знала, что делает правая¹.

27. Что должен истинный ф.м. делать с тем, кто хочет с ним судиться и лишит его принадлежащего ему? Если кто хочет с ним судиться и отнять у его платье, то должен он отдать ему и рубашку; и если кто пожелает заставить его идти с собою версту, то идти с ним и две. Матф. V. 40. 41.

28. Что должен он делать с тем, кто его обидит? Если кто ударит его по одной щеке, то он должен оборотить ему и другую.

29. Следовательно, он не может быть на войне? Истинный ф.м. чтит Царя и повинуется Властям управляющим.

30. Какое должно быть правило истинного ф.м. в исправлении долга своего к Отечеству? Зная, что не только каждое действие и каждое слово, но даже каждая мысль, каждый взгляд, каждый вздох служат к распространению Царствия Божия или к сопротивлению оному, и имея непрестанно сие в виду, должен он помнить при всем, что б он ни делал, что чрез оное могут открываться Правда и Благость Господня, Которого Воля должна ему быть драгоценнее всего.

31. Какие чувства истинный ф.м. должен иметь к своим родителям? Должен их почитать, слушать и любить. Ефес. VI. 1. 2. Но такую любовь, которая бы не препятствовала

ему быть учеником Иисуса Христа, рекшего: «Аще кто грядет ко мне, и не возненавидит отца своего и мать, и жену, и чад, и братию, и сестер, еще же и душу свою, не может Мой быти Ученик. Лук. XIV. 26». Не может быть истинным последователем Христовым тот, кто не только всеми оными естественными связями, но даже и любовью к самому себе и всяким к себе прилеплением не пожертвует деятельному исполнению Учения Христова; и из ревности к Нему не возненавидит или не отвергнет в оных всего того, что может Ему препятствовать.

32. Может ли истинный ф.м. жениться? Бог, видя что Человек утопает во сне греховном, благоволил сотворить ему помощницу, и отделив от него натуру (часть) женскую, сделал из оной жену. Быт. II. Ученики Христовы, услышав Слово Его о брачном состоянии, сказали Ему, лучше есть не жениться. Он же рече им: не вси вмещают словесе сего (не все могут не жениться), но им же дано есть; суть бо скопцы, иже из чрева материя родившася тако: и суть скопцы, иже скопишася от человек, и суть скопцы иже исказиша сами себе Царствия ради Небеснаго. Могий вместити, да вместит. Матф. XIX. 10 - 12.

В Откровении Иоанновом сказано, говоря о 144000 купленных от земли: сии суть иже с женами не осквернишася; зане девственницы суть; сии суть куплены от людей первенцы Богу и Агнцу: и во устех их не обретется леть: без порока бо суть пред Престолом Божиим. Апок. XIV. 4. 5.

Иов сказал: Завет положих очима моима, да ни помышлю на девицу. XXXI. 1.

А Св. Апостол Павел к Коринфяном говорит: «Хочу бо да вси человецы будут яко же и аз: (в безбрачии и не общении плотских с женами), но аще не удержатся (если похоти плотской воздержат не могут) да посягают, лучше бо есть женитися, нежели разжизатися. 1. Кор. VII. 7. - 9.»

33. Как истинный ф.м. должен поступать с своею женою? Должен ее любить, как Христос возлюбил Церковь, беречь ее и содержать, как свое собственное тело; и стараться, чтоб она была освящена и омыта чистотою крещения в Слове Жизни. Ефес. V. 25. 26.

34. Как должен он воспитывать своих детей? Он должен, как скоро только возможно, начать воспитывать их к оному новому рождению, без которого не можно войти в Царствие Божие, как говорит Христос. Иоан. III. 5.

35. Как истинный ф.м. должен употреблять свое имение? Считая себя токмо Орудием Божиим, должен он знать, что всякая полушка может служить или к строению дела

Его и к прославлению святого Имени Его на земле, или к умножению того, что оному препятствует; и по сему должен поступать со вверенным ему именем.

36. Как должен он поступать в рассуждении пищи и питья? Делая все в Славу Божию, должен то же наблюдать и при вкушении пищи и питья. I. Кор. X. 31. Употреблять оныя должен умеренно, не в удовольствие сластолюбия, но дабы только подкрепить тело, как храмину, которой надлежит быть Яслями возрождения и Земною обителью истинного Человека, внутреннего, духовного, сотворенного по Образу и по Подобию Божескому. I. Кор. II. 14. 15.

37. Каким образом истинный ф.м. должен готовиться к смерти? Непрестанно стараться умирать греху. Рим. VI.

38. Когда начинается истинная работа в Нравственности? Когда Человек начнет совлекаться Ветхого Адама.

39. Когда она оканчивается? Тогда, как Ветхий Адам совлечен совершенно.

40. Когда всякое Странствие, Труд и Работа престанут? Когда не останется ни единой воли, которая бы не совершенно покорилась Богу; когда золотой век, который Бог хочет прежде внутренне восстановить в малом своем Избранном Народе, распространится везде и явится внешне; когда Царство самой Натуры освободится от проклятия и возвратится в Средоточие Солнца; тленное облечется в нетление, мертвенное в бессмертие; смерть испразднится; и будет Бог во всех.

А.Н.Радищев

Беседа о том, что есть сын Отечества

Не все рожденные в Отечестве достойны величественного наименования сына Отечества (патриота). Под игом рабства находящиеся не достойны украшаться сим именем. Поудержись, чувствительное сердце, не произноси суда твоего на таковые изречения, доколе стоиши при праге.

Вступи и виждь! Кому неизвестно, что имя сына Отечества принадлежит человеку, а не зверю или скоту или другому бессловесному животному? Известно, что человек существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободою волею; что свобода его состоит в избрании лучшего, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому. Все сие обретает он в едином последовании естественным и откровенным законам, инако Божественными называемым и извлеченным от Божественных и естественных гражданских, или общежительных.

Но в ком заглушены сии способности, сии человеческие чувствования, может ли украшаться величественным именем сына Отечества?

Он не человек, но что? он ниже скота; ибо и скот следует своим законам, и не примечено еще в нем удаления от оных. Но здесь не касается рассуждение о тех злосчастнейших, кои коварство или насилие лишило сего величественного преимущества человека, кои соделаны чрез то такими, что без принуждения и страха ничего уже из таких чувствований не производят, кои уподоблены тяглому скоту, не делают выше определенной работы, от которой им освободиться нельзя; кои уподоблены лошади, осужденной на всю жизнь возить телегу, и не имеющие надежды освободиться от своего ига, получая равные с лошадью воздаяния и претерпевая равные удары; не о тех, кои не видят конца своему игу, кроме смерти, где кончатся их труды и их мучения, хотя и случается иногда, что жестокая печаль, объяв дух их размышлением, возжигает слабый свет их разума и заставляет их проклинать

бедственное свое состояние и искать оному конца; не о тех здесь речь, кои не чувствуют другого, кроме своего унижения, кои ползают и движутся во смертном сне (летаргия), кои походят на человека одним токмо видом, впрочем, обременены тяжестью своих оков, лишены всех благ, исключены от всего наследия человеков, угнетены, унижены, презренны; кои не что иное, как мертвые тела, погребенные одно против другого; работают необходимое для человека из страха; им ничего, кроме смерти, не желательно и коим наималейшее желание заказано и самые маловажные предприятия казнятся; им позволено только расти, потом умирать; о коих не спрашивается, что они достойного человечества сделали? какие похвальные дела, следы прошедшей их жизни, оставили? какое добро, какую пользу принесло государству сие великое число рук?

Не о сих здесь слово; они не суть члены государства, они не человеки, когда суть не что иное, как движимые мучителем машины, мертвые трупы, тяглый скот!

Человек, человек потребен для ношения имени сына Отечества! Но где он? где сей, украшенный достойно сим величественным именем?

Не в объятиях ли неги и любострастия? Не объятый ли пламенем гордости, любоначалия, насилия? Не зарытый ли в скверно-прибыточестве, зависти, зловождедении, вражде и раздоре со всеми, даже и теми, кои одинаково с ним чувствуют и к одному и тому же устремляются? или не погрязший ли в тину лени, обжорства и пьянства? Вертопрах, облетающий с полудня (ибо он тогда начинает день свой) весь город, все улицы, все дома для бессмысленнейшего пустоглаголения, для обольщения целомудрия, для заражения благонравия, для уловления простоты и чистосердечия, соделавший голову свою мучным магазином, брови вместилищем сажи, щеки коробками белил и сурика или, лучше сказать, живописною палитрою, кожу тела своего вытянутою барабанною кожею, похож больше на чудовище в своем убранстве, нежели на человека, и его распутная жизнь, знаменуемая смрадом, из уст и всего тела его происходящим, задушается целою аптекою благовонных опрыскиваний, — словом, он модный человек, совершенно исполняющий все правила щегольской большого света науки: он ест, спит, валяется в пьянстве и любострастии, несмотря на истощенные силы свои; переодевается, мелет всякий вздор, кричит, перебегает с места на место, кратко — он щеголь.

Не сей ли есть сын Отечества? Или тот, поднимающий

величавым образом на твердь небесную свой взор, попирающий ногами своими всех, кои находятся пред ним, терзающий ближних своих насилием, гонением, притеснением, заточением, лишением звания, собственности, мучением, прельщением, обманом и самым убийством — словом, всеми одному ему известными средствами раздирающий тех, кои осмелятся произносить слова: *человечество, свобода, покой, честность, святость, собственность* и другие сим подобные? потоки слез, реки крови не токмо не трогают, но услаждают его душу. Тот не должен существовать, кто смеет противоборствовать его речам, мнению, делам и намерениям! сей ли есть сын Отечества?

Или тот, простирающий объятия свои к захвачению богатства и владений целого Отечества своего, а ежели бы можно было, и целого света и который с хладнокровием готов отъять у злосчастнейших соотечественников своих и последние крохи, поддерживающие унылую и томную их жизнь, ограбить, расхитить их пылинки собственности; который восхищается радостью, ежели открывается ему случай к новому приобретению, пусть то заплачено будет реками крови собратий его, пусть то лишит последнего убежища и пропитания подобных ему сочеловеков, пусть они умирают с голоду, стужи, зноя; пусть рыдают, пусть умерщвляют чад своих в отчаянии, пусть они отваживают жизнь свою на тысячи смертей; все сие для него не значит ничего, он умножает свое имя, а сего и довольно. Итак, не сему ли принадлежит имя сына Отечества?

Или не тот ли, сидящий за исполненным произведением всех четырех стихий столом, коего услаждению вкуса и брюха жертвуют несколько человек, отъятых от служения Отечеству, дабы по прельщении мог он быть перевален в постель и там бы спокойно уже заниматься потреблением других произведений, какие он вздумает, пока сон отнимет у него силу двигать челюстями своими? Итак, конечно, сей или же который-нибудь из вышесказанных четырех? (ибо пятого сложения толь же отдельно редко найдем). Смесь сих четырех везде видна, но еще не виден сын Отечества, ежели он не в числе сих!

Глас разума, глас законов, начертанных в природе и сердце человеков, не согласен наименовать вычисленных людей сынами Отечества! Самые те, кои подлинно таковы суть, произнесут суд (не на себя, ибо они себя не находят такими), но на подобных себе и приговорят исключить таковых из числа сынов Отечества, поелику нет человека,

сколько бы он ни был порочен и ослеплен собою, чтобы сколько-нибудь не чувствовал правоты и красоты вещей и дел.

Нет человека, который бы не чувствовал прискорбиа, видя себя уничижаема, поносима, порабощаема насиліем, лишаема всех средств и способов наслаждаться покоем и удовольствием и не обретая нигде утешения своего. Не доказывает ли сие, что он любит честь, без которой он как без души? Не нужно ли здесь изъяснять, что сия есть истинная честь, ибо ложная вместо избавления покоряет всему вышесказанному и никогда не успокоит сердца человеческого.

Всякому врождено чувство истинной чести; но освещает оно дела и мысли человека по мере приближения его к оному, следуя светильнику разума, проводящему его сквозь мглу страстей, пороков и предубеждений к тихому ее, чести то есть свету. Нет ни одного из смертных толико отверженного от природы, который бы не имел той вложенной в сердце каждого человека пружины, устремляющей его к люблению чести. Всяк желает лучше быть уважаем, нежели поносим, всяк устремляется к дальнейшему своему совершенствованию, знаменитости и славе: как бы ни силился ласкатель Александра Македонского, Аристотель, доказывать сему противное, утверждая, что сама природа расположила уже род смертных так, что одна, и притом гораздо большая часть оных, должна непременно быть в рабском состоянии и, следовательно, не чувствовать, что есть честь, а другая — в господственном, потому, что не многие имеют благородные и величественные чувствования.

Не спорно, что гораздо знатнейшая часть рода смертных погружена во мрачность варварства, зверства и рабства; но сие нимало не доказывает, что человек не рожден с чувствованием, устремляющим его к великому и к совершенствованию себя и, следовательно, к люблению истинной славы и чести. Причиною тому или род провождаемой жизни, обстоятельства, в коих быть принуждены, или малоопытность, насиліе врагов праведного и законного возвышения природы человеческой, подвергающих оную силу и коварством слепоте и рабству, которые разум и сердце человеческое обессиливают, налагая тягчайшие оковы презрения и угнетения, подавляющего силы духа вечного.

Не оправдывайте себя здесь, притеснители, злодеи человечества, что сии ужасные узы суть порядок, требующий подчиненности. О, ежели б вы проникли цепь всея природы, сколько вы можете, а можете много! то другие бы мыс-

ли вы ощутили в себе; нашли бы, что любовь, а не насилие содержит толь прекрасный в мире порядок и подчиненность. Вся природа подлежит оному, и где оный, там нет ужасных позорищ, извлекающих у чувствительных сердец слезы сострадания, при которых истинный друг человечества содрогается.

Что бы такое представляла тогда природа, кроме смеси нестройной (хаоса), ежели бы лишена была оной пружины? Поистине она лишилась бы величайшего способа как к сохранению, так и совершенствованию себя. Везде и со всяким человеком рождается оная пламенная любовь к снисканию чести и похвалы у других. Сие происходит из врожденного человеку чувствования своей ограниченности и зависимости. Сие чувствование толь сильно, что всегда побуждает людей к приобретению для себя тех способностей и преимуществ, посредством которых заслуживается любовь как от людей, так и от Высочайшего Существа, свидетельствуемая услаждением совести; а заслужив других благосклонность и уважение, человек учиняется благонадежным в средствах сохранения и совершенствования самого себя.

И если сие так, то кто сомневается, что сильная оная любовь к чести и желание приобрести услаждение совести своей с благосклонностию и похвалою от других есть величайшее и надежнейшее средство, без которого человеческое благосостояние и совершенствование быть не может? Ибо какое тогда остается для человека средство преодолеть те трудности, кои неизбежны на пути, ведущем к достижению блаженного покоя, и опровергнуть то малодушное чувствование, кое наводит трепет при воззрении на недостатки свои? Какое есть средство к избавлению от страха пасть навеки под ужаснейшим бременем оных? Ежели отъять, во-первых, исполненное сладкой надежды прибежище к Высочайшему Существому не яко мстителю, но яко источнику и началу всех благ; а потом к подобным себе, с которыми соединила нас природа ради взаимной помощи и которые внутренно преклоняются к готовности оказывать оную и, при всем заглушении сего внутреннего гласа, чувствуют, что они не должны быть теми святотатцами, кои препятствуют праведному человеческому стремлению к совершенствованию себя.

Кто посеял в человеке чувствование сие искать прибежища? Врожденное чувствование зависимости, ясно показывающее нам оное двойственное к спасению и удовольствию нашему средство. И что, наконец, побуждает его ко вступлению на сии пути? что устремляет его к соединению с

сими двумя человеческого блаженства средствами и к заботе нравиться им? Поистине не что иное, как врожденное пламенное побуждение к приобретению для себя тех способностей и красоты, посредством которых заслуживается благоволение Божие и любовь собратии своей, желание учиниться достойным их благосклонности и покровительства.

Рассматривающий деяния человеческие увидит, что се одна из главнейших пружин всех величайших в свете произведений! И се начало того побуждения к люблению чести, которое посеяно в человеке при начале сотворения его! Се причина чувствования того услаждения, которое обыкновенно сопряжено всегда с сердцем человека, как скоро изливается на оное благоволение Божие, которое состоит в сладкой тишине и услаждении совести, и как скоро приобретает он любовь подобных себе, которая обыкновенно изобретается радостью при воззрении его, похвалами, восклицаниями. Се предмет, к коему стремятся истинные человеки и где обретают истинное свое удовольствие! Доказано уже, что истинный человек и сын Отечества есть одно и то же; следовательно, будет верный отличительный признак его, ежели он таким образом честолюбив.

Сим да начинает украшать он величественное наименование сына Отечества, монархии. Он для сего должен почитать свою совесть, возлюбити ближних; ибо единою любовью приобретается любовь; должно исполнять звание свое так, как повелевает благоразумие и честность, не заботясь нимало о воздаянии, почести, превозношении и славе, которая есть сопутница или паче тень, всегда следующая за добродетелию, освещаемую невечерним солнцем правды; ибо те, которые гонятся за славою и похвалою, не только не приобретают для себя оных от других, но паче лишаются.

Истинный человек есть истинный исполнитель всех предуставленных для блаженства его законов; он свято повинуется оным. Благородная и чуждая пустосвятства и лицемерия скромность сопровождает все чувствования, слова и деяния его. С благоговением подчиняется он всему тому, чего порядок, благоустройство и спасение общее требуют; для него нет низкого состояния в служении Отечеству; служба оному, он знает, что он содействует здравоносному обращению, так сказать, крови государственного тела. Он скорее согласится погибнуть и исчезнуть, нежели подать собою другим пример неблагоустройства и тем отнять у Отечества детей, кои бы могли быть украшением и подпорою оного; он страшится заразить соки благосостояния своих сограждан; он пламенеет нежней-

шею любовию к целости и спокойствию своих соотчичей; ничего столько не жаждет зреть, как взаимной любви между ними; он возжигает сей благотворный пламень во всех сердцах; не страшится трудностей, встречающихся ему при сем благородном его подвиге; преодолевает все препятствия, неутомимо бдит над сохранением чести, подает благие советы и наставления, помогает несчастным, избавляет от опасностей заблуждения и пороков, и ежели уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу Отечеству, то не страшится пожертвовать жизнью; если же она нужна для Отечества, то сохраняет ее для всемерного соблюдения законов естественных и отечественных; по возможности своей отвращает все, могущее запятнать чистоту и ослабить благонамеренность оных, яко пагубу блаженства и совершенствования соотечественников своих. Словом, он благонамерен! Вот другой верный знак сына Отечества!

Третий же и, как кажется, последний отличительный знак сына Отечества, когда он благороден. Благороден же есть тот, кто учинил себя знаменитым мудрыми и человеколюбивыми качествами и поступками своими; кто сияет в обществе разумом и добродетелию и, будучи воспламенен истинно мудрым любочестием, все силы и старания свои к тому единственно устремляет, чтобы, повинувшись законам и блюстителям оных, предержащим власть, как всего себя, так и все, что он имеет, не почитать иначе, как принадлежащим Отечеству, употреблять оное так, как вверенный ему залог благоволения соотчичей и государя своего, который есть отец народа, ничего не щадя для блага Отечества. Тот есть прямо благороден, которого сердце не может не трепетать от нежной радости при едином имени Отечества и который не иначе чувствует при том воспоминании (которое в нем непрестанно), как бы то говорено было о драгоценнейшей всего на свете его части. Он не жертвует благом Отечества предрассудкам, кои мечутся, яко блистательные, в глаза его; всем жертвует для блага оногo: верховная его награда состоит в добродетели, то есть в той внутренней стройности всех наклонностей и хотений, которую премудрый Творец вливает в непорочное сердце и которой в ее тишине и удовольствии ничто в свете уподобиться не может. Ибо истинное благородство есть добродетельные поступки, оживотворяемые истинною честью, которая не инде находится, как в непрерывном благотворении роду человеческому, а преимущественно своим соотечественникам, воздавая каждому по достоинству и по предписуемым законам

естества и народоправления. Украшенные сими единственно качествами как в просвещенной древности, так и ныне почтены истинными хвалами. И вот третий отличительный знак сына Отечества!

Но сколь ни блистательны, сколь ни славны, ни восхитительны для всякого благомыслящего сердца сии качества сына Отечества и хотя всяк сроден иметь оные, но не могут, однако ж, не быть нечисты, смешаны, темны, запутаны, без надлежащего воспитания и просвещения науками и знаниями, без коих наилучшая сия способность человека удобно, как всегда то было и есть, превращается в самые вреднейшие побуждения и стремления и наводняет целые государства злочестиями, беспокойствами, раздорами и неустройством. Ибо тогда понятия человеческие бывают темны, сбивчивы и совсем химерические. Почему прежде, нежели пожелает кто иметь помянутые качества истинного человека, нужно, чтобы прежде приучил дух свой к трудолюбию, прилежанию, повиновению, скромности, умному состраданию, к охоте благотворить всем, к любви Отечеству, к желанию подражать великим в том примерам, також к любви к наукам и художествам, сколько позволяет отправляемое в общежитии звание; применился бы к упражнению в истории и философии или любомудрии, не школьном, для словопрения единственно обращенном, но в истинном, научающем человека истинным его обязанностям; а для очищения вкуса возлюбил бы рассматривание живописи великих художников, музыки, изваяния, архитектуры, или зодчества.

Весьма те ошибутся, которые почтут сие рассуждение тою платоническою системою общественного воспитания, которой события никогда не увидим, когда в наших глазах род такового точно воспитания и на сих правилах основанного введен богомудрыми монархами и просвещенная Европа с изумлением видит успехи оногo, восходящие к предположенной цели исполинскими шагами!

Переписка московских розенкрейцеров

Кн. Н.Н.Трубецкой — А.М.Кутузову

Москва. 1 августа 1790

Уже несколько почт, мой друг, как нет от тебя писем, что меня зачинает жестоко беспокоить. Боже, дай, чтобы твоему молчанию не была причиною болезнь! О себе скажу, что я стражду обыкновенною моею кислотою в желудке, которую ничем вывести не могу; а жене, благодаря Бога, лучше и раздувание ее живота миновалось. Впрочем, все наши друзья, благодаря Бога, здоровы. Здесь пронесся слух, — но я оному не верю, потому что Москва часто врет и болтает, — что будто всем находящимся в чужих краях послано повеление возвратиться; но ежели бы то было, то как мне ни больно, что ты, мой друг, не исцелясь совсем, к нам возвратишься, однако ж я, зная тебя, уверен, что ты тотчас повинуешься и возвратишься в объятия твоих друзей. Теперь скажу тебе, что посвятивший некогда тебе книгу и учившийся с тобою в Лейпциге находится под судом за дерзновенное сочинение¹, которое, сказывают, такого рода, что стоит публичного и самого строгого наказания. Вот, мой друг, ветреная его и гордая голова куда завела и вот следствие обыкновенное быстрого разума, не основанного на христианских правилах. Я, зная твое прекрасное сердце, знаю, что тебя тронет сие известие. Но по всему мною слышанному, он точно достоин участи, ему угрожающей, почему и огорчаться о нем ты не должен, но воздохнуть только ко Управляющему всем, да соделает Он наказание, ему угрожающее, средством ко обращению его на познание его мерзостей и на покаяние об оных. Прости, мой друг; я тебя в мыслях обнимаю.

И.В.Лопухин — А.М.Кутузову

Москва. 30 сентября 1790

И тебе желая сделать удовольствие дружескими известиями, и себе доставить оное в беседе с тобою, хотя чрез письма, пишу к тебе, любезнейший друг! Друзья твои здешние, сколько мне известно, живут спокойно и здорово. Я ожидаю

от тебя писем ко мне и для доставления к князю Николаю Никитичу. Ты, мой друг любезный, скучаешь, сказывают, и весьма желаешь уединения, что я и из писем твоих знаю. Часто и во мне рождаются чувства такого ж желания. Но я думаю, что для безвредного и достойного наслаждения уединением нужно прежде гораздо устроить сердечную пустыню и утвердить в Едином. Что ж тебе сказать нового? Ничего интересного не знаю. Радищев, подлинно, сослан на 10 лет в одно отдаленное место в Сибири, слишком за 5,000 верст от Москвы, чрез которую уже он и провезен. Он, сказывают, в раскаянии и многие видели его. Я, совсем не зная его и даже лица его никогда не видав, по человеколюбию жалею о его судьбе и о заблуждениях его и не знаю, то или другое заслуживает большего сожаления в рассуждение истинного его блага. Камердинер его, сказывают, желал неотменно следовать за ним в ссылку, и сие позволено ему, к чести для него. Приключение сего несчастного, конечно, болезненно сердцу твоему, привыкшему от самой юности любить его. Желание твое о нем, конечно, извиняют все, имеющие сентименты честности. Впрочем, сие мучительное, конечно, для тела состояние, в котором он ныне находится, может быть, полезно будет душе его, яко могущее ему поспособствовать увидеть свои заблуждения, обратиться на путь христианский, на котором стоя, не можно делать таких дел, за каковое он теперь страждет. Да, конечно, я думаю, не сделал бы он сего, ежели бы он был тем, что называют здесь мартинистом. О приязни твоей с ним здесь все знают. Но также знают, кажется, и о разности твоих принципов с ним. Книги его я никак не мог достать прочесть по сие время. Прости, любезнейший друг. Спешу застать почту.

Ph(iilius)² Пожалуй, пиши ко мне.

И.В.Лопухин — А.М.Кутузову

Москва. 7 октября 1790

Любезнейший друг! Я пустил сегодня пиявичную кровь от мучавших меня геморроидов и писать много не могу. Однако ж я не болен. Скажу тебе только, что сегодня услышал я, хотя не верно, но вероятно, будто Радищев прощен и велено возвратить его из определенного ему дальнего места для житья, а только не въезжать в обе столицы, а чины не возвращены. И это великая милость, ежели правда. Но я верю в рассуждении известного великодушия и милосердия государыни. Здесь об нем говорят, что он мартинист, а всех

смешивая — и мартинистов, и иллюминатов, и масонов; рады на них горы взвалить. А я не знаю, был ли он когда и масон, совсем не быв с ним знаком. Не знаю, есть ли здесь иллюминаты. Ежели он имел несчастье между них попасть, то поступок его мог оттуда произойти. О мартинистах же совсем не знаю, существует ли такое общество по учреждению³. Уверяют только, что поступок Радищева основан на антихристианстве, которое совсем противно истинному масонству. Бог да просветит его своим просвещением! Тебе же, мой друг, спешу сообщить слух сей, зная, что сие приятно будет сердцу твоему, не привыкшему соглашаться с дурными сентиментами твоих знакомых, но привыкшему любить навсегда. Прости, - снизу мне идет доклад, что несвободно писать. Прости, друг сердечный.

И.В.Лопухин — А.М.Кутузову

Москва. 14 октября 1790

Здравствуй, любезнейший друг! Посылаю к тебе копию с решительного указа о повергнувшем себя в несчастье старинном приятеле твоём. Пред сим писал я тебе о слухе, что его велено воротить из Сибири и жить ему где хочет. Сей слух еще не опровергнут, но и не утвержден. Верно только то, что государыня, узнав о том, что он отправлен в оковах, приказала тотчас оные снять и везти его безо всякой строгости. Курьер нагнал его с сим повелением в Нове-Городе, где оковы и сняты. Это *trait*⁴ очень свойственный добросердечию государыни, которая подлинно во все свое царствование дает свету пример кроткого и человеколюбивого правления, особливо в тех делах, которые до нее доходят. И по сие время не мог я еще найти книги Радищева, да уже и не надеюсь читать ее. Она, сказывают, очень верно характеризована в указе. Поистине таковые книги весьма вредоносны. Я думаю, что сочинения Вольтеров, Дидеротов, Гельвециев и всех антихристианских вольнодумцев много способствовали к нынешнему юродствованию Франции. Да и возможно ли, чтобы те, которые не чтут самого Царя царей, могли любить царей земных и охотно им повиноваться? Чувства сии любви и повиновения необходимо нужны для благосостояния общественного! Но может ли сие быть предметом тех, которые токмо ищут собственной корысти, на которой основана вся оная модная французская философия? Жалко, что сие имя профанируется. Зови меня, кто хочет, фанатиком, мартинистом, распромасоном, как угодно, я уверен, что то государство счастливее, в котором боль-

ше прямых христиан. Они токмо могут быть хорошими подданными и гражданами. Недурно сие предложено в вышедшей в нынешнем году книжке «*Qui peut etre un bon citoyen et un sujet fidele?*»⁵. Она здесь продается. Писана, видно, масоном и прямым, ибо он все основывает на христианстве и хулит иллюминатов. Рассуждая о вреде книг антихристианских и о пользе христианских, не могу не потужить о том, что пресечено здесь издание любезных моих духовных книг, которых уже столько было вышло из наших типографий. Сии книги, проповедующие на каждой странице истину, любовь, смирение, могут ли посеять что иное, кроме добродетели, мира, покорности? Та или другая система о падении человека, о изучении натуры, химические эксперименты никогда не рождали и не могут родить в народе развращения нравов, мятежа и проч. Но полно мне философствовать. Знают про то больше, у кого бороды пошире, а наше дело молчать, повиноваться и жалеть о том, что кажется достойным сожаления.

Знаешь ли, братец, что вновь выдумали умные головы о тех книгах наших и о какой-то нашей системе? Что они заводят *egalite des conditions*⁶. Какое невежество! Где яснее и основательнее говорится о нужде правительств, о повиновении, о подчинении, как в христианском учении? Разве они разумеют о внутреннем христианском равенстве в очах Божиих и после смерти, — так опасен и стих, поемый при погребениях, что «царь и воин, нищий и богатый в равном достоинстве предстоят»? И это, следовательно, мартинизм! Однако ж, мой друг, слава Источнику всякой благодати, Всевышнему Покровителю невинности, и благодарение нашей великодушной и весьма человеколюбивой осторожной монархине — несмотря на все клеветы на нас и козни, друзья твои, в том числе и пишущий сие, называемые как еще и при тебе было, мартинистами от слыхавших о каком-то С.Мартене, живут спокойно и безвредно. Подлинно должно за сие благодарить единственно Бога и делать честь мудрой и человеколюбивой осторожности государыниной, чтоб не оскорбить невинных, а то бы нашлись охотники помучить нашу братию. Нельзя похвалить безпристрастием в рассуждении нас нынешнего главнокомандующего здешнего. Многие отзывы и поступки его довольно открыли его недоброжелательство. Я не хочу сказывать подробности, ибо не можно сего делать, не браня его, а мне хочется об нем только жалеть. Но я твердо решился при малейшем явном нападении или притеснении писать к государыне. Я уверен, что мое письмо скоро и верно дойдет до ее рук. Уверен также совершенно в ее правосудии и милости. Впрочем, надобно отдать справедливость кн. Прозоровскому, что у

него много, кажется, усердия к порядку и к истреблению дурного; но в рассуждении нас он в совершенном заблуждении. Прости, мой друг, уже бумага вся.

И.В.Лопухин — А.М.Кутузову

Москва. 31 октября 1790

Брат мой! Наконец, любезнейший друг, получил я письмо твое с великим удовольствием. Приложенные к моему по надписям отправлены.

Не знаю, почему ты сомневаешься о Екатерине Ильиничне⁷. Я не слыхал, чтоб она и нездорова была, и недавно отправлено к тебе ее письмо, которое теперь уже должно быть в твоих руках.

Ты желаешь от меня подробного описания об участии Радищева. Я писал к тебе все, что мог узнать в прежних письмах моих, которые теперь все почти должны быть у тебя. Что ж впредь узнаю, не оставлю сообщить. Ныне одни говорят, что уже не велено его провозить в Сибирь, а к отцу; другие — что он на дороге умер. Первое может быть правда в рассуждении милостивого и соблезновательного сердца императрицына, несмотря на то, что он ее, сказывают, весьма оскорбил в своей книге, которую я еще и по сие время не читал. Другое также могло случиться, особливо потому, что он на дороге между Петербургом и Москвою был болен и здесь, сказывают, слаб же был. Вот, мой друг, все, что могу сказать и впредь ничего от тебя не сокрою. Я знаю, что сердце твое должно интересоваться сим несчастным и очень бы дурно рекомендовало себя в глазах добродетельных, ежели бы, по двадцатилетнему знакомству и навыку любить его, холодно было к нему во время его несчастья. Он сам себя поверг в несчастье, это правда, но тем более достоин сожаления. Мне никогда не случилось его в лицо видеть; но слышал, что много имел достоинств. Что принадлежит до того, что, невзирая на дружбу вашу, сентименты ваши, в рассуждении религии и политики, совсем не сходятся, в том, я думаю, теперь все здесь уверены, кроме разве малого числа несчастных, которые не хотят себя лишиться адского удовольствия — зло мыслить о людях. Но есть, однако ж, такие, и сии-то, ежели у них попросят: помоги бедному или что подобное от них потребуют, отвечают: «Ведь я не мартинист». Сии-то не хотят допускать, чтоб некоторые друзья твои масоны, и ты в том числе, не были бездельники, изверги, дураки. Ты скажешь, может быть, что или то, или другое — дичь. Не прогневайся, сии

господа не очень искусны в различении свойств. Они говорят, что дела наши хороши, да может-де намерения вредны!

Итак, кто на улице грабит, тот разбойник, а кто и милостыню подает, тот подозрителен, не имеет ли намерения к грабежу. Но должно только жалеть о сих бедных рассуждениях и быть спокойными. Бог милосерд, всеведущ и правосуден. Государыню ничто, конечно, не может подвигнуть губить невинных.

И бумага вся, и спешу в гости.

А.М.Кутузов — кн.Н.Н.Трубецкому

Берлин. 1 ноября 1790.

Любезный друг! По письму вашему справлялся я касательно ФN: мне сказали, что она быть может употребляема с пользою в Эпилепсиях и параличе, в том же количестве, как я прежде писал вам. При сем случае узнал я то, чего прежде не знал, что спешу сообщить вам. Сия соль не терпит ничего металлического, прикосновение оных отнимает или, по малой мере, ослабляет ее силы и действие и для того надлежит брать оную деревянною лопаточкою, а и того лучше — костяным ножичком, т.е. чтобы и самое лезвие оного было костяное; одним словом, таким ножиком, каковым щеголи очищают пудру.

О себе скажу, слава Богу, здоров. Работы мои на некоторое время остановились по причине той, что, по зрелом размышлении, нашли, что известное вам обещание не может быть произведено в действие без соизволения свыше.

На сей неделе Геликонус⁸ писал о сем; по малой мере, хотел писать, ободряя меня, по возможности, с твердою надеждою, как он говорил, получить желаемое соизволение; но до сего времени нет возможности приступить к дальнейшим работам, между которыми и сия Ф занимает свое место; между тем будем, однако ж, производить работу весьма важную; но как предварительное приготовление оной не зависит от рук человеческих, то и принуждены ожидать сего несколько недель с терпением.

На сих днях получил я письмо из моего Отечества, в котором уведомляют меня, хотя и не удостоверительно, что наша монархиня соблаговолила облегчить несколько состояние моего несчастного друга, т.е. возвратить его из Сибири, с запрещением въезжать в обе резиденции и притом не возвратя ему чинов его. Ежели сие правда, не умешкайте уведомить меня, ибо сие послужит немало к облегчению

моей грусти. Не зная, мой друг, преступления, не смею судить о наказании, а и того менее о прежнем моем друге. Вы знаете мои правила: известно вам, что я великий враг всякого возмущения и что я никогда не престану твердить, что критика настоящего правления есть недозволительное дело и нимало не принадлежит к литературе.

Позвольте мне попенять вам. Я слышу совершенно от посторонних людей, что книга моего друга сделала и меня подозрительным, яко бы участвовавшего в сочинении оной. Сие простирается даже так далеко, что в Москве справлялись от полиции, скоро ли я возвращусь и не возвратился ли уже? Но вы ничего мне о сем не пишете. Сие некоторым образом непростительно. Легко бы статья могло, что я, не зная сих обстоятельств, приехал прямо в руки ищущих меня. Хотя совесть моя чиста, хотя собственные мои письма к несчастному моему другу, ежели токмо суть они в руках правления, суть неложные мои оправдатели; но при всем том неблагоразумно со стороны моей подвергаться опасности, ежели я могу избежать оной. Пожалуйте, уведомьте меня обстоятельно. Ежели со мною захотят исполнить пословицу: «без вины виноват» — да будет святая Божия воля. Ежели и мне запретят въезжать в столицы, право, буду доволен. Но ежели прострут мщенье далее сего, то лучше жить на хлебе и воде в свободе, нежели сидеть в заточении. Люблю мое Отечество, люблю до бесконечности, но не желаю быть бесполезною жертвою неправосудия.

Но оставим сие, ибо признаюсь, что я сомневаюсь в правде сего слуха. Простите.

P.S. Ежели увидите с бароном Рейхелем, прошу принять труд засвидетельствовать ему мою преданность и почтение.

А.М.Кутузов — И.В.Лопухину

Берлин. 1 ноября 1790.

Надеюсь, любезнейший мой друг, письмо сие застанет тебя, возвратившего уже твое здоровье. Желая сего сердечно, прося тебя щадить себя более, нежели ты делаешь. Помни, сердечный мой друг, что жизнь твоя многим нужна и что она есть сокровище, не тебе одному принадлежащее. Я не хочу оскорбить твоей скромности, но прошу, чтобы ты сам рассудил о сем беспристрастно. Благодарю тебя за приятное уведомление об облегчении участи несчастного моего друга; дай, Боже, чтоб сей слух был справедлив. Я

радовался бы его несчастью, если б оно послужило к его обращению; не знаю отчего, но мнится мне, что оно воспользуется его, ежели он войдет в самого себя и усмотрит на самом деле, сколь все нетвердо и скользко в мире сем. Ты справедливо судишь о моих правилах, я ненавижу возмутительных граждан — они суть враги Отечества и, следовательно, мои. Но надлежит сделать различие между преступлениями или, лучше сказать, рассматривать первый оных источник. Мне кажется, что мой друг неудобен иметь злых намерений; но несчастье его находится в его заблуждении. Признаюсь, я люблю вольность, сердце мое трепещет от радости при слове сем; но при всем том уверен, что истинная вольность состоит в повиновении законам, а не в нарушении оных и что неимеющие чистого понятия о вольности неудобны наслаждаться сим сокровищем. Права и законы натуры везде одинаковы, все цепи степенями, нет нигде скачков. Неудивительно мне, что несчастного моего друга называют мартинистом, ибо сие имя дают каждому без всякого разбора; да и как сему быть иначе, когда ни о чем не рассуждают, даже и самое слово «мартинист» есть по сие время загадка, которую они не решились. Я слышал, что меня подозревают соучастником сочинения Радищева, которого, правду сказать, я совершенно не знаю, и что сие простирается так далеко, что уже обо мне справлялись из полиции. Отпиши, пожалуй, что сие значит, ибо сим не надлежит шутить. Прости, мой друг.

И.В.Лопухин — А.М.Кутузову

Москва. 7 ноября 1790

Здравствуй, друг любезнейший! Я довольно здоров, слава Богу. Здесь настала зима, и Москва-река замерзла. Итак, теперь, точно, то время, в которое ты знаешь, что друг твой, засуча рукава, гораздо охотнее и больше обыкновенного шагает по улицам. Ведь и это господа примечатели, не имеющие приметливости, кладут мне на счет мартинизма. Однако ж рассуждения их, право, не стоят того, чтоб я для них лишил себя лучшего средства к сохранению моего здоровья.

Очень беспокоюсь я тем, что очень давно не имею писем от Колокольникова и Невзорова. Они в Лейдене, окончив курс учения, получили докторство и намерены были для экзерциции ехать в Париж, как обыкновенно все учащиеся медицине. Требовали на то моего совета и денег на путешес-

твие. Я к ним писал, чтоб они в Париж не ездили и потому, что я, в рассуждении царствующей там ныне мятежности, почитаю за полезное избегать тамошнего житья и что, сверх того, я слышал, что всех русских велено от двора нашего выслать оттуда. И правда, нечего там добра учиться. Отдал на их рассуждение, с совету профессоров их лейденских, ехать, куда они заблагорассудят, кроме Франции; послал к ним денег уже тому более двух месяцев, но по сие время ответу не имею. Не знаю, что им приключилось.

Подумай, братец, что нашлись такие злоязычники, которые утверждали, будто они во Франции и посланы от нас воспитываться в духе анархическом. И зачем то? Ну, этого пересказать нельзя, потому что очень бестолково говорено. Да и можно ли толковито говорить нелепости такие? Собирая все черные стороны, не могу я себе вообразить, что можно подумать насчет посылки бедных студентов, кроме того намерения, которое в самом деле есть, сиречь помочь им сделать состояние честное и Отечеству полезное.

Я не знаю, почему оные господа вздумали, что мы охотники до безначалия, которого мы, напротив, больше, думаю, знаем вред, нежели они, и по чистейшим причинам отвращение к нему имеем. Они воспевают власть тогда, когда, пользуясь частичкой ее, услаждаются и величаются над другими; а как скоро хотя немножко им не по шорстке, то уши прожужжат жалобами на несправедливости и проч. Кричат: верность, любовь к общему благу! Полноте — хуторишки свои, чины да жалованье только на уме. А кабы спросить этих молодцов хорошенько, что такое верность, любовь, благо, так бы в пень стали.

Я слыву очень мартинистом (хотя не знаю, не ведаю, что есть мартиниство), от природы очень не любостяжатель и охотно соглашусь не иметь ни одного крепостного; но притом молю и желаю, чтоб никогда в Отечество наше не проник тот дух ложного свободолюбия, который сокрушает многие в Европе страны и который, по мнению моему, везде губителен. При сказанном же расположении моем, смею верить, что мнение мое беспристрастно.

Другое об нас говорят или, лучше сказать, говорили, — теперь, кажется, перестали, — что же? Ведь, право, такая мешанина, что трудно растолковать. Говорят, что нас обманывает и грабит Новиков. Говорят, для того, что это говорить хочется, и не хотят принимать человеколюбивого труда лучше узнать обстоятельства. Человеколюбивого труда, — говорю по резону тому, чтобы, узнавши вернее, освободи-

ли себя от весьма непохвального упражнения — ругать по городу людей честных и чернить их в публике, чего наилучший успех ведь может быть тот один, чтоб и подлинно очернить или, лучше сказать, одних граждан обратить ненавистию к другим, то есть в прямом смысле заводить вражду. А кабы лучше узнали, так бы увидели первое, что никто из нас, коих считают обманутыми, не почитает Новикова за оракула, следовательно, он и обманывать не может; второе, что есть из того ж числа такие, у которых ни в чем алтынного за грош не выторгуют сами те господа, которые прозорливо думают на нас смотреть.

Мы, говорят они, разоряемся на наши заведения типографические и прочие, которые, NB по их же словам, хороши, да для чего то-де делается? Ну, на это последнее можно им, наконец, коротко отвечать с одним, не помню, каким автором: «*Tes pourquoi ne finiront jamais*»⁹. В рассуждении же первого, то я не знаю, для чего они не жалеют и не заботятся больше о тех, которые разоряются, проигрываясь, желая обыгрывать, пропивают, проедают, простраивают и на разные проказы издерживаются. И, вдобавок, говорят это такие, которые сами в долгах и разорились. А на каких материях разорились! Я бы не хотел променяться с ними.

Некоторые мне говорили: как не стыдно торговать дворянам книгами и аптекою! (Я краснелся от их бесстыдства.) Как можно ставить оное в стыд им, непочитающим за стыдное торговать винными откупами и продажею в рекруты? Я говорил им, что, я думаю, нету торговли, которая бы в строжайшем смысле была честнее книжной и аптечной; ибо они одну пользу людям приносят. Могут быть, правда, книги очень вредные, но у нас они не могут быть, ибо без цензуры нельзя печатать; и ежели бы кто хотел нецензурованные книги распускать, то никто сего, кроме безумного или отчаянного, сделать не может, понеже нельзя здесь ни одной книги выпустить так, чтоб не проведали, от кого вышла. Третье — что упражнение в масонстве отводит от службы и мешают ей и что мы странны. На сие говорил я так заключающим, что хотя теперь я не бываю в ложах, коих ныне у нас и нету, но навсегда привязан к истинному масонству, которое не может мне ни в чем добром помешать, будучи наукою добра. Ибо что есть истинное масонство? Христианская нравственность и деятельность ее. Есть в нем основание к учению о Боге, о натуре и человеке. Наука наилучшая! И может ли помешать чему, кроме как злему? Может-де человек, для упражнения в

ней, оставить все прочие упражнения. Ну, ежели бы это с некоторыми и случилось, что за беда? Поэтому вредны обществу и христианство, и философия, и физика, и все науки, которым иные совершенно посвящаются. Иной скажет, что, может быть, Декарт, Невтон, Лейбниц лучшие быстряпчие были, ежели бы не были отведены своим упражнениям. Но пожалеть ли и о них? Я уверен, что как бы масонство ни распространилось, но покастряпчие, например, нужны в мире сем, найдутся в них (всегда) и не из масонов, ежели бы сии и подлинно не годились.

Но как не мешают масонство в службе всякого рода, сему можно видеть пример и здесь на тех, которых почитают мартинистами и которые служили или служат, не нарушая скромности, довольно сказать, что ничем не хуже других и, конечно, никакою бесчестностью в службе опорочены быть не могут, разве такие, которые одно только имя масонов носят, а по существу давно отчислены от добрых.

Я сам долго здесь был, как тебе известно, в уголовной палате, но во все время (несмотря на то, что последний главнокомандующий, Брюс, был против меня) ни одно дело не опорочено, а я отставлен милостиво и с награждением. А генерал-прокурор, в бытность его в Москве, после того по крайней мере при пятидесяти человеках изъявлял мне от сената благодарность за отлично добрую службу и сожаление о том, что я взял отставку. И я взял ее не для масонства, а для того, чтоб не убить девятый десяток живущего отца, который бы не перенес отрешения меня от службы, что мне письменно посулено было за то, ежели я в две недели не решу такого дела, из которого надобно было по крайней мере месяц один экстракт слушать. И сему в основании причиною был предрассудок против масонства, и я в объяснении моем наедине с Брюсом, который хотя очень был против меня, но скажу, что имеет много благородства в сентиментах, сказал ему то же, что масонство не мешает, а пособляет доброму отправлению должности, верности в подданстве и любви к Отечеству и что я не мог бы быть там, где бы хотя мало было что противно сим священным для меня должностям, что, впрочем, я за бесчестное почитаю вещь, одобряемую сердцем и разумом моим, оставлять в угождение предрассудкам. А что, ежели бы я по сей материи как-нибудь обнесен был и самой государыне моей, к которой преданность и точно сыновнюю любовь мою сам Бог видит, то долг честности требует, чтоб он, яко начальник, оправдал меня пред нею, и что я уверен в рассуждении ее мудрости и благодушия, что она, узнав, с какой стороны и к

какому масонству я привязан, не поставит мне сего в преступление.

Вот, мой друг, как я иногда говорю с атакующими нашу братию.

Что ж принадлежит до странности, то я, право, не знаю, с чего мы им странны кажемся, разве у них мальчики в глазах? Не ходя далеко, посмотрю на себя, вспомню тебя: молодцы, право, пред теми, которые нас странными называют. Полно, для здешней публики немного надобно, чтоб разжаловать из умных в дураки и сему подобное. Репнина¹⁰ пожаловали в мартинисты и страннее потому, что он почувствовал гнусность гордости, да проведали об нем, что он молится Богу и верит во Христа.

Какая же вывеска, что не мартинист? Это я собою испытал. Прошлого году случилось мне в одной веселых приятелей беседе много пить и несколько подпить; так один из них (люди же были не без знати в публике) говорит с великою радостью, как бы город взял: «Какой ты мартинист, ты наш!» Я согласился. Правда, говорю, вздохнув про себя, особливо сейчас.

Довольно, кажется, *carasteristique*¹¹. Впрочем, надобно во многом извинить невежество, заключающее дурно о масонстве, вообще по причине многих злоупотреблений относящих имя оного и не знающих и не могущих знать истинного. Правда, из чего не можно сделать злоупотребления, нет такого установления в мире. Но так смотрят на вещи только одни благоразумнейшие; большая же часть, что видит, то и бредит. Вавилонская работа в масонстве так ныне распространилась в Европе, что очень кстати говорит Falck: «*wer nimmt nicht auf und wer ist nicht aufgenommen?*»¹² Итак, диковинкали, что много бездельников из такого множества людей. Но сие, конечно, не относится на вещь, которую они во зло употребляют, особливо сии новопоявившиеся в мире иллюминаты, сколько то я видел из журналов и книг. Здесь, однако ж, кажется, их нет, слава Богу! В Москве же, кажется, можно уверительно сказать, что нет. Я давно наведываюсь, дабы остеречь от их знакомства своих приятелей, особливо масонов. Дай Бог, чтоб они здесь и не заводились. Они скорее полюбятся. Ведь они своим знакомым не будут рекомендовать греческих отцов, да Кемписов¹³, Арндтов и проч.

А *propos* об Арндте¹⁴. Еще господа, не жалующие нас, выводят как-то из него, что мы отвергаем чудеса. Вот тут играют защитников религии, только так невпопад, что, право, с ними и грех, и смех.

Вот тебе, мой друг, полная реляция и не только реляция, но и диссертация. Может быть, она на несколько минут тебя повеселит и полечит твою ипохондрию. Не прибавила бы она ее, мой друг, и не подумал бы ты, что здесь беспокоят друзей твоих. Нету, право, ничего и мы живем очень спокойно, grace au regne de Catherine II¹⁵. А я рассказываю тебе только рассказы, которые рассказывают здесь люди на досуге, думая делать дело.

Я нынче много походил, мне легко, так я и расписался. Но уж пора кончить; уже по всем церквам затренняя. Знаю, что ты меня побранишь за позднее сидение. Правда, оно мне много повредило здоровью. Нынче перестаю и очень редко это случается. Теперь гораздо отпустили мне геморроиды, которые и во всякое время не позволяют мне долго сряду сидеть за делом, особливо после тяжелой прошлогодней болезни моей. Один доктор тогда мне сказал например: «Как настанут жары, тогда вы начнете разрушаться».

Многие из них думали, что это злая чахотка; однако ж, слава милосердному Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу, удивительно, как скоро я выздоровел и потолстел было.

Вот еще вывеска немартинизма: чтоб брюхо было большое, однако ж я его не хочу, пусть слыву мартинистом. Прости, сердечный друг и брат мой. Заочно обнимаю тебя; когда-то, в самом деле, будем иметь сие удовольствие?

О Радищеве ничего не знаю, не будучи совсем знаком с его знакомыми или интересующимися о нем. После письма последнего моего к тебе ничего не слыхал. Отпишу к тебе, ежели узнаю, что он умер или жив. В последнем случае желаю, чтоб он воспользовался своим несчастьем на перемену своих мыслей.

А.М.Кутузов — кн.Н.Н.Трубецкому

Берлин. 12 ноября 1790

Любезнейший друг! Письмо ваше от 1-го ноября... я вчера получил исправно. Не удивляюсь вашему рассеянию. Сему и быть нельзя иначе, увидевшись со сродниками и друзьями после столь долговременной разлуки, наипаче в таком городе, каков Петербург. Желая, однако ж, чтоб сие рассеяние не продлилось надолго и не имело влияния на вашу внутренность. Наружность зависит часто от посторонних предметов, но внутренность бывает всегда во власти нашей. Я разумею тут истинного человека, а не того, которого называют сим именем. Можно и посреди шумного,

многочисленного собрания быть наедине, равно как отшельнику, сидя в своей хижине, находиться в толпе людей веселящихся. Чистому все чисто, так дай, Боже, вам сию чистоту; не сомневаюсь о прочем.

Вы не пишете ничего, как вы были приняты императрицею и не удостоены ли вы были ее разговоров. Признаюсь, что я весьма сим интересуюсь.

Странное дело, вы не отвечаете ничего на мое письмо касательно моей особы, что для меня весьма важно, то есть не уведомляете меня о действии книги Радищева, которая, как я слышу, приписана мне; пожалуйста, уведомьте меня, я весьма сим беспокоюсь.

На сих днях читал я мое письмо, писанное в ответ на первую его книгу. Противу моего обыкновения осталось у меня черное: я рассматривал его строго, но, признаюсь, не нашел ничего, что бы могло повредить мне в глазах беспристрастного человека. Ежели б сие письмо не было довольно длинное, я бы сообщил вам оное, дабы и вы могли судить о нем. Я уверен, что сие письмо взято купно с прочими бумагами несчастного моего друга.

Мой друг! Я, слава Богу, здоров, и, невзирая на мою скверность, вижу явные знаки милосердующего мне Всевышнего существа. Оно не перестает изливаться на меня неизреченные свои щедроты. Благоедеяние Его приходит с такой стороны, откуда бы и не мог ожидать сего. Я могу сказать, что не я ищущу, но бываю взыскуем. Сколько же я гнусен должен казаться при таком размышлении! Прости, мой друг; дай, Боже, вам всем благополучия.

И.В.Лопухин — А.М.Кутузову

Москва. 18 ноября 1790

Любезнейший друг! На последней почте получил я, к великому моему удовольствию, любезное письмо твое. Приложенное к оному по надписи отправил. Милосердный Бог да врачует душу твою и да благословляет средства, употребляемые тобою к исцелению тела. Гораздо ли убыла шишка твоя и совсем ли прошли вертижи?

Здесь после сильных морозов, так что Москва-река стала, сделалась теперь оттепель и претяжелая погода, а особливо для геморроидальных. Я стражду, лишен лучшего моего лекарства, т.е. прогулки пешком. Хожу по двору и около, да этого для меня, ты знаешь, не довольно. Только было я дождался погоды по себе и начал разгуливаться,

собирался уже пешком идти обедать к графу Алексею Григорьевичу¹⁶, под Донской и оттуда пешком же, что я и поныне еще без большой усталости делаю, как, проснувшись, увидел, дождь и грязь по местам. Добрая погода, особенно морозы, для меня не из последних благ.

Согласен я, сердечный друг, со мнением твоим о уединении и деревенской жизни, сам имея великую склонность к обоим. Часто скука столь давно продолжающимся безъездным житьем моим в Москве; но при том желаю, чтоб скука сия сколько можно больше продлилась, ибо мы живем здесь так для батюшки, которого состояние глубокой старости не позволяет отсюда уезжать и которого жизнь мне очень драгоценна. Боже, продолжи ее!

Что ж принадлежит до того, что где больше удобностей достигать до высочайшей добродетели, посреди ли многолюдства или в уединении, то я думаю, что это разное по разным свойствам людей, по мере морального возраста и по различным отношениям к жизни. Часто занятия мирские и самые пустые могут, думаю, с пользой отводить от безвременного упражнения в умствовании, которое, при не очищенном уме, может иногда быть вреднее, нежели оные. Часто при шуме многолюдства не являются те враги, и самые опасные, которые при внешней тишине нападают на неощущенное ж сердце, носимое волнами внутреннего моря. Ежели не истребится в человеке материя, воспаляемая соблазнами людскими, то и в самой пустыне даже может она зажигаться тварями, обитающими в его воображении. А ежели родится в нем любовь к совершенному добру, то он везде, во всем и чрез все будет иметь в виду оное, так как гордый — почестей, сладострастный — плотугодия, скупой — прибывка во всем ищут и видят, и таковому всякий предмет, всякое дело могут быть стезями к достижению высочайшей добродетели. Впрочем, я думаю, что безвинно может удалиться от общества токмо тот, кто сие может сделать, не наруша ни единого обязательства с оным. И я весьма согласен, мой друг, с тобою, что анахорет, по собственному своему плану таковым сделавшись, есть туняец. Ну, ежели бы услышали здесь меня, так рассуждающа, верно, сказали б, что я разговариваю с духами или, по крайней мере, теперь только оторвался от чтения «Des Erreurs et de la Verité»¹⁷, хотя я ее уже более осьми лет не читал, дух же один табачный теперь часто мне в нос попадает. Да не стану я этак разговаривать в беседе насмешников над напеку братией и гонителей, хотящих, ища, нас поглотити.

Все твои друзья, сколько я знаю, здоровы. Николай Иванович¹⁸ с июня живет в деревне своей и весьма заэкономился. Жена его здесь, теперь брюхата; скоро должна родить и он к тому времени приедет.

Что ж сказать тебе нового? Килия взята; скоро ожидаем взятия Измаила; и, несмотря на все немецкие штуки, любезное наше Отечество торжествует, остается победоносным и сим исполнится давнее гадание твое.

А прогос, еще я не писал к тебе, что бедный Енгальчев¹⁹ лишен своего места, следовательно, и пропитания, которого он, конечно, не запас, сидя в оном суде, от которого отрешен. Все они, надворные судьи сего департамента, отрешены и отданы в уголовную палату. Еще при Петре Дмитриевиче²⁰ их туда тянули и главная цель была на Енгальчева, но не натянули; а отданы уже при нынешнем главнокомандующем. С начала учреждения суда все ошибки выписаны, за кои они разным образом и штрафованы были в свое время, и мне несколько раз случалось пощунять из палаты, да это и во всех судах водилось и водится. Как без ошибок? На то и ревизия разных мест учреждена очень мудро, чтоб поправлять оные. Из последних же их проступок самая первая такая, в которой самое губернское правление столько же виновато, как и они, и еще более, может быть, ибо оно — дирекционное место. Впрочем, мы знаем, что Енгальчев ничем не корыстовался, что он человек очень неглупый и существенное в уголовном судопроизводстве знает никого не хуже, а лучше многих. Мне очень знакомо судейство здешней губернии, быв долго у меня под главною ревизию. Весьма много к чести его то служит, что он держал сторону бедных против богачей, что ему сделало много неприятелей.

В отсылке его к суду не можно обвинять Прозоровского, которому трудно было тут остеречься, особливо потому, что это было еще почти при начале вступления его в главнокомандование. Надобно сказать правду о сем князе. В нем очень много попечительности, стремления к правосудию и благоустройству. Недавно читал я предписание его палате о порядке в суде и ревизии уголовных дел, которое мне очень полюбилось и показывает его искусство и внимание. Любви бы побольше, любви, да не тех только слушать, которые бранят мнимый мартинизм и все бранить готовы, лишь бы понравиться. Против нас, это правда, что он преисполнен предубеждений и несправедливости. Теперь ничего, кажется, не делает.

Да и что ж делать? Лож нет, книги печатаются только такие, — и не могу сказать какие, ибо такая дрянь, что я и не интересуюсь ныне знать о типографской работе. Сказки да побасенки, только для выручки денег на содержание. Впрочем, со мною лично, когда мне случалось приезжать к нему и быть звану на праздники, он ласков и учтив. Не оказывал, правда, никакого желанья иметь меня часто в своем доме, но я сего и не ищу, и для того, что я не бригаую ничьего знакомства, и для того, что имею некоторую нежность менажировать и самые в людях слабости, из коих в нем, кажется, не последняя та, чтоб не прослыть знакомым с теми, кои слывут мартинистами.

Что он сего избегает и как бы боится и для очистки иногда излишнее на счет таковых скажет, сие очень ясно из поступка его с Иваном Петровичем²¹, который и очень был с ним короток, как ты знаешь, и который нынче и не беспокоит его своими приездами, оставаясь всегда ему благодарным за его одолжения и всегда любя его. Как же быть! Кто бабе не внук.

Как странно можно предубедиться, этому я недавно видел опыт в смешном и бездельном со мною приключении. У нас в сенях железные двери; возвращаясь с прогулки домой, в шагах 10-ти от оных дверей, видя их затворенными, вздумайся мне, что они заперты. Подошед к ним, стучусь, чтоб отперли; малый бежит, отворяет и говорит: «Они, сударь, не заперты были, а только от ветру притворены, чтоб не хлопали». Так-то и о мнимом у нас мартинистве. Вздумайся людям, что тут есть что-то худое, которого нет и не бывало. Если б они попробовали разумно и беспристрастно рассудить, так бы по-пустому не шумели; и я бы тогда не стучал понапрасну, попробовав прежде отворить.

Вот как я в другой раз сряду расписываюсь к тебе, любезный друг и брат! Прости! Напоминаемое тобою исполню, как скоро найду.

От Колокольникова и Невзорова все не имею писем. Здравствуй, мой друг! О Радищеве слышу теперь, что он жив: вот все, что могу о нем сказать, а где он, не знаю.

И.В.Лопухин — А.М.Кутузову

Москва. 28 ноября 1790

Сегодня, любезнейший друг, имел удовольствие получить письмо твое от 12 ноября. Оно подлинно застало меня давно выздоровевшего от той болезни, в которой писал я к тебе то

письмо, на которое отвечаешь сим последним. Излишнее бы было благодарить тебя, сердечный друг мой, за любовь твою ко мне или, лучше сказать, влюбленность в меня, свидетельствуемую и в сем письме твоём.

Вместе с тобою желаю я, чтоб несчастье Радищева послужило к его обращению и, конечно, была бы причина радоваться, как ты говоришь, сему несчастию его, ежели бы, сделавшись средством перемены его мыслей и чувств, послужило ему в познание истины в здешней жизни и к блаженству в вечности. Правда, думаю я, что ежели он войдет в себя, то увидит, что источник заблуждения его и терпимого им теперь бедствия есть точно в невежестве о истине христианской и в непривязанности к ней. Его почитали мартинистом и все насчет сего полагали в здешнем городе. Но совсем напротив, он именно оттого и сделал оное дело, что не есть то, что здесь разумеется мартинистом. Все это доказывает просвещение здешней публики. Чтоб тебя, мой друг, подозревали соучастником в сочинении Радищева и чтоб справлялись о тебе из полиции, сего совсем я не слыхал. Напротив того, говорят, будто найдены у него твои письма, ясно показывающие разность твоих правил, да я и верным почитаю слух сей, ежели он хранил твои письма. И я думаю, что такого подозрения и быть не может по окончании дела, которое, конечно, со всевозможным рачением исследовано. А здесь охотники до вреда ближним вообще участниками Радищева почитали всех нас, так называемых какими-то мартинистами. Предубеждение сие так далеко простирается, что один, впрочем весьма разумный и хороший человек, довольно коротко меня знающий и любящий, пришел в превеликое удивление, уверясь, что я и Радищева в лицо никогда не видал, зная, что он есть в мире только по знакомству моему с тобою, и не только не знал ничего об издавании им книги, но даже по сие время не читал ее, хотя и желал бы, впрочем, прочитать из любопытства. Он весьма удивлялся, а я, правду сказать, подивился ему и пожалел об нем. Как сильно можно предубедиться? От чего же сие? От того, конечно (и я это многожды видал на опытах), что эти люди не могут никак себе представить, чтоб могли найтись имеющие честные намерения, добродетели и услуги ближним; и потому-то те книги, которые мы издавали, помощи учащимся и проч., все кажутся им затеями подозрительными, и они во всем том, что им таковым кажется и, может быть, и любезно им, ищут на нас. Привыкнув все делать, только имея в виду рубли, чины,

ленты или из страха, не могут поверить, чтобы были люди, желающие бескорыстно удовлетворять должностям христианина, верного подданного, сына Отечества и сочеловека.

Справка о тебе из полиции, кажется, не могла быть в Петербурге, ибо знают, думаю, что ты за границею; и здесь также не было. Я не знаю, кто тебе о сем пишет; я думаю, это пустое. Спрашивали в то время, кто директоры Типографической компании и кто члены? И тут, помнится, показали, что ты в чужих краях. Но это все от здешних городских. В то же время приходили тихонько спрашивать, кто и кто чаще ездит в Типографической компании дом и неоднократно выдали в оном ночью подсматривающих по двору. Все собаки окажные правду показывали. Но я всеми сими разведываниями, подсматриваниями, подыскиваниями очень доволен. Ибо чем больше их будет, тем яснее будет открываться наша невинность, и те, кои неумолимо стараются нас обвинить, сим образом наилучше нас оправдывают и оправдали уже, я думаю, в очах беспристрастных. Все сии подвиги противу нас, думаю, от господ здешнего города блюстителей благочиния распоряжаются. Сковали об нас что-то в своем воображении и нападают на тень того, что только в оном существует. Между тем же существенные беспорядки ими не уважаются, например: и тебе давно известно об отменно развратном одном родственнике нашем Иване Петровиче Лопухине, у которого Картуш и Ванька Каин были любимые авторы и модели от самого ребячества²², и сам он, конечно, ежели не превосходил их, то нимало им не уступал в нравственном расположении; да и дела-то были щегольские в плутовстве, разных неистовствах, тиранстве: рубил людей своих, питал их своим калом и уриною, и сам тем питался. Что ж? Градская и сельская полиция все сие терпели, не даром, конечно (ибо один у него купил 250 душ за четыре тысячи, да и те вряд ли заплатил ли). И он все сие отправлял спокойно, пока наконец принужденными уже нашлись открыть, ибо священник деревенский, убоясь ответу за видимые тиранства и неистовства, пришел с доносом. Сестра одного распутного, очень добрая и умная девушка, хотя сокрушаемая им, но по крови любящая и жалеющая его, опасаясь, чтоб он не сделал смертоубийства или бы его не убили, проводила того священника к губернатору с письмом своим, чтоб войти правлению. Тут должно бы уже открыться: представили главнокомандующему, по справке оказалось все доносимое справедливым; что ж последовало? Назвали его безумным и определили отдать его под опеку. Но кто ж его возьмет? И по должности служебной таковой бы и

арестант был в наказание надзирателю. Приставили к нему полицейских, которые стоят у него с несколькими при нем бабами; здесь в столице теперь только две, сказывают, осталось у него, а было семь или восемь. Между тем возят к нему оброки, и на счет его и с ним многие разных сортов люди пьют, гуляют и карманы набивают. Нет нужды говорить о исправности присмотра. Недавно он шпагою исколол своего повара, одну рану дал в полтора вершка глубины. Лекарь Коризна осмотр делал, который молодец-то, сказывают, в печь бросил, и ждут, что все сие дело зальет оброк, которого на сих днях он ожидает. Мы не вступаемся, не хотя пустяки городить, да он уже и в руках полиции.

P.S. Я справлялся у знающих о месте ссылки Радищева, каково оно? Сказывают, что из лучших тамо; словом, при заслуженном им наказании, сколько можно употреблено милосердного снисхождения.

А.М.Кутузов — И.В.Лопухину

Берлин. 18 декабря 1790

Сердечный мой друг! Дружеское твое письмо от 28 ноября получил исправно и благодарю тебя за братское участие, которое ты приемлешь в моем состоянии. Ты спрашиваешь о состоянии моего здоровья — что сказать тебе на сие? Шипка моя остановилась почти в одной поре, временами увеличивается, а временами умалется, делается упрелой или мягче; но как и когда происходят сии перемены, к стыду моему еще не приметил, думаю, сие происходит оттого, что она нимало не беспокоит меня. Вертижи мои, благодаря Бога, совсем почти миновались, так что со времени возвращения моего из Франции я не был беспокоен ими. Впрочем, примечаю знаки самой той же болезни, на которую ты жалуешься, но с тою разницею, что мой неприятель не употребляет иных, кроме скрытных, маршей. Действия его, однако ж, весьма мне чувствительны и по большей части в желудке. Вот каково телесное состояние! Что касается до души моей, то истинно в жалком состоянии, покрыта проказою и гноем, страждет и ищет исцеления. Но, мой друг, я препоручаю ее истинному Врачу и от Него токмо ожидаю исцеления. Знаю, однако ж, что недостоин сего, но надеюсь на Его неизреченное милосердие. Итак, да будет святая воля Его.

В рассуждении уединенной жизни мы почти одинаково го мнения. Не могу, однако ж, согласиться, чтобы мирские

— даже и самые пустые — упражнения отводили с пользою от безвременного умствования. Здесь все зависит от намерения: ежели мое намерение есть шествие к средоточию, ежели я притом стараюсь учиться, а не судить или летать в селениях метафизических, то, хотя средства, мною избираемые, и часто будут ложны, часто буду я блуждать непопаданием на прямую дорогу, однако ж, чем более упражняюсь в сем, тем более уменьшается число ложного и самым тем подвигаюсь я к истине; напротив того, упражняясь в мирском, я стою почти на одном месте, а что и того еще хуже, беспрестанно погружаюсь в глубину чувственности, влекущей меня к своему средоточию. Впрочем, мой друг, согласен с тобою, что главное место наших подвигов находится в самих нас, а следовательно, ни многолюдство, ни уединение не составляют еще ничего существенного. Быв на маскараде, можно молиться и проливать сердечные слезы; можно и в пустыне прелюбодействовать и делать всякие мерзости. Не сражаясь, не можно приписывать себе победы. Мир имеет также свои выгоды; живучи в нем, мы имеем более способов познавать себя, то есть, наши склонности ко злу, но кажется мне, что, познав сии пороки, надлежит удалиться для исцеления сей язвы и потом возвратиться паки для исполнения поселившейся на место порока добродетели. Уединение представляю я себе не иначе, как нравственную больницу; удаляться с иными намерениями не есть какое назначение. Разумеется, что исключаются из сего уединяющиеся по призванию на то. Но сей степень так высок, что я и мыслить о нем не дерзаю. Но и в самом моем положении мое уединение не имеет быть совершенно; я все буду между человеками, хотя и других свойств; я могу упражняться в делании добра, которое, по моему мнению, умножает силу добродетели и возвышает нас паче и паче. Теоретическое христианство без практики есть уголья, собираемые на главу мою; но практическое христианство есть истинный бальзам, проникающий все наше существо. Из прежних моих писем ты знаешь, что я говорю сие не в защищение или оправдание моего желания, но точно для рассмотрения сего пункта со всех сторон, дабы не подвергнуться скороспелости, к которой я от природы склонен. Шестнадцать уже лет бродит во мне сия мысль и часто действует с великою силою; но по сие время никогда еще не приближался к решению; да и ныне более, нежели когда-либо, предаюсь всеобщему Отцу, да устрояет о мне, яко же Ему угодно.

Пусть услышат нас, говорящих сим ныне таким чуж-

дым для многих языком, да посмеются на наш счет — что нам до того нужды? Мы будем покойны, уверены будучи в нашей совести, что мы гораздо лучшие граждане, нежели те, которые над нами смеются; в противном случае не было бы им времени заниматься сими шутками и изображениями новомодного баснословия. Говоря о сих людях, не могу воздержаться, чтобы не сообщить тебе читанного мною на сих днях и весьма меня поразившего, ибо ясно изображает свойства и состояния так называемых вольнодумцев. Для лучшего уразумения надобно знать, что автор изобрел прием, посредством которого проник он в умы других людей и видел там происходящее.

Первого на десять октября, заперши мое тело в моем кабинете, перенесся я в кофейный дом, где, нашед одного знатного вольнодумца, вступил в его линеальную glandулу и шел в самую высочайшую часть оной, где бывает обыкновенно жилище «разума», ожидая найти тут обширное познание о всех вещах, как человеческих, так и божественных; но, к немалому моему удивлению, нашел сие место гораздо теснейшим, нежели они бывают обыкновенно, так что не могли в нем поместиться ни чудеса, ни пророчества, нижилем ниже — в «воображение». Сие нашел я поистине пространнейшим, однако ж хладным и слабым. Я усмотрел «предубеждение», стоящее в углу в образе жены с затворенными глазами и заткнувшей уши свои пальцами; множество слов в великом беспорядке и с сильным жаром лились из ее уст. Сии слова складом составляли некоторый род тумана, сквозь который, казалось мне, усматривал я замок, обнесенный укреплениями, с лежащею возле него башнею, которая, как мне виделось сквозь ее окна, была наполнена застенками и веревками. Также за замками видел я пространные темницы, а вокруг оных разбросанные человеческие кости. Горничные (?) замка, казалось мне, состояли из некоторого рода черных людей, чрезвычайного роста и страшного вида. Но, подошед ближе, страшная внешность исчезла, и я увидел, что замок сей был не что иное, как церковь, которой глава и колокол представились мне башнею, наполненною застенками и веревками. Страшные исполины были малое число невинных церковных служителей. Темницы претворились в погреба, определенные для жилища усопших, а укрепления — в кладбище с лежащими костями, окруженное каменною стеною.

По весьма кратком моем здесь пребывании шум, происходящий из нижнего жилища, возбудил мое любопытство.

Сойдя туды, нашел я толпу страстей, кричащую страшным образом. Шумные их поступки уверили меня скоро, что они старались казаться демократами. По многому шуму и спору, наконец все они обратили внимание свое на «тщеславие», предлагающее им составление многочисленного войска «понятий», которым хотело оно предводительствовать противу страшных мечтаний «воображения», причинившего весь сей шум.

«Тщеславие» и я за ним отправились к магазину «идей», где увидел я великое число безжизненных «понятий», лежащих в куче одно на другом; но, по приближении «тщеславия», все они начали ползать. Здесь между прочими странными вещами были спящие божества, телесные духи и миры, составленные нечаянности, с бесконечным множеством различных языческих понятий, столь неправильных и странных, как токмо возможно вообразить; и с ними смешаны были некоторые христианского происхождения, но в таком свете, в такой одежде, черты их были так обезображены, что они представлялись ненамного лучшими языческих. Было тут собрано немалое число привидений в страшных одеждах; сии суть жрецы идолов различных народов по повелению «тщеславия»: шаманы, факиры, брамины и бонзы составили особый корпус; правое крыло состояло из древних языческих понятий, а левое из христианских, претворенных в первые; все вкупе составили они страшную армию; но так велика была поспешность тщеславия и так велико врожденное в них противу тиранства, порядка и дисциплины отвращение, что они составили паче смешанную толпу, нежели благоучрежденное воинство. Однако ж я приметил, что все они искосились или обратили свои глаза на некоторую особу, покрытую маскою и стоящую на середине; по многим нежным признакам узнал я, что сие было «атеиство».

Как скоро «тщеславие» ввело войска свои в «воображение», то и учинили приступ к замку, повелевая никого не падать. Приступ начали великим криком и беспорядком. Я же с моей стороны, избегая опасностей, возвратился в мой дом.

Вот, мой друг, люди над нами смеющиеся. Пожалеем о них и оставим их в покое.

Поздравляю тебя со взятием Измаила, а как слышно, то и Силистрии угрожает сия же участь. Все сие хорошо, но твердый, непостыдный и полезный мир всего лучше; дай, Боже, чтобы он воспоследовал сею зимою. Наше любезное Отечество имеет нужду отдохнуть несколько, дабы привести

себя в почтенное состояние, так чтоб другие государства не осмелились даже и думать командовать нами, государства, подобающиеся дождевым пузырям.

Уведомление о князе Енгалычеве весьма меня огорчает; не могу себе представить, чтоб он умышленно сделал какой проступок; колыми паче, чтоб он подумал корыстоваться. Сие нимало не сходствует с его характером. Еще в мою бытность был он против некоторых особ, которые привыкли волю свою поставлять выше законов. Честность и правосудие его, совокупленное с твердостью, были для них неносны. Горько, мой друг, видеть, что в нашем Отечестве сие делается. Желал бы я, чтобы монархиня узнала все подробности сего, колико бы переменилось ее мнение! Но как сего требовать? Уведомь меня, пожалуйста, о участи князя; ежели он терпит за покровительство бедных и гонимых, то Бог, без сомнения, будет его покровителем, и скоро или поздно постыдит льстецов и лицемеров. Жалко, мой друг, что и большие люди живут чужим умом. Но что делать?

Сей раз не можешь жаловаться на краткость моего письма; думаю, уже наскучил тебе болтанием. Поцелуй любезного моего Петра Владимировича²³ и всех наших.

Прости, любезный друг, желаю тебе всех истинных благ. Приложенные письма прошу переслать.

И.В.Лопухин — А.М.Кутузову

Москва. 3 февраля, 1791

Виноват я, мой сердечный друг, что давно не писал к тебе и не отвечал еще на два последние любезные письма твои.

Тут помешали, и я принужден был оставить до 6 февраля. Глаз мой зажил, и я теперь довольно здоров, кроме чувствования общей теперь почти со всеми тягости от необыкновенной здесь погоды. Во весь январь не было мороза более двух градусов и по большей части оттепель, и теперь с кровель каплет и на улицах грязь.

Все известные мне друзья твои здешние живут благополучно и здорово. Слывущие из них мартинистами в невинности своей защищаются Всевышним покровителем и мудростью и человеколюбием помазанницы Его. Злобная и безумная клевета разносится по ветру, исчезает и, ежели существует, то разве ко вреду клеветущего. Ненавистное за-

ключение знатного клеветника о подавании нашем, как я писал к тебе в последнем моем письме, так уже грубо зло, что все уже, слышащие таковое разглашение, видят весь яд и все невежество в таковом толковании. Чему удивляться, что помощь бедным и добросердечное с людьми обхождение кажутся подозрительными для того человека, который говорит, что человеколюбие и сострадание к ближнему свойственно только монахам и мартинистам, которые здесь существуют токмо в бредящей голове его?

Бог и Спаситель мой повелевает мне помогать ближним моим; законы государственные, которые должны быть основаны и суть на божественных, тоже подтверждают, особливо начертанные Екатерининым человеколюбием. Кто ж может сжать мою руку, когда благословляемое Творцем моим сердечное побуждение растворяет ее на помощь ближнему моему страждущему? Избави нас, Боже, угождать кому-либо на счет добродетели. Ты спрашиваешь меня, любезный друг, о Карамзине. Еще скажу тебе при сем о ложных заключениях здешнего главнокомандующего. Он говорит, что Карамзин ученик Новикова и на его иждивении послан был в чужие края, мартинист и проч. Возможно ли так все неверно знать, при такой охоте все разведовать и разыскивать, и можно ли так думать, читая журнал Карамзина, который совсем анти того, что разумеют мартинизмом, и которого никто более не отвращал от пустого и ему убыточного вояжу, как Новиков, да и те из его знакомых, кои слывят мартинистами? Карамзину хочется непременно сделаться писателем так, как князю Прозоровскому истребить мартинистов; но думаю, оба равный будут иметь успех; обоим, чаю, тужить о неудаче. Я, право, не сердит на последнего, а он мне очень жалок. Недостаток в нем любви, которой, лучше сказать, и вовсе нету в нем, причину всех его заблуждений и тому, что все его не любят, и ни от кого не услышишь об нем доброго слова. Несчастье его нрава, что он все ищет только обвинять. Например, некоторые его предписания, читанные мною, по уголовному судопроизводству не худы (хотя приметить можно, что у него был секретарь искусный в сей части), но что ж? Везде только о том идет дело, как бы открыть преступление, а ничего о том, как защитить невинность и оградить от напрасного страдания.

Теперь здесь граф Безбородко, приехавший сюда на несколько дней отдохнуть от дел. Министр искусный, весьма, сказывают, добродушный и редкое имеющий достоинство — не употреблять во вред доверенность монаршую.

О несчастном твоём Радищеве ничего я не слышал после того, как один приехавший из Сибири сказывал мне, что он, проезжая, встретил его по ту сторону Перми, едущего в своё место. Он с ним незнаком и не видал его, а видел экипажи. Это было в конце ноября. Весьма справедливо твоё, мой друг, мнение, и я с ним согласен, что ежели подданный и сын Отечества почитает за долг представить о чём-нибудь истину своему государю, то он должен сие сделать лицу его непосредственно и тайно, в любви и благоговении, и как я уверен, примет сие всегда Екатерина, а не рассеянием книги, могущей возмутить покой общественный. Vale.

А.М.Кутузов — кн. Н.Н.Трубецкому

Берлин. 1 марта 1791

Радуюсь, сердечный мой друг, что вы, наконец, возвратились в недра ваших родственников и друзей, одним словом, что вы дома и можете располагать собою и своим временем по известному порядку. Я с вами согласен, и, конечно, в моих глазах Петербург во многом предпочтителен Москве; да и как сему быть иначе: там все под глазами самого монарха и, следовательно, господя бояре не имеют столько случаев предаваться непомерному их властолюбию. Москва исстари была болтлива, и справедливо императрица называет её старою вралею. Чему же дивиться пустотам, там выдумываемым, тем паче, ежели сам градодержатель старается подстрекать оные. Я не намерен нимало отнимать чести у вашего главнокомандующего; он имеет свои достоинства, человек весьма честный, т.е. по общему понятию; известно мне, что он был отменно хороший генерал, но ныне находится ли на своём месте, сего судить не в состоянии и не смею. Знаю, однако ж, что и по одному пути идучи, есть для каждого человека черта, по преступлении которой человек теряется и находится совершенно в чуждой ему сфере. Присовокупите ж к сему, что каждый из нас, по словам Стерна, имеет своего конька, на котором он охотно ездит. Ныне все замешаны на отличии и ежели нет существенности, то прибегают к вымыслам. Сие удалось мне видеть во время продолжения моей службы. Часто так называемые партизаны, разъезжая по степям, разили и побеждали неприятелей, которых они никогда не видали, и нередко получали за сие награждения. Но что говорить о сем? Сие мы довольно испытали на самих нас. Не сердитесь на мою откровенность; я не мог удержаться от смеха, читая продолжение вашего письма. Вы вопрошаете меня с весьма

важным видом, что такое мартинист, откуда происходит сие название и каких свойств суть люди, именуемые сим названием. Сие точно так же, как ежели б кто спросил, как назывался и каких свойств был тот страшный исполин, против которого храбрый витязь Дон-Кихот сражался так несчастливо. Верьте мне, что нынешний век наполнен множеством Дон-Кихотов всякого рода. Источник сего баснословия есть господин Mercier; он первый составил сию секту в книге своей «Tableau de Paris»²⁴; однако ж сей автор описал их яко добросердечных и миролюбивых сумасбродов, ни с которой стороны неопасных ни правлению, ни частным сочленам общества. Но вспомните Сумарокова притчу о снежном шаре и тогда увидите, отчего сии сделались ныне страшными и опасными. Основанием сей секты положил он известную книгу «Des Erreurs et de la Verite» и сочинителем оной назначил он кого-то Saint-Martin. В бытность мою в Париже я прилагал все возможные труды сыскать сего Saint-Martin, но тщетно, никто его не знает. По сие время неизвестен еще истинный сочинитель сей книги; трое или, лучше сказать, трем приписывают оную. Впрочем, как можно положиться на французские названия? Например, ныне царствующая партия во французском национальном собрании называется les Enrages²⁵; можно ли из сего заключить, что все сии люди суть бешены? Теперь остается сказать два слова о последователях сей книги. Кто суть оные? Истинно не знаю. Читают и читали ее многие, но многие ли разумели читанное, сие неизвестно; думаю однако ж, что ни один шалун не в состоянии развязать сию претрудную иероглифу. По крайней мере я не могу ни хвалить, ни осуждать по совести моей сей книги. Я мало читал оную, нашел, однако ж, места ясные, и сии мне казались истинны и важны, но вообще не разумел оной. Не следует ли из сего, что книга сия безумна? Странная логика! Но, по несчастию, она теперь господствует между господами просветителями. Кратко сказать, каждая земля имеет ныне своих мартинистов, а сии суть не что иное, как люди, стражающиеся, уединясь от шумных и бесполезных бесед, приводить в совершенство свойсты, Творцом в них впечатленные, и, презря мечтательность и суету, приближаются к цели истинного человека. Все ли так именуемые мартинисты суть на истинном пути, сие составляет другой вопрос, о котором, однако ж, шумящие ветреники не хотят, да и не в состоянии размышлять. Отрицай Бога, обманывай искусно, шути остроумно, разоряй своего ближнего, клевети и злословь, совращай юных безопытных девиц — и будешь в глазах их добрым и безопас-

ным гражданином; но воздерживайся от всех сих модных качеств — неотменно заслужишь имя мартиниста или преопаснейшего человека в обществе.

Здесь в Берлине не слыхал я ничего о мартинистах, но тем более о езуитах. Не согласующиеся со здешним цербером, состоящим из Николаи, Бистра и Гедике, — сей цербер отличается от баснословного тем, что сей последний воспрещает вход в ад, а оный не выпускает никого из оногo, — суть, по мнению сих мнимых просветителей, или дураки, или обманщики. Сказать ли вам истинное мое мнение о всех сих вымыслах? Истинный оных источник есть ненависть к учению нашего Спасителя, ибо Он у одних обуздывает их пылкое воображение и полагает пределы их вымыслам, у других претит их распутству, роскоши и сластолюбию. Учение Спасителя повелевает нам быть человеками, а модное мудрование старается превратить нас в скотов. Большая часть нынешних остроумцев суть проповедники богини Цирцеи, и не без успеха. Хлевы ее довольно уже наполнены. Но как время еще не пришло шествовать с открытым лицом, то, не говоря ни слова о Спасителе, гонят Его в людях, которые хотя несколько являют желание последовать Его учению. Вот истинное состояние нынешнего умствования, вот дух, оживотворяющий гонителей и вралей! Судите ж сами, возможно ли ответственать на делаемый вами вопрос? Оставим же сих пустословов, будем стараться соделываться христианами, и тогда, без всякого сомнения, вопреки всем вымыслам, будем добрыми гражданами. Я математически уверен, что истинный христианин не уподобится никогда Мирабо. Будет время, ежели уже не настало оно, в которое монархи откроют очи свои и узрят, что они пригнетали истинных своих друзей, узрят, что наушники суть змеи, которых они согревали за пазухою. «Кадма»²⁶ и прочее получил исправно, и благодарю искренно. Я прочитал с великим вниманием и был чрезвычайно доволен. О сем поговорим в другой раз, теперь устал. Простите, желаю всех истинных благ.

А.Н.Радищев — А.М.Кутузову

6 декабря 1791

Где ты, возлюбленный мой друг? Если верил когда, что я тебя люблю и любил, то подай мне о себе известие и верь, что письмо твое будет мне в утешение. Прости, мой любезный! Если хочешь ко мне писать, то адресуй письмо брату

моему Моисею, живущему в Архангельске. Сколько возможно мне быть спокойну, я, конечно, таков и столько, сколько может человечество; больше не требуй. Письмо твое спокойствие мое возвысит еще на одну степень, и я буду знать, что ты меня любишь.

А.М.Кутузов — А.Н.Радищеву

Берлин. 27 марта, 1792

Будучи удостоверен в моей к тебе истинно невестной дружбе, легко можешь себе представить мою радость при возвращении на строки, рукою твоею начертанные. Радость моя действовала тем живее, чем неожиданнее была она. После несчастного с тобою происшествия мог ли я ожидать от тебя какого-либо известия? О, ежели б сия радость не нарушалась горестными напоминаниями, ежели б я мог предаться оной чисто без всякой примеси! Но, мой друг, почто желать невозможного? Доколе мы носим на нас одежду тленности, нет нам надежды наслаждаться чистою радостью. Существует ли она на земле сей? Мы окружены здесь тленностию, все здесь мечта и сон. То, что мы называем счастьем, есть не что иное, как кратковременное отсутствие горестей. Справедливо говорит любимый мною стихотворец:

I know the terms on which he - человек - sees the light! He that is born, is listed; life is war; Eternal war with woe. Who bears it best, Deserves it least²⁷.

Итак, истинное счастье находится внутри нас и зависит от самих нас, оно есть постановление себя превыше всех случаев; сего-то счастья всегда я желал тебе, а ныне и еще жарче желаю. Ты имеешь нужду в сем. Мужайся, сердечный мой друг, побеждай мысли твоего воображения, будь тем, чем бы нам всем быть долженствовало, — человеком. Бога ради, не предавайся отчаянию. Горько мне, друг мой, сказать тебе, но дружба моя исторгает сию истину: твое положение имеет свои выгоды. Отделен, так сказать, от всех человеков, отчужден от всех ослепляющих нас предметов, — тем удачнее имеешь ты странствовать в собственной твоей области, в самом себе; с хладнокровием можешь ты взирать на самого тебя и, следовательно, с меньшим пристрастием будешь судить о вещах, на которые ты прежде глядел сквозь покрывало честолюбия и мирских сует. Может быть, многое представится тебе в совершенно новом виде, и, кто знает, не переменишь ли ты образа твоего мыслить и не откроешь ли многих истин, о которых ты прежде

сего не имел ни малейшего подозрения. О, сердечный друг, говоря сие, сердце мое обливается кровью; не знаю, чем бы ни пожертвовать, ежели б возмог освободить тебя из сего училища несчастья, но доколе ты в нем, желаю и прошу тебя воспользуйся им. Извини, мой сердечный друг, ежели письмо мое найдешь беспорядочным — возможет ли оно быть иначе в моем положении? Мысли мои стремятся толпами и самим тем заграждают путь к ишествию. Я горю желанием говорить с тобою и не знаю, что сказать тебе. Письмо мое так коротко, что я не могу представить себе твоего положения, а не зная оно, как возмогу говорить с тобою откровенно? Одно неосторожное слово может растравить твои раны вместо того, что я пылаю желанием подать тебе возможное от меня утешение. Дражайший мой, ежели тебе возможно, скажи мне, где ты, на каком основании, и есть ли мне хотя малая надежда прижать тебя некогда ко груди моей? Утешь меня, милый мой, но, увы, что я болтаю? Может быть, тебе не позволят сего, хотя я и не вижу сему причины. Не смею, но не могу воздержаться попенять тебе, что ты презрил мой дружеский совет и чрез то ввернул обоих нас в сие несносное для меня состояние. Но дело уже сделано; к чему напоминать невозвратимое!

Я, мой друг, слава Богу, телом здоров; теперь еще в Берлине; ежели обстоятельства не воспрепятствуют, то хочется мне будущим летом ехать в Англию и оттуда водою в Петербург; в Петербурге пробыв несколько, ехать в мою деревню и там препроводить остаток дней моих, посвятив себя уединению. Но по пословице: *l'homme propose, Dieu dispose*²⁸, кто знает, исполнится ли мое намерение. Прости, сердечный мой друг, люби меня и будь уверен, что дружба моя к тебе ничем и никак не уменьшится. Дай, Боже, тебе душевного и телесного здоровья. Превозмогай твои обстоятельства и помни, что ты человек.

В.А.Баженов

Слово на заложение Кремлевского дворца

Празднует восточная церковь обновление Царяграда; ибо благочестивый Константин перенес трон от берегов Тибра во Византию и украсил оную великолепием и боговдохновенно освятил то место. В сей день обновляется Москва. Ты, великая Екатерина, посреди кровавой брани¹, посреди множества порученных тебе от Бога дел и об украшении первопрестольного града забыти не восхотела. Кажется, что судьбина ради того много тебе разных препятствий во исполнение твоих желаний предоставила, дабы более превознести имя твое. Зияющая на нас Оттоманская Порта трепещет, Геллеспонт попирается флотом твоим, войска оттоманские рассеиваются, Бендер горит, пучина корабли турецкие на воздух мечет. Тамо Голицын побивает и многочисленное сарацинское побеждает войско. Хотин опустошается, и Молдавия покоряется российскому скипетру. Тамо Румянцев гонит и возмечает неприятелей, яко прах, его же возмечает ветер от лица земли. Тамо Панин растворяет адские пропасти и посылает неприступный Бендер; там Орлов раздирает валы морские и турецкие корабли из пучины на воздух бросает: суда неприятельские не бурными на водах волнами, но бурным в воздухе пламенем окружены. Тамо Крым, утраченный именем великой Екатерины, едва воспротивился Долгорукому, полагает оружие и, в прежние веки приводящий рассеянную и несогласную державу в ужас, сам стократно более ужасается грома и молний северного Зевса, создавшего Петрополь, и оружия российския Минервы, возобновляющие Кремль и Москву. Здесь Волконский, показав искусство свое и в военных, и в министерских делах, прехвально наместницы Божией наместничество исправляет. Еропкин усмиряет Мегеру и утверждает безопасность верных ея величества подданных и сынов Отечества². Во дни брани правосудию твердые столпы сооружаются: сирые воспитываются и невинно помирающие младенцы не только к жизни, но и к счастливой жизни готовятся, пустыни засе-

ляются, училищи умножаются, художидные грады облачаются в великолепие³; дерзостные междоусобия прекращаются, смерть изгоняется⁴. А ты, благословенная река, орошающая кремлевские стены, воздыми главу свою, возведи очи твои и виждь! Се ко твоему Сиону сбегаются жители многонародного обиталища, видети в нем попечение премудрыя Екатерины! Да украсятся твои брега, яко брега потока, претворенного из золота в чистейшие невские струи и носящего в Петрополе имя великия государыни!⁵ Ликуйствуй, Кремль! В сей день полагается первый камень нового Ефесского храма, посвящаемого Божией в России наместнице, толико же и добродетелями, колико своим светом сияющей. А я, будучи удостоен исполнить монарши повеления в сооружении огромного дома и всего великолепного в Кремле здания, готовяся зачати оное, почитаю должностью нечто молвить о строениях московских, ибо то к сему дню и к делу сему пристойно, и нечто выговорить и о своей профессии, ибо здание здесь начинается.

Иоанн Данилович, сын Даниила Александровича и внук Александра Невского, воспитанный в Москве при отце своем, соделался наследником российского великокняжеского престола, возрастя на прекрасных местоположениях Москву, по благословию митрополита Петра перенес российский трон из Владимира, а с ним и митрополит переселился в Москву. Остаток бора, лежащего на горе Кремлевской, окружающего Спасский монастырь, вырублен, а бывшая там монашеская обитель перенесена на Язузу и названа Новоспасским монастырем; осталась посреде дворца одна церковь, называемая и поныне Спас на Бору⁶. От сего бора назван и Боровицкий мост. Замоскворечье составляло слободы переведенцев, как были Переведенские улицы и в Петербурге. Где ныне ряды и Гостиный двор, тут было поле, а потом поставлены деревянные лавки, ради торгу. При сих рядах поставлена потом ради торгующих церковь великомученицы Варвары, отчего улица Варварка и имя получила. Жилищем великих князей был Кремль, на коем месте и наша монархия ныне дому императоров российских основание полагает. Китай стал потом жилищем мецан торгующих. Тверская, Никитская, Воздвиженка, Дмитровка и Петровка первые населены были, и лучшие князи, господичи и дворяне на них обитали, а особливо на концах ко Кремлю и Китаю касающихся, по близости дворца и рядов. Тверская, лежащая по хребту высшей горы, знатнейшею почиталась улицей, нося потом имя улицы Царевой, как Никитская



В.И.Баженов. Царицыно. Ворота в парке

имя улицы Царицыной. Пречистенка была улицей конюшен, касаясь почти самому Боровицкому мосту и, следовательно, конюшему и колымажному дворам. На Девичьем поле косили сено на государские конюшни, а на Остоженке ставились стоги. Где ныне Земляной город, тут жили мелкие обыватели, а потом стрельцы и всякие ремесленники. Во времена Иоанна Даниловича Москва, яко центр российских земель, стала год от года размножаться. Во время великого князя Иоанна Васильевича она воссияла, ибо он увеличил Кремль и обвел его новыми стенами, гордыми украсив их башнями. Во время сына его и внука красоту Москва и велелепие умножала, а внук его царь Иван Васильевич воздвиг стены и башни Китая. Царь Борис Федорович Годунов, а по нем царь Михаил Федорович, царь Алексей Михайлович, царь Федор Алексеевич еще Москву и распростирали и украшали. А потом и время и радение обитателей привели ее в то состояние, в коем мы ее видим. Но упадающие царские чертоги не могли более стояти без страха и были готовы ко всеконечному разрушению. Сие главная причина благолепия ея императорского величества восстановити обиталище предков ея и наших государей. Превзошла она победами славного российского монарха Иоанна, деда царя того же имени, а ныне и украшением Москвы его превзойти устремляется. О, дабы труды мои соответствовали моему усердию! Щедрая мать Отечества нашего! Я все мои силы и все мое знание употреблю и принесу в жертву твоему повелению. Желая, чтобы сие почтенное художество на сем месте во всей своей славе воссияло и было бы сие жилище достойным обитания великой Екатерины, и сколько Рим и Италия принесли мне одобрения⁷, толико бы принесли мне похвалы за сие начинаемое мною созидание и столько милосердного снисхождения от моей государыни.

Египтяне первые привели архитектуру во презрядный порядок, но, не довольствуясь только хорошим вкусом и пристойным благолепием первоначальным, едину огромность почитать начали, отчего и пирамиды их возносятся к небу, землю отягощают, гордяся многолетними и многонародными трудами и многочисленною казною. Греки, хотя и все от египтян и финикиян ко просвещению своему получили, но, став лучшего и почтеннейшего на свете охотниками и введя сию охоту во весь народ, архитектуру в самое привели изящное состояние. Родилися от египетской несовершенной архитектуры три в Греции ордена: дорический, ионический и коринфский; важный, нежный и цветной, разные в них раз-

меры и расположение, но все приведены в совершенные правила и все огромностям посвящены быть могут. Некоторые думают то, что и архитектура, как одежда, входит и выходит из моды, но как логика, физика и математика не подвержены моде, так и архитектура, ибо подвержена основательным правилам, а не моде. Когда готы овладели Италией, они, привыкнув к великолепию зданий римских и не проникнув того, в чем точно красота здания состоит, ударились только в сияющие архитектуры виды и, без всякого правила и вкуса умножая украшения, ввели новый род созидания, который по времени получил от искусных, хотя и не следующих правилам, огромность и приятство. Такого рода наша Спасская башня, но колико она ни прекрасна, однако не прельстит толико зрения, как башня Гавриила Архангела⁸. Колокольня Ивановская достойна зрения, но колокольня Девичья монастыря более обольстит очи человека, вкус имущего. Церковь Климента покрыта золотом, но церковь Успения на Покровке больше обольстит имущего вкус, одна — смесь прямой архитектуры с готической, а другая созиждена по единому благоволению строителя⁹.

Видим мы в Москве некоторые хорошие здания и кроме тех, кои мною наименованы. Все кремлевские башни хороши. Церковь, называемая Николы Большого Креста, церковь Иоанна Воинственника, и может ли ей уподобиться стоящая близь оной¹⁰. У некоторой церкви, подобная ей, тягостные колокольни, вшедшие в моду, подобием обезображивающих дома подъездов. Хорошо построен Архангельский собор, хотя и обрушились его галереи в прежние годы. Царские терема в Кремле свое достоинство имеют, и великолепна церковь на рву у Спасских ворот, хотя приделами после и попорчена. Хороши готические здания Сухаревой башни и университетского у Каретных рядов дома. Прекрасен берег Анненского дворца и мосты. Прекрасны в Москве еще дома: главная аптека, и был бы дом сей еще прекраснее, когда бы не было при нем нужной аптеке лестницы. Казенный дом на Сретенке, бывший князя Голицына, на Знаменке графа Воронцова. А всех домов прекраснее дом князя Гагарина на Тверской. Имеет великолепие и Воздвиженский монастырь и приятство церкви Варсонофьевская и Воскресения в Колоднове с ее легкою колокольнею.

Великая государыня! Тебе вручен от Бога России скипетр. Тебе повинуется победа, следуя войску твоему. Ты печешься о сырых, убогих и обидимых. Тебе поручено исправление нравов, законов, просвещение разумов; ко твоей

славе и архитектура устремляет усердие, почитая тебя российской Палладою, а Москва благодарит тебя, что ты, государыня, помнишь о ней и в такое время, в которое венценосная твоя глава множеством неусыпных отягощена мыслей. О, собранные зрители заложения дома великия Екатерины! я желаю и устремляюся колико могу исполнить повеление Самодержавицы. Ум мой, сердце мое и мое знание не пощадят ни моего покоя, ни моего здравия. Архистратиг Обладателя вселенные, пред Твоими очами, пред самыми Твоими очами, сей первый камень во основание полагается: не сам ли Ты наименовал сие место срединю начинаемого здания? Буди хранитель сего дома, сего замка и сего града! Буди хранитель и всей России! и повергая врагов нашего Отечества силою нашего оружия, как Ты поверг надменные гордостью духи! Видя храм Твой, кажется мне, что я Тебя пред собою вижу, воздевающа руки ко престолу Обладателя подсолнечные, слышится мне, что ты уже возносишь общенародный глас севера, сей глас: Всемогущий Боже, благослови место сие и дай Екатерине столь великий век, коль велика слава ея! О вы, первосвященники, и вы, все сыны Отечества! Возведите с Архангелом на небо очи свои и да будет сей торжественный день и днем молитвы о здравии и многолетию нашей государыни и ее наследника!

Сия речь говорена была при заложении Кремлевского дворца архитектором артиллерии капитаном, Булонской и Флорентийской академий членом и Санкт-Петербургской Академии художеств академиком Василием Ивановичем Баженовым.

И. П. Елагин

Учение древнего любомудрия и богомудрия

(Отрывки)

Да никто из читающих не возмнит, что честолюбие оставит потомству имя мое или красноречие, славу творцам приобретающее, были причиною трудов, к сочинению сей книги приложенных: ни то, ни другое отнюдь подвигом намерения и исполнения моего не были, тем паче, что все мною написанное не есть изобретение ума и воображения моего, но истина древняя, мною из разных токмо писателей сообщенная! Предприятие мое единственно произошло из того источника, который обязует нас всеми возможными силами служить Братству нашему и братьям, яко кровным своим, сообщать все служащее и к просвещению, и к блаженству их; а книга, называемая *Des erreurs et verite*, или *О заблуждениях и истине*, к выполнению сей обязанности много споспешествовала. Явившись она в Отечестве нашем и став почти общим всех читающих упражнением, произвела своим неудобь вразумительным сокровенных в ней таинств предложением разнообразные о себе рассуждения. Одни, не понимая, сочли ее сумасбродною и стали обращать, по существу своему невежеству, самую важнейшую премудрость в глумление и шутку и утвердительным своим заключением нарекли книгу сию нелепым вздором и дурачеством. Простительно им такое осуждение для того, что очи имеют и не видят, уши имеют и не слышат; но непростительна дерзость, которая, самолюбием их ослепляя, отваживает их порочить такие сочинения, которые или не разумеют, или ненавидят ради того, что они объявляют их людьми равными всем человекам и из одного вещества сотворенными. И сии хулители подобны тем развращенным умам, кои, не разумея силы Божественного писания и держася одного буквенного смысла, ругаются им и в неистовую обращают шутку. Другие, будучи столько ж, как первые, в таинственных преданиях знающие, возмнили, что книга сия не есть учение свободных каменщиков, но скрытная иезуитская система, вредная и правительству, и власти владеющих государей. А некото-

рые сочли ее исчадием общества, иллюминатами называемого и достойного наказания и истребления. Тогда единый из почтеннейших наших братьев, мой совершенный друг, роду человеческому совершенный благодетель, душа которого косою смерти от брэнного отделенная тела, обитает несомненно ныне в божественных вечности обителях, и светом немерцающим, яко венцом избранных Божиих увенчанная, наслаждается воздаянием редких ее добродетелей, ибо где инде может существовать днесь пречестная гр. Н.Ив.Панина душа¹, как если не в селениях Господних, праведным на вечное пребывание уготованных? Тогда, говорю, сей блаженный муж, подобно многим, сокровенного в книге сей смысла не понимая, и того ради не могли ни доброго, ни худого сделать об ней заключения, часто беседовал об том со мною, испытывая, как понимаю я сие странное сочинение. Я не усумнился нимало открыть ему, сколько я разумел пользу сей книги, которая мыслящему явно открывает истинные познания, как в любомудрии, так и богомудрии, и что она, подражая слогу древних мудрецов, особливо Пифагору, дает истинное разумение о сотворении вселенной, о единстве и существе Бога, о бессмертии души и первородном человеке — словом, что она содержит в себе все учение наше и в символическом все сие предлагает смысле. По сем откровении стали мы обще читать сию книгу, с объяснительными от себя толкованиями. Друг мой, не будучи доволен словесными объяснениями, которые к отверстию глубокомыслия Творческого недостаточными ему казались, уговорил меня, чтоб я труднейшие и темнейшие места письменными объяснил примечаниями. Я и сие в угодность ему исполнить обещал, не воображая себе, что целая выйдет из сего науки нашей книга. Смерть, безвременно друга моего похитившая, лишила меня удовольствия прочесть ему мои записки, которые долго без всякого употребления у меня сохранялись.

Между тем братия наши, свободные каменщики, состоящие под зависимостью Английской всемирной и нашей провинциальной Великой ложи, поколебались вводимую новую Каре-батскою (?) системою и возомнили в ней быть истинному учению и неудобь постижимой премудрости. Они прибегли ко мне, сказуя, что следующие новой системе ложи не только поведают, что в них обитает давно взыскуемое нами таинство, но и сего ради вход в них воспрещается и требуется для вступления во оные новых обязательств и отречения под клятву от древних лож и посещения оных.

Ибо называют они старое каменничество неправедным и сущим заблуждением и потеряннем в праздности времени. При сем убедительно просили меня, чтоб я, как великой провинциальной ложи мастер, по чести моей открыл им чистосердечно: правильно ли старое преподавание наше или подобает искать им истины в новооткрывавшихся ложах? И если старое справедливо, то чтоб открыл я им, чего они от толь продолжительного упражнения их, кроме неудобь вразумительных гиероглифов, непонятных символов и прекословных иносказаний ожидать должны? Я не мог, убоясь да не преклонятся они все к вымыслу человеческого, отказать им в толь справедливом требовании. И зная, впрочем, благоразумие и благонравие их, обещал им, что если они непоколебимо при старом останутся обыкновении, то потщусь я, испросив от власти, под зависимостию которой состою, дозволение немедленно удовлетворить их желанию.

По получении сего дозволения намерен я был собрать из всех лож, под управлением провинциальной состоящих, некоторых отборных и добродетельных братьев, чисто капитул составляющих, всех из четвертой степени, т.е. мастеров совершенных, коим одним в частных ложах подобает председиение. С ними хотел я по точности законов возобновить прежде провинциальную Великую ложу и при ней постановить ложу Екоскую² и учредить капитул рыцарский. В сем капитуле, или освященном собрании, предполагал я себе открывать по порядку все, что до таинственной науки нашей касается. Сего ради для удобнейшего преподавания составил я все предложение мое беседами. А как необходимо надлежит начинать учение наше с его источника, то и подобало сочинить прежде повествование, сказующее, что оно знаменует? Откуда оно? Как до нас достигло? И достойно ли вероятия и внимания нашего?

Я и сочинил его, и той же причины ради не на главы, как бы надлежало, но на беседы разделил его. Повествование собрал я из разных достоверных творцов, о науке нашей писавших, а объяснение или преподавание самой науки, внося объявленные на книгу заблуждения и истины. Мои записки и примечания брал я из праведных кладезей, сохраняющих таинства наши, т.е. из книг мистических, светскими и духовными учителями и предками нашими сочиненных и нам в иносказаниях оставленных, особливо из Божественных Ветхого и

Нового Завета писаний. Снабдив себя таковым образом всеми пособиями, к предложениям моим служащими, готов уже был с помощью Божиею приступить к работам, как по несчастным для нас обстоятельствам вдруг таковые блаженные и душеполезные собрания в Отечестве нашем вовсе пресечься принуждены стали. Воздвиглась мрачная негодования дворянского туга, и на всю братию, особливо на собор московский гром запрещения тайных собраний испустила. Система Кареватская! Система, на корысти сооруженная! Ты сему злополучию нашему виною! Безрассудно основателей твоих покушение возродить из пепла иезуитского нового, вреднейшего еще феникса и себя чужим обогатить стяжанием ввергнуло нашу братию в некий небывалый еще род суеверного пустосвятства и сим подвигло духовную и светскую власть не на одних токмо тобою обольщенных, но и против всего свободных камешников общества обратить строгое к истреблению собраний внимание!³ Когда таким образом впали мы в невинное подозрение и собрания наши предосудительны нам всем, особливо мне, стали, тогда хотя и оставил я до способного времени всякое с ложами сношение и самое намерение мое, но не оставил, однако ж, втуне могущую произойти из трудов моих пользу. Сего ради да под спудом забвения не погребется светильник, вознамерился я избрать несколько по сердцу моему братьев и скромности их препоручить долговременных размышлений и учения моего плоды: да некогда будут они в Отечестве нашем ключом к отверстию таинственных сокровищ наших.

Сим избранным мною, любезным братьям моим, посвящаю я сочинение сие, не яко ищущий похвалы и славы писатель, но яко совершенный по истине ревнитель в приобретении себе их дружества и моего имени (sic) в засвидетельствование. Притом в мзду доверенности моей прошу и заклинаю их страшным именем и судом Бога живого, да содержат они предание мое в совершенном таинстве, во знамение чего да будет им знаком познание друг друга перст гарусов⁴, на уста возлагаемый. По преселении же моем за порог смерти от них да присутствующими при том часе отдадутся писания мои на сохранение единому из братьев, которого имя в заглавии сей первой части написано, с тем чтобы списков никогда не было, и он бы при кончине своей вручил опять единому.

Повесть о самом себе

Следуя предначертанию моему, любезные братья, предлагаю вниманию вашему краткую о себе самом повесть: да познаете из оной, кто суть учителя мои и чем могу я доказать то, что в будущих беседах моих истину вещицы стану и что неложное и невымышленное учение проповедывать предпринимаю, дабы вы несумненным вероятием исполненные, могли надежными стопами идти со мною ко храму премудрости и неотягченные суеверия игом, отверстыми доказательством очами узрели священные его основания, от начала веков положенные и существующие; ибо приведу я вас к источнику, из которого царственное учение наше, разными потоками по лицу земли разливаясь, достигло во всей чистоте до времен наших и до нас. А к сему за долг необходимо нужный почитаю объявить вам, откуда мне сие прииде.

Я с самых юных лет моих вступил в так называемое масонское, или свободных каменщиков общество, — любопытство и тщеславие, да узнаю таинство, находящееся, как сказывали, между ними, тщеславие, да буду хотя на минуту в равенстве с такими людьми, кои в общежитии знамениты, и чинами и достоинствами и знаками от меня удалены суть, ибо нескромность братьев предварительно все сие мне благовестила. Вошед таким образом в Братство, посетил я с удовольствием ложи: понеже работы в них почитал совершенною игрушкою, для препровождения праздного времени вымышленною. При том и мнимое равенство, честолюбие и гордости человека ласкающее, боле и боле в собрание меня привлекало: хотя на самое краткое время буду равным власти, иногда и судьбою нашею управляющей. Содействовала к тому и лестная надежда, не могу ли чрез Братство достать в вельможах покровителей и друзей, могущих споспешествовать счастью моему. Но сие мечтание скоро исчезло, открыв и тщету упования, и ту истину, что вышедший из собрания вельможа... что я говорю вышедший?.. в самом собрании есть токмо брат в воображении, а в существе вельможа. С таким предубеждением препроводил я многие годы в искании в ложах и света обетованного, и равенства мнимого: но ни того, ни другого никакой пользы не нашел, колико ни старался.

Вам самим, любезные братья, известно, что для мыслящего человека, для человека, некоторые понятия в науке имеющего, все в ложах наших деяние кажется игрою невеликого разума, или по крайней мере мне казалось все игрою

людей, желающих на счет вновь приемлемого забавляться, иногда непозволительно и неблагопристойно. Сего ради по долгом старании не приобрел я из тогдашних работ наших ни тени какого-либо учения, ни преподааний нравственных, а видел токмо единые предметы неудоб постижимые, обряды странные, действия почти безрассудные; и слышал символы нерассудительные, катехизы, уму несоответствующие; повести, общему о мире повествованию прекословные; объяснения темные и здравому рассудку противные, которые или не хотевшими, или не знающими мастерами без всякого вкуса и сладкоречия преподавались. В таком бесплодном упражнении открылась мне токмо та истина, что ни я, ни начальники лож иного таинства не знают, как разве со степенным видом в открытой ложе шутить, и при торжественной вечери за трапезою несогласным воплем непонятные реветь песни и на счет ближнего хорошим упиваться вином, да начатое Минерве служение окончится празднеством Вакху. Таковым предубеждением преисполненный, когда лета и чтение, дающие некоторые уму человеческому свет, стали и мне твердить, что удобь возможно с лучшим успехом и пользою употреблять свое время, отклонился я почти вовсе от собраний масонских. Но сердце, быв уже одним заблуждением заражено, пленилось другим, еще вреднейшим. Тако все молодые люди без руководства добрых и разумных учителей впадают почти в неисцеляемое заражение ума и сердца!

Я, предположив себе предметом просвещения разума, стал искать его в чтении творцев, в славе тогда находящихся, и прилепился к сочинениям лестным и заманчивым, т.е. — признаться вам чистосердечно — прилепился к писателям безбожным, веру христианскую, сию истинную веру, не понимая ее таинств, в кощунство и Божественное Ветхого и Нового Завета писание в смех, глумление и в сумасбродные басни обращающим. Сим душепагубным чтением спознался я со всеми атеистами и деистами. Стихотворцы и басноплетатели стали моими учителями и проповедниками. Буланже, Даржанс, Вольтер, Руссо, Гельвеций и все словаря Бейлева, как французские и англиские, так латинские, немецкие и итальянские лжезаконники, пленив сердце мое сладким красноречия ядом, пагубного ада горькую влияли в него отраву. Сие чтение так душу мою развратило, что и сам великий Невтон смешным мне казался, потому что принялся он толковать *Откровение* и *Апокалипсис* Иоанна Богослова — сочинение, по тогдашнему моему мнению и по

нынешнему, быть может, многих людей нелепое и сумасшедшего творца якобы достойное. Сие зловерное чтение, говорю, совратило меня с пути истинного, самим естеством человеку указуемого, христианским воспитанием нам открываемого и некоторым темным и едва пронизательным образом в запутанном масонском лабиринте являемого. Тако заблуждается водимый собою слабый человеческий ум! Все благоприятно, все прелестно, все то полезно кажется ему, что телесным ласкает его чувствам. Ибо светильник, в душе его находящийся, затмен мраком плотского удручения, не допускающего возгореть ему; ибо дух его, отягченный игом брэнной одежды, пребывает в темнице своей без действия и тщетно силится иногда ополчиться против обуревающих слабую его хижину стихий неприязненных, т.е. необузданных пороков; и часто сей несчастный узник, не могший прервать связующих его оков, страждет, отлученный от пресветлого своего источника.

Но и при таких развращенных мыслях и рассуждениях, кажется, любезные братья, что благодать Божия не восхотела конечной моей погибели; не попустила она ни Вольтеру писанию, ни прочих, так называемых новых философов и энциклопедистов сочинениям вовсе преобратить мою душу проповеданиями их. Дерзнул я забыть и веру, в которой родился, и страх Божий, и учение, которое мне при воспитании в училищах преподаваемо было. Сего ради искал я и часто находил беседы с людьми учеными и просвещенными. Случались между ними и такие мужи, которые к тогдашнему, крайнему моему удивлению, самого Вольтера и его сообщников весьма малыми и премного заблуждающимися и почти ничего не знающими в любомудрии и мирознании учениками почитать осмеливались. А понеже как сии благорассуждающие и в науках знаменитые люди, так и презираемые ими Вольтер и ему сообразные, сколько мне известно было, находились в обществе свободных каменщиков, то и учинилось мне прекословие сие неудобьрешимую загадку. Для чего, рассуждал я, толь великого разномыслия и великого, однако ж, учения люди вступили и пребывают в таком Ордене, которого упражнения с ученостью их весьма не сходны? И отчего сие происходит, что они толь сумасбродными деяниями занимаются, если посещают собрания? Сие рассуждение завело меня в новое о масонстве размышление. Стал я думать, нет ли в нем чего-нибудь им, яко знающим, притягательного, а мне, яко невеже, сокровенного? Наполненный сею мыслию, предпринял я паки по-

сещать хотя не с большою пользою ложи. При том стал искать знакомства с людьми, состарившимися в масонство и не пропускал почти ни единого из чужестранных братьев, к нам приезжавших, с которым бы не разглагольствовал о таком странном таинстве, коим столь великое число разного состояния людей занимается и к которому видим прибегających вельмож и простолюдинов, ученых и невежд, богопочитающих и атеистов, умных и простых, степенных и ветреных, кротких и сварливых, добродетельных и порочных? Какое чудное смешение, но в собраниях масонских почти неприметное и общественно единому молотка удару покорное!

В сие самое колебаемых размышлений и исканий моих время счастье познакомило меня с некоторым, недолго в России бывшим путешественником, мужем пожилым, в науках школьных знающим, в таинственном нашем учении далеко прошедшим.

Сей англичанин, сей целомудрый брат, дружба которого отторгла от глаз моих первую невежества завесу, объявил мне искренно, что он хотя не может, не будучи от старейших уполномочен, открыть мне существо, к которому устремляются подвиги масонские, но то уверительно сказать он может, «что масонство есть наука; что оно редко кому открывается; что Англия никогда и ничего на письме касательно оного не дает; что таинство сие хранится в Лондоне, в особой ложе, древнею называемой; что весьма малое число братьев, знающих сию ложу; что наконец весьма трудно узнать и войти в сию ложу, а тем труднее в таинство ее посвященну». В утверждение сей истины представил он мне, что общество наше не могло бы ни столь долго существовать, ни толь великого числа знаменитых мужей в себе иметь, ниже народным противустояв мнениям, если б не было ничего особливо полезного, блаженного и притягательного в преподаваемых в нем учениях. По сем в частных со мною беседах старался он, поелику дозволялось ему, указывать мне путь, по которому желающий постигать таинства наши шествовать долженствует. Много бы мог я им воспользоваться, но скорый отъезд его лишил меня надежды быть учеником его. Однако же сила разглагольствий его столь во мне подействовала, что, отвергнув я всякое о тщете и нелепости масонства предрассуждение, вознамерился с постоянною твердостью стараться, чего бы то мне ни стоило, открыть сию во мраке прекословия кроющуюся неизвестность.

Между тем избрание многих российских братьев и утверждение оною матерью нашею «Великою Аглицкою вселенскою» (sic) ложею, учинив меня провинциальным всего Российского масонского общества Великим мастером, принудило еще вяще напрягать все возможные силы к разрешению сего таинственного узла и умствования. Чистосердечность моя не позволяла мне водить братию мою путем, мне самому неизвестным. А сего ради и начал я с отменным тщанием и с превеликою потерю денег собирать все, что по разным местам Европы касательно до масонства учреждено и преподаваемо. Но при всем старании моем открылась мне только та истина, которую в осторожность всем братьям и предлагаю, что за деньги масонская истина не продается и не покупается ни под каким видом. И понеже она не пишется, то следовательно ни за пергаменты, ни за тетради, ни за труды писцов и за приложение великих печатей ничего не платится.

Итак, хотя за безумно истраченные мои деньги собрал я громады писаний, громады начертаний или планов, громады так называемых высших степеней и обрядов, но из всех совокупно и часто сих громад не мог я ни вероятного, ни удовлетворительного ничего почерпнуть, а единственно увидел токмо в них разные человеческие умствования, иные острые и разумные, другие нелепые и весьма глупые. Увидел из них разные ума человеческого заблуждения и вместо света мрак, витийственным бредом предлагаемый. И паче всего увидел корысть и сребролюбие, покровенное велелением лож и принятий многочисленных и многостоящих, из которых за взятое у приемлемого существенное золото обещается ему в награду способ к изобретению мечтательного злата. Узнав подробно все обманы, не мог я приступить к преподаванию высших степеней, и донныне еще никто от меня ниже четвертой степени не восприял, тем паче что к действительному учению нашему токмо первых трех довлеет⁵.

Аглицкая великая ложа где и как сохраняет свои таинства, того, как выше объявлено, ни обществу нашему, ни самим зависящим от нее и в самом Лондоне находящимся неизвестно. Следовательно, надлежит весьма достойным учиниться и к тому приобрести еще друга, чрез которого бы удобь возможно было достигнуть до хранилища. Она раздает одни токмо на постановление лож грамоты, повеления работать в первых трех Иоанновских степенях, да и на сии работы письменно ничего не сообщает, хотя при том и не воспрещает работы высших степеней, какие кто из мастеров воспринять заблагорассудит. Ведает она, что первые три степени суть совершенное содержа-

ние всего целого учения нашего, а сего точно ради письменно не только их не дает, но и писать и вырезывать, иначе как токмо для действия мелом обрисовать, запрещает законами, которые, купно с постановительными грамотами в книге «Институции и иносказательная масонская повесть» всем зависящим от нее великим или провинциальным ложам сообщает. Сия книга преложена на французский и немецкий языки, и если кто со вниманием читал оную, то уповаю я, что он равное со мною открыл себе таинство, т.е. что масонство по древности своей, по прехождению его от народа в народ, должно заключать в себе нечто превосходное и полезное для рода человеческого. Но что сие *нечто*, то в ней неудобь понятно без ключа. Сверх сего показывает сия книга то, что все системы, все высшие степени суть выродки и уроды, незнающими прямого существа из нее по большей части произведенные.

В такомом был я, любезные братья, расположении, когда познакомился и в искреннее вступил дружество с собратом NN, которого имя скрываю в удовлетворение желания его. Сей препочтенный брат, посвященный (*initie*) в истинные масоны, беседуя часто о обществе нашем со мною и познав усердное мое домогательство и прямую ревность, решился наконец не только постановить меня на путь истинный, но и доставить мне посвящение; а получив чрез некоторое время от старшин дозволение, начал просвещать меня, во-первых, объявлением, «что масонство есть древнейшая таинственная наука, святою премудростию называемая; что она все прочие науки и художества в себе содержит, как в ветхом нашем, Аглицком катехизисе, Локком изданном, сказано, что она ради некоторых неудобь сказуемых народу важностей темными гиероглифами, иносказаниями и символами закрытая от начала веков существует, никогда в забвение не придет, ниже изменению, а тем меньше конечному истреблению подвергнется; что она та самая премудрость, которая от начала мира у патриархов и от них преданная, в тайне священной хранилась в храмах халдейских, египетских, персидских, финикийских, иудейских, греческих и римских и во всех мистериях или посвящениях эллинских; в училищах Соломоновых, Елейском, Синайском, Иоанновом, в пустыне и в Иерусалиме, новою благодатию в откровении Спасителя преподавалась; и что она же в ложах или училищах Фалеевом, Пифагоровом, Платоновом и у любомудрцев индейских, китайских, арабских, друидских и у прочих науками славящихся народов пребывала, о чем в последующих беседах повествованием об ней точно предложится».

По сем дал он предначертание, по которому долженствовал я начинать мое учение. При толь избыточественном содержании тайнств наших объявлении, получил я с некоторыми наставлениями полномочие, как к постановлению капитула, так и к основательному иносказательного в нем учению. Признаюсь, любезные братья, что тогда я познал все мое невежество и удостоверился совершенно, что тщетно препровождал я время свое и в школах и чтении, ибо из всех прежде употребленных трудов моих ничего боле в пользу мне не осталось, как токмо малое арифметики и геометрии познание.

Сего ради, по данному мне предначертанию, начал я учение мое чтением повествования о происхождении нашей науки от самого древа сего корени, и как оно ветви свои по всему распространила земному шару. При сем начальном в книге *Институции* чтении, учитель мой присутствуя, объяснил мне ее иносказания. А когда уже точно вразумился я, коим образом преходя по многим странам, божественное древо осталось насажденное в Англии и Шотландии, и для чего старшины наши, о коих впредь объяснится, обладателями оногo почитаются, тогда, продолжая учение мое, подобало мне читать такие книги, которые прежде, яко бестолковые, презираемы мною были. Я не токмо со вниманием и с примечаниями читал объявленные в предисловии ко всеобщему мира сего англицким ученым собранием изданному повествованию, разные всех древних и новых любомудрцев о мироздании системы и мнения, но и принял труд преложить оные на собственный свой язык, единственно для того, чтоб извлекаемый из их странных иносказаний истинный смысл тем удобнее мог впечатлеться в понятие и разумение мое. Между тем целые пять лет, яко время товарищем нашим на учение предписанное, препроводил под даваемыми мне наставлениями в неуспном чтении Божественного писания. Ветхий и Новый завет были и еще суть приятнейшие мои учителя. Отцы церковные, яко то: Ориген, Евсений, Иустин, Кирилл Александрийский, Григорий Назианзин, Василий Великий, Иоанн Златоуст, Иоанн Дамаскин, преподобный Макарий и прочие обще с церковною Флориевою повестью стали толкователи невразумлению моему. Пифагор, Анаксагор, Сократ, Эпиктет, Платон, Ермий Трисмегист и сам Орфей, Гомер и Зороастр с помощью Геродота, Диодора Сицилийского, Плутарха, Цицерона, Плиния и многих сим подобных влияли в душу мою новые и спасительные размышления.

Я не просто, любезные братья, исчислил сих творцов и писания, но да и вы с прилежанием их читаете, ибо в них

обращете все, что к приобретению успехов в учении нашем потребно. Блажен, кто в подлинниках читать их может! Коль великое получает он в трудах своих облегчение! Не остановится он известными нам сколь темными, столь неверными предложениями, особливо с еврейского и греческого языков: ему они всю точность смысла и красоту слога, от нас в переводах утраченные, живо изобразят и представят. Я по незнанию моему сих полезных языков испытал над самим собою, коль великое затруднение от сего происходит, и, конечно, б сего несчастья моего ради, шествуя и самым вернейшим путем, не достигнул и до воззрения на отдаленное храма премудрости здание, если б благоволящему о мне Всевышнему Архитекту не соизволилося даровать мне еще другого просвещеннейшего учителя и друга совершенного, а что паче от смертного одра меня воздвигшего. Сей предпочтенный брат... я нежности его ради, именем не называю, но кто знающий меня не знает в науке нашей, в науке врачебной совершенного, в знании языка еврейского и кабалы превосходного, в теософии, в физике и химии глубокого, в нравственном обхождении приятного?.. Сей предпочтеннейший, говорю, брат преподавал мне многое или, паче сказать, и ныне продолжает преподавать все, что к разумению таинственного смысла и речений инозначущих, чем Моисеевы и пророков писания преисполнены, нужно, потребно и необходимо.

Сим способом, любезные братья, открылся мне несколько тот свет, который при начальном в Орден наш вступлении освобожденным от перевязки очам нашим показуется. Сим способом преодолел я распростертую пред нами тьму гиероглифов, символов, иносказаний и обрядов, в ложах наших зримых и употребляемых, проразумел предания египетские, писания творцев *Des erreurs et de la verite, Tableaux natures*⁶ Велинга, Роберта Флуктиба, Елиас артиста в его истине и заблуждениях, и прочих, таинственными называемых. Сим способом объяснились мне многие притчи и слова, Спасителем нашим Иисусом Христом реченные; открылось несомненное слова или первенца Сына Божия воплощение; его к нам пришествие, страдание и смерть; его живоносного креста таинство; его воскресение от мертвых и вознесение на небеса. Труба Иоанна-евангелиста, глас вопиющего в пустыне Иоанна и вещания апостолов, благовествующих мир и новую благодать человеку, не тщетным уже сказанием, но совершенною к совершенному благу нашему верою, ум, сердце и душу пленив, святым почитанием преисполнили. Словом, посредством объявленных пособий и

через них откровенным светом, который и во тьме, как говорит Богослов, светится, постиг я несколько царственную науку нашу, которая того ради царственною у нас называется, что она есть премудрость в царе и господине всей вселенной существует, как она сама о себе в сотрудики нашем Соломоне вещает: «Я с ним от самой вечности была», и тамо ж: «Внемлите, я царственное глаголю», и еще «Глаголы мои царственные суть». Признался я, что несколько постиг; истинно реку, ибо глубину ее познати никому почти из смертных не возможно. Счастлив тот, кто хотя столько ее познает, сколько к спокойствию духа его потребно.

Из всего вышеобъявленного позналося вам, любезные братья, мое чистосердечное, как о себе самом, так и о малом учении моем признание. Вы можете теперь по собственному благоразумию вашему заключить, не напрасно ли употребится время ваше на внимание разглагольствий моих и достоин ли я доверенности вашей? А паче достаточно ли будет знание мое удовлетворению желанья вашего на учение устремленного? Еще увещаю тех, кои или светским учением заражены или житейским обхождением заняты, или приобретением высших в Ордене нашем степеней, почестей и власти ласкаются, что лучше не вступать им в претрудное упражнение наше, в котором на место веселий — неусыпная прилежность и бдение; на место приятных Вольтеровых сочинений — темная иногда глава из Исайи пророка занимают время, и на место горделивой почести и власти — часто кротость, уничижение, повиновение и смирение встречаются. Но хотя, любезные братья, многотрудное учение наше вначале едва удобным кажется, и хотя путь, по нем же пойдем, бодущим устлан тернием, однако тем приятнее последствие; ибо чем дале простремся, тем боле ощутим награду, узрев чрез то, что, прожив честно и спокойно в мире сем, можем твердо надеяться, что при конце дней наших приближение страшной смерти нимало духа нашего не встревожит, а паче обрадует напоминанием живоносного со креста Спасителя слова: «Днесь будеши со мною в раю».

Н.И.Греч

Записки о моей жизни

В первое время пребывания моего в Париже (в 1817 году) прихожу я к состоявшему тогда при графе Воронцове¹ Николаю Александровичу Старынкевичу (впоследствии сенатор в Варшаве), самому умному и любезному человеку, отъявленному либералу. Он сидел за какими-то огромными таблицами, на которых начертана русская азбука, и на вопрос мой: что это значит? отвечал: «Это таблицы для обучения чтения, по недавно изобретенной удивительной методе ланкастерской². При пособии ее сотни людей могут без учителя выучиться грамоте в самое короткое время. Эти таблицы составлены для обучения солдат нашего корпуса в Мобеже». Я стал рассматривать таблицы и нашел, что они составлены с совершенным незнанием свойств русской азбуки, например, между прочим, буква *ж* поставлена была в числе гласных. На замечание мое о том, Старынкевич сказал:

— Да вы не знаете этой методы! — Так, но знаю русскую азбуку. — Посвятите меня в ее тайны, — сказал Старынкевич насмешливо, и я написал пред ним разделение русских букв, которое впоследствии изложил в моей грамматике. Он начал спорить. К нему в то время пришел профессор персидского языка Лангес.

— Посмотрите, — сказал ему Старынкевич, — вот господин Греч сообщает неизвестную мне доселе систему русской азбуки.

Лангес полюбопытствовал узнать ее состав и свойства. Я изложил ему истинную систему наших букв, отличительные свойства полугласных, деление гласных на твердые и мягкие; согласных на произносимые разными органами; показал сродство их, слияние и сочетание, изменения обеих букв от присоединения к другим. Лангес пришел в восхищение, списал мою систему и тут же предложил мне место профессора русского языка в парижском училище живых восточных языков, которого я, к сожалению, принять не мог. Старынкевич убедился в истине и важности моей сис-

темы. По его просьбе составил я таблицы азбуки, складов и слов для обучения чтению и письму по ланкастерской методе, посещал училище взаимного обучения в Rue St. Jean de Beauvais, ездил с Сергеем Ивановичем Тургеневым³, секретарем графа Воронцова, в королевскую типографию, чтоб заказать буквы для перепечатания таблиц. Тем занятие мое и кончилось; я не думал, чтоб мне пришлось употребить эти опыты на деле. По приезде в Петербург посетил я, по постороннему делу, инженер-генерала графа Егора Карловича Сиверса. Мы разговорились, между прочим, о методах обучения, и я упомянул о ланкастерской. Граф сказал мне, что ему хотелось бы выписать кого-нибудь из Франции, для введения этой методы обучения в кантонистских школах⁴. Я объявил ему, что посвящен во все таинства этого учения и могу быть ему полезным. Он очень этому обрадовался и предложил мне вступить членом в Комиссию составления учебных пособий кантонистам поселенных войск, в которой он был председателем. Я был тогда на службе почетным библиотекарем в Императорской публичной библиотеке, состоявшей в ведении Министерства просвещения. По требованию гр. Аракчеева меня откомандировали в Комиссию. ... Я написал руководство к учреждению и действиям училищ, составил таблицы, книги и пр., но вскоре разошелся в мнениях с гр. Сиверсом, который был человек образованный и почтенный, но тяжелый педант и крохобор. Меня уволили с чином надворного советника.

Между тем я вошел в моду. В конце 1818 года начальник штаба Гвардейского корпуса Николай Мартьянович Сипягин поручил мне заведение центральной школой для обучения солдат Гвардейского корпуса... Школа устроена была в просторных залах новопостроенных казарм Павловского полка, на Царицыном лугу⁵. Ученики были набраны из всех полков Гвардейского и Гренадерского корпусов, числом до двухсот пятидесяти. В числе их было несколько грамотных унтер-офицеров, служивших учителями... Учебною частию заведовал я только сначала: вскоре моя помощь сделалась ненужною. Учение продолжалось с удивительным успехом. В конце второго месяца солдаты, не знавшие дотоле ни аза, выучились читать с таблиц и по книгам; многие писали уже порядочно. Нельзя вообразить прилежания, рвения, удовольствия, с каким они учились: пред ними разверзлся новый мир...

...Назначение школы было достигнуто. В полгода все солдаты в ней выучились грамоте, разумеется, лучше или

хуже. 19 июля 1819 года происходил смотр ее Александром I. Государь приехал в сопровождении Васильчикова, Бенкендорфа, графа Орлова и нескольких других генералов, был очень весел и доволен, любовался пестротой разнокалиберных мундиров, обласкал меня. Произведен был экзамен и кончился к общему удовольствию. При этом произошел неважный случай, могущий служить прибавлением к истине: большие действия от малых причин. Главным указателем, или монитором, в классе был кавалергардский унтер-офицер Горшков, красавец, миловидный собою, умный и проворный. Но и на старуху бывает проруха! Когда брат мой⁶ скомандовал к началу упражнений, Горшков сбился и не так повторил команду. Я взглянул на него и покачал головою. Горшков покраснел, улыбнулся и поправился. Эта безмолвная перемолвка не ускользнула от внимания Александра, как оказалось впоследствии. Между тем государь очень милостиво благодарил меня за старание о его солдатах (опричниках) и уехал совершенно довольный. Училище ему понравилось, и он приказал учредить по такому же училищу в каждом полку Гвардейского корпуса.

Я был назначен директором с 5 тысячами рублей жалованья, за экзамен получил перстень в 3 тысячи рублей, брату моему дан орден св. Анны 3-й степени, унтер-офицеры, бывшие мониторами, произведены в 14-й класс, словом, все шло как по маслу. Я составил уставы, руководства и учебные таблицы, напечатал их и разослал по армии. Начали учреждаться школы: они были устроены в Преображенском полку, в Московском, в Егерском, в Кавалергардском. В других готовились...

Введение ланкастерской методы не ограничилось гвардейскими полковыми училищами. В начале 1820 года императрица Мария Федоровна поручила мне, чрез почетного опекуна Карла Федоровича Модераха, ввести эту методику в классах воспитанников и воспитанниц Воспитательных домов петербургского и гатчинского; это было исполнено вскоре и с успехом. Потом заведены были существующие поныне училища солдатских дочерей полков гвардии (первое в Семеновском полку, другое в Большой Конюшенной). И здесь успех совершенно оправдал и методику, и способ ее приложения. В то же время составил я преимущественно из членов масонской ложи «Избранного Михаила» (графа Ф.П.Толстого, Ф.Н.Глинки, П.Я. фон Фока, В.И.Григоровича, Н.И. Кусова и некоторых других) общество для заведения училища взаимного обучения, и мы открыли одну школу (на 360

человек) в доме Шибанова, на углу Вознесенской и Садовой улиц. Во всех этих начинаниях был я действующим лицом. Кажется, по естественному порядку вещей, следовало бы Министерству просвещения воспользоваться моими знаниями и опытностью и употребить меня на пользу народных школ, которые находились тогда и находятся ныне в жалком положении. Вышло противное. Министерство просвещения (т.е. главный его двигатель Магницкий) возненавидело меня, осмелившегося действовать в пользу общую без его ведома, и положило стереть меня с лица земли. Может быть, я сам подал к тому повод явными и громкими своими суждениями об этих лицемерах и негодях. Обстоятельства им благоприятствовали.

Семеновская история изменила и огорчила Александра. Он получил известие о ней в Троппау... Вместо того, чтоб видеть в этом неповиновении вспышку нетерпения избалованных солдат, которых хотели обратить к прежнему порядку, он вообразил, что это есть проявление революционных замыслов, о существовании которых он давно догадывался. Случилось так еще, что король прусский сообщил ему догадку свою о существовании в Швейцарии центрального комитета для возмущения Европы. Александр спросил у Чаадаева, прибывшего из Петербурга с донесением, о неприятном происшествии:

— Знаешь ли ты Греча? — Знаю, ваше величество. — Бывал ли он в Швейцарии? — Был, сколько знаю, — отвечал Чаадаев, по всей справедливости.

— Ну так теперь я вижу, — продолжал государь и прибавил: — Боюсь согрешить, а думаю, что Греч имел участие в семеновском бунте.

Эта догадка пришла в Петербург и пала как свежее зерно на удобренную землю. Кто смел противоречить мнению государя о поводах к этим беспорядкам! Действительно должна быть тому причиною революционная мысль, да где она таится? Как где? В полковых школах. А кто занес ее? Разумеется, Греч. Началось с того, что число школ ограничилось существующими: новых не заводили, да и в прежних стеснили продолжение уроков, занимая солдат службою. Воспользовались выступлением гвардии в поход (в начале 1821 г.) для закрытия училища, с чем вместе прекращалось звание директора...

Ф.П.Толстой

Из «Записок»

Масонские ложи

«Когда открылась французская революция, то масонские ложи, проникшие в Россию еще в прошедшем столетии, были закрыты... и только около 1812 года мало-помалу снова стали появляться, как предполагали, из Германии и сосредоточивались по преимуществу в Петербурге. Дух братства, содержащийся в масонстве, сильно привлекал в ложи множество членов из лиц, занимавших значительные должности в государстве, много молодых людей лучшего круга общества, получивших блестящее образование, и из личностей, известных умом и талантами, в числе которых находилось и несколько декабристов. Правительство смотрело на масонство не только что снисходительно, но даже утвердило главную директориальную ложу «Св.Владимира к порядку» и дало ей правила, которых как она, так и зависящие от нее ложи должны были держаться.

Директориальная ложа по возникшим в ней несогласиям распалась на две главные ложи: «Астрею» и «Провинциальную». От каждой из них, как бы лучи, отбрасывались ложи второстепенные, которым они служили образцами и обязаны были исполнять с величайшею точностию установленные в них правила и обряды... В «Астрее» было гораздо больше порядка, стройности и идеи, нежели в «Провинциальной»; то же настроение проявлялось и в подведомственных им ложах.

Когда в некоторых государствах и в тайных обществах, вместо благотворительности и улучшения нравов — цели масонства — стали заниматься политикой, вследствие чего произошли там беспорядки, то в предупреждение подобных же печальных явлений вышел высочайший приказ: все тайные общества в России, под каким бы они названием ни существовали, закрыть и впредь не допускать.

Таким образом, в 1822 году масонство без всяких демонстраций прекратилось и со всех членов взяты были подписки вперед ни в каких тайных обществах не участвовать.

Многочисленные братья-каменщики рассыпались, но продолжали распространять свое учение.

В ложе «Петра к истине» («Peter zur Wahrheit»), подведомственной «Астрее», к которой принадлежал и граф Ф.П.Толстой, главным мастером был директор Обуховской больницы, доктор медицины статский советник Еллизен, бескорыстный, добродетельнейший ученый, помогавший многочисленным семействам, находившимся в крайности.>

Я вступил, как и все посвящавшиеся в масоны, учеником; а через два месяца был возведен в звание мастера и избран в церемониймейстеры ложи; затем вскоре был сделан первым надзирателем этой ложи; далее последовательно получал все высшие степени масонства, то есть: обе степени шотландских лож, ложи тамплиеров, Rose croix (Розы креста) и других.

В нашей ложе работы производились на немецком языке, так же как и в ложе «Елисаветы к добродетели», в которой мастером стула был камер-юнкер Ланской, человек обыкновенного ума. В ложе под названием «Меч» работы шли на языке французском; в ней мастером стула был тоже молодой придворный человек лет двадцати восьми, граф Виельгорский 2-й. Виельгорских было два брата¹, оба камер-юнкеры; они были очень хорошо приняты при дворе, но, кроме камер-юнкерства, не занимали никаких должностей. Старший из них, мастер ложи «Меча», занимался музыкой и пел на домашних вечерах во дворце. Меньшой, также при дворе, играл на виолончели.

Обе эти ложи были наполнены людьми знатными и богатыми. Главная ложа российского масонства, под названием «Главная ложа Астрея», находилась в Петербурге; первым мастером этой ложи был граф Мусин-Пушкин, а я состоял наместным мастером. В другие должности по масонским работам и управлениям этой ложи выбирались мастерами стульев и должностными членами личности из всех существующих здешних лож. В должностные члены «Астреи» избрано было больше всего из ложи «Peter zur Wahrheit», так как она изобиловала более всех других серьезными, образованными, дельными людьми. Все русские, получившие хорошее образование, предпочтительно вступали в эту ложу.

Исполнялись ли у нас и во всех других ложах с равным рвением и деятельностью главнейшие работы масонов — «распространение всеобщего, истинного образования души и ума» — это под большим сомнением. Разве в Швеции, где

масонство держится еще в том же положении, в каком оно составилось и действовало к истинному благу человечества, но в наших ложах так можно поручиться, что, кроме ложи «Peter zur Wahrheit», в других ложах многие из собратий даже не знали, в чем и состоят настоящие работы масонов, и думали, что все таинство масонства заключается в аллегорических действиях, производимых в заседаниях лож.

В нашей ложе находилось почти наполовину русских, из которых многие плохо говорили по-немецки, а работы производились в ней на этом языке, почему и положено было нами, с разрешения великой ложи «Астреи», отделиться от ложи «Peter zur Wahrheit» и составить особую ложу под названием «Избранного Михаила», в которой масонские работы должны были происходить по ритуалам ложи «Peter zur Wahrheit», только на русском языке. Получив диплом от великой ложи «Астреи» на образование сказанной ложи «Избранного Михаила», в 1815 году приступлено было к избранию мастера стула этой ложи, которым и был избран я; затем выбраны все должностные братии. Наместным мастером выбран был полковник главного штаба Данилевский; оратором — полковник Федор Николаевич Глинка, адъютант военного генерал-губернатора Милорадовича, секретарем — Николай Иванович Греч, издатель журнала «Сын Отечества»; казначеем — Николай Иванович Кусов², первой гильдии купец; церемониймейстером — Александр Иванович Уваров; первым надзирателем — Алексей Иванович Кусов³; вторым надзирателем — купец Толченев.

Немедленно по избрании должностных членов приступлено было к отысканию квартиры для ложи и нанят был бельэтаж в угловом доме на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта, против трактира «Лондон».

Все внутреннее устройство ложи было принято на себя мною. Я сочинил план, нарисовал внутренний вид со всеми принадлежностями и украшениями и дал всему шаблоны. По контракту, сделанному нами с хозяином дома, мы обязаны были при сдаче квартиры возратить ее точно в таком же виде, в каком ее получили. По сделанному мною плану и принятому братьями огромная зала, назначаемая для ложи, изображала со всех сторон открытую, без потолка, ионического ордена колоннаду в саду с антаблементом; колоннада и антаблемент по стенам залы были деревянные, а стены между столбов расписаны садом и воздухом, так же как и потолок, сделанный плоским фальшивым сводом, изображавшим небо. Я пригласил для исполнения этого плана театрального ма-

пиниста г-на Тибо, что он и устроил, нисколько не повредя ни стен, ни потолка. На столбах гораздо выше их половины кругом всей залы спускалась до самого пола голубого цвета драпировка из тонкой шерстяной материи, обшитой золотым галуном и бахромой; она была прикреплена к столбам небольшими золотыми розетками, через которые повешен был, также по всей зале, по драпировке, толстый золотой шнурок, с фестонами, с кафинским узлом посередине. На полу между столбов, на возвышении одной ступеньки, стояли скамейки с подушками, покрытые также голубой материей и также обшитые золотым галуном и бахромой; на этих скамейках во время работы лож сидели братья.

Потолок залы, сделанный плоским сводом, долженствовавший изображать небо, выкрашен был голубым колером, сливавшимся с воздухом, написанным по стенам залы; на нем изображались все созвездия северного небесного полушария, видимые в ночи над Петербургом в Иванов день — большой праздник масонов. Они изображены были на небесном своде стеклянными золотыми пятиугольными звездами первых пяти величин и размещались верно проекции, сделанной мною с созвездия очень хорошего сферического глобуса северного полушария.

На поперечной стене против входной двери в ложу, между двух средних столбов, которых на этой и противоположной стене находилось по четыре, выступала вперед от стены параллелограммная площадка, на которую входили тремя ступенями; на ней у самой стены стояли большие резные позолоченные кресла для мастера стула ложи, обшитые, как подушка, так и задок кресел, голубым бархатом; над довольно высокой спинкою кресел изображалось солнце стеклянным шаром вершков шесть в диаметре; солнце ярко освещалось изнутри, а от него по голубой драпировке во все стороны шли деревянные хорошо резанные позолоченные лучи.

Перед креслами мастера стула стоял правильной формы параллелограммный стол, на трех углах которого в высоких бронзовых красивых шандалах горели по три восковые свечи. Стол кругом был обтянут голубым бархатом, вроде наляя, и обит по всем сторонам золотым галуном и бахромой.

На середине стола, против кресел, лежали в богатом переплете большое Евангелие и меч ложи с богатой золоченой рукояткой, в голубых бархатных ножнах, с богатыми бронзовыми золочеными украшениями.

На столе, перед самыми креслами, лежали молоток управления мастера ложи белой слоновой кости с рукояткой

из черного дерева, также белая бумага и стояла бронзовая чернильница.

Между двух крайних столбов, по правой стороне кресел мастера стула, на возвышении одной ступени стояли кресла наместного мастера, тоже резные и золоченые, только поменьше и не такой богатой резьбы и не бархатные, а той материи, из которой драпировки на колоннах, и без изображения солнца. Пол и все ступени были обиты зеленым сукном.

У трех ступеней передних углов, ведших на площадку, на которой находились кресло и стол, стояли на небольших пьедесталах два мужских скелета, державшие бронзовые небольшие канделябры о трех восковых свечах. Перед столом мастера, отступя вперед аршина два, лежал на полу по длине комнаты параллелограммной формы масонский небольшой ковер, на котором масляными красками изображались клейноды, или аллегии масонского ритуала. За ковром по углам его стояли, также на возвышении одной ступени, на правой стороне — стул первого надзирателя, лицом к стулу мастера. На стульях подушки покрыты были той же материей, из которой сделаны драпировки на столбах, на скамейках, по стенам. Справа против мастера было место секретаря ложи; перед ним небольшой четырехугольный стол, обтянутый голубой, как и драпировки, материей, обитый внизу золотой бахромой. На левой стороне, против секретаря, было точно такое же место для казначея. По левой стороне секретаря сидел просто на скамейке оратор ложи, а налево — церемониймейстер.

Наша ложа была гораздо красивее других лож и приличнее сооружена для масонской ложи; она отличалась также и действиями своими в пользу ближних.

Наружные обряды во время работ масонов в ложах основаны были на аллегии сооружения Соломонова храма. Храм этот изображает чистую нравственность всего человечества, стало быть, и совершенного счастья, для достижения чего братство масонов должно непрерывно трудиться над обогащением себя всеми нравственными добродетелями, возвышающими душу и сердце, а ум — познаниями наук как необходимых средств для того, чтоб помочь человечеству соорудить в мире Соломонов храм.

Ложа наша с малыми своими финансовыми средствами устроила из своих членов комитет, обязанность которого состояла в том, чтобы помогать нуждающимся, которые по своему положению не могут протягивать руки за милостынею, а терпят крайнюю нужду. Члены обязаны были отыс-

кивать таковых и, осведомясь подробно о их нравственности, положении и нуждах, представлять об них ложе, которая под председательством мастера, распоряжалась, кому какое делать пособие: кто получал квартиру, кто небольшое месячное содержание, кто единовременное пособие дровами, съестными припасами и т.п.

Ланкастерские школы

Федор Николаевич Глинка, я и Греч вознамерились составить общество распространения ланкастерских школ в России; многие из братьев нашей ложи изъявили желание вступить в этот союз. Написав устав статута общества, представили чрез министра народного просвещения его величеству на утверждение.

Греч составил для этого легкого способа учения грамоте необходимые ланкастерские таблицы; они представлены были в министерство народного просвещения; министром же тогда был князь Александр Николаевич Голицын, глубокий мистик.

По получении высочайшего разрешения на составление общества распространения ланкастерских школ в России немедленно приступлено было к избранию председателя общества, которым и избран был я; в помощники мне избраны были Греч и Глинка, а казначеем общества — Николай Кусов.

Первую примерную школу положено было нами устроить в Петербурге, на виду всех. По нашим средствам мы должны были устроить эту школу в очень скромном виде, в Коломне, в одной из отдаленных улиц, в деревянном простом доме, в котором весьма удобно могло учиться до ста и более учеников. Эта невзрачная по наружности школа вполне согласовалась с учениками, которые должны были в ней учиться, потому что эти школы устраиваются по правилам общества только для крестьянских детей, бедных мещан и мастеровых. Я слышал, что нас многие обвиняли и говорили, что лучше бы было, если бы мы не набирали в нашу школу такую ватагу босоногих мальчишек, а взяли бы треть или четверть их да устроили бы школу в более видном месте и с более приличным для порядочной школы помещением, а не в старом некрасивом деревянном доме. Господа обвинители наши забывали о цели, для какой общество наше собралось, забывали, что наша главнейшая цель состояла в том, чтобы стараться о быстрейшем распространении грамотности в простом народе: Отечеству нужны учащиеся грамотеи, а не здания, в которых они учатся.

Министерство народного просвещения вздумало было учредить несколько времени перед тем ланкастерскую школу в Петербурге, выписан был из Америки учитель, знающий эту методу, и приобретен для помещения большой каменный дом на канаве, против Николы Морского. Не знаю по какой причине эта школа не состоялась и американский учитель уехал.

У нас каждый член платил тридцать рублей в год; на эти деньги была устроена и содержалась школа. Учителем школы был избран деятельный и добрый человек, умевший хорошо обращаться с мальчиками простого быта. Общество снабдило его полной инструкцией, как преподавать грамоту по этой методе.

Так как в школу приходила каждый день почти сотня уличных мальчиков, то для соблюдения необходимого порядка при учении положено было обществом, чтобы члены, которым положение их позволяет, каждый день по четыре человека дежурили в школе поочередно, наблюдая за поведением и прилежанием учащихся.

Вступавшие в школу в первый раз должны были быть приводимы родителями, а если их нет, то теми, у кого они живут; в школе они принимались дежурными членами и записывались в алфавитную книгу их имена и фамилии, также имена их родителей и местожительство, и назначалось каждому свое место на скамейке в классе.

В назначенные часы для классов ученики приходили в переднюю комнату школы, где встречали их дежурные и отводили в классы на их места; по окончании классов дежурные члены выводили учеников попарно на улицу, по которой и вели их до первого перекрестка, где ученики расходились по своим местожительствам. По временам посылались члены в квартиры учеников узнавать от родителей, соседей и чрез дворников, хорошо ли они себя ведут, послушны ли родителям и учтивы ли со старшими. Хорошо себя ведущие и хорошо учащиеся получали награды, состоявшие из обуви, и, по возможности общества и по степени прилежания, фуражками и некоторыми частями одежды. За большие шалости, дурное поведение и непокорность родителям наказывались стыдом, что в нашей школе было в большой силе; быть поставленным у дверей класса со щеткою в руках считалось большим наказанием и, к счастью, сделалось для ребятишек так страшно, что после редко встречались наказанные. Вредных больших шалунов, на исправление которых не предвиделось надежды, отсылали, чтоб не заражали своими шалостями других.

Мы были счастливы, что школа наша удавалась и шла очень успешно вперед. Когда общество наше сформировалось и школа вошла в свое действие, мы в первом собрании нашем избрали в почетные члены графа Кочубея, графа Разумовского и полного генерала Аракчеева; написали к ним письма от общества, приглашая их принять звание почетных членов, и я поехал сам отвозить к ним эти письма. Два первые, известные своею надменностью, отговариваясь недосугом, меня не приняли, а просили от меня письма, которые я и отдал. Не может быть, чтоб недосуг был причиною того, что отказались принять меня; вероятно, мои двадцать четыре года и чин отставного лейтенанта флота, избранного обществом в председатели, был этому виною. От них поехал я к Аракчеву, от которого ожидал себе той же участи, — и обманулся; правда, трудно было мне добиться, чтоб обо мне доложили его высокопревосходительству. Приехав к деревянному одноэтажному на Литейной дому, в котором жил Аракчеев, я отворил дверь, выходящую на небольшую деревянную лестницу, ведущую в комнаты; перед дверью встретил меня унтер-офицер, в сюртуке с галунами на воротнике и обшлагах, с вопросом: «Кого вам нужно?»

— Мне нужно графа Аракчеева и потому покажите, как мне пройти в приемную, а там я найду кого-нибудь, кто бы доложил его сиятельству о моем приезде.

Со многими вопросами и подробностями впустил меня унтер-офицер на лестницу, по которой я вошел в небольшую переднюю, где меня встретил писарь унтер-офицерского чина, с таким же вопросом, как и внизу: «Кого вам надо?» — и получил тот же ответ, что мне нужно видеть графа Аракчеева и передать письмо.

— Этого нельзя, пожалуйста ваше письмо, я передам его дежурному адъютанту, а он передаст дежурному штаб-офицеру.

— Письма моего я ни вам, ни адъютанту, ни дежурному штаб-офицеру и никому, кроме самого графа, не дам, а проводите меня в канцелярию, где бы я мог найти человека, который бы мог доложить о моем приезде.

Меня ввели в канцелярию. Это была большая комната, разделенная в длину пополам перегородкой: первая половина вроде приемной, а вторая — канцелярия. Проводивший меня в приемную писарь исчез от меня в канцелярии. Через несколько времени пришел ко мне дежурный адъютант и довольно надменно спросил:

— Что вам надо от графа?

— Что мне надо от графа, это я скажу самому графу, когда буду иметь честь говорить с его сиятельством; а теперь я вас прошу доложить ему о моем приезде.

— Графу я не могу докладывать, а скажу дежурному штаб-офицеру.

Через несколько минут подошел ко мне господин в полковничьих эполетах, с крайне удивленной физиономией, — увидев перед собой молодого флотского лейтенанта, ищущего видеть графа, — и обратился ко мне с теми же допросами, как и адъютант: кто я и что мне от графа нужно, требуя, чтоб я отдал ему мое письмо, а он отдаст Клейнмихелю⁴; Клейнмихель уже доложит графу. Он получил от меня тот же ответ. Два раза этот господин уходил от меня и возвращался опять ко мне, убеждая меня отдать ему письмо и уверяя, что Клейнмихель передаст мое письмо графу непременно. Я видел через канцелярию, как он два раза хватался за ручку замка последней двери, вероятно ведущей в присутственную комнату Клейнмихеля, и наконец исчез в этой комнате. Через несколько минут явился с гневным видом Клейнмихель и, подошед ко мне, довольно высокомерно спросил меня:

— Что вам надо от графа?

Я отвечал, что имею письмо к его сиятельству, которое хочу передать лично графу, и прошу вас, генерал, доложить его сиятельству, что председатель общества распространения ланкастерских школ в России граф Толстой желает иметь честь лично вручить графу просьбу общества о благоклонном принятии его превосходительством звания почетного члена общества распространения ланкастерских школ в России, в которое в первом общем собрании он был избран. Г-н Клейнмихель очень неохотно должен был идти доложить графу о моем приезде, так как я решительно ему сказал, что только в собственные руки графа отдам это письмо. Не прошло и четверти часа, как генерал Клейнмихель вернулся ко мне совсем другим человеком, очень учтиво подошел ко мне и сказал:

— Граф просит вас войти в гостиную, он сейчас к вам выйдет, — и, проведя меня туда, ушел.

Не прошло и десяти минут, как вышел из дверей, противоположных тем, в которые я вошел, Аракчеев; он подошел ко мне и, весьма ласково со мной поздоровавшись, сказал, что очень рад меня видеть, притом прибавил несколько весьма лестных слов насчет моих занятий. Объяснив причину моего явления, я вручил графу письмо от об-

щества, которое он, прочтя, поручил мне благодарить общество за сделанную ему честь и передать ему, что он будет благодарить письменно. Потом повел меня в свой кабинет, где, посадив возле себя на диван, весьма подробно стал расспрашивать о составе, цели и средствах общества. Весьма подробно, по его желанию, я объяснил, как производится учение грамоте по методе Ланкастера и преимущество ее перед обыкновенным учением; я был чрезвычайно удивлен, с каким вниманием он входил в малейшие подробности ланкастерской методы и, выслушивши все, обещался непременно быть в нашу школу до отъезда своего в Грузино⁶, чтоб видеть эту методику учения грамоте в действии; при этом граф завел речь о Грузии, очень хвалил его мне и, узнав, что я никогда там не был, приглашал меня непременно быть там нынешним летом, как в самом замечательном месте около Петербурга в отношении священной истории, ибо полагают, что в Грузии был распят святой Андрей Первозванный. «Приезжайте, я вам покажу это замечательное место и военное поселение», — о пользе которого он мне так много говорил. Три раза подымался я уходить, пробыв у него, восхищаясь и удивляясь его умным и ласковым приемом, мне сделанным; что умным немудрено, так как известно всем, что граф был умен и сведущ, а что ласковым — то я бы не поверил, если бы это не случилось со мной: известно также всем, что граф Аракчеев не отличался мягкостью сердца. Раскланявшись с графом, выйдя в гостиную, я хотел затворить за собой дверь, но не мог: граф был в дверях и шел за мной в гостиную и из нее вышел, провожая меня, в приемную, которую прошел всю, весьма ласково разговаривая, со мною вместе вошел в переднюю, где оставался и смотрел, как я, отдав ему последний поклон, стал сходить с лестницы. Встреча и проводы, сделанные мне графом, привели в совершенное изумление всю его канцелярию.

Не прошло и недели после того, как я был у графа, он приехал в нашу школу в утренние часы, когда ученики сидели уже на скамейках. Я встретил графа в первой комнате с дежурными членами, из которых он с каждым весьма ласково и подробно поговорил о его обязанностях; когда же началось действие школы, то с большим любопытством на все смотрел и обо всем расспрашивал. Видно было, как его сильно занимала эта метода обучения грамоте. Прослушавши преподавание, он очень хвалил эту методику. Когда Аракчеев вошел в классы и увидал одного мальчика, стоящего в углу с метлой в руках, то спросил меня: «Что это значит?» Я отвечал, что

мальчик тут поставлен в наказание за непослушание и грубость, сделанную родителям. Я объяснил графу, что в правилах общества вместе с учением грамоте детей бедных крестьян и других простолюдинов положено наблюдать за их нравственностью и исправлять ее, сколько позволяют наши средства. Объяснил, что и вне школы, в их домашнем житье, отпустив наших учеников домой, мы стараемся узнавать посредством дежурных членов, как учащиеся у нас до появления своего на другой день в школу вели себя. На собрании всех учеников учитель и дежурные члены вызывают мальчиков, сделавших какой-нибудь проступок или серьезную шалость, заслуживающую наказания, и, по мере проступка каждому делается кому просто увещания или наставление, кому наказание, основанное на стыде. Этот мальчик не хотел слушаться родителей и вдобавок нагрубил им. Граф, с весьма серьезной физиономией выслушал меня, прямо пошел в угол к мальчику; я последовал за ним; подойдя к виноватому, граф стал объяснять ему все пагубные последствия неуважения и непослушания к родителям и старшим. Наставление его мальчику продолжалось довольно долго и было так убедительно, что мальчик горько расплакался, прося прощения и обещаясь исправиться, никогда не грубить и слушаться; и на деле исполнил это: впоследствии он вышел из школы одним из лучших учеников.

Увидав на практике методу ланкастерского учения грамоте, граф Аракчеев нашел ее лучшею для детей простого народа и очень хвалил весь порядок, заведенный в нашей школе, особенно же учение и нравственность учеников. Прощаясь, он сказал нам много лестных приветствий насчет состава общества.

Впоследствии Аракчеев не раз бывал в нашей школе.

Говоря о существовании в Петербурге масонских лож, должно сказать и о бывшей здесь одной тайной мартинистской ложе под управлением Алексея Федоровича Лабзина, конференц-секретаря Академии художеств.

Точно ли это была такая мартинистская ложа и такого же направления, как появившиеся в восемнадцатом столетии на западе Европы мартинистские ложи, вышедшие из мистических и иллюминатских сект, в то время во множестве существовавших в Европе, я не знаю, потому что масоны ни с мартинистами, ни с иллюминатами, ни с мистиками не сходились.

<Граф Федор Петрович рассказывал, что в этот период времени в России был очень распространен мистицизм и

находилось множество мистиков обоого пола, особенно между знатными фамилиями. Из них самыми отчаянными мистиками он называл министра народного просвещения Александра Николаевича Голицына, одного из близких сановников к государю, Магницкого, Попова, Лабзина, Александра Ивановича Тургенева и других.

После трехлетнего существования школы по методе Ланкастера, устроенной обществом распространения ланкастерских школ в России, утвержденного императором Александром Павловичем в 1819 году, неожиданно успешно шедшей, так что каждые полгода выпускалось из нее более пятидесяти молодых людей, детей самых бедных крестьян, мещан и ремесленников, так хорошо приготовленных, что по выпуске их охотно принимали писарями в главный штаб, — общество это, несмотря на то, что могло бы принести большую пользу, распространяя грамотность между крестьянами и вообще между всем так называемым низшим классом людей, рушилось. Граф говорил, что князь Голицын, министр народного образования, будучи мистиком, опасался всех, не подчинявшихся влиянию мистицизма. С самого начала существования ланкастерской школы Голицын часто делал запросы и замечания обществу распространения грамотности, незаслуженные выговоры и даже обвинения, которые всегда отражались правдою. Наконец заподозрил, что в этом обществе участвуют западные либералы, и донес государю. Федор Петрович предполагал, что, вероятно, Голицын действовал так не столько по своему убеждению, сколько под влиянием мистиков и мартинистов; им казалось непонятным, каким образом общество распространения ланкастерских школ в России, начиная с председателя состоящее почти все из бедных людей, существующих своими трудами или жалованьем за службу Отечеству, одними своими ничтожными средствами содержит такую большую школу, выпускающую ежегодно столько детей самых бедных родителей из простого класса людей. Несправедливое обвинение оскорбило и огорчило все общество, особенно же графа Ф.П.Толстого как председателя, и даже обратило на него внимание полиции; но сколько ни следила за ним полиция, ничего не нашла в его образе жизни, кроме того, что он рисует, лепит из воска, режет штемпеля или занимается своим образованием да с женой и с своими приятелями толкует о театре, литературе и городских новостях.>

Мнение князя Голицына об нашем обществе не могло меня беспокоить, но не могло не оскорблять. Хотя мы ни-

чего официального ни от кого не получали, но нам достоверно было известно, что князь Голицын составленное им Бог знает с чего мнение о нашем обществе доводил до сведения государя; как же оно было принято государем, неизвестно; но я все-таки в полном составе общества отдав отчет в моих действиях за все время существования нашего общества и поблагодарив сердечно за честь, сделанную мне избранием меня в председатели, и за постоянную ко мне доверенность, объявил, что, к крайнему моему сожалению, побуждаем честью просить общество уволить меня от председательства и, по статуту нашему, утвержденному его величеством, немедленно избрать из среды себя нового председателя. На другой день по отречении моем от председательства на мое место назначен был председателем флигель-адъютант, мистик, князь Андрей Борисович Голицын, воображавший, что он открыл тайну вечного движения.

Вслед за определением нового председателя члены общества распространения ланкастерских школ, все до одного, отказались быть членами этого общества. Что стало с председателем несуществующего общества, никто из них не интересовался и знать. Таким образом, наше общество распространения грамотности в простом народе рушилось. Князь А.Н.Голицын был человек умный и благонамеренный, но неприготовленный с пользою занимать то место, на которое был поставлен; сверх всего он был еще отуманен наплывшею в Петербург с Запада мистикою. Испугавшись либеральных идей, явившихся и носившихся во Франции, Швейцарии и Италии, он во всем видел опасность, вследствие чего таким образом отнесся и к нашему обществу. А стоило только князю Голицыну разузнать о способе, каким мы содержали нашими малыми средствами школу, выпускавшую каждые три месяца по пятидесяти мальчиков, детей простого класса, хорошо обученных грамоте, он бы узнал, что как ни малы были наши денежные средства, нам их достаточно было для содержания нашей школы по методе Ланкастера, самой дешевой из всех школ, и убедился бы, что мы не нуждаемся ни в чьей помощи не только от всегдашних врагов наших, но и от дорогого нам Отечества. Князь А.Н.Голицын, рожденный в роскоши, воспитанный при дворе Екатерины Великой, живший в полном довольстве и почести, не знал и не подозревал, что, кроме денег, есть средство, почти так же сильное к достижению предпринятой цели, — это решительное, постоянное стремление ее добиться, не щадя личных трудов своих.

Деньги нужны были нам на наем дома для школы, на жалование постоянного учителя по методу Ланкастера, получившего от нас все нужные для того сведения, на наем двух сторожей, наблюдавших за порядком и чистотою в классах, и одного сторожа при входных дверях в школу; на это мы имели достаточно денег от ежегодных взносов членами общества на содержание школы по тридцати рублей в год.

Заводя и устраивая эту школу не для показу, а для настоящей пользы, которую грамотность простого класса людей должна принести государству, мы, соображаясь с нашими средствами, в отдаленной улице Коломны нашли дом деревянный, снаружи весьма невзрачный, но просторный и весьма удобный для устройства в нем школы и квартиры учителя. Этим оканчивались наши денежные расходы на содержание школы; остальное все исполняли мы сами, как-то: должность помощников настоящего учителя, блюстителей тишины и порядка во время классных часов, надзор за прилежанием учеников, учение первых четырех частей арифметики, краткое сведение о географии и русской истории, наблюдение за нравственностью мальчиков, для чего ежедневно во все время классов и пребывания в школе учеников дежурили каждый день по очереди, по четыре часа.

Если бы князь Голицын обратил на все это внимание как министр народного образования, то не был бы виною падения неоспоримо полезного Отечеству общества, но, вероятно, и сам сделался бы деятельным участником распространения ланкастерских школ во внутренних губерниях России.

Записки академика А.Л.Витберга, строителя храма Христа Спасителя в Москве

I

По окончании европейской войны император Александр Благословенный в Вильне 1812 года, декабря 25 издал манифест, коим он возвещал народу своему о желании воздвигнуть храм во имя Христа Спасителя как памятник славы России, как молитву и благодарение Искупителю рода человеческого за искупление России.

Храм во имя Христа Спасителя! Идея новая. Доселе христианство воздвигало свои храмы во имя какого-либо праздника, какого-нибудь святого; но тут явилась мысль всеобъемлющая — она и могла только явиться государю, проникнутому чувством религиозности, каков тогда был император Александр.

Я видел императора Александра в Казанском соборе, в то время, когда еще враг попирал грудь России, когда Москва готовилась сделаться добычею его; видел, как он являлся в народ смущенным, падшим духом, как бы стыдясь поражений своих. Конечно, эта эпоха бедствий сильно подействовала на его душу; он, некогда уступивший мощному гению Наполеона, подписавший Тильзитский мир, тогда объявлял, что до гибели не положит оружия.

В то время, увидев всю ничтожность силы мира сего, в нем зародилась мысль религиозная, которой он остался верен и одушевленный коею он Богу отдал свои победы и его возжелал благодарить храмом сим.

Я понимал желание Александра, и в душе артиста оно должно было найти верный отголосок. К сему присоединилось еще одно чувство: я пламенно желал, чтоб храм сей удовлетворил требованию царя и был достоин народа. Россия, мощное, обширное государство, столь сильно явившееся в мире, не имеет ни одного памятника, который был бы соответствен ее высоте. Я желал, чтоб этот памятник был таков. Но чего можно было ждать от наших художников, кроме бледных произведений школы, бесцветных подража-

ний! Следственно, надлежало обратиться к странам чуждым. Но разве можно было ждать произведения народного, Отечественного, русско-религиозного от иностранца? Его произведение могло быть хорошо, велико, но не соответствовать ни мысли Отечества, ни мысли государя.

Я понимал, что этот храм должен быть величествен и колоссален, перевесить наконец славу храма Петра в Риме; но тоже понимал, что и, выполнив сии условия, он еще будет далек от цели своей. Надлежало, чтоб каждый камень его и все вместе были говорящими идеями религии Христа, основанными на ней, во всей ее чистоте нашего века; словом, чтоб это была не груда камней, искусным образом расположенная; не храм вообще, но христианская фраза, текст христианский. Храм наружный должен состоять из форм и украшений; но формы сии могут быть произвольными или извлеченными из самой религии. Ежели кто-либо скажет, что это не нужно, то мы сошлемся на людей, которые часто живут целую жизнь без всякой высокой идеи. Ну, конечно, они живут; но это ли подлинная, настоящая жизнь!

Даже и Витрувий (римский архитектор при Августе и Тиберии) извлекал свои пропорции из форм тела человеческого.

Но каков же храм чисто христианский? «Вы есте храм Божий и Святой Дух в вас обитает». И, следственно, из самой души человека надлежало извлечь устройство храма.

Но что такое человек? Дошедши до сего, естественно ли человеку, умеющему чувствовать, не стараться всеми силами понять, постигнуть мысль, которая внезапно является ему окруженная мраком, но которой свет он предчувствует. Долго занимала она меня; но, не занимаясь никогда архитектурой и полагая невозможным успешное решение моей задачи, я с скорбью должен был ограничиться одной идеею.

В то время многие уже занимались составлением проектов, которые должны были быть внесены на высочайшее усмотрение. Рассматривая проекты некоторых из товарищей моих по Академии, я видел во многих таланты, но ни в ком идеи меня одушевлявшей. Мучимый и приводя ее в большую ясность, я отправился в Москву. Взяв отпуск из Академии, в Петров день 1813 года оставил я Петербург и тогда в первый раз расстался с родимым городом и с родителем.

Давно желал я видеть первопрестольный град России. Можно себе представить, как он должен был на меня подействовать, сожженный, обгорелый, пустой и над развалинами коего царил величественный Кремль, один уцелевший среди гибели памятник древних несчастий, один перенесший и этот удар.

Я явился к графу Ростопчину, с которым я познакомился в Петербурге в 1812 году, вследствие моего большого рисунка «Марфа Посадница», который весьма понравился его патриотическому чувству и который я поднес ему¹.

Граф приглашал меня к себе и желал, чтоб я занялся вишетами и картинами для предполагаемого им описания патриотических подвигов Отечественной войны, которое, впрочем, не состоялось по ипохондрии, его начинавшей беспокоить. Граф предлагал мне с сею целью комнату у себя подле кабинета, но я не предвидел успешности занятий в такой близости у вельможи и предпочел предлагаемую квартиру г. Рунича², управляющего почтамтом. С ним и еще одним знакомым часто гуляли мы по Москве, и наконец, приведши меня в Кремль, спросили мое мнение для решения их спора: один думал, что предполагаемый императором храм всего приличнее воздвигнуть в Кремле, другой почитал, что это место тесно и неудобно.

Рожденный в Петербурге, на плоском месте, взошедши в Кремль, я был поражен красотою его положения, величием видом, раскрывающего полгорода. Мысль храма, соединенная с изящностью места, возобновилась в душе моей. Мы взошли в Спасские ворота, и я, заметив низкое пустое место между Москворецкою башней и Тайницкими воротами, оставил приятелей и пошел туда, чтоб снизу от Москвы-реки взглянуть на Кремль, и возвратился к ним в Тайницкие ворота. Бывшие неустроенные, смутные идеи храма теснились в голове моей, и, одушевленный прелестью места, я высказал им мою мысль о храме и о превосходстве оною в Кремле, и новые идеи исполнения, рожденные самим местом, прибавились к религиозной идее. И самые два взрыва³, сделанные в стене, казались мне превосходнейшими местами для учреждения двух великолепных входов в храм. Место Кремля мне нравилось и рекою, и гористым положением, где можно устроить три храма по кособору.

Одушевленный моею идеею, я распространился о мыслях моих насчет храма, и Рунич, одаренный горячею душою, просил меня убедительно, неотступно для него хотя в альбом набросать главный очерк моих идей храма. Я отвечал, что легко было говорить мне, чувствуя это; но не зная архитектуры, мудрено мне было бы исполнить его просьбу. Странно, что внутренне я чувствовал совсем другое: в то же время, как я отказывал ему, твердо решил уже заняться. И говоря, что я не знаю архитектуры, моя внутренняя мысль возражала мне: но кто же мешаает тебе знать ее? Ибо чего не знал сегодня, то могу знать завтра и т. д. Когда Провидение

дало способность, то от твердой воли зависит уже развитие оной. И слово «хочу» положило основание моему занятию.

Между малым числом книг я случайно нашел Витрувия, которого философский взор на архитектуру раскрыл мне многое. Занятия эти были мной производимы в мезонине московского почтамта, где я пользовался двухлетним гостеприимством Рунича, которое тем более мне ценно, что, уклоняясь от прочих занятий, средства мои были ограничены.

С другого же дня я начал означать чертежами мои мысли. Само собою разумеется, что первые произведения были смешные уроды; но это не пугало меня. Воля была сильна, жива, но труд чрезвычайный; я взялся за архитектурные книги, чтоб правилам науки подчинить свои мысли. Советоваться мне было не с кем. Я знал, и не занимаясь архитектурой, ограниченность понятий большей части наших зодчих. Я начал изучать древности и без всякого пособия постороннего труда рылся в книгах и в сочинениях знаменитейших писателей. Руководимый внутренним инстинктом, я не сомневался в успехе, зная свой талант в исторической живописи, за которую я получил все медали от Академии и был назначен путешествовать на счет оной.

Я провел два года в непрерывных трудах. Спустя полгода я показывал Руничу уже довольно удовлетворительный эскиз. Идеал прояснялся, принимал форму более определенную. Мечта моя облеклась в правильную вещественность.

Но я оставил все прочие занятия, даже рассеянности, и употребил все время на один предмет, ободряемый внутренним голосом, который ярко говорил мне, что проект мой должен удовлетворить требованию государя...

Наконец надежды мои стали сбываться, мысль моя ближе и ближе выражалась в красоте, приходила в определенную ясность, и хотя я далек был от того, чтоб быть им довольну, но чувствовал, что я стал на ту дорогу, где только надлежало усовершенствовать, а главное, основное готово.

Трудны были эти два года. Много было жертвы принесено проекту и моей идее. Занятия, которые могли меня обеспечить и в настоящем, и в будущем, вояж, который предстоял мне на счет Академии и который я ожидал 6 лет, наконец знакомства, связи — всем пренебрег я для одного неверного, как казалось многим, занятия.

Но какой же результат был всех сих усилий и жертв? Здесь место сказать об этом несколько слов.

Что заставило решиться на столь трудное и важное предприятие?

С восторгом видел я мысль Александра воздвигнуть храм во имя Христа Спасителя — эти три слова раскрыли мне новую жизнь императора, искушаемого бедствиями и скорбями; я видел его высокое христианское одушевление — и вот начало первого желания удовлетворить требованию царя достойным храмом. Могли ли его удовлетворить обыкновенные храмы, в числе которых множество произведений высокоизящных, но созданных без всякой религиозной идеи? И могли ли они быть таковыми, когда по большей части зодчие пеклись только об архитектурной красоте, не имея мысли религиозного взгляда?

Вот требования нового храма: чтобы все наружные формы храма были отпечатком внутренней идеи. Как Писание говорит, что человек сам храм, то надлежало искать идеи для храма наружного во внутренних идеях самого человека. Рассматривая себя, найдем, что он состоит из трех начал (*principium*): тела, души и духа.

Эту тройственность необходимо было выразить сколь возможно яснее, в частях храма.

Мне казалось недостаточным, чтобы храм удовлетворял токмо требованиям церкви греко-российской, но вообще всем христианским, ибо самое посвящение его Христу показывало его принадлежность христианству. Следственно, храм должен был быть тройственный, т.е. храм тела, храм души, храм духа; но так как человек, пребывая тройственным, составляет одно, так и храм при своей тройственности должен был быть единым. Эта тройственность везде: и в Божестве, и в природе, даже в мышлении.

В жизни Спасителя мы находим три периода, которые согласны с его тройственностью. Воплощение Христа — принятие на себя смертного тела, Преображение, показывающее, до какого просветления очищенное тело душевными свойствами доведено быть может, и Воскресение, показывающее, в какое духовное состояние тело доведено быть может. Тем более надлежало выразить три храма тремя моментами жизни Спасителя, что весь храм долженствовал быть Ему посвященным. Впрочем, мое дело было только собрать из Священного Писания места и раскрыть их и приложить к искусству, на что я и чувствовал призвание. Разумеется, что и самые наружные формы храма должны были соответствовать своему внутреннему смыслу. Понимая, что ничего не может быть произвольно в жизни Спасителя, я размышлял о таинстве Христа, я чувствовал себя неудовлетворенным, находя, что я оное вполне ясно не по-

нимаю, и опасался возражений острого ума, каков был у Вольтера. Это было мне прискорбно. Долго мучась сей идеею, однажды внутреннее воззрение меня привело к следующему.

Я вообразил себе Творца точкою. Назвав ее единицею, Богом, поставил циркуль и очертил круг, коего центр эта точка; эту периферию назвал множественностью — творением. Итак, я имел единицу и множественность, Творца и творение. Как эта точка может соединиться с перифериею, наблюдая за черчением, я видел, что расходящиеся ножки циркуля делают прямую линию, коих бесконечное множество одной величины составляют круг и которые все, пересекаясь в центре, составляют кресты; и следственно, крестом соединяется с Творцом природа. Таким образом я получил три формы: линию, крест и круг, составляющие одну таинственную фигуру, совершенно успокоившую меня; и с этой минуты я постиг сию тайну.

Я мгновенно решил воспользоваться сим открытием и мгновенно приспособить ее к храму, тем более что я нашел, что уже многие писатели (кои мне были неизвестны), занимавшиеся таинством природы (?), я нашел важность сих фигур и впоследствии у натурфилософов, которые из оных начал выводили ее важность. Форму линии в природе наилучше выражает параллелограмм, коего одна сторона бесконечно малая. Сию форму я присвоил первому храму, названному храмом телесным, тем более что и математическая линия, превращаясь в тело, производит параллелепипед. Сверх того уже и потому эта форма приличествовала, что тело человеческое без духа полагается в могилу той же формы, ибо не предстоит надобности класть тело в другую форму. Этот храм долженствовал быть прислонен к земле, так как и тело человеческое прислонено к ней.

Тремя сторонами находясь на горе, а с выходящей восточной стороны, с которой он принимал свет, и далее углубляясь в мрачность, (он) оканчивался катакомбами. Алтарь должен был быть освещен посредством прозрачного изображения Рождества на огромных стеклах и никакого другого света не должно было быть в алтаре. Христос есть свет мира. Гранитные столпы, как первозданная материя твердые, должны были поддерживать свод храма и стены, украшенные мрамором черного, дикого и белого.

Перейдем к украшениям. Я убежден, что они не должны быть употребляемы для одной красоты, но они должны быть иероглифами, языком религии. Ныне поступают с ними произвольно и небрежно. Египтяне и индейцы посредством на-

ружных фигур передавали свои внутренние мысли, которые могли пониматься только теми, кто углублялся в их разбор. Они не заботились о красоте. Греки, заимствовав свое просвещение у египтян, получили от них одну символику для аллегории и, гоняясь за одной наружной красотой, производили украшения изящные, но бессильные, доставшиеся в наследство новым художникам. Древние христиане отвергли их совсем, относя все это к язычеству и отдаляясь от них, впоследствии приняли наконец готизм. Готическая архитектура, может, не имеющая той высокой изящности греческой архитектуры, имеет свое величие: большая часть ее зданий были воздвигнута людьми, посвятившими всю жизнь на воздвижение храмов; и где же более должно искать строгости украшений, как не в храме Божием, где всякая черта должна говорить о истинах религии. Вследствие сего храм телесный украшен во вкусе только греческом большим барельефом, занимающим обе стены; этот барельеф заключает в себе историю смерти апостолов и Христа, чем самым научает, каким образом должно приносить тело смертное в жертву Христу.

Место его могло ли быть приличнее как не вдавленное в землю, одна восточная сторона его выходит наружу, чтоб воспринимать свет. Таким образом, общий характер его выражает мрачность — катакомбу. К сему телесному храму почел я приличным примкнуть воспоминание о жертвах 1812 года, кои положили живот свой за Отечество; т.е. богатую катакомбу, которая предала бы потомству память всех убиенных за Отечество воинов, имена коих от солдат до военачальника должны были быть написаны на стенах катакомбы, где долженствовала быть и панихида о них. Телесный храм оканчивается катакомбою, находящеюся в середине фундамента второго храма. Катакомба освещается термолотинами. Так как в греко-российской церкви кладется под престолом частица мощей людей, в жертву принесших себя Христу, так и тут в основу телесному храму, положены бы были тела погибших жертв за телесное Отечество, и в храме, в воспоминание 1812 года воздвигнутом, служили бы потомству воспоминанием сих событий, и смерть сих воинов причина воздвижения оногo.

Нижний храм посредством внутренних лестниц соединялся со вторым храмом, храмом душевным или моральным, который начинался уже на поверхности горы, открытой со всех сторон. Форма сего храма должна была состоять из креста; как первый состоял из линии, так второй из пересечения двух линий. Как форма параллелограмма приличествовала смертному телу, так форма креста приличествует душе, т.е.

телу, оживленному духом, составляющим настоящую нашу жизнь и действие. Там форма тела была сложенная, здесь распростертые руки составляют крест, хотя казаться может, что одно тело распинается, но не мертвое, а тело, одушевленное духом, где воля его может решиться или нет на страдание; и, следовательно, крест принадлежит душевной части человека и есть как бы середина между смертным духом и бессмертным духом его, — есть соединение тела с духом, есть средство соединения человека с Богом. Здесь храм во имя Преображения, т.е. тело просветленное, очищенное волею души. В этом среднем храме алтарь должен освещаться Преображением Христовым. Как форма храма должна приличествовать его наименованию, так и самое освещение; он должен иметь полусвет, так как и есть наша жизнь смесь добра и зла. Знатоки живописи и музыки знают приятность для взора полусвета... и для слуха полужвука, имеющего столь огромное влияние на душу, что все вместе напоминает нам средину нашего бытия. Как в нижнем храме составляет украшение смерть, так здесь жизнь; т.е. барельеф окружающий весь второй храм должен заключать жизнь и деяния Христа и его апостолов как указание того, как это смертное тело, одушевленное духом Божиим, должно жить.

Из второго храма ведут лестницы в третий, верхний, составляющий храм духовный (божественный). Как второй храм состоял из креста, который есть следствие линии, так третий состоит из чистого круга — следствие креста. Сверх того, как круг не имеет ни начала ни конца, то он есть лучшею линией для выражения бесконечности.

Как крест объясняется в отношении к душевной части, так здесь перифериею выражается дух (насколько материя может выразить оный). Здесь алтарь освещается чрез Воскресение Христа Спасителя. Самый же храм ярко освещен, насколько архитектура позволяет оное, чтобы как нижний должен быть мрачен, так храм духа самый яркий, и сей-то храм духовный сообщает свет храму душевному. От сего и происходит полусвет среднего храма, т.е. часть мрака и часть света.

Окны размещены так, чтобы из нижнего они не были видны, иначе они разрушили бы полутон его освещения. Вместо же обыкновенного света в куполе 3-го храма должен быть видим ярко освещенный большой искусственный свет на плафон купола, изображающего отверстие небо и освещенного своими окнами невидимыми.

Как во 2-м храме украшения были из деяний апостольских (относящихся к душевным свойствам), так здесь ба-

рельеф, окружающий сей храм, представляет историю Спасителя в виде духа, т.е. те случаи, кои были после Воскресения, когда Христос является в духовном теле, является ученикам, и наконец Вознесение, как отшествие из сего мира.

Таким образом, в храме выражалась и изображалась вся история Спасителя, имени коего он посвящался.

Такова идея этого тройственного храма относительно внутренних его частей; но наружность его должна была представлять одно целое, единое здание. Так, как внутренний храм должен был представить духовного человека, так и наружный должен был не отрываться от сей идеи в своей общности.

Идея главного входа с нижней площади храма состояла в том: лестница разделяет большую террасу на две половины; с террасы вход в нижний храм и с обеих сторон уступы, ведущие на верхнюю площадь ко второму храму.

Вокруг сквозной чугунной колоннады, поддерживающей главный купол храма железной конструкции, кольцеобразно помещены были с каждой стороны пять статуй главнейших добродетелей. С одной стороны — добродетели Ветхого завета, с другой — Нового завета, означающие, что для того чтоб войти в истинный храм Христов, в самого себя, нельзя войти без прохождения главнейших добродетелей, которым научаемся из двух Заветов и которые суть следующие: вера, надежда, любовь, чистота и смирение. Для большей ясности тут должны были быть означены тексты Священного Писания, таким образом и сама терраса невольно назидала бы проходящего.

Наружность второго храма, обход, украшена одними изображениями пророков, свидетельствовавших еще в ветхозаветном храме о пришествии Христа, но которые сами не могли быть в храме новом. Собираясь с догматами церкви, сделан обход кругом второго храма, где бы могли совершать все процессии, не терпя препятствий от погоды.

Третий храм, духовный, украшают духовные существа — ангелы, окружая весь храм в верхней его части. Весь стиль храма надлежало избрать в греческом характере, который своей правильностью и изящностью форм придавал бы возможное величие зданию, поражая своею простотою. Согласно местности примыкалась к нижнему храму колоннада, составляющая как бы бок горы. Стена украшена барельефами истории побед 1812 года с помещением над ними важнейших реляций и манифестов. По концам ее два памятника из завоеванных пушек, которые впоследствии времени пременялись вobelisks⁴.

Но что побуждало меня к сей жизни труда и занятия? Три причины могут побудить человека к лишениям и трудам:

1) корысть — самая низкая страсть, материальная;

2) слава — побуждение уже высшее, облагороженное, настолько выше, насколько мысль, идея, выше всякой материи;

3) любовь божественная, прославление Творца, столько же выше второй, сколько вера выше мысли, ангелы выше человека.

Много может перенести человек, побуждаемый славой, но он падет не видя успеха; но, напутствуемый верою, может перенести все, и ропот не вырвется из груди его. Мысль посвятить мою жизнь Богу, торжественною песнью ему — вот что занимало меня, и, разумеется, при первом прочтении программы я увидел возможность совершить сие. Не здание хотелось мне воздвигнуть, а молитву Богу.

Таким образом продолжал я трудиться для осуществления моей идеи. Много стоило это труда — быть в одно время учеником и учителем и облекать столь трудную религиозную идею в вещественность, сохраняя при том требования искусства. Подражать нельзя было и не хотелось; оригинальная идея требовала оригинального изображения. Часто увлекался я то изящностью язычества греческого, то готизмами христианских храмов; очень понимал я, что готический храм, имеющий свое величие, произошел от желания христиан ярко отделить себя от всего языческого; но с тем вместе я не мог согласиться принять безотчетность готических форм преимущественно перед простотою и изящностью греческих. Мне казалось, что это однажды излившаяся красота, которая как бы превратилась в норму, осуществив идею изящного. Посему эта красота и остановила меня. Конечно, величественная простота языческих храмов не удовлетворяла храму христианскому; давно старались заменить тем, что в христианских храмах начали воздвигать куполы на языческих портиках. Я сколько возможно рассматривал важнейшие здания сего рода, в особенности храм св.Петра. Сколько ни имеет он достоинств, но стиль его нечист, неизящен и в нем множество недостатков. Но, несмотря на то, он авторитетом своим долго связывал мои идеи, и потому в первом проекте я удержал эллипсоидальную форму купола, хотя в то же время изящна полушароидальная форма Римского Пантеона. Несмотря на все усилия, я долго не мог сладить всех требований, и, недовольный ничем, я в беспрестанных занятиях вырабатывал свой проект, который вполне был совершен, понят в идее, но ко-

торый выразить и развить я не мог еще во всей ясности, согласно со всеми требованиями искусства, перенеся на бумагу одни главнейшие мысли.

II

Прежде, нежели я приступлю к дальнейшему повествованию о приезде в Петербург, я должен рассказать некоторые факты частной жизни, имевшие большое влияние на меня.

Летом 1815 года, услышал (я) о возвращении императора в Петербург. Ив.Ив. Дмитриев^б, одушевленный идеею храма моего, как поэт, советовал мне стараться, чтоб объяснение сего храма было сделано мною на словах императору, ибо живое слово, говорил он, более действует, нежели письмо.

Я возражал ему, что у меня на это нет никаких средств и что я об этом заботиться не буду, ибо ежели суждено моему проекту быть избранным, он будет избран, а нет — предоставляю воле Провидения.

По окончании проекта и когда слух о нем носился по Москве, я объяснял его у графа Ростопчина при многочисленном собрании, собираясь ехать в Петербург, чтоб передать обер-прокурору св. синода князю Ал. Ник. Голицыну проект свой (ему назначено было собирать проекты). Там граф Лев Кириллович Разумовский желал иметь подробнейшее объяснение у себя дома, видя что при многочисленном собрании я не мог так свободно объяснять его.

Граф был очень тронут идеей до слез и с восторгом спросил, чем он может быть полезным, чтоб дать этому делу ход, предвидя затруднения, которые оному сделают.

— Брат мой министр просвещения (тогда он был президентом Академии художеств). Он может многое (сделать) для вас; я полагаю не лишним снабдить вас при поездке в Петербург письмом к брату.

Я возражал:

— Извините, граф, ежели ответ мой покажется странен и невежлив. Сердечно благодарю за участие, принимаемое в сем деле. Но строгость моих правил, коим изменить не могу, запрещает мне пользоваться всяким искательством, а письмо ваше будет походить на протекцию; ибо я поставил правилом по этому делу ничего не просить, чтоб видеть волю и указание Провидения. Как труд мой важен, то я боюсь искательствами натянуть успех и взять на себя столь трудное дело, сопряженное с раздражением многих и ежели тогда я не в силах буду выполнить. Если же, вопреки моим правилам, дело будет иметь надлежащий ход и успех, тогда зак-

лючу, что оно имеет назначение свыше, и в таком случае я в состоянии буду перенести все препятствия.

Граф нашел мой отзыв не токмо не обидным, но был рад, что я так рассуждаю, хотя, впрочем, считал неизлишним письмо к брату.

Я отвечал, что, пожалуй, приму его; но только чтоб он заметил, что я не прошу оное.

Многие другие особы показывали внимание. Наконец я собрался в 1815 году в Петербург. Но я всех менее был доволен моим проектом, видя, впрочем, что он удовлетворяет характеру серьезной архитектуры. Впрочем, уверенность была, что мой проект будет избран, и (я) твердо полагался.

На дороге в Петербург я остановился в Твери у почтмейстера Новокщенова, с которым я познакомился в Москве, ибо и он жил в почтамте; я провел там с неделю, желая ему оставить памятник моих трудов, где я познакомился с сведущим математиком Карбоньером, впоследствии инженером, и о котором упоминаю потому, что после мы с ним встретились инако. Он в моем проекте особенно вникал в конструкцию купола, который у меня был проектирован из железа. В Твери нашел я обещанное письмо к Алексею Кирилловичу Разумовскому и, сверх того, к Александру Николаевичу Голицыну — от Льва Кирилловича Разумовского.

Между тем слух о моем проекте дошел до многих и предупредил меня в Петербурге. Я уже говорил, что некоторые из моих товарищей тоже занимались им, в числе их был один Мельников⁶, ныне профессор Академии художеств; он мне показывал свой проект еще прежде отъезда в Москву; но мог ли он мне понравиться, когда никакой мысли не лежало в основании его идеи. Несмотря на то, что Мельникова программы обыкновенно были хороши, ибо он имел хороший талант, но его проект был испещрен мелочами.

Слух о моем проекте и о духе, в коем он составлен, дошел до него. Возвратясь в Петербург, я встретился с ним на улице; он вспыхнул в лице, и я понял этот румянец, и первое слово было о моем проекте; удовлетворяя его желанию, я звал его на другой день придти посмотреть оный.

В назначенный час он явился. Внимательно смотря на проект, первый вопрос его был: «И неужели ты сам чертил его?»

— Твой вопрос обиден, — возразил я. — Это похоже на то, ежели бы у сочинителя спросили, сам ли он перебелил так хорошо.

— Все так, но, пожалуй, ты прежде не умел чертить.

— Умею теперь.

— Но так скоро?

— Стоит твердо желать, и успех несомненен. Сначала я чертил дурно и мысли мои выражались уродствами, потом занятие, размышление дали мне силы, одушевление; любовь довершила остальное. Вот смотри ряд, через который я дошел до проекта, — сказал я ему, подавая портфель, где хранились у меня все чертежи от первого до последнего.

С жадностью перебирал Мельников эти листы, и удивление его не уменьшалось. Он был доволен, хвалил, но я требовал его мнения как товарища и артиста, на что он отвечал:

— Стыдно их сказать, они есть, но такие мелочи, что совестно говорить.

Окончив это, он просил сказать ему идею, внутреннюю мысль храма.

— Мельников, — сказал я ему, — ты занимаешься тем же предметом; много уже я сделал, показав тебе свой проект, но ты хочешь еще знать и внутреннюю идею — этого не делается; но я докажу доверенность, которую имею к тебе. Человек с талантом не может быть подлецом.

После этого я объяснил ему храм свой; но объяснение мое было не систематично, без последовательности, разбивчито, я скрыл от него главную синтетическую мысль, из коей развивались все частности здания. Впрочем, он и не мог бы понять меня; хороший артист, он далек был от религиозного взора на эти предметы. Казалось, он довольствовался моим объяснением, и в душе его не возникало дальнейших вопросов.

Когда я кончил, я видел, что его удивление не прошло и в то же время что-то грустное, обиженное было на лице его.

— Вот тебе и объяснение, — сказал я ему в заключение, — хотя я и не предполагаю, чтобы ты когда-нибудь воспользовался им с черной целью; но ежели бы и хотел, то вот тебе моя рука, что это для тебя решительно невозможно; ты все перепутаешь.

И в самом деле, мог ли человек, не имеющий сам той идеи и еще более неспособный ее иметь, слыша объяснение некоторых частей, в разбивку, без порядка, мог ли он удовлетворительно, отчетливо, не зная общности, передать эти мысли и не должны ли были они у него перепутаться с другими мыслями и, следовательно, дойти до нелепости?

Мельников уверял.

Впоследствии увидим, как поступил он, и увидим всю верность высказанного здесь мнения. Теперь прибавлю, что г. Мельников распространил в Академии слух о достоинстве такого труда и с похвалою относился о моем проекте.

Князь Александр Николаевич Голицын собирал проекты, и я тотчас явился к нему с письмом от графа Разумовского. Князь сказал, что он давно слышал о моих занятиях и хотел со мною познакомиться, притом заметил, что он не может ничего особенного сделать для моего проекта, а, как и все прочие, повергнет рассмотрению императора.

— Я и не прошу ничего особенного, — возразил я, — но вот, впрочем, одна просьба: я письменного объяснения храма не сделаю и непременно хочу оное сделать лично; доведите это до сведения императора.

Князь обещал. Он назначил (мне) на третий день явиться с проектом и сделать полное объяснение оного.

Князь сказал, что, вероятно, проект мой требует больших издержек; «это одно может остановить выбор его и потому хорошо было бы, ежели вы занялись отделкою другого проекта в меньшем виде. Государь еще будет не скоро, успеть можете».

Я обещал, поняв всю важность слов князя. Являсь в назначенное время, я нашел (у князя) архимандрита Филарета⁷, впоследствии столь известного, Александра Александровича Ленивцева, друга князя, и обер-шенка Кошелева, и камергера Кологривова. При сих лицах сделал я полное объяснение своего проекта. Я наиболее обращал свои замечания Филарету, который тогда стал обращать внимание (на себя) своими проповедями, желая знать, нет ли чего противного догматам российской церкви. С какою целью, вероятно, князь его и пригласил. Филарет вполне оправдывал мои идеи и весьма находил их приличными греко-русской церкви, сделав одно замечание:

— Вы поместили семь добродетелей: веру, надежду, любовь, чистоту, смирение, благодать и славу, которые, как вы говорите, помещены на известном образе храма Премудрости; но я полагаю, что последние две добродетели, слава и благодать, более бы могли относиться ко внутренности храма, нежели ко внешности его.

Найдя замечание его весьма основательным, тотчас изменил это. Князь остался весьма доволен.

При прощании сказал он мне:

— Ежели любите хорошее служение, каждое воскресенье в моей домово́й церкви собираются мои приятели, приглашаю и вас.

Я не преминул быть, и князь спрашивал:

— Как вам нравится церковь?

— Довольно хороша для домово́й церкви, но иконостас с погрешностями; но наиболее не нравятся мне царские врата (они были устроены известным Воронихиным).

— Да мне и самому не очень нравится иконостас, — сказал князь, — но что именно находите вы в царских вратах?

— Во-первых, самые врата имеют характер грубый, в то время как по своей идее они должны быть прозрачны и легки; далее, главнейший недостаток, что завеса голубого цвета.

— Какого же цвета должна она быть? — спросил князь с некоторым изумлением.

— Именно красного.

Почему?

Ответ мой состоял из текста св. Павла: «Имущему дерзновение, братие, входить в Святая, кровию Иисус Христовой чрез завесу путем новым и живым, его же обновил есть нам, сиречь плотию своею».

Князь был изумлен резкостью идеи и тотчас меня просил сделать чертеж для царских врат, который я ему сделал, торопясь удовлетворить просьбу его, ибо он желал, чтоб они были готовы к приезду императора, который часто посещал его церковь и, следовательно, мог бы увидеть труд мой.

Я сделал рисунок, по коему царские врата состояли как бы из лучей света из иконостаса; находя хорошо изображенными эти лучи в образе Троицы, я составил царские врата из продолжения их. Внизу помещен был белый квадратный краеугольный камень, на котором, в виде барельефа, изображены были Благовещение и четыре Евангелиста, ниже, на самом камне, текст вышепрописанный. На камне лежали на поставе потир, а выше, в самых лучах, как бы носился самый венец терновый. Сквозь лучи видна завеса, составленная из красного креста на белом поле, чтоб отделить христианскую завесу от ветхозаветной в храме Соломонове; к сему вел и следующий текст: «И убелиши ризы свои в крови агнчей» (Апокалипсис).

Между тем с другим письмом явился я к министру просвещения, под влиянием которого находилась Академия художеств. Граф принял чрезвычайно благосклонно письмо и назначил в тот же день быть у него с проектом. Я исполнил это. Около двух часов провел я у него в кабинете с величайшим удовольствием. Граф был поражен новостью идеи и сказал:

— Это новая поэзия в архитектуре.

Надлежит знать, что граф слыл человеком неприступным и гордым; он удалялся от всех, даже от своих домашних. Члены Академии никогда не достаивались быть при-

нимаемы им. Ласки его к молодому человеку — пансионеру Академии, два часа проведенные с ним в кабинете, наконец похвалы моему проекту, который он называл чистым произведением вдохновения, раздражили Академию.

Несмотря на размолвку мою с Лабзиным, я, занимаясь столь важным предметом, находил нужду забыть неприятности и явился к нему; но я хотел показать ему, что благодарность к нему у меня не иссякла. Сверх того, я хотел представить свой проект на рассмотрение Академии в ее общее заседание, которое скоро надлежало быть, а Лабзин был конференц-секретарем. Несмотря на гордый характер, он принял меня с сердечным удовольствием.

— Покажи же, брат, свои труды, о которых так много говорят.

— Мне весьма будет приятно слышать ваше мнение, — возразил я, — по предмету, столь близкому вашей душе.

Вскоре удовлетворил я его желание. Сначала все шло хорошо и Лабзин был доволен; но среди самого объяснения произошел горячий спор.

Я сказал: «Вот, Александр Федорович, вы хвалите мои труды теперь, а когда я жил в Москве, не вы ли с Академией затрудняли меня письмами и мучили своими требованиями, вместо того чтобы способствовать развитию моему. В вас и в Академии я нашел наибольшее препятствие, и теперь я от нее ничего хорошего не жду».

Лабзин спросил: «Но чего же ты хочешь от Академии, ведь ты ее оставил и отказался от вояжа?»

— Быть баллотировану в члены Академии по сему проекту, который я хочу представить.

Лабзин вспыхнул и вскричал:

— Это не по форме, ты знаешь порядок, Академия назначает тему...

— Но я никакой другой программой не буду заниматься; сверх того, Академия за три года предлагала мне быть членом, от чего я отказался в пользу путешествия; отчего же теперь она откажет после столь важного труда? Я посвятил себя одному храму, на него употреблены все силы души моей, и для выполнения форм Академии не хочу чертить какую-нибудь конюшню.

Кончилось тем, что, не желая слышать колкие слова, я завернул свой проект, не продолжая объяснение, и откланялся. В тот же день я явился с той же целью к вице-президенту Академии Чекалевскому, который был очень обрадован моим приходом. Я объявил ему желание представить проект для баллотирования в члены.

— Очень рад, — сказал он с некоторым недоумением, — но скажите, любезнейший, вы прежде ведь не занимались архитектурой? Как же вы сделали такой огромный проект и как предпринять такое трудное дело?

— Правда, что я прежде не занимался архитектурой, но кто же может поставить предел Тому, кто раздает таланты и дарования? Не показывает ли самое слово, что это дается свыше тому, кому Он возжелает.

Чекалевский сделал престранную физиономию; обыкновенная доброта перемешалась с сомнением и он сказал: «Хорошо, хорошо».

Он был занят, и я расстался с ним. И каково же было мое удивление через несколько дней узнать, что добрый Чекалевский с сердечным участием говорил: «Как жаль, ведь Витберг помешался. Он мне говорил о каких-то откровениях, о Боге».

Этот язык, коим я говорил, казался им языком безумия! Хотя мне было и очень смешно, но, однако, я боялся, что этот слух распространится и что странно будет Академии рассматривать проект умалишенного. Из размолвки с Лабзиным, тем более что я уже знал раздражение (против меня) академиков за прием министра, я понял уже, какие препятствия я должен был встретить в общем собрании Академии.

Между тем как до 1-го сентября (время баллотирования в Академии) оставалось времени довольно, то оное посвящено было составлению меньшего проекта в тех же идеях...

Все... кончилось «доброй манерой». Один знакомый советовал мне еще раз сходить к вице-президенту; мне не хотелось, я боялся увлечься негодованием, долго не решался, но наконец пошел, именно потому, что не хотел. От него-то я узнал, что академики потому не внимали моей просьбе, что боялись, что я им загорожу дорогу и что они, долгое время работающие на этом поприще, должны будут уступить мне. Но я брался объяснить профессорам, что не загорожу им дороги.

Добрый вице-президент, узнав, что я ищу звание члена для того, чтоб иметь какое-либо значение, вступая в брак, советовал мне баллотироваться не по архитектуре и для этого послать Академии какой-нибудь из прежних трудов.

Я говорил, что все это ученические опыты и не более того (обработан сюжет «Освобождение ап. Петра»).

Эскиз (этот) освобождения ап. Петра из темницы (и) был мною доставлен вице-президенту. Составили экстраординарный совет из всех профессоров и единогласно избрали меня

в члены; из 30 баллов были только 3 черных. Вице-президент уверял, что я еду из Петербурга и, вероятно, женившись, брошу архитектурные занятия. Узнавши причину, почему я искал, они с радостью исполнили предложение вице-президента. Вице-президент поздравлял меня письменно, замечая, что никто не был баллотирован одними профессорами и с таким большинством. Через несколько дней прислали и диплом.

IV

Между тем и второй (малый) проект пришел к окончанию. Распоряжение Академии о принятии меня членом было совершено во времени, ибо через несколько дней оно уже не доставило бы мне того удовольствия.

Вскоре после того воспоследовало прибытие государя императора из чужих краев.

По прошествии нескольких дней по приезде императора прислан за мною князь Александр Николаевич, который мне объявил, что на другой день надлежало быть готовым: предстать пред лицом государя.

— Государь будет у меня у обедни; кстати император увидит кое-что из ваших трудов у меня в церкви (царские врата были уже сделаны), и после обедни будет рассматривать поступившие ко мне проекты, в том числе и ваш; итак, будьте здесь, чтоб тотчас явиться, ежели государь спросит.

Приглашение сие было согласно с тем условием, которое я сделал, что иначе как лично не могу объяснить мой проект.

На другое утро я проснулся очень рано. Естественно, что хотя давно я ожидал сего дня, но что по приближении оно я был озабочен: 1) я никогда не имел счастья быть представлен государю, следовательно, боялся (чтоб) не смешаться; 2) я объяснялся не довольно громким голосом, а государь худо слышал; 3) я не мог не понимать, что объяснения, мною делаемые, были довольно пространны, несвязны и наполнены повторениями, но здесь надлежало объяснять кратко и с тем вместе столько полно, чтоб ни одна из главных идей не была пропущена.

Впрочем, эти мысли не сбивали меня; я надеялся сладить со всем, (потому что) чистота намерения и вера в Провидение заставляли меня думать, что я превозмогу или что само собою все учредится.

В таких мыслях я оставался покойным. Проснулся часа в три; вставать было рано: все спали в доме сестры, где я жил, и я, не вставая, начал обдумывать новую методу объ-

яснения, которая была бы несравненно короче и яснее. О подробностях я не думал и расположил только главные части его, предоставляя настоящему одушевлению остальное. Я был доволен им. Таким образом, в надлежащее время явился я в дом князя Александра Николаевича.

По окончании обеда в кабинет князя был подан завтрак. После завтрака я был потребован в кабинет.

Несмотря на спокойное состояние духа, в котором я был, я смутился в это время. Я взошел. Государь, в другой стороне кабинета занимаясь с князем Александром Николаевичем, держал в руке книгу. Заметив мой вход, сложил книгу и, кивнув головою, взглянул на меня, и взглянул так, что все смущение в одно мгновение прошло: я был развязан, столь много исполнен был этот взгляд добротою, взгляд, унаследованный от императрицы Екатерины. Государь после продолжал рассматривать книгу; спустя несколько минут положил книгу и подошел к столу. Несколько проектов лежали на большом столе, среди кабинета. В числе сих проектов был проект Гваренги, вроде Пантеона, известного зодчего, который строил ассигнационный банк в С.-Петербурге; за его проект весьма ходатайствовала императрица Мария Федоровна; (был) присланный из Италии еще проект, совершенно не соответствующий греческой церкви; (из) наших зодчих — Воронихина (в византийском вкусе); Михайлова, которому принадлежит проект Петровского театра в Москве, произведенный г.Бове, который дозволил, чтоб ему присвоили сей проект, а чугунные укрепления лож принадлежат тоже не Бове, а Девису, тоже железные укрепления, стропилы...

Государь обратился ко мне и с необыкновенной благосклонностью сказал мне:

— Я рассматривал ваш проект и с нетерпением жду слышать объяснения. (Император имел обыкновение, видя первый раз человека, говорить ему «вы».)

Я поспешил подойти к столу, чтоб аранжировать место; но государь предупредил меня, сдвинув в сторону свертки, взял стул, подвинул его к столу и сел; с одной стороны сел князь Александр Николаевич. Государь указал мне на стул, с другой стороны стоявший; но я этим не воспользовался, но, стоя с правой стороны, начал свое объяснение. Я развернул оба проекта; но государь заметил, чтобы я отложил маленький проект, который хорош, но похож на прочие из числа обыкновенных вещей.

— Мне нравится большой проект. В нем я заметил особенную оригинальность.

Александр слушал с необычайным вниманием, часто глядя мне в глаза. Остерегался прерывать мою речь и тогда только спрашивал повторения, когда недослышал чего. Переспрашивая что-то, государь указывал рукою на плане; пламенно объясняя, я сдвинул руку императора и был до того увлечен, что даже забыл извиниться и впоследствии уже догадался о несообразности сего действия. Перед окончанием я заметил слезу на глазах Александра.

Цари редко плачут! Вот была полная награда для меня, которую нельзя променять на ордена и отличия.

По окончании полного объяснения (государь) сказал:

— Я чрезвычайно доволен вашим проектом. Вы отгадали мое желание, удовлетворили моей мысли об этом храме. Я желал, чтобы он был не одна куча камней, как обыкновенные здания, но был одушевлен какой-либо религиозной идеею; но я никак не ожидал получить какое-либо удовлетворение, не ждал, чтоб кто-либо (был) одушевлен ею, и потому скрывал свое желание. И вот я рассматривал до 20-ти проектов, в числе которых есть весьма хорошие, но все вещи самые обыкновенные. Вы же заставили камни говорить. Но уверены ли вы, что все части вашего храма будут удобоисполнимы?

Натурально государь ждал получить ответ удовлетворительный, но вышло другое.

— Нет, государь, — отвечал я. Этот ответ привел государя в недоумение, и, не дожидаясь другого вопроса, я прибавил:

— Представленный вашему величеству проект мой есть труд охотника, изучавшего архитектуру на самом проекте. И потому весьма вероятно, что в нем много найдется, что надлежит привести в лучший порядок при практическом исполнении. Я довольствовался выразить токмо мои мысли об этом предмете, предоставляя архитекторам привести оное в исполнение. С своей стороны, я уже вполне награжден воззрением вашего величества на мой труд.

Тут же я указал на один предмет, затруднявший меня.

— Так вы до этого времени не занимались архитектурою?

— Нет, государь, я изучился ей над этим проектом.

— Как же вы могли решиться на столь трудное предприятие, не занимаясь архитектурою? — спросил государь с удивлением и выжидая моего ответа.

— На этот вопрос, ваше величество, я ничего более сказать не могу, как только то, что сильно желал заняться

этим предметом, чтобы выразить свою мысль; твердо был уверен, что все зависит от твердой воли нашей и что, имея какие-либо способности, можем сегодня успеть в том, чего мы вчера не знали.

— Да, это справедливо, мы сейчас говорили об этом с князем; человек все может, ежели захочет. И вы то же доказываете своим трудом. Но, — рассматривая меня, сказал государь, — я желал бы знать несколько ход вашего воспитания.

— Я родился в Петербурге и лет десяти был отдан родителями в Горный кадетский корпус. Спустя год состоялся высочайший указ об отдаче в оспенный дом всех детей, не имевших оспы; родители, боясь сего, взяли меня домой; доктор привил мне дурную материю, следствием чего скопившаяся материя в правом боку составила опухоль. Сделана была операция. Рана была открыта и продолжалась два года, вследствие чего я должен был оставить корпус. Я был отдан в пансион лютеранской (церкви) св. Анны, где по совету почтенного Шлейсера (оперировавшего меня) должен был обучаться латинскому языку для того, чтоб впоследствии учиться медицине. Но когда я оканчивал свой курс в сказанном пансионе, то во мне стало открываться другое желание. Во-первых, по чувствам моим, я не мог хладнокровно предаваться науке, (в) коей (не) прилежание и небрежности могли быть смертельными несчастным страдальцам, и потому имел уже отвращение от самой науки. Напротив, большую склонность имел я к изящным искусствам, к чему меня поощряли еще более слова учителя, говорившего, что сам Бог велит вам быть в Академии. Я открыл моему родителю желание. Он не хотел мне препятствовать⁸ и я поступил в Академию, избрав историческую живопись как высшую часть. В четыре года я успел превзойти всех своих товарищей и получить все медали. Я был назначен для усовершенствования путешествовать в чужие края на счет Академии. Случившаяся война и упадок курса воспрепятствовали путешествию, ибо давали 800 рублей в год, которые составляли за границей 200 (червонцев.). Таким образом, прошли 6 лет в ожидании. В 1815 году представился случай ехать в Москву; я взял отпуск от Академии. С самого издания манифеста вашего величества о намерении соорудить храм мне казалось, что я отгадываю или понимаю вашу мысль. Идея моя была без исполнения, по незнанию архитектуры; наконец в Москве, при воззрении Кремля, где два приятеля желали знать мое мнение о построении храма в Кремле, решился исполнить мысль свою и заняться проектом

и изучить архитектуру, пренебрегая всеми (посторонними) занятиями. Таким образом трудился я два года, и наконец составил проект, который имею теперь счастье представить вашему величеству. Итак, этот проект есть только выражение мысли моей. Если проект вашему величеству нравится и если угодно вашему величеству, чтоб он был осуществлен, то я желал бы иметь время на поправление его, с помощью Того, Кому он посвящается, и тогда, я надеюсь, что он будет изъят всех ошибок.

— И я уверен,— сказал пылко император, ударив меня по плечу.

Этим разговор кончился. Государь дал знак удалиться склонением головы; я вышел.

Я был в восторге от императора. Это чувство любви, разлитое в его взорах, заставило бы меня влюбиться в него, ежели бы я был (женщиной). Чего не в состоянии сделать подданный для такого царя!

Итак, исполнилось то, в чем я был странным образом уверен темным предчувствием, увлекавшим меня в занятие новое, неизвестное, без задатка школьного учения.

V

На другой день я явился к князю (Голицыну).

— Объяснение ваше вчерашнее было прекрасно, — сказал он, — несравненно лучше всех предыдущих. Государь был чрезвычайно вами доволен. Но он не согласен предоставить производство дела другим; он хочет, чтобы вы были (строителем), полагая, что ежели вы в состоянии были создать этот проект и выучиться архитектуре, то можете обработать и дальнейшее при помощи людей, но под личным вашим руководством. Теперь государь дает вам время обработать, по вашему желанию, проект, и с тем вместе причисляет вас к своему Кабинету, с получением 2000 рублей жалования, и жалуует единовременную награду, состоящую из 5000 рублей.

На это возразил я, что весьма высоко ценю милость государя, но что же я буду делать в Кабинете; гораздо лучше желал бы я поместиться где-нибудь по ведомству путей сообщения.

— Хорошо, — сказал князь, помолчав, — я вам дам письмо к генералу Бетанкуру⁹. Государь заметил сделанные под руководством вашим царские врата и нашел в них новую идею, которая весьма понравилась. Что же касается до некоторых подробностей по практической части, государь

желает, чтобы вы посоветовались с Стасовым, от которого можете многое заимствовать и не терять времени за собственным обработыванием.

Это оскорбило меня несколько и я возразил:

— Ежели государь считает меня достойным на избранное дело, то я найду время на обработывание. А советоваться с архитекторами мне будет неприятно. Они мне теперь враги, и чего же я могу ждать от их совета? Боюсь их школьного учения. И вы, князь, знаете мои чувства на этот счет.

— Вы хотите, — спросил он, — чтобы я передал ваши слова императору?

— Да, непременно, ваше сиятельство; лучше пусть он заблаговременно знает меня. Впрочем, — прибавил я, — против Стасова ничего не имею, и напротив, уже одно то, что он учился не в Академии и гоним ею¹⁰, говорит в его пользу, хотя я его и не знаю.

Князь передал мои слова государю, но государь велел мне сказать, что зная чувства Стасова, он рекомендовал мне (его), что и теперь повторяет свои советы.

Нечего было делать, я отправился к Стасову. В нем нашел я совсем не ученого педанта, но истинного артиста, высокообразованного, с превосходным взглядом на науку и который точно во многом способствовал к объяснению некоторых не совсем ясных мест архитектуры. Стасов мне сказал, что император уже говорил о моем проекте с ним и что он ему весьма нравится; но сделал некоторые замечания, кои были столь основательны, что я ими тотчас и воспользовался.

Впоследствии князь Александр Николаевич объявил мне, что государю неуютно, чтоб храм был воздвигнут в Кремле, ибо неприлично разрушать древний Кремль и самое здание будет неуместно, смешиваясь с византийскими зданиями Кремля. Вследствие чего князь обещал меня снабдить инструкциею для отъезда в Москву, ибо государь предоставил мне избрание места ...

Перед отъездом моим однажды я был внезапно потребован к графу Аракчееву через курьера, пришедшего от князя Александра Николаевича. Граф сам подъезжал к дому князя и строжайшим образом приказал экзекутору, чтоб я сам явился к нему в известный час по воле государя. Мне было очень странно и грозное приглашение, и то, что он сам подъезжал к дому князя, от коего я знал вполне об отношениях графа. После я узнал, что причина этого спеха была та, что он (граф) забыл приказание государя, а в тот день в обед надлежало ему донести о том государю.

Я явился к графу. Он принял меня весьма благосклонно. Он объявил, что государь поручил ему сказать мне, что «прежде нежели вы уедете в Москву, его величеству угодно рассмотреть со мною проект в Таврическом дворце», куда, ежели потребуют меня, чтоб я был готов. А если за мною не пришлют, то чтобы я явился к нему в 5 часов.

В назначенное время я явился к графу, который объявил мне, что государь думает, что горка на Язуе — место весьма удобное для храма, которое имеет и косогор и реку, входящую в состав проекта¹¹.

«По подробном рассмотрении проекта вы немедленно пришлете свое мнение; впрочем, относитесь к князю Александру Николаевичу, от которого вы и будете получать нужные предписания».

Получив все нужные предписания, я отправился в Москву ...

VI

Приехавши в Москву весной 1816 года, я не мог остановиться у Рунича в почтамте, ибо место его уже занимал К.Я.Булгаков. Тотчас явился я к архиепископу Августину¹², с которым я уже был знаком через известного доктора М.Я.Мудрова¹³.

Я в нем (в Мудрове) видел человека с особенными дарованиями, и, несмотря на горячий нрав свой, одаренного весьма добрым сердцем. Он был доволен моими идеями и не находил ничего противного в них греко-российской церкви. Через него познакомился я еще с московским духовенством. Августин встретил меня следующими словами:

— Ну, поздравляю вас с успехом; я вперед был уверен, что проект будет одобрен, и потому уже очистил место для храма.

— Благодарю, ваше преосвященство; но вероятно, тут встретится ошибка, ибо государю неуютно, чтобы храм был строен в Кремле, и я теперь приехал для рассмотрения места на Вшивой горке.

— Ну не беда, — возразил Августин, — сломанная церковь Николы Гастунского, против архиерейского дома, всегда была не на месте¹⁴.

Архиепископ приглашал меня остановиться в одном из его подворьев, под названием Заборовского. Я благодарил за предложение; но заметил, что я скоро отправлюсь для бракосочетания и что мне, женатому человеку, может быть, будет неприлично жить в архиерейском подворье.

— Ничего, для вас можно позволить. Итак, прошу сво-

бодно расположиться в Заборовском подворье. Там я и поместился.

Немедленно занялся я рассматриванием места на Вшивой горке; после сего доносил я князю Александру Николаевичу, что следующие неудобства находятся при выборе сего места: 1) что недоставало достаточного пространства для нужной площади храма; 2) что многие из купцов, имевшие тут дома, успели уже обстроиться после пожара и что следовало все сии дома приобрести покупкою, что могло потребовать большую сумму, особенно, приняв в уважение, что (тут же) и прекрасный огромный дом Шепелева, который один мог стоить более миллиона и без которого место было бы недостаточно; 3) а как при таковых покупках не обходится без того, чтоб богатый не был в выгоде, а бедный притеснен, теряя свой последний дом, то прилично ли на таком основании воздвигать храм, предоставляю на благорассмотрение правительства.

По отправлении сей бумаги в Петербург отправился я в Смоленскую губернию, в поместье будущего моего тестя...

Бракосочетание мое было в селе Царево-Займище, в церкви деревянной. Она замечательна как построенная еще при царе Алексее Михайловиче и потому, что тут князь Кутузов принял команду над армиею.

Спустя несколько времени я возвратился в Москву, куда ожидали императора и царскую фамилию, чтобы оттуда ехать в Петербург.

По возвращении в Москву после свадьбы, куда приехала и царская фамилия, я был потребован графом Аракчеевым, который мне объявил, что так как я нахожу неудобным место на Вшивой горке, (то) государь приказывает осмотреть место пороховых магазинов, близ Симонова монастыря, и чтоб к 5-ти часам вечера я доставил письменно мое мнение.

Отправясь в назначенное время, я узнал, что в монастыре был граф, и что, следственно, им оно избрано, и что нужно будет мне оспаривать его, ибо место не годилось. Но как я решил во всех действиях поступать прямо, то я решился и тут мнение мое высказать все, которое к назначенному времени я и представил. Неудобства были следующие: 1) хотя местоположение превосходно, но нижняя площадь храма должна будет подвергаться разлитию Москвы-реки; 2) проезд к храму не может быть прямой, а сбоку, от Рогожской заставы, что для важности предмета есть уже недостаток; 3) если б проложить прямую дорогу, минуя заставу и сделать мост через реку, прямо против фасада хра-

ма, то это не имело бы успеха, ибо дорога шла бы самой бедной частью города, состоящей из одних лачуг; 4) самый Симонов монастырь, хороший теперь, в византийском (sic) вкусе, потерял бы много, будучи возле нового здания, в греческом (sic) стиле. С другой стороны, и новое здание пострададо бы от пестроты старого.

Граф сильно стал оспаривать мои доказательства, то находя, что площадь можно возвысить, то что дорогу можно проложить. Я не считал приличным уступать и опровергал все доказательства графа, как по справедливости дела, так и потому, что граф мог для испытания спорить, чтобы увидеть, тверд ли я во мнении и не уступлю ли ему из угождения.

Наконец разговор наш принял вид горячего спора. Может, граф давно уже не слышал, чтобы опровергали его мысли. Прение продолжалось добрых полчаса; я не поддался, и каково же было мое удивление, когда граф вдруг сказал:

— Однако же я согласен с вами, — чем почти и подтвердил мое подозрение. — Но какое же другое место вы бы имели в виду?

— Кроме Воробьевых гор, ни одного.

— Вы хотите, чтобы я так государю и доложил?

— Прошу, ваше сиятельство.

— В таком случае будьте готовы; вероятно, его величество завтра утром позовет вас.

Мы расстались. На следующее утро я, по приказанию императора, явился к нему. Когда я вошел в кабинет, государь встретил меня следующими словами:

— Ты избираешь Воробьевы горы; я рад, что мы так согласны. Хотя я прежде и назначил место хорошее, Вшивую горку, но ты мне объяснил неудобства; сверх того, оно и потому не хорошо, что здание путалось бы с городскими строениями. Напротив, на месте Воробьевых гор оно чисто и открыто, и горы, как корона Москвы, совершенно приличествуют (sic). К тому же это место мое.

Сказав несколько слов в пользу сего места, я приводил некоторые примеры местоположения известных зданий в Европе, которые редко помещались в самом городе. «Если место это кажется отдаленным, то, во-первых, полагаю, совершенно согласно с мнением вашего величества, что оно совершенно открыто, и в самом городе нет достаточного места, потребного для изящного здания. Это же не есть обыкновенная церковь, куда стекается народ, их много и в городе; но с тем вместе и великолепный памятник. Церковь св.Петра в Риме за стеною города, так же в Лондоне цер-

ковь св. Павла далеко от центра города. Ибо нельзя обнимать красоту здания, когда нельзя его видеть свободным на довольно большое пространство, которое в городе иметь трудно. Здесь еще превосходное удобство делает Девичье поле, позволяющее видеть здание в его геометральном виде. Не менее приятно видеть на этом месте рощу, посаженную великим Петром. Долгое время место сие по красоте своей имело загородный дворец и не неприлично, чтоб вместо дома царского был воздвигнут дом Божий. Я смотрел с этого места на Москву: сколь город ни обширен и ни велик, но он кажется ничтожным с места храма; величина города, поглощенная отдалением, смиряется перед храмом.

— Да, или, лучше сказать, Москва лежит как бы у ног храма Спасителя.

— Еще одна из главнейших исторических причин избрания сего места есть та, что оно лежит между обоими путями неприятеля, взошедшего по Смоленской дороге и вышедшего по Калужской; окраины горы были как бы последним местом, где был неприятель. Наконец не менее важно и то, что место сие изобилует глиною и песком, что очень полезно для построения, и составляющие (sic) капитал для здания и, сверх того, находясь выше Каменного моста по течению реки, дает беспрепятственную возможность для доставления водою матерьялов. Условные требования были: река и косогор; здесь они выполнены вполне, и косогор дает еще возможность обратить в сад косогор, что одушевит здание и будет служить местом отдохновения.

Государь с большим вниманием слушал доводы, соглашался с ними и, прощаясь, сказал, что скоро надеется видеться со мною в Петербурге.

— Где, вероятно, ты скоро представишь мне некоторые усовершенствования твоего проекта в применении к избранному месту.

Государю угодно было такого-то дня (sic) самому осмотреть это место, то оному я стал готовить генеральный план. Государь обедал в этот день у князя Н.Б. Юсупова в селе Васильевском, находящемся на Воробьевых горах, возле избираемого места, и оттуда предположено было отправиться к месту осмотра. Между тем я приготовил план местоположения для удобнейшего ознакомления государя императора с общностью идей. Я не успел его (сделать) заблаговременно и, едва окончив, отправился на горы, спеша на место; я поехал с одним приятелем, который был свидетелем моих занятий, чиновником почтамта Серапиным. На Девичьем поле взоры

мои были обращены на Воробьевы горы, боясь, что опоздал. Там было большое стечение народа; день был совершенно ясный, небо чисто; но над самыми горами, где толпился народ, на совершенно чистом небе линия облаков, коих форма, число обратило особенное внимание. Я глядел на них, не говоря моему товарищу, но тот и сам заметил.

— А видите ли, какое странное явление?

— Да, я уже видел; это, конечно, присутствие Благословенного царя привлекают небеса к этому месту.

— Нет, — сказал товарищ, — это фимиам будущего храма вашего.

С трудом, прибывши на горы, я мог добраться к государю через толпы народа. Изображение облаков я в виде рисунка довел до его величества, где (sic) он, вероятно, хранится. государь заметил, что много встречается странного относительно храма.

После сего я вскоре отправился в Петербург и занялся обработыванием своего чертежа, и летом 1817 года имел счастье представить государю обработанный проект. Когда назначил он явиться мне, я был болен и боялся не быть в состоянии объяснить государю чертежа. Но князь Александр Николаевич говорил, что надлежит себя переломить, и что Бог знает, когда государь будет иметь опять свободное время, и что он предварит государя о болезненном состоянии моем. Я явился во дворец, где уже находился князь Александр Николаевич. Государь принял чрезвычайно благосклонно, спрашивал о моей болезни, о причине оной, требовал, чтоб я сел, и я должен был исполнить.

(Государь) остался весьма довольным переменами, сделанными мною на чертеже.

Наконец было положено, чтоб я отправился в Москву для приготовления фундамента для закладки храма; для содействия мне в сем я был снабжен письмом — от 6 августа 1817 года, день Преображения — от князя Александра Николаевича, по приказу его величества к графу Тормасову, главнокомандующему в Москве, чтоб оно было готово к приезду в Москву государя, и закладка назначена 12 октября, т.е. в день изгнания неприятеля.

VII

В Москве остановился я опять в Заборовском подворье (август 1817 года). Немедленно явился я к графу Тормасову с требованием содействия, что и предоставлено им было требовать от строительной комиссии.

Проложив главную проекционную линию и очистив ко-согор от кустарников, чтобы можно было пройти свободно до места, где надлежало положить первый камень, я просил Августина лично окропить и благословить место закладки.

Преосвященный не мог в тот день удовлетворить моей просьбы, но на другой день обещался быть, будучи близко, в Даниловом монастыре, где освящал раку, куда и меня пригласил, и тут мы были на монашеской трапезе, я и Мудров.

После обеда поехали на Воробьевы горы, где преосвященный с духовенством необыкновенно радостно отслужил молебен с водосвятием. Окропил место святою водою и водрузил на показанном месте простой крест, тут же составленный работниками. После чего, на другой же день, началась выемка земли и приготовление фундамента, оставляя конусообразно место креста. Несмотря на всю мою торопливость, работники не могли прежде окончить выемку земли, как только к 13-му сентября — день празднования обновления храма. Хотя я собирался утром туда, но, отвлеченный иными делами, явился после обеда и только к этому времени успели работники. Призвав священника с Воробьевых гор, который отслужил молебен, я снял крест, водруженный преосвященным Августином, держал его в руке до тех пор, пока работники срыли находящийся под ним конус земли, и, опустивши, водрузил его в грунт, положив крестообразно 4 камня около него. Священник и бывшие тут довершили обкладывание камнями креста. Оставляя работникам дальнейшее забучивание фундамента, я поспешил в Успенский собор, куда согласился я быть с Мудровым, чтобы видеть богослужение Воздвижения креста, которое я никогда не видел и которое только совершается в Успенском соборе. Каково же было мое удивление, когда, взойдя в собор, я увидел действие, много сходное с совершенным на горах. Торжество сие весьма великолепно и состоит в том, что архипастырь то воздвигал, то понижал с благоговением боготоржественный и увенчанный розами крест при пении священных гимнов, и когда крест понижали, то два иерея поливали на него розовую воду. Множество свечей придавали особую торжественность этой процессии.

С окончанием фундамента устраивалась терраса для процессии закладки достаточной величины, чтобы могла поместиться царская фамилия, главное духовенство и придворный штат, и от террасы — лестница до верха горы и дорога от Москвы-реки с лестницами же на крутых скатах.

Между тем я узнал, что понтонная рота находится близ Тарутина, и просил главнокомандующего, чтоб его содейст-

вием отряжено было два понтона в Москву и были бы наведены ко дню закладки храма, ибо шествие должно было начинаться с Девичьего поля. Граф сначала согласился; но на другой день предложил мне, не лучше ли сделать временный деревянный мост на сваях. Я возразил, что такой мост будет стоить довольно дорого, а понтоны ничего не стоят...

Как я мог заметить, граф был недоволен. В другой раз граф спрашивал меня, откуда начнется шествие: из Кремля или из (Ново-)Девичьего монастыря, и что ему это нужно знать потому, что по осеннему времени надлежит устроить от (Ново-)Девичьего монастыря деревянную дорогу ...

Государь император прибыл в Москву, и того ж дня вечером поздно, около полуночи, я был потребован к его величеству. Первые слова государя императора были: «Каково теперь твое здоровье?» Тут только дал я полную цену словам, сказанным мне перед отъездом до С.-Петербурга.

Государь спрашивал: «Все ли будет готово к надлежащему дню?»

Государь мне сказал, (что) ему сказали, будто терраса недовольно прочно устраивается.

— Ее еще и не начинали укреплять, ваше величество. И вероятно это-то самое сбilo понятие лица, доложившего вашему императорскому величеству, тем более что она уже покрывается досками. Позднее осеннее время заставляло опасаться ненастья и снега; в таком случае, ежели бы я занялся укреплением стоек террасы, то работники должны были бы без закрышки производить не так успешно работу, а укреплять стойки все равно прежде или после. Предположение мое оправдалось. Не успели закрыть настилку, как сырая погода и потом снег случились.

Государь остался доволен объяснением и сказал, что уверен, что я в этом случае не ошибусь.

— Тормасов, — продолжал государь, — мне что-то говорил о дороге и о мосте через реку и что ты не соглашаешься с ним, то я желаю знать твое мнение.

Я объяснил его величеству вышесказанное о мостах и о дороге, поставляя на вид, что кроме цены моста, понтоны очень приличны, ибо они служили и в самую войну, что весьма понравилось государю. Что же касается о дороге через Девичье поле, это тоже не нужно.

— Что касается до меня, я довольно привык ходить во время кампании, жена не отстанет от меня, а духовенство, вероятно, не затруднится тем. Итак, нет надобности бросать 40 тысяч для двух часов, когда можно без них обойтись...

Накануне торжества, ночью, при огне с фонарями, вся внутренность террасы была наполнена работниками так, что в два-три часа она была укреплена, а утром, незадолго до процессии, известил я графа, что терраса укреплена ...

Накануне император явился на горы, где я все нужно ему объяснял. Сходя от места закладки, (император) сказал: «Говорят, будто на этом месте есть много ключей?»

— Да, государь, и вот один из самых прелестнейших, и я ими воспользуюсь для известных вашему величеству водяных украшений. Впрочем, ненадобно полагать, чтобы сии ключи служили препятствием важным, хотя и потребуют некоторых издержек.

— Конечно, я не могу надеяться что-либо видеть при себе, (сказал государь), — но при предприятиях огромных, нечего смотреть на какие-нибудь издержки.

12 октября 1817.

VIII

Я душевно был предан Августину и часто бывал у него. Разумеется, разговор по большей части был религиозный. Он знал мои чувства, знал, как я восставал всегда против разделения христиан, как желал соединения в один храм христиан.

Одним утром, при многочисленном духовенстве, Августин стал убеждать меня присоединиться к греко-римской церкви.

— Не стыдно ли вам, — говорил он, — вы духом и всем принадлежите России, в ней родились, в ней воспитаны, теперь предпринимаете такое высокорелигиозное дело и остаетесь чужды нашей церкви и иностранцем между нами!

Внутренно я желал этого; но считал неприличным такую перемену. Сверх того, знакомство мое с Лабзиным, ревностным сыном греческой церкви, меня сблизило с нею. Обряды ее мне нравились давно по глубоким идеям и указаниям, в ней заключенным ...

Шведы имеют особый характер религиозности: это спокойное, почившее в себе убеждение, а не судорожное чувство итальянцев и испанцев; они все те же норманны, твердые, гордые, спокойные в своем достоинстве, убежденные в своих правах. Это спокойствие самое влечет их к таинственному. Этот характер шведов был мне очень знаком, потому что я с детства бывал у шведского посланника Штединга и еще более убедился в достоинстве одного, когда в 1826 году я в Москве часто бывал у него; прежде я не мог хорошо судить, но тут, испытавши всю горечь злобы людей, меня

поразил благородный, открытый нрав шведской молодежи, окружавшей посланника, их взгляд без лукавства.

Рожденный в церкви протестантской, я видел, что она, не довольствуясь одними наружными обрядами, стремится к развитию духа религии. Но, находясь с малолетства в двух российских учебных заведениях, я не мог не находить то, что заключается в прекрасных обрядах российской церкви. Вообще от самой природы было у меня врожденное чувство к истине и к религии. Предметы религиозные весьма занимали меня. В особенности же близкое знакомство с ученым секретарем Лабзиным, известным издателем «Сионского Вестника», служило пищею внутреннему влечению. Часто суждения его об обрядах греко-российской церкви имели на меня большое влияние, и я решительно увидел, что ежели для церкви обряды нужны, то они всего лучше в греческой церкви, ибо они заключают столь много глубоких указаний.

При таком направлении духа неудивительно, что слова Августина и духовенства имели на меня чрезвычайное влияние; как уроженец российский и пользуясь благодеяниями сей страны и делаясь участником столь важного памятника греческой церкви, я считал неприличным, чтобы не принадлежать к ней. С тем вместе мне все казалось, что этот шаг не должно делать, и духовенство не могло опровергнуть моих доводов. Я не мог согласиться с ними, что греко-российская церковь лучше других, ибо считал все христианские — равными.

Они говорили: «Если все равно, то и надлежит переменишь». Я отвечал, что потому-то и не следует того делать, что все равно.

— Ну полноте, полноте упираться; и без того знаю, что вы весь наш, дело за наружным — сказал Августин, — я предвижу, что будет так, и вперед даю мое пастырское благословение.

Между тем предмет сей меня очень занимал в то время, как я готовил закладку храма, и я решился об этом сказать князю Александру Николаевичу (Голицыну), чтоб он сказал о том его величеству: не находит ли он сего нужным по предпринятому занятию?

При сем рассказал мне князь довольно странное событие. После того, как он стал заниматься религиозными предметами, у него было обыкновение ежедневно утром читать Священное Писание, продолжая по порядку. Перед закладкою (храма) несколько дней, занятый очень делами, он не читал. В самый же день закладки, урвав минуту, он стал читать с того места, где остановился, и это было именно на

том, как Иорам (Хирам) начал выбирать работников для построения храма Соломонова.

— Много странного при этом храме, — сказал князь, — хорошо бы было, ежели бы вы вели журнал всем происшествиям сооружения храма; он будет занимателен.

Это было и мое желание, но отвлеченный сначала делами, потом интригами меня окружавшими, я оставался при одном намерении.

Вечером того же дня, когда была закладка, я всемилостивейше был пожалован чином коллежского асессора, и когда явился к князю Александру Николаевичу с благодарностью, то князь объявил поручение государя императора, что хотя бы и не имел надобности присоединения к греческой церкви, но теперь видит в том нужду, если это согласно с собственным моим желанием...

Так как в греко-российской церкви имени Карл не существует, то я принял имя Александра, ибо и сам император изъявил желание быть (моим) восприемником.

В сочельник, 24 декабря (1817 года), в домово́й церкви архиепископа Августина совершилось присоединение мое к российской церкви при священнодействии Августина. От имени государя был князь Александр Николаевич (Голицын). По желанию моему, кроме моей жены, посторонних свидетелей не было. Августин был в восторге...

XV

Не имея никакого руководителя, предоставленный собственному труду, естественно, я искал слышать суждения о моих идеях людей высоких своею душою. Перелистывая Витрувия и другие книги, я не нашел полного ответа на них, да и сверх того, я мог ими увлекаться, мог сбиться или не понимать. Таким образом, я с жадностью искал случая говорить с людьми мыслящими. Многих вельмож узнал я через графа Ростопчина, но от них я получал одну бесплодную похвалу, часто даже ни на чем не основанную. Августин сделал уже более, убедив меня, что в моих мыслях нет ничего противоположного религиозной мысли греко-российской церкви. Но я искал все еще большего авторитета и глубочайшей веры. К этому времени относится весьма важная встреча. Однажды М.Я.-Мудров, через которого я познакомился и с Августином, сказал, что он едет в деревню к Николаю Ивановичу Новикову и не хочу ли я ехать с ним? Я с восторгом принял это предложение; от этого человека я ждал многое.

Новиков, положивший основание новой эре цивилизации России, начавший истинный ход литературы, — деятель неутомимый, муж гениальный, передавший свет Европы и разливший его глубоко в грудь России. Чего же должен был я ждать от взгляда великого человека на храм, воздвигаемый Россиею, который всю жизнь воздвигал в ней храм иной, колоссальный и великий!

Новиков, жертва сильного стремления к благу родины, жил отшельником в небольшой деревне, единственном достоянии его, в 60 верстах от Москвы, с одним из оставшихся друзей и сотрудников, с Гамалеею. Меня пугала, правда, мысль, поселенная во мне Лабзиным, к этим людям. Он их представлял стариками строгими и неумолимыми, особенно Гамалеею. Хотя я и видел в этом отчасти гордость Лабзина, но все-таки боялся их грозной строгости, я молодой человек.

Мы поехали. По Бронницкой дороге, верст за 50 от Москвы, стал виднеться шпиль церкви села Тихвинского. Небольшая деревенька и бедная. Вскоре открылись и ветхий господский дом, обнаруживавший недостаток, запущенный сад, и все окружающее показывало нужду и отшельничество. Мы взошли. Я нашел Новикова старым, бледным, болезненным, но взор его еще горел и показывал, что еще может воспламеняться и любить. Большой открытый лоб и вид серьезный и длинные волосы сзади, но во время разговора его мина принимала вид чрезвычайно приятный. Он встретил меня с душевным расположением.

Вскоре взошел С.Н.Гамалея, тот строгий человек, о котором Лабзин говорил, что он неприступен при первом взгляде. Я вспомнил суждение Александра Федоровича (Лабзина), и как же удивился, когда нашел в нем (Гамалее) человека, исполненного любви и приветия. Правда, он был молчалив, говорил мало, резко. Новиков, напротив, был одарен превосходным даром красноречия. Речь его была увлекательна, даже самые уста его придавали какую-то сладость словам.

Я сказал Новикову о цели моего приезда. Он желал видеть проект, говорил, что очень рад, что я вздумал навесить старого страдальца и отшельника, что уже много о нем (т.е. о проекте) слышал, и я, развернув проект, начал мое объяснение, стараясь как можно строже изложить оное. Я мог заметить, что Гамалея меня слушал холоднее Новикова; но Новиков слушал как любитель изящного.

Тогда я просил суждения их:

— Всего лучше, — м.г., сказал Гамалея, — что вы положили храм свой в тройственном виде; ежели удастся выработать вам, то это будет хорошо.

Новиков хвалил мою идею, но говорил, что можно отбросить некоторые частности, чтоб чище оставалась главная идея. «Очень рад, что вы посвятили свой талант ни предмет столь достойный, и предвижу успех ваш».

— Это-то мне и было лестно слышать из уст ваших, потому более, что часто я слышал суждение Лабзина, который требовал отречения от всего наружного, как будто хорошо делает тот человек, который не развивает талант, данный самим Богом, и зарывает его в землю. Я прежде занимался с успехом историческою живописью; хотя и это есть орудие для прославления Бога, но мне казалось это недостаточным, и, когда вышел манифест 25 декабря 1812 года, тут-то я увидел настоящее призвание и предался сему предмету. Хотя и тут я видел, что буду заниматься одним наружным. «Какой храм воздвигнете вы Мне, не Я ли все сотворил?» Но мне казалось справедливым, что ежели люди себе приписывают славу и блеск, себе воздвигают дворцы и памятники, еще более придать блеска дому Божию и ежели уже нужен наружный храм, то чтобы он был не холодный камень, а живой, проникнутый идеею, которая не ограничивается одною изящностью формы, но в которой внутренний смысл, глубоко врезанный в каждую форму.

— Весьма несправедливо думают, будто наружные дарования, науки и художества препятствуют человеку внутренно возвышаться к Богу. Когда Бог одарил кого талантом, он обязан быть верным своему призванию, и вообще поэзия и искусства, эти сестры, отнюдь не мешают, но способствуют к внутреннему развитию. Слушая свое призвание, как бы покоряемся мы велению Бога; исполняя оное наилучшим образом, освящая целью высокой, следуя чистому одушевлению, мы служим лучшим образом для прославления Бога. Пусть пути разны — цель одна; пусть всякий исполняет свое, и совокупность сих трудов и усилий не воздвигнет ли настоящий храм Богу из целого мира! И для того-то познание самого себя есть важнейшее познание; оно нам покажет, с чистым ли побуждением избирает душа занятие или нет. И в этом случае мы нуждаемся опытом других, и друг, испытавший многое, может во многом предостеречь, отстранить горькие испытания; ибо не многое ли может сообщить отживающий юному, едва идущему по началу жизни.

Таким образом, Новиков еще более одушевился к моему предмету.

Гамалея, как строгий стоик, умерший для всего наружного, не мог рассуждать так, как Новиков, полный идей живых и пламенных, заметил, что, конечно, это хорошо; но ежели ваш проект будет избран, не опасаетесь ли вы тогда увлечься так вашими наружными занятиями, и исполняя по совести как верный сын Отечества, сложные и трудные должности, что вы принесете им на жертву вышнее, нежели чего они достойны.

Старики, казалось, полюбили меня. Я провел у них несколько дней и после раза два приезжал к ним. Каждый раз беседовали мы долго; мне было очень любопытно знать жизнь Новикова. Много рассказывал он. Мне уже отчасти было известно, что Новиков 7 лет провел в Шлиссельбургской крепости и освобожден при воцарении императора Павла, но не знал причин сему. Новиков, сколько мог, удовлетворил меня.

Когда он старался Русь познакомить с лучшими европейскими произведениями, тогда стеклись на его сильный призывный голос множество друзей, именем общей пользы и любви просвещения, чтобы совокупно работать в пользу образования. Тогда завел он огромную типографию, вскоре превзошедшую все заведенные правительством, и книжные лавки, пропагандируя просвещение; издавали журнал «Живописец», первый (?) литературный журнал в России. На все это, равно на образование множества молодых людей и путешествия их по Европе, друзья его и он сам отдавали свое достояние, и результаты были блестящие. Государыня лично знала его по службе, по талантам; но он в молодых годах оставил службу для своих высоких занятий. Занятия его и его друзей, чтоб иметь силу и быть обеспечену (от) всяких нападений, были делаемы под покровительством цесаревича Павла. Успех его типографии возбудил зависть и внимание; начали говорить об опасениях насчет столь огромной типографии в руках частного человека. Этот взгляд подкрепили какими-то подозрениями насчет избрания Павла Петровича протектором. Новиков, сколь ни был далек от всяких политических замыслов, вдруг был схвачен и после некоторых допросов посажен в крепость. Семь лет провел он там. При воцарении Павла его освободили; но семь лет тюрьмы и другие причины оставили его болезненным, и он удалился в свою расстроенную деревеньку Авдотьино, названную им Тихвинским, по местечку близ Шлиссельбурга, где жил он в величайшем уединении.

В то время, когда я познакомился с ними, я застал их обоих все еще занятыми. Гамалея переводил с немецкого и латинского языка книги герметические и религиозные.

Взгляд Новикова на сии предметы был чист, светел и обширен. Взгляд Гамалеи резок и положительен.

Новиков показал мне свою небольшую библиотеку, где было много книг (до 50), переплетенных собственною рукою Новикова. При этом он заметил: «Вот сколько труда; но с искреннею скорбью вижу, что некому завещать все это, некому передать мысли для продолжения начатого».

Впоследствии времени я раза два-три посещал их; в одно из посещений я просил его дозволить снять его портрет. Новиков позволил; но Гамалею я не мог уговорить¹⁵.

Дальнейшие подробности опустим мы; кто знает Новикова, тот знает, что он был за человек; кто же не знает, тот не может и искать здесь полного сведения об этом великом человеке. Прибавлю только, что у нас был неоднократно разговор о снах, и (я) пересказывал им о трех снах, виденных мною.

В первой молодости моей, ведя жизнь всегда строгую, я не мог не быть обуреваем страстями, тем более что они имели мало отверстий. Часто бывал я в доме у одного знакомого офицера. Он был женат, и жена прекрасная собою, кокетка. Я видел, что она ко мне равнодушна, и сам был очень занят ею; я всегда считал большою гнусностью обольщать чужую жену, как преступление, которое не может ничем выкупиться. Ибо лишающий невинности девушку имеет средство восстановить свое преступление; но тут семейное расстройство и ужаснейшие несчастья идут об руку с преступлением. Потому я употреблял все средства, чтоб уничтожить эту страсть. Наконец настала война 1807 года (sic) с Швециею, и муж ее отправился в армию. Я по-прежнему продолжал посещать ее иногда, и мало-помалу страсть возгоралась более, и наконец назначен был день для тайного свидания. Но ночь перед тем я видел следующий сон.

Идя по академическому коридору, выстланному кирпичами, в щели между ими вижу я червя, как бы раздавленного ногою. Я остановился и глядел на него с некоторым чувством сострадания и заметил, что в нем есть еще жизнь; я с большим вниманием смотрел на него и червяк оживлялся, начал двигаться, подыматься, вырастать до того, что уже из червя начал образовываться дракон, как мы его представляем в мифологии, и в этом виде он кидается на меня. Я, испугавшись, закричал; с тем вместе выбежали несколько женщин; казалось, дракон был их; они взяли его — и я проснулся.

Я понял, что этот сон был предостережением, и я отложил свое намерение и решительно отвергнул страсть свою.

На другой день, бывши у Лабзина, где был возвратившийся из чужих краев М.Я.Мудров, я рассказал свой сон.

Каково же было мое удивление, когда, выслушав это, Мудров достал из кармана маленькую книжку немецких стихов, где приискал мне место, в котором поэт представляет возрастающий порок сначала приветливым, потом с чертами ужасными, точно так буквально, как я видел во сне. Это еще более подкрепило мое объяснение сна.

И я навсегда было оставил знакомство с нею; но кончилась война, муж не возвращался, и вскоре пришло известие, что муж ее убит. Тогда почти погаснувшая страсть опять затлелась, тогда казался мне поступок не столь дурным, и я, забыв свои нравственные правила, отправился к ней; но и тут Провидение спасло меня от преступления. Я застал ее спящую и в таком непристойном виде, что с отращением ушел, никем не замеченный, и с тех пор решительно отказался от своего намерения.

Второй сон был следующий. На некотором возвышении видел я крест; к нему притягивали на веревках лежащую мраморную белого цвета фигуру. По мере того как стали ее ставить, статуя оживлялась, и наконец, когда поставили, она, совсем живая, села, ноги были сложены и руки лежали на коленях, голова поникнувши. Чрезвычайное смирение выражалось на лице, и это был сам Спаситель. Я находил некоторое сходство во лбу с Юпитером Олимпийским; прочие части лица были так изящны, что не могу им приискать сходства. Глаза обращены были вниз; но вместо обыкновенного цвета волос, с коими изображают Спасителя, они были белые. На вопрос мой, что значат сии волосы, кто-то отвечал мне: «Тысячелетнее пребывание его на земле». Потом, как бы слушаясь какого-то веления, он встал и стал к кресту в таком виде: крест имел внизу продольную скважину, так что став позади креста, он в нее поставил ноги, а руки, опустив через крест, который оканчивался поперечником, в молитвенном положении. Голова, как и прежде, была наклонена вниз с тем же величественным смирением.

Смысл этого сна был ясен для меня. Первое — высокой степени смирение; потом, что шествие должно быть под крестом; действующая сила должна покоиться на кресте; тело — должно быть за крестом и самая голова преклонена к кресту. Каменная статуя, оживляющаяся постепенно, — сколь ясно ни согласовалась с идеею моего храма, которая образовалась гораздо после сего сна, но не приходила мне в

голову прежде Вятки. Сон этот весь ясен, кроме слов о тысячелетнем пребывании.

Третий. Наконец этот сон, который я теперь намерен рассказать, нельзя даже совсем отнести ко сну: в один зимний вечер я стоял против печи и грелся и, предаваясь размышлению, перешел как бы в некоторое усыпление. Вдруг вижу посреди комнаты девочку, примерно лет 12-ти. Я подбегаю к ней с некоторым изумлением и спрашиваю: кто ты такова?

«Я дочь Правды», — был ответ. — И с тем вместе, уходя в угол, загроможденный разными вещами, исчезла.

Из сказанных слов Новикова я видел, что ему нравятся сны; он поздравлял меня с ними и говорил, что такие сны не случайно нам даются.

Чтоб прибавить еще что-либо о Гамалее, этом страшном своею строгостью человеке, достаточно рассказать следующее.

Первый муж жены Лабзина Карамышев был человек без веры, сомневался в бессмертии души; он был человек ученый, но принадлежал еще к тем воспитанникам XVIII столетия, которые блистали материализмом. Ему советовали об этом предмете поговорить с Гамалеею. Карамышев, гордый своею ученостью, отвергал сначала, но наконец согласился познакомиться. И вот собственные его слова, слышанные мною от его супруги:

— В Гамалее нашел я маленького старичишку, невидного, которого можно щелчком перешибить. Без дальних обиняков сказываю ему причину моего посещения, т.е. что я решительно сомневаюсь в бессмертии души и, сказав ему несколько комплиментов, заметил, что от него надеюсь получить объяснение.

Узнавши, что я горный чиновник, Гамалея заметил, что я должен знать некоторые науки, и спрашивал, посредством которой я желал бы убедиться в бессмертии души?

Я с трудом мог удержаться от смеха и, чтоб одурачить его, для смеха избрал ботанику и с тем вместе, чтоб скрыть свой смех, вынимаю часы и гляжу на них. Старик начал говорить. Презрение мое заменяется вниманием, наконец переходит в уважение и с тем вместе я ему сказал: «Довольно». Не прошло еще пяти минут, и он уже убедил меня вполне, несмотря на все предрассудки, с коими я пришел.

Новиков мне предсказывал успех и просил, чтоб я ему сообщил, как проект мой будет принят государем, что и исполнил.



ВОЗВЕДЕНИЕ
ХРАМА
ДУХА



Рассуждение о диком камне, на ученическом ковре предположенном

«Магазин свободно-каменщический», 1784 г.

Почтенные и любезные братья! При каждом собрании нашем всякий вступающий в ложу и взглянувший на все представленное глазам его по открытии оной не может не усмотреть сего ученического ковра, на котором высокопочтенный наш Орден предлагает нам под иероглифами те важные истины, изучением которых можем мы достигнуть до нашей цели, яко каменщики ученики. Ответы наши на вопрос, делаемый нам в черной храмине, — для чего вы ищете быть приняты в свободные каменщики? — клонились все, хотя разными выражениями, к тому, чтобы сделаться лучшими; ибо искать премудрости, добродетели, просвещения и проч., кои суть обыкновенные в сем случае ответы, предполагают уже признание, что мы не мудры, не добродетельны, не просвещены и что всего того в нас недостает. И ежели, вступя в свободное каменщичество, по ревностному исполнению должностей наших и изучению иероглифов, нам предложенных; ежели, говорю я, хотя и не вдруг, приобретаем мы искомые нами предметы, но самое сие искание не есть ли уже шествие к улучшению себя? Ибо мы видим по сие время, сколь ни развращены наши нравы, что невежество не предпочитается еще мудрости, или пороки добродетели, или тьма свету просвещенного ума; следовательно, сей ковер содержит на поверхности своей все те иероглифы и орудия, изучением и употреблением которых мы не можем не сделаться лучшими. Итак, в самом начале наших работ надлежит нам увериться, что мы дурны и требуем поправления. (А без сего не было бы в нем и нужды).

Того для и представлен нам на ковре нашем дикий камень, дабы взглянув на оный, вспоминать сказанное в актах наших сравнение, что душа наша ему подобна и что нам ее очистить должно. Теперь рассмотрим первую часть сего сравнения, почему душа подобна дикому камню; мне кажется поистине, что ничто не может быть лучше сравнено с грубыми

и острыми наростами и расселинами сего камня, как пороки, страсти и слабости нашего сердца. Итак, я надеюсь, что после сего нет никакого сомнения в подобии неочищенной души нашей с диким камнем. Подумайте же, любезные братья, в каком мы состоянии находимся! Мы уподобляемся дикому и безобразному камню, и равно как и сей камень, не можем быть ни к чему доброму годными. Таким образом, признав сие сходство, надлежит нам рассмотреть другую часть сего сравнения, а именно: что нам подобную дикому камню душу очистить должно. Может быть, спросят: чем? В таком случае думаю я, что стоит только нам взглянуть на наш ученический ковер, на котором мы непременно увидим все те орудия, кои нужны для обеспечения и обделывания нашего дикого камня. Итак, мы видим, что успех сей работы зависит от внимания нашего к учению свободного каменщичества и прилежания в работе, определяемой нам сим учением! Станем же, любезные братья, стараться от часу более и более рассматривать сие сходство сердца нашего, дабы хотя от частого сего рассматривания и размышления о нем могли мы получить надлежащее омерзение к себе самим, которое бы со временем толико усилилось, что вывело бы нас, так сказать, из мертвенности дикого камня, в которой мы находимся, в рассуждении познания и уверения себя в наших недостатках и возбудило бы все наши силы на исследование и испытание сокровенных сгибов сердца нашего; а дабы нам успеть в предприятии сем, вспомним о должностях, предложенных нам под видом условия, в черной храмине, на исполнение которых если бы мы не согласились, то не были и приняты в свободные каменщики. Итак, вспомним, повторяю я, о сих должностях и спросим себя, исполняли ли мы их со времени нашего вступления в свободное каменщичество? В чем, однако ж, обязались мы святою и ненарушимою клятвою, да и пред кем? Пред престолом молчаливости, пред стопами правосудия и пред великим Строителем Вселенной. Но я сомневаюсь, чтобы хотя один из нас исполнил их со всею точностью. Как же может после сего дерзнувший преступить свое обязательство каменщик взирать со смелостию на свет солнца, его освещающего? Как может он надеяться, чтобы луна бледным своим сиянием не нарушила сна, объятиям которого предается он, невзирая, что нарушил столь священную клятву? Горестное состояние, заслуживающее сожаление всякого истинного каменщика! Ибо если сии два светила напоминают нам, что мы день и ночь должны бдеть за своими поступками и просить помощи Повелевшему солнцу и луне остановиться, когда Ии-

сус Навин гнал врагов своих, то мы можем справедливо заключить, что они даны нам от Всемогущего Творца для освящения токмо добрых дел наших: сколь же радостно может быть воззрение на них сохраняющего свою клятву каменщика! Ибо они суть свидетели и одобрители его деяний; напротив того, сколь горестно и досадительно их присутствие для преступающих свою клятву! потому что оно непрестанно укоряет их вероломством. Но мы часто и не подозреваем, что при всяком почти шаге прогневаем нашего Творца. Неужели же не почувствуем мы сего гибельного нашего состояния и не восхотим освободиться от него? Неужели удобием подлежащих на сем ковре орудий не станем мы стремиться разорвать крепкие узы, держащие сердце наше в столь пагубной мрачности?

Хотя работа сия трудна и не без опасностей, но мы слышали при принятии нашем в каменщики, что самые опасности соделывают героя достойным увенчания лаврами, и что тем сладостнее покой для ратоборца, когда он при достижении своей цели, воззря на перенесенные им трудности, сам себе сказать может: я полагал стопы мои на терние, прошел пропасти, преодолел стремнистые высоты и каменистые крутизны, но слабая искра, блеснувшая мне при первом шаге моего шествия, возгорелась наконец светильником, приведшим меня к моей цели и к незыблемому спокойствию. Сколь счастливы, любезные братья, те из нас, коим блеснула искра сия! Они могут сравнивать свет ее с тьмою пороков, окружающих их сердце, и тем удобнее видеть всю гнусность сего состояния. Соделав токмо шаг сей, могут они ласкать себя, что прешли великую преграду. Итак, по сем кратком рассмотрении кажется мне весьма ясным, что иероглифы и орудия, предложенные нам на ковре нашем, первые, сокрывая в себе те великие истины, без познания которых не можем мы достигнуть до нашего предмета; а вторые, служащие средствами к достижению до познания сих истин, суть довольны и достаточны для успеваания в великом подвиге, который мы себе предположим. Надлежит нам токмо, по словам высокопочтенного Ордена, быть трудолюбивыми, ревностными, стремиться к постоянной честности и любви братской и беречься, чтобы зависть не возмутила никогда сего чистого источника. Сими средствами можем мы надеяться совершить ученические работы наши и очистить нашу душу от чуждых ее смешений, как то правила наши сие нам повелевают.

Рассмотрение причин побудительных и побуждающих ко вступлению в свободное каменщичество

«Магазин свободно-каменщический», 1784 г.

Человеку, одаренному рассудком при предпринимании на себя какого-либо важного по светским отношениям деяния, весьма естественно и сходно с здравомыслием спросить себя предварительно, какие побудительные причины он имеет пред глазами своими для предприятия сего дела, согласны для оных с предписаниями истины, законами чести, благопристойности и проч. и вообще, хороши ли они и могут ли заслужить одобрение от всех беспристрастных и не предубежденных противу него особ? Размыслив все сие с основательностью, при вспомоществовании внутреннего судии человеческих помышлений, совести, ежели он откроет в них все те качества, кои отличают поступки разумного творения от слепого и махинального побуждения несмысленных животных, то приступает он бодро и мужественно к самому исполнению своего предприятия, не отстрашается никакими препятствиями, встречающимися или могущими с ним встретиться посреди его подвига, и оканчивает оный, достигая при конце цель, какую себе предположил. Если побудительные его причины не хороши и хулы достойны, то старается пременить и обратить их на добрые, и чрез такую перемену приближается опять к своей цели. Сие простое сравнение весьма удобно применено быть может и ко всем нам, вступающим или уже вступившим в высокопочтенный Орден свободных каменщиков. Мы все одарены от всевышнего Строителя мира здравым разумом и свободою волею. Пользуемся ли мы сими дарами в светском нашем обращении? Пользовались ли оными, вступая в святилище истины и добродетели? Размышляли ли здраво и основательно о тех причинах, кои ввели нас в оное и которые должны были ввести нас? Ежели мы сего не делали, то воспользуемся хотя теперь случаем. Орден свободных каменщиков позволяет и повелевает нам всегда размышлять, утверждая, что размышление наше никогда не будет поздно и что ежели мы оного доньше не предпринимали, то, начав его теперь с ревностию, усердием и доброю волею, мы ничего чрез то не потеряем, таковым благонамеренным и спасительным снисхождением побужденный осмеливаюсь и я предложить вам, любезные мои сотоварищи и соученики,

в настоящем моем слабом и незрелом рассуждении мои мысли о причинах побудительных и побуждающих нас вступать в свободные каменщики. Примите оное не за слово, со тщанием выработанное, но за простые, не облеченные никаким покровом красноречия сердечные чувствования вашего брата и сотрудника в ваших работах.

Входя в рассматривание побудительных причин, вводящих нас в сие высокопочтенное сообщество, тотчас встретиться нам долженствует различие между причинами побуждающими и побудительными. Первым сделаем мы такое определение, что чрез оные разуместь должно причины, кои нас побуждают искать себе здесь места между братьями, а чрез последние причины же, кои должны необходимым образом нас побуждать к тому. Рассмотрим первее побуждающие, а потом коснемся и побудительных причин.

Побуждающие нас причины вступать в масоны суть многообразны и почти всякой новопринятой объявляет собственную свою, по свойствам характера своего темпераментов. Иной из нас объявил, что он ищет просвещения, говоря, что светская мудрость и наука, коим он мог изучиться в мире, суть недостаточны к соделанию его счастья, и что он истинное просвещение надеется обрести между нами. Другой утверждал, что он желает здесь приобрести навык к честному и непорочному поведению, тем паче, что некоторые из известных ему наших братьев подают в том отличительный от профанов и достойный подражания пример. Иной говорит, что он ищет дружества и братской любви, уверяя, что сии чувства изгнаны из мирского обхождения и что они здесь только — в храме, основанном на дружестве и любви; надеется пользоваться свободно и неотъемлемо блаженством, разливаемым на смертных от искреннейшего дружества и чистейшей и бескорыстнейшей любви. Есть многие, к сожалению нашему, коих привело сюда суетное и простое любопытство или желание увидеть и узнать здесь что-нибудь редкое, ими никогда невиданное и неслыханное; иных привело подлое своекорыстие, скрывающее гнусные свои виды под разными блистающими личинами; иных единое тщеславие быть масонами соприсоединило к нам. Кратко сказать, всякой, вступая сюда, надеется угодить тем главнейшей своей страсти, склонности и вкусу, а потому и не можно определительным образом означить все побуждающие ко вступлению в Орден причины.

Теперь следует нам рассмотреть: 1) если побуждающие нас вступать в масоны причины хороши и одобрительны, то

действуем ли мы согласно с ними? и 2) ежели они, по строгому нашему изысканию, окажутся нехорошими и достойными охуления, то стараемся ли мы переменять их на добрые? Сие да будет продолжением моего рассуждения.

Нет ни малого сомнения, по крайней мере я с своей стороны твердо уверен в моем сердце, что Орден имеет у себя такие сокровища, которые удовлетворить могут требованиям всех тех, кои прибегают к нему, для принятия в оных участия, и что особы разных свойств, разных склонностей и действующие не по одинаковым побуждениям могут в нем почерпнуть все нужное для удовольствования своих желаний. Почему ищущий просвещения обретает в нем такие познания, кои он в светских училищах иногда, так сказать, мимоходом хотя и слышал, но кои ему внушаемы там были не с такою уверенностью и уразумительностью, как между нами. Царственная наука, предлагаемая здесь к его изучению, познавать себя, природу и Творца всяческих, с какими мирскими знаниями соравняться может? Нет мне нужды доказывать здесь пользу сей великой и первой между нами почитаемой науки: всякой брат, всякой свободный каменщик чувствует ей цену. О! коль блажен тот из нас, кто прилагает все свои душевные и умственные силы к преуспеянию в оной; кто с готовым и исполненным ревнования сердцем принимает те мудрые и облегчительные к изучению ее средства и стези, предлагаемые нашим благодетельным Орденом в иероглифах и аллегориях; кто постигает смысл оных и пользуется ими для скорейшего и надежнейшего достижения своей цели! Из сего следует, что ищущий между нами просвещения не только не обманывается в своей надежде, но еще и приобретает здесь такие сведения, которые к мирской мудрости и многознанию относятся так, как солнечный свет к свету, произведенному от одной возжженной свечи.

Теперь рассмотрим, получает ли здесь желаемое искатель добродетели и жаждущий приобрести навык к честному и непорочному поведению. Таковой всеконечно получает здесь свою плату; ибо ежечастные напоминания наших мастеров об очищении нашего сердца, об истреблении наших худых навыков и склонностей, об убегании плотских и духовных пороков, об упражнении в чувственных и умственных добродетелях свидетельствуют, что Орден печется сделать нас лучшими сочеловеками и полезными себе и государству членами. Ежели мы не становимся таковыми, то не Орден же в том виновен: наша, братьи мои, малая внима-

тельность к предписаниям его, нерадение в произведении оных в действо, и собственная о себе незаботливость есть тому причиною. Следовательно, искатель добродетели укореняется здесь в своем благом подвиге. Но таково ли бывает с ищущими дружества и братской любви? Я смело и на сие могу ответствовать, что он достигает здесь своей цели. Дружество и любовь суть две твердые подпоры свободного каменщичества. На них оно основывается, возрастает и усиливается; а потому и не можно, да и не должно сомневаться, чтобы здесь не курился чистейший и неугасаемый огонь любви и братской склонности, оживляющий своим спасительным пламенем все шаги и следы каждого из братьев. Но дабы гонящийся за сим животворным пламенем мог когда-либо воспользоваться оным, то наперед должен он приготовить себя к тому так, как предписывают наши законы, и возжечь в самом себе вложенную в нас природою искру любви и братства, которая едва ли у многих из нас не погасла, или по крайней мере уже погасала и истреблялась. Се удовлетворение искателя дружества и братской любви!

Доселе мы говорили о хороших и одобрительных причинах, побуждающих нас вступать в масоны, и доказали, что мы можем не только достигнуть здесь нашей цели, но и приблизиться к оной так, что награждение, ожидающее нас при конце, превзойдет все меры нашей надежды. Но спросить нас может кто, действуем ли мы согласно с сими причинами? О сем исследуй всяк свое сердце и оправдай или обвини себя в своем нерадении; по крайней мере мудрый наш Орден старается привести в движение все пружины нашего ума и сердца, дабы они действовали сообразно предположенной каждым из нас в особенности и Орденем вообще цели. Ежели он откроет, что он действовал согласно со своим предметом, поучался масонской мудрости, успевал в добродетелях, воспалял в себе огонь любви и пр. и пр., то он не без пользы сюда вступил; и ежели не восчувствовал, то по крайности скоро восчувствует то блаженство, которое Орден имеет главнейшею своею целью; когда же, напротив того, увидишь себя еще далеко отстоящим от своего предмета, то да употребит он все свои силы к приближению к оному, да воспользуется вспомоществующими средствами, предлагаемыми ему от наших мастеров, да ищет света, и увидит его несомненно в полном его сиянии.

Между недобрыми и достойными охуления побуждающими причинами положили мы выше сего, не говоря о худших и презрительнейших, любопытство, своекорыстие и

тщеславие. Нет мне нужды, братья мои, распространяться теперь пред вами в описании гнусного вида сих предметов; омерзение к оным обнаруживается в ваших лицах и при едином их напоминовении; но ежели, к нашему сожалению, находятся между нами теперь некоторые, вступившие сюда с таковыми поносными видами, и ежели луч масонства позарил их сердца и не обратил их на правую стезю, то довольно они наказываются уже и тем, что не находят здесь пищи для своих милых страстей, и возвращаются отсюда к прежний свой мрак, нимало оных не удовольствовав. Ежели у которых-либо из них сердца не столько еще ожесточены, чтоб не внимали гласу пекущихся об исправлении их наших мастеров, то да воспользуются готовностью и поспешением предписаниями их, и да пременяют грубые свои и недостойные человечества побуждающие причины на хорошие и хвалы достойные; да преобратят любопытство свое, пустое и суетное, в сердечное желание узнать вещи, до них принадлежащие; своекорыстие в усердии приносит целости Ордена пользу; а простое тщеславие учиниться масоном — в деятельное побуждение соделаться таковым не единым словом, но и делом. Всем сим приобретут они себе существенную пользу и получают право на благосклонность и внимание братьев, которые поведут их к усовершенствованию прямым путем, и доставят им то блаженство, каковым Орден наделяет искателей своих.

Исследовав по силам нашим побуждающие вступать в свободное каменничество причины, их достоинство и цену, и действие наше сообразно оным, теперь по порядку следует изыскать и настоящую побудительную причину или такую, которая необходимо должна была побудить нас к тому. Мы недолго будем утруждены исканием ее; ибо мудрый Орден, провидя самые потаенные изгибы человеческого сердца, открывает оную нам в наших актах, и именно в ученическом катехизисе; ибо на вопрос, для чего ты вступил в общество наше, отвечает он за нас: для того, что я окружен был тьмою, и желал увидеть свет. Достойный поистине человека, чувствующего свою слепоту, ответ! Се истинная причина, долженствовавшая нас ввести сюда! Хороша ли она и одобрительна, на сие не ожидаю я ни от кого из истинных свободных каменщиков ни малого сомнения. Они твердо уверены, что какие бы блестящие мир ни предлагал явления, все они суть мрак и мгла противу света, открывающегося на Востоке; все они суть малозначащи и скоротечны, все исчезают, яко дым; единый истинный свет, обещаемый

Орденом нашим всем верным, усердным и ревностным братьям, и которого участниками многие из них уже učinились по своим заслугам и достоинству, должен быть нашею целию, нашим руководителем ко вступлению в Орден.

Предуготовим убо и мы себя, любезные братья, к тому, дабы сей свет озарил нас некогда, если мы того učinимся достойны. Не будем в таком случае слишком торопливы и да не возжелаем весьма скоро исполнения сего нашего вожделения; ибо весьма естественно, что блеснувшие вдруг человеку, находившемуся долгое время во мраке, лучи света не принесут ничего, кроме ослепления. Терпение, долговременное искание, исполнение всего предписуемого нашими начальниками — суть средства к постепенному нашему возведению к оному свету. Паче же всего постараемся мы, ежели не вдруг, то хотя малу-помалу сбрасывать с себя ту мглу, которую мы принесли с собою из мира и которую не всю еще оставили в темной храмине. Она столько вредоносна, что ослепляет и по сие время умственные наши очи. Свергнем с себя неустрашимо иго владычества страстей наших; они суть наши враги и причины нашего доселе во тьме хождения; предадим себя господствованию разума, подкрепляемого религиею; вверим себя руководству достойных наших мастеров; они покажут нам путь, ведущий к истинному нашему блаженству.

И.И.Дмитриев

[О Карамзине]

В 1770 году в провинциальном городе Симбирске старший брат мой и я, десятилетний отрок, находились на свадебном пиру под руководством нашего учителя... В толпе пирующих увидел я в первый раз пятилетнего мальчика в шелковом перувъеневом камзолычке с рукавами, которого русская нянюшка подводи́ла за руку к новобрачной и окружающим ее барыням. Это был будущий наш историограф Карамзин. Отец его, симбирский помещик, отставной капитан Михайла Егорович, соединился тогда вторым браком с родною сестрою моего родителя, воспитанною по ее сиротству в нашем семействе.

С того времени до зрелого моего возраста я не имел случая видеть его; знал только, что он в отрочестве своем обучаем был немецкому языку тамошним пятидесятилетним врачом, которого прозвище я позабыл, но очень помню, не потому, что он был с горбом, но по его привлекательной физиономии ...

С приближением юношеского возраста Карамзин отправлен был в Москву и отдан в учебное заведение г.Шадена, одного из лучших профессоров Московского университета, где и находился до вступления в настоящую службу. По тогдашнему обыкновению или злоупотреблению в гвардейских полках он записан был, так же как и я, еще малолетним, в Преображенский полк подпрапорщиком. С того времени началось наше знакомство, и вот каким образом.

Однажды я, будучи еще и сам сержантом, возвращаюсь с прогулки; слуга мой, встретя меня на крыльце, сказывает мне, что кто-то ждет меня, приехавший из Симбирска. Вхожу в горницу и вижу румяного, миловидного юношу, который с приятною улыбкою вручает мне письмо от моего родителя.

Стоило только услышать имя Карамзина, как он уже был в моих объятиях; стоило нам сойтись два, три раза, как мы уже стали короткими знакомцами.

Едва ли не с год мы были почти неразлучными; склонность наша к словесности, может быть, что-то сходное и в нравственных качествах укрепляли связь нашу день от дня более. Мы давали взаимный отчет в нашем чтении, между тем я показывал ему иногда и мелкие мои переводы, которые были печатаемы особо в тогдашних журналах. Следуя моему примеру, он и сам принялся за переводы. Первым опытом его был «Разговор австрийской Марии Терезии с нашей императрицею Елисаветою в Елисейских полях», переложенный им с немецкого языка¹. Я советовал ему показать его книгопродавцу Миллеру, который покупал и печатал переводы, платя за них, по произвольной оценке и согласию с переводчиком, книгами из своей книжной лавки. Не могу и теперь вспомнить без удовольствия, с каким торжественным видом добрый и милый юноша Карамзин вбежал ко мне, держа в обеих руках по два томика Фильдингова «Томаса-Ионеса» (Том-Джонса), в маленьком формате, с картинками... Это было первым возмездием за словесные труды его.

По кончине отца своего он вышел в отставку поручиком и уехал на родину. Там однажды мы сошлись на короткое время; я нашел его уже играющим роль надежного на себя в обществе: опытным за вистовым столом, любезным в дамском кругу и оратором пред отцами семейств, которые хотя и не охотники слушать молодежь, но его слушали. Такая жизнь не охладилась, однако, в нем прежней любви к словесности. При первом нашем свидании с глаза на глаз он спрашивает меня, занимаюсь ли я по-прежнему переводами? Я сказываю ему, что недавно перевел из книги «Картина смерти», сочинения Карричиоли, «Разговор выходца с того света с живым другом его». Он удивился странному моему выбору и дружески советовал мне бросить эту работу, убеждая тем, что по выбору перевода судят и о свойствах переводчика и что я выбором своим, конечно, не заслужу выгодного о себе мнения в обществе. «А я, — примолвил он, — думаю переводить из Вольтера с немецкого перевода». — «Что же такое?» — «Белого быка». — «Как! Эту дрянь, и еще не Вольтеру, а подложную!» — вскричал я². И оба земляка поквитались.

Но рассеянная светская жизнь его недолго продолжалась. Земляк же наш, покойный Иван Петрович Тургенев, уговорил молодого Карамзина ехать с ним в Москву. Там он познакомил его с Николаем Ивановичем Новиковым, основателем или по крайней мере главною пружиною Общества дружеского типографического. При слове об этом замеча-

тельном человеке нельзя оставить без замечания и лени или равнодушия наших авторов, особенно же издателей журналов. Никто из них не сказал ни слова по случаю его кончины, и мы даже поныне знаем только об нем по одним слухам. Замечательном, повторяю, по заслугам его в словесности и по чрезвычайному в жизни его перевороту

В этом-то Дружеском обществе началось образование Карамзина, не только авторское, но и нравственное. В доме Новикова он имел случай обращаться в кругу людей степенных, соединенных дружбою и просвещением; слушать профессора Шварца, преподававшего лекции о богопознании, о высоких предназначениях человека. Между тем знакомился и с молодыми любословами, окончившими только учебный курс. Новиков употреблял их для перевода книг с разных языков. Между ними по всей справедливости почитался отличнейшим Александр Андреевич Петров. Он знаком был с древними и новыми языками при глубоком знании отечественного слова, одарен был и глубоким умом и необыкновенною способностью к здоровой критике; но, к сожалению, ничего не писал для публики, а упражнялся только в переводах, из коих известны мне первые два года еженедельника под названием «Детское чтение»; «Учитель» в двух томах; «Хризомандер», мистическое сочинение, и «Багуатгета»³, также род мистической поэмы, писанной на санскритском языке и переведенной с немецкого.

Карамзин полюбил Петрова, хотя они были не во всем сходны между собою: один пылок, откровенен и без малейшей желчи; другой угрюм, молчалив и подчас насмешлив. Но оба питали равную страсть к познаниям, к изящному; имели одинакую силу в уме, одинакую доброту в сердце; и это заставило их прожить долгое время в тесном согласии под одною кровлею у Меньшиковой башни, в старинном каменном доме, принадлежащем Дружескому обществу. Я как теперь вижу скромное жилище молодых словесников: оно разделено было тремя перегородками; в одной стоял на столике, покрытом зеленым сукном, гипсовый бюст мистика Шварца, умершего незадолго пред приездом моим из Петербурга в Москву; а другая освящена была Иисусом на кресте, под покрывалом черного крепа. Карамзин оплакал смерть своего товарища в сочинении «Цветок над гробом Агатона».

После свидания нашего в Симбирске какую перемену нашел я в миллом моем приятеле! Это был уже не тот юноша, который читал все без разбора, пленялся славою воина,

мечтал быть завоевателем чернобровой, пылкой черкешенки, но благочестивый ученик мудрости, с пламенным рвением к усовершенствованию в себе человека. Тот же веселый нрав, та же любезность, но между тем главная мысль, первые желания его стремились к высокой цели. Тогда я почувствовал пред ним всю мою незначительность и дивился, за что он любил меня еще по-прежнему! Мы прожили недолго вместе. После того еще несколько раз встречались в Москве, и наконец разлучились уже на долгое время: он отправился в чужие края, но не на счет Общества, как многие о том разглашают, а на собственном иждивении. Со дня вступления его в Дружеское общество до путешествия он перевел и выдал с немецкого языка: два или три тома Штурмовых «Размышлений» под заглавием, помнится мне, «Беседы с богом»; Галлерову поэму «О происхождении зла»; Лессингову трагедию «Эмилия Галотти» и Шекспирову «Юлий Цезарь»; одну песнь (не напечатанную) из Клопштоковой поэмы «Мессиада»; с французского «Les veilles du chateau»⁴, и за отсутствием Петрова продолжал около года «Детское чтение», в котором напечатал первую повесть, им сочиненную, и первые опыты свои в поэзии ...

Н.Иванчин-Писарев

Нечто о Н.И.Новикове

Три раза посещал я семидесятилетнего Новикова, и так провел с ним три дня в его Авдотьино, или Тихвинском, в 15-ти верстах от моей деревни. Во все три посещения я заставлял его бледным и как бы утомленным деятельностью необыкновенной жизни. (Говорили, что таковым он сделался после удара; но думаю, что биографы его убавили ему лет: ему казалось за восемьдесят.) Молодость и любопытство порывали меня заманить его в разговор важный, ибо он не переставал, при всей слабости своей, шутить со мною и дамами. Только за обедом, шутя со одною из них насчет какого-то выражения, и услышав от нее: «Да так говорится (или делается) в свете», — он сказал: «Не во тьме ли, сударыня?» Напрасно я задираю его, касаясь Вольтера и его последователей: Новиков отвечал лишь презрительною улыбкою. Нечаянно, заговоря о чем-то космологическом, я коснулся Лавуазье, и едва назвал его, как глаза старца заблестали, и необыкновенное красноречие полилось в пользу библейских истин, определяющих стихии, которых существование и разряды отметил физико-химик. Прощаясь со мною (это было в первый мой приезд), он сказал мне: «Помните слова, хоть и глупого, но старика: все науки сходятся в религии; лишь в ней разрешаются их важнейшие проблемы: без нее никогда не доучитесь, а притом и не будете спокойны». С тех пор, то есть в два другие мои посещения, разговоры его со мною были без шуток. Один лишь собеседник и друг его, старец Гамалея, хотя еще бодрый, но старее его, и, как говорили, еще умнее и глубокомысленнее, до конца не достаивал меня серьезного разговора. Если Новиков всегда так мыслил, трудно поверить о случившемся в его жизни.

Я много слышал о Николае Ивановиче начиная от старца-букиниста Петра Егорова до Ивана Владимировича Лопухина (его друга). (И.В.Лопухин видал меня у покойных Н.Е.Мясоедова и начальника моего Ф.П.Ключарева¹: там

слышал я разговор его о Новикове; иногда, несмотря на молодость лет моих, он говорил о нем и со мною.) Также много слышал от Платона Петровича Бекетова² и Ивана Ивановича Дмитриева, которому он задавал переводы с французского языка. «Новиков, рассказывает И.И.Дмитриев, одобрив мой перевод, отсылал меня к московскому обер-полицмейстеру Лопухину, который, среди суда и расправы полицейских, прочитывал при мне мою тетрадь и разрешал печатанием. Однажды князь Лопухин и я смешили покойного императора Александра I рассказом об этой старине, и с тех пор князь называл меня моим цензором».

Слишком много слышал я о Новикове; но ничего более не могу сказать достоверного об этом загадочном человеке. В последний раз мы виделись, кажется, в 1816 году. Он говорил с важностью о разных ветвях наук и всегда прилагал их к религии. Веря, что источник мудрости Бог, я соглашался с ним в этой общей идее, не поддаваясь ничему таинственному и отчуждающему от остальной массы людей.

Любопытны рассказы нынешней помещицы Тихвинского, или Авдотьяна, г-жи Л. По словам ее, крестьяне этого села образованнее всех в окрестности живущих, знают грамоту и оканчивают все распри сами собою, помня сентенции стариков, слышанные ими от Николая Ивановича.

Переписка Н.И.Новикова и Н.М.Карамзина

Н.М.Карамзин — Н.И.Новикову

14 апреля 1816, Москва

Христос воскрес! Обнимаю вас братски и сердечно благодарю за два письма дружеские. Не сомневаюсь, что вы искренне берете участие в оказанных мне государем милостях, заслуженных отчасти моими трудами. Впрочем, есть нечто важнее заслуг наших: воля Божия, которая посылает нам и приятности, и отсутствия земные с намерением. Ей, я за истину признаю истину ваших умных рассуждений, желаю, чтобы вы терпели великодушно и утешались религиею, которая выше философии. В дряхлости телесной бодрствуйте духом. Недаром глубокая старость называется маститою: бальзам ее не есть ли мудрость, растворенная любовью, озаренная верою? Страдания облегчаются мыслию о скором их конце; счастливая пристань уже близко. Там, вне пространства и времени узнаем, что есть истинное наслаждение! Но пока мы здесь, поговорим еще о земном. 26 апреля вам исполнится 72 года; в этот день вспомните обо мне и скажите себе, что я мысленно обнимаю вас с любовью.

Вы спрашиваете, не знаю ли кого из вельмож, сострадательного и надежного? В Петербурге одного человека называют вельможею: графа Аракчеева. Я видел его однажды, он вас знает, по слуху, с хорошей стороны. Посылаю вам экземпляр моих сочинений. Один приятель взял у меня книгу о таинствах креста и еще не возвратил; буду ее требовать. Думаю ехать через месяц в Петербург, чтобы печатать там свою *Историю*. Всякий день грущу о Москве: может быть, я оставлю в ней спокойствие; но да будет, что угодно Всевышнему! Желаю не желать моего, кроме добра общего.

Я и жена моя свидетельствуем наше душевное почтение милостивым государыням Наталье Ильиничне¹, Вере Николаевне² и достойному старцу Семену Ивановичу³. Будьте по возможности здоровы и спокойны; не забывайте и любите преданного вам покорнейшего Н.Карамзина. Катерина Андреевна⁴ особенно уверяет вас в своем сердечном к вам уважении.

30 апреля 1816, с.Тихвинское

Покорнейше благодарю за подарок вашими сочинениями и вашим портретом; как вы?..

Из сочинений ваших 6 и 7 томы я с возможным мне вниманием прочитал от доски до доски. О приятном, хорошем и прекрасном говорить теперь ничего не буду; но что касается до философии, о том хочу несколько слов сказать. Извините меня, мой любезный, что я с нею не совсем согласен; я нахожу в ней более пылкости воображения и увлечения в царство возможностей, нежели основательности. Но я думаю, что ныне и вы сами не будете на все согласны. Скажите мне, угадал ли я, что письма Мелодора к Филарету и Филарета к Мелодору, также и Разговор о счастье между Филарета и Мелодора, под именем Мелодора — вы, а под именем Филарета покойной любезной молодой человек П(етров), потому что при чтении сих пиес мне казалось, что я обоих вас вижу. Молодой Филарет со стоической холодностию философствует, а философия холодная мне не нравится: истинная философия кажется мне огненна, ибо она небесного происхождения. Однако, любезнейший мой, не забывайте, что с вами говорит идиот (невежда), не знающий никаких языков, не читавший никаких школьных философов, и они никогда не лезли в мою голову: это странность, однако истинно было так. Но о сем в другое время.

И у меня есть свой Филарет, англичанин, философ средних веков, но не школьной⁵. В одном из своих писаний говорит он между прочим: «Покажите мне науку, которая была бы совершенным, а не поддельным отпечатком творения! которая могла бы вести меня прямым путем к познанию истинного Бога! сущности, Ему подвластные! науку, которая ни в чем не подвержена злу! науку, чрез которую могу я верно придти к познанию всех тайн, в натуре сокрытых! Такова есть та наука, в которой физика Адама и всех патриархов состояла — и которая ему была открыта».

Ежели кто захочет согласиться умом и сердцем со мнением моего Филарета, что, кажется, и должно сделать, ибо он это не выдумал, но только переговорил слова других, так философия вашего Филарета должна остановиться и призадуматься. Я так думаю, что пока двое беседующих не будут совершенно согласны в началах и основаниях, то все разговоры их будут бесполезны. Какие же начала? А вот

какие: что есть Бог? Что есть Бог в Единице? Что есть Бог и Троице? Что есть натура? Одна ли есть натура или более? Таковым ли видимый или чувственный мир вышел из рук Божиих, каким мы его видим, или был инаков? Что есть небо, и одно ли оно, или более? Впечатлена ли троичность Божия во всей Его твари, или нет, и как мы сие разумеи должны? Как сотворен человек, из чего, из каких частей, и почему сказано о нем, что он сотворен по образу Божию и по подобию; казалось бы, и одного выражения довольно было, но положено два? Также почему Моисей сказал, что Бог сотворил Адама в мужа и жену; а известно, по его же словам, что Адам уже существовал, когда Евы еще не было, и что Ева сотворена уже была из ребра Адамова тогда, когда Адаму уже нужно было спать? О каких верхних водах и нижних сказывает Моисей, что Бог отделил верхние воды от нижних, как мы это должны разумеи? Замечательно также, что не философ, но простой рыбак, ученик Христов Петр, пишет: ибо сокрыто от нас, хотящих знать, что небеса исперва из воды и водою составлены Словом Божиим. Какая же была такая чудная вода, из которой сотворены небеса, а не одно только небо? Да и ап. Павел сказывает, что он восхищен был духом даже до третьего неба. Один ли существует видимый или чувственный мир, или есть другие миры? Солнце и все планеты и звезды принадлежат к видимому миру; где же обитают Ангелы? где Божественный Престол? С позволения наших почтенных астрономов они изволят бредить, находя более семи планет, находя и видя неподвижные звезды и жалуя их в солнцы. Ни больше, ни меньше семи планет быть не может, понеже Бог сотворил их только семь и наполнил их силами, каждой приличными. Неподвижных звезд быть не может, ибо неоспоримая истина: что не имеет движения, то мертво, понеже жизнь есть движение. Они пожаловали и самое солнце в наиленивейшую планету бездейственную, ибо что не имеет движения, то не имеет и действия. Как же мы должны разумеи слова Давидовы, которой говорит, что Бог в солнце положил селение Свое? И далее, что солнце, яко жених, выходит из чертога своего и, яко исполин, предприимлет путь от края небесе до края небесе, и нет места, которое бы укрылось от теплоты его, и проч. Что есть философия и откуда она? Изобретена ли человеком или дана от Бога человеку? Ежели она изобретение человеческое, то она человеческа, а мнения человеческие суть весьма переменчивы. На моем веке во всех науках несколько систем переменилось; да я уверен,

что и ныне существующие системы недолго устоят и переменятся в другие, новые: нам любезнее всего новое, новое и новое. Нынешние физики, не довольствуясь четырьмя стихиями, которые Бог сотворил четыре только, а не более, они их совсем разжаловали из стихий за то только, что по их высокой науке, что может делиться, то не есть стихия. Какая слепота и какое нищенское понятие о стихиях! Однако ж они наградили нас почти сотнею стихий. Химики все прежнее отбросили и наделили нас какими-то газами, то есть пустыми словами, не имеющими ни значения, ни силы. И кто может все их бредни исчислить? Не письмами, но фолиантами разве что можно описать оные. Любезные древние философы и патриархи не так разумели философию; но о сем много бы говорить было надобно, а потому я сию материю окончу, сказав еще несколько слов. Древние гораздо замечали, что Моисей историю творения начинает сим видимым миром, а о том, что было прежде, не упоминает ни слова. Откуда же бы взялось мнение о падших Ангелах? А о них в Новом Завете говорено, да и в Ветхом Моисей сказывает, что падший Ангел в виде змия обольстил Еву, из чего кажется, что должно быть нечто существовавшее прежде сотворения сего видимого мира. Древние прекрасно сие изъясняли; они даже и в человеке находили извлечение из трех миров и учили, что человек состоит из тела, души и духа. Отсюда произошло то, что они поставляли надпись над дверями храма: *Познай себя* и пр. и пр.

Извините меня, любезный друг, что я кое-что сказал смутно и беспорядочно, что только по слабости моей в мысль пришло и что только женская рука писать могла⁶. Она до прекрасного видом великие охотницы; бедный Адам был бы доволен одним плодом древа жизни и был бы доволен знанием одного добра, но Еве захотелось отведать и с запрещенного древа знания добра и зла.

Но полно, полно; а то опять заведет!

Н.И. Новиков — Н.М.Карамзину

14 мая 1816г., с.Тихвинское

Сердечно сожалею, любезнейший и почтеннейший друг мой Николай Михайлович, о худом вашем здоровье, равно и о том, что не сказали вы мне болезни вашей: может быть, я несколько и помог бы вам, ибо по благодати Господней имею в медицине, хотя небольшое, однако изрядное основание. Ежели еще вы не уехали в Петербург, то скажите мне о

болезни вашей хотя коротко. И ваше письмо застало меня очень нездоровым, но в моих припадках одно только лекарство — терпение.

Вы меня обрадовали, сказав, что не стоите за философию и пр. Я думаю, что тот только может назваться прямо ищущим, которой, хотя и ошибаясь, однако искал истину, и наконец воистину найдет истину; ибо Христос Спаситель наш сказал: *ищите и обряцете, толкайтесь и отворится вам, просите и дастся вам.* И в другом месте сказал: *ищите прежде Царствия Божия и правды его, а прочее все приоброшено вам будет.*

Вам 49 лет, это год климатеричной; вам сей год есть год полной чести и славы, а мне этот год был полон скорби и печали; ибо я в сем году отвезен был в Шлиссельбургскую крепость. Как различно поступает с нами милосердие Божие! Одного ласкою, другого розгою влечет к себе: блажен, кто и то и другое употребляет в пользу свою!

Вы сказали мне в письме вашем: один Бог знает Бога совершенно. Мне кажется, что познание Бога должно разделить: познание Бога в Единице Его, человеку, может быть и невозможно; но познание Бога в Троице или Тройстве Его не токмо что возможно, но и необходимо. Апостол Павел весьма замечательные слова сказал: душевной человек не приемлет что Духа Божия нет, ибо оное кажется ему безумием, и не может разуметь, понеже духовно востязуется, и пр. Я советую вам, любезный друг, прочитать со вниманием всю вторую главу первого послания к Коринфянам: она весьма, весьма замечательна. Не могу также удержаться, чтобы не посоветовать вам прочесть со всевозможным и глубоким вниманием всю 17-ю главу Евангелия Иоаннова: это якорь наш, на котором должно утверждаться вечное наше блаженство. Много бы можно было о сей материи сказать неопровержимого, но краткости ради умолчу.

Вы также говорите, что у нас теперь и Библия в моде; подлинно, что только в моде. Признаюсь вам, любезный друг, что не могу без душевного огорчения читать в газетах и журналах текстов Св. Писания. Видно, что сии писатели текстов думают, что все равно сказать текст или исполнять его действительно, и видно, что не встретилось с ними сказанное Христом Спасителем, что *Царство Божие не в словах состоит, но в силе, или исполнении.*

Сердечно сожалею и буду сожалеть, ежели не увижу вас до отъезда вашего в Петербург. Я желал бы дни два провести с вами в искренной и сердечной беседе о том, что для нас

нужнее всего; но мы должны во всем покоряться воле Божией. Теперь по крайней мере желаю того, чтоб вы возвратились в Москву в августе; так, может быть, Господь благоволил бы дозволить мне увидеться с вами.

Вы говорили также, что желали бы поговорить со мною о некоторых статьях моего письма последнего; и я сердечно бы этого желал, наипаче потому: 1-е) что пишу не своею рукой и к диктатуре не привык, сказываю, как мысль приходит, а не в порядке, как бы я желал; 2-е) что слабость моя мешает сказывать, и малейшее слово, в то время мне сказанное, прерывает нить. Но когда я говорю лично, тогда слабость моя исчезает и я делаюсь крепок, что я многажды замечал. Дух наш наружными обстоятельствами угнетается и как бы упадает; но когда он вступает в действие, выступя из состояния сострадательного, тогда и наружная машина наша укрепляется и делается свободною.

Кстати: вы упомянули в письме вашем о *меланхолии*; я принимал это слово, в сочинениях ваших нередко употребляемое, за обыкновенное выражение приятной задумчивости, но в письме выражено так, как будто вы подвержены сей болезни, что меня крайне опечалило; но я надеюсь подать вам средство к истреблению оной. Древние философы из глубокого познания своего, особенно в натуре человеческой, определяли, что человек состоит из тела, души и духа, а из того выводили и болезни человеческие; они все болезни, относящиеся к телу, наружные и внутренние, лечили лекарствами из трех царств природы, которые и наша медицина кое-как лечить умеет, и называли сии болезни *болезнями тела*. Другие болезни, которые известны у наших медиков под именем нервной системы, они называли *болезнями души*. Наши медики, если захотят истинно признаться, то должны сказать, что они их лечить не умеют; а древние совершенно лечили, едва ли не одними минеральными лекарствами. Третьи болезни называли они *болезнями духа*; к сим болезням причисляли они и меланхолию, которой корень полагали в неверии, и сии болезни лечили они лекарствами духовными, то есть чистым учением истинной философии, которая есть верная последовательница учению Ветхого и Нового Завета или вообще Слова Божия. Апостол Павел превосходно говорит: *основания много никто не может положить кроме того, которое уже лежит и которое есть Иисус Христос; на сем основании каждой да строит*. Прочтите, любезный друг, третью главу первого послания к Коринфянам. Бог есть свет, слово Божие есть свет;

Христос Спаситель наш сказал о себе: *Я есмь свет миру* и пр. Все, что не из Бога, что не из Слова Божия, что не из учения Иисуса Христа, все то есть тьма, а посему и меланхолия есть из тьмы. Посмотрим, например, в физике: когда небо покрывают черные, густые и непроницаемые тучи, тогда и самый крепкий, здоровый человек чувствует какую-то неловкость, скуку, даже грусть, не имея к тому никакой причины; больной же, слабый, дряхлый чувствует сие сто раз сильнее. От чего же это? От того, что физическая тьма действует на свое подобие. Когда же вдруг воссияет солнце в полном свете своем и блеске, тогда мгновенно тьма исчезает и солнечной свет действует и на свое подобное, и на нашу физику: человек веселится, радуется, и сам не зная от чего. От того, что физической свет солнца действует на свое подобное в нас. Что же скажем о Солнце Правды, Иисусе Христе? Не будет ли сей свет тысячекратно сильнее действовать на нашу духовность? Читайте, любезный друг, наипаче Новый Завет; читайте чаще, замечайте отличнейшие тексты и ежели действительно подвержены вы ипохондрии, то она от сего лекарства совершенно истребится. Послушайтесь совета отличнейшего *Ученика Любви, Св.Иоанна*; он в четвертой главе первого послания советует испытывать духов; прочитайте не только всю сию главу, но и все его послания и самое Евангелие, им писанное. Что касается до его Апокалипсиса, то он для нас весьма, весьма высок. Многие мара-ли бумагу, пища изъяснения оногo; но ежели бы они воистину разумели одну только главу или и часть только оной, то никогда бы не дерзнули изъяснять оногo. Моисей описал нам творение и падение человека, а Св.Иоанн в Откровении своем описал восстановление и возведение человека гораздо в высшую степень, нежели в какой он был в рае; кратко сказать: Моисей показал нам альфу, а Св.Иоанн — омегу.

Кажется мне, что никогда бы я не перестал писать к вам и изливать на бумагу мысли и сердце мое, исполненное искренной любви к вам и желания вам всего добра и блага, не только временного, но паче вечного; однако ж и сему пол-ожить должно границы.

Н.М.Карамзин — Н.И.Новикову

3 мая 1816, Москва

Дружеское письмо ваше, почтеннейший Николай Иванович, нашло меня в худом здоровье: с самого возвращения моего из Петербурга недомогаю и ничего не делаю; от того мне

не весело, и меланхолия одевает меня своим крепом. Скажу вам немного слов. Не стою за философию своих сочинений: я начал писать в юношестве, а теперь мне 49 лет; мысли переменяются, или изменяются через такое время. Я часто, держа перо в руке, думал о незабвенном Петрове, и так немудрено, что вы нашли портрет его в моем Филарете. Ваш Филарет глубокомысленнее. Охотно с ним соглашаюсь, что познание истинного Бога есть важнейшая и лучшая из всех наук; но один Бог знает Бога совершенно. Довольно, кажется, если мы узнаем здесь сладость любви к Нему с полною доверенностью к Его премудрости. Рассуждения ваши о модах в светской философии весьма справедливы. У нас и теперь Библия в моде; в газетах, в журналах говорят текстами Св.Писания; но лучше ли стали люди? Не вижу того ни в Москве, ни в Петербурге; авось вперед увидим.

Прискорбно мне, любезнейший Николай Иванович, что я не имею надежды заглянуть в ваше уединение и побеседовать с вами о некоторых статьях вашего дружеского письма. Если буду здоров, то мы должны немедленно ехать в Петербург или в Царское Село, где мне по государеву приказанию уже отвели домик; останусь ли там или возвращусь сюда в августе, еще не знаю. Петербургская типография требует за напечатание моей Истории втрое против здешних. Я намерен продолжать ее; все прочее зависит от Бога. Граф Аракчеев в разговоре со мною сказал, что он доброго об вас мнения по слуху. Итак, можете в случае надобности отнестись к нему. О характере его не имею ясного понятия; я видел и говорил с ним только однажды, рассказывая ему о своей жизни в молодости, и упомянул о связи моей с вами по м(асонству). Вот почему он изъявил это мнение.

Итак, отъезд наш зависит теперь от моего здоровья; можем выехать дней через десять. Не вините меня, почтеннейший Николай Иванович, если не успею съездить к вам. Верьте, что люблю вас искренно. Если в портрете моем не находите выражения этой искренности, то он верно не похож; я в главном не переменялся.

Жена моя уверяет вас в своем душевном почтении, также и любезную Веру Николаевну и милостивую государыню Наталью Ильиничну; у обеих целую руку, с братским чувством обнимая вас и почтенного Семена Ивановича. Навеки преданный вам

Н.Карамзин.

А.И.Михайловский - Данилевский

Из мемуаров русского масона (1822 г.)

С закрытием лож мы лишаемся единственных мест, где собирались не для карточной игры, потому что у нас нет теперь общества, в котором бы карты не составляли главного или, лучше, исключительного занятия. Мы еще так несведущи в предметах, касающихся до политики, что правительству нельзя опасаться, чтобы беседы и разговоры о них могли сделаться целию масонских лож. Знатные люди у нас редко были масонами, по крайней мере ни один из них не посещал лож обыкновенно наполненных людьми среднего состояния, офицерами, гражданскими чиновниками, художниками, весьма редко купцами, а более всех литераторами. В ложе «Избранного Михаила» я находил отличнейших людей, например Федора Глинку, известного столько же прекрасными своими сочинениями, сколько и добродетелями; Греча, остроумного издателя первого в России журнала по части изящных искусств; графа Толстого, прославившегося лепными работами; Доброхотова, лучшего русского резчика на камне; Рикорда, одного из превосходных наших мореплавателей, и других почтенных людей. Я не был ревностным масоном, и мне не для чего принимать на себя защиту сей секты, но скажу откровенно, что в русских масонских ложах я не слышал никаких других разговоров, кроме о вспоможении бедным, о словесности и об искусствах. Польза, проистекавшая от соединения таких отличных людей, каких я наименовал, очевидна: лишившись в уничтожении лож средоточия, где они совокупно действовали во взаимном благотворении и просвещении, они рассеяты по разным обществам, где каждый из них находится на службе или по семейным своим связям.

Из сего видно, что масонство, сблизившее особ различных состояний, было в сем отношении благотельно для России, где разделение гражданских сословий отменно много препятствует развитию просвещения.

Не отвергаю, однако же, что между масонскими ложами не происходило злоупотреблений, но никакое человеческое

учреждение не существовало без недостатков. Сказывают, что в некоторых ложах увлекались умствованиями о мистике, и следовательно, предавались суждениям, может быть, не свойственным истинному разуму закона. Но рассматривая сие обстоятельство, равно множество сочинений, написанных на нашем языке о мистических предметах, и страсть к чтению их, весьма усилившуюся, можно сделать заключение, извлеченное из истории, что метафизическими книгами и прениями о религиозных понятиях начиналось просвещение у всех народов. В сем смысле мы находимся в таком же положении, в каком были европейские государства в XVIII веке. Может быть, также наклонность к мистике есть дань, платимая нашим веком, ибо всякий век имеет к чему-либо особенное пристрастие.

В России уже в другой раз закрываются масонские ложи; в первый раз сие случилось во время французской революции в 1793 или 1794 годах. Запрещение последовало для ограждения нас тогда от политических потрясений, свирепствовавших во Франции, но можно утвердительно сказать, что Россия и без того осталась бы спокойною, особенно когда помыслим, что члены тогдашнего масонства были люди самые честные и образованные, как, например, Иван Лопухин, Иван Тургенев, Новиков, Невзоров, Карамзин.

Впрочем, действия, распространенные французскою революциею, которая ежедневно более и более обнаруживается в Европе и в Америке, подтверждают справедливость изречения Мирабо. Он говорил: французская революция обойдет кругом вселенную (*La revolution franaise fera le tour du monde*). Причины тому должно искать не в масонстве, а в обветшалых государственных постановлениях, не свойственных просвещению нашего века.

В рескрипте министру внутренних дел упомянуто кроме масонов о тайных обществах; но мне, выключая существовавшее в Михайловском замке мистическое общество, никакое другое не известно, да и кто члены сих мнимых тайных обществ? Дворянство? Но девять десятых его находятся на службе, и живущие в деревнях преданы или игре, или охоте, или уstraшенные непрерывною молвою о вольности крестьян, боятся, чтобы у них не отняли собственности их, и весьма удалены от всяких обществ тайных. Среднее состояние? Но оно не существует, ибо ученых нет, а у малого числа, занимающегося науками по обязанности или склонности, недостает насущного пропитания. Купцы еще в невежестве и, вместо всяких других политических перемен, же-

лают исправления банкротного устава, ибо недостаток кредита повсеместный. Кто же опасные члены сих мнимых тайных обществ? А ежели нет членов, то нет и обществ: *la guerre finit faute de combattants*¹.

Обращаюсь теперь к самому себе и начертаю здесь вкратце верное изображение собственных моих масонских связей.

Жизнь моя начинается с 17-летнего возраста. Тогда я остался один в мире и воспользовался своею свободою, чтобы отправиться в Геттинген. До тех пор строгий родительский присмотр содержал меня в неволе. В университете я не имел досуга заниматься ничем другим кроме науки, и вспоминаю всегда с восхищением о четырех годах, употребленных там единственно на образование самого себя. Во мне поселилась тогда мысль издать какое-нибудь сочинение, могущее предать мое имя потомству. Конечно, то была мечта, но кто не согласится со мною, что это было благородное стремление в 19-летнем возрасте. Я избрал предметом сочинения моего «Государственный кредит»; посвятил ему несколько лучших лет жизни и принужден был вникать во все отрасли политических наук, надеясь принести России честь, а себе славу. Чем более я углублялся в науки, тем очевиднее казалось мне, что все великое, изящное на свете было произведено не обществами, составленными из многих членов, но частными усилиями людей (*par des hommes isoles*). Открытия, послужившие к усовершенствованию человеческого рода, родились не в академиях, но в уединенных горницах ученых; тайны законов нравственного и физического мира обнаружены не в академических собраниях, но в скромных кабинетах, нередко на чердаках, при слабом свете лампы. Потому я обещал себе никогда не вступать в ученые или какие другие общества, следовательно, оставался чуждым и масонству, хотя его история и сокровенности достаточно мне были известны из различных сочинений, да и чего нельзя узнать при помощи Геттингенской библиотеки, а в ней я проводил часов по шести ежедневно. Твердо сохраняя данное самому себе обещание, я объехал всю Германию, Францию, Швейцарию и Италию, не вступая в масонский союз, невзирая на различные приглашения быть принятым в число братьев. Науки, искусства и изящная природа представляли мне столько разнообразных предметов для размышлений, что я не имел ни времени, ни желания заниматься чем-либо посторонним.

В 1811 году я возвратился в Россию. Вскоре загремели ужаснейшие бури. Я был увлечен вихрями войны, и отношения мои к самому себе и к свету переменялись.

В половине 1812 года я стоял уже в рядах нашей армии в Бородине и Тарутине. В Отечественную войну никому не было возможности помышлять о чем другом, кроме Отечества. Хотя в начале похода и образовалась в Вильне «Военная ложа Святого Георгия», но непрерывные движения от Немана до Москвы и обратно не позволяли заниматься масонством. Гроза, висевшая над Россиею, миновалась, и весною 1813 года мы очутились в Германии, как будто перенесенные туда волшебным жезлом.

В заграничном походе было несравненно более свободного времени, нежели в предыдущем, и сверх того каждый из нас дышал вольнее, как будто у каждого спал камень с сердца. В течение войны 1813 года я жил с полковником Брозиным. Он был страстный масон и почти каждый вечер говорил мне о прелестях масонства. Увлеченный рассказами моего товарища, человека благородных свойств, умного, уважаемого императором Александром, я решился вступить в масонство, но до Лейпцигского сражения мы были все в каком-то недоумении, еще не зная, на чьей стороне останется перевес. Когда же на берегах Плейсы одержали мы решительную победу, заботы о будущем исчезли, и мы уже сражались не для собственной защиты, но ополчились за освобождение Европы!

В таком счастливом расположении духа мы пришли во Франкфурт-на-Майне, где мы прожили 5 или 6 недель. Здесь-то я сдержал обещание, данное моему товарищу, который усиленно упрашивал меня далее не отлагать моего намерения. В одно утро в ноябре месяце мы пошли вместе к полковнику Сорочинскому. Он был начальником «Военной ложи Святого Георгия», составившейся в нашей армии в начале похода 1812 года. Он принял меня в масоны у себя в кабинете, по власти, ему данной. К Сорочинскому вселило во мне большое доверие то обстоятельство, что он был женат на дочери князя Смоленского, которого память для меня была священна. Едва первый шаг был сделан, во мне поселилось любопытство проникнуть далее в масонство, тем более что, посещая французские ложи, я нашел в них людей степенных и умных. Братские общества мне очень понравились, но привязанность моя к ним возросла еще от следующего обстоятельства.

1-го января 1814 года мы перешли Рейн и вступили во Францию. Погода в зимние месяцы была самая приятная; мы делали весьма сильные переходы, квартиры были дурные. Французы принимали нас неласково; и вообще в сем походе

отрады было мало, по беспрестанным спорам с нашими союзниками, желавшими мира и окончания войны с Наполеоном, которого они боялись, как огня. Главное наше утешение и рассеяние состояло в масонской ложе, образованной в прусской армии в 1813 году под названием «Ложи железного креста». Членами были люди почтенные и веселые. Они принимали нас, русских посетителей, с радостным гостеприимством. С ними мы проводили единственные приятные или, лучше сказать, счастливые вечера в походе во Франции. Произносимые в «Ложе железного креста» речи исполнены были пламенной любви к Отечеству; говоренные на другой день или накануне сражений, они производили в душах наших самые благородные порывы. Пусть лица, ныне ополчающиеся против масонства, и которые, конечно, во время войны ограничивали изъяснение патриотических чувствований своих одними плясками на праздниках, даваемых при получении известий о наших победах, прочли бы речи, говоренные в «Ложе железного креста». Каждый член ее носил многократно жизнь свою в дар Отечеству. Если в порицателях есть совесть, конечно, они перестанут вооружаться против таких масонов, каких описываю я здесь.

В марте месяце совершился великий подвиг взятием Парижа. В первые две недели я не мог опомниться от множества впечатлений, потрясших душу мою, я был восторжен торжеством России, потом начал я осматривать масонские ложи. Дружеский прием, сделанный русским офицерам в Париже, и удивление, с какими смотрели на нас парижане, облегчили мне чрезвычайно вход в масонские ложи и знакомство с членами.

Первая ложа, где я был, именуется «St. Jean de Jerusalem»². Там, как впоследствии и во всех ложах, встретили меня с приветствиями и посадили на самое почетное место. Увидя, что я был только учеником, предложили на тот же вечер возвести меня на степень товарища мастера, без всяких испытаний. Меня ввели в так называемый храм, где происходил прием одного француза в сии две степени с обыкновенными церемониями, и на другой же день 14-го апреля прислали мне диплом на звание мастера. 18-го числа того же месяца меня сопричислили к ложе «Des freres unis»³. Вслед за сим я был почти в 20-ти ложах; везде меня принимали самым отличным образом, и во всех ложах между приветствиями превозносили похвалами государя нашего. Энтузиазм парижан к Александру был неизъяснимый во всех сословиях, особенно между масонами.

Одно из любопытных заседаний происходило в «Великом Французском Востоке» («Le grand orient de France»).

Нас пригласили в заседание, имевшее целью решение вопроса, сменить ли Жерома Бонапарта — великого магистра французских лож, или возвести в сие звание кого-либо из дома Бурбонов? Разумеется, вопрос был предложен из одного только обряда и уже был решен со времени падения Наполеона. Председатель ложи открыл заседание приличною случая речью, и потом начали собирать голоса. Все единодушно были в пользу Бурбонов, как вдруг пришла мне мысль подшутить над французами. Встав со своего места, я сказал:

— Мне кажется, что Жером Бонапарт, лишенный теперь царского сана и подпоры бывшего недавно всемогущего брата своего, не только сими несчастиями не потерял права на уважение масонов, но еще более должен привязать к себе благородные сердца братьев. Неужели в то время, когда великий магистр масонства французского постигнут бедствиями, должен еще к довершению своего злополучия видеть себя оставленным тем Орденом, который смотрит не на мирские почести, а единственно на добродетель. Масонам должно быть все равно, находится ли Жером в изгнании или на престолах Неаполя, Испании и Америки.

Речь моя, исполненная софизмами сего рода, произвела самое живое впечатление на слушателей. Французы, еще за несколько минут подававшие голоса свои против Жерома, единодушно начали мне аплодировать. В самом деле, странно было, что русский офицер, в русском мундире, в то время, когда пала династия Наполеона, сокрушенная русскими штыками, защищал права брата Наполеона.

В скором времени сделали мне предложение вникнуть далее в масонство. Я согласился.

Предварительно, 22-го апреля, возвели меня на степени между мастером и *Rose Croix*, (розенкрейцером), а именно: *les grades d'Elu du grand Ecossais et du chevalier d'Orient* (степени избранника великого Шотландца и кавалера Востока).

29-го апреля было назначено для приема моего в *Rose Croix* (розенкрейцеры). Меня ввели в прекрасную, нарочно для того украшенную залу. Зрелище новое, очаровательное! Храм не походил вовсе на обыкновенные масонские ложи. Председатель Руайе исполнил с особенным искусством обязанности звания своего. Мы были приняты в степень *Rose Croix*. Она есть 18-я и высочайшая во французском масонстве. Нас было в то время трое русских, больших охотни-

ков до масонства. Мы посещали ложи всегда вместе и получали также вместе высшие степени: полковник Брозин и геттингенский мой товарищ Тургенев⁴, который имел несчастье сделаться сообщником заговора в 1825 году.

Посвященные в первое звание французского масонства, мы имели свободный доступ во все ложи и знали тайнства их. Я не нашел в них ничего предосудительного, а видел только повторение того, что происходит в ученическом чине, только с различными в каждой степени обрядами, выражениями, знаками и орденами. И в высших степенях ограничиваются приемами, возбуждающими любопытство людей, не посвященных еще в мнимые тайнства. Французы, видя во мне и товарищах моих желание узнавать так называемую царственную науку, могли бы воспользоваться тем и собрать с нас деньги, но они явили совершенное бескорыстие. Правда, мы платили, но только за цену пергамента или бумаги, на которых писали наши дипломы, за ордена, обеды и ужины. Я не могу вспомнить без особенного удовольствия о веселости французов, речах и песнях их. Почти всегда, кроме приятностей масонских связей, прославляли они нашего государя, как защитника Франции и благодетеля человечества.

Один из приятнейших вечеров провели мы в Париже в прусской «Ложе железного креста», о которой я упоминал выше. Два товарища мои и я были приняты в нее 20-го апреля. Ложа сия возникла в начале похода 1813 года, когда в Пруссии богатый и бедный, вельможа и поселянин, старец и юноша восстали против утеснителей своих и ополчились за независимость Отечества. Известно, что после Тильзитского мира образовались в Германии разные тайные общества с целью приуготовить умы к могущему произойти впоследствии перевороту. Они носили различные наименования и способствовали очень много к всеобщему единодушному восстанию пруссаков. Когда последовало объявление войны со стороны прусского короля против Наполеона в начале 1813 года, некоторые члены тайных обществ составили «Ложу железного креста». Она существовала в продолжение всей войны и когда со взятием Парижа прекратилась ужасная брань и восстановлена была независимость Пруссии, следовательно, достигнута цель тайных обществ, «Ложу железного креста» праздновала закрытие свое самым торжественным образом. Множество братьев присутствовало на празднике, между прочим и фельдмаршал Блюхер⁵. Речи, произнесенные при сем случае, проникнули до глуби-

ны сердца моего. Пруссаки исчисляли бедственное положение своего Отечества перед войною, описывали священную брань и благодетельные действия логи в продолжение войны, приводили на память, как посреди громов битв ободряли в ложе взаимно друг друга к перенесению трудностей похода, как слова, проистекающие из сердец, исполненных дружбы и любви к Отечеству, приносили им в решительные минуты истинную отраду, как они способствовали к низложению цепей, угнетавших Отечество их, и к утверждению славы его. Потом, возблагодарив Бога за совершение подвига, они закрыли «Ложу железного креста».

Мы были столь тронуты, что почти у каждого из нас навернулись на глаза слезы. В заключение был веселый братский ужин, продолжавшийся до утра. Пруссаки неоднократно пили здоровье государя и российской армии, превознося их величайшими и единодушными похвалами!

Для меня остается знакомство с французскими масонами приятно потому, что я провел с ними время весело, и мне как любителю истории открылись многие пояснения оной. В парижских ложах я находил людей среднего состояния, словоохотливых и приветливых; одни были привержены Бурбонам, другие Наполеону, а иные республике. Иначе и быть не могло в народе, состоящем из 30 миллионов жителей, находившихся 25 лет в ужасных волнениях. Невозможно требовать от них единомыслия, но между всеми, к каким бы политическим партиям они ни принадлежали, проявлялись две черты, в которых все согласовались, а именно, в любви к своему Отечеству, называемому ими *la belle France*, и в уважении к русским и к нашему государю. Здравие Александра I было с восторгом провозглашаемо на всех празднествах. Во взаимность нельзя было нам не пить за здоровье французской армии. Однажды пили за славу Клебера, Дезе⁶ и героев, положивших живот свой во время революционной войны.

Оставя Париж, я возвратился в Петербург, но не успел еще посетить лож, когда получил приказание ехать в Вену на конгресс. В Австрии масонство запрещено, о чем мы нередко жалели, ибо удовольствия, коими мы наслаждались во французских ложах, были у нас в свежей памяти. Однажды только Тургенев, Брозин и я, мы приняли в моей комнате, находившейся в императорском дворце, в масоны секретаря нашего посольства при Туринском дворе Гассе.

В 1815 году я находился в Париже день и ночь в беспрепятственных занятиях и не мог располагать ни одною минутою, почему, невзирая на многократные и усиленные приглаше-

ния, не имел возможности бывать в ложах. Однажды только, влекомый любопытством, я посетил женскую ложу, называемую «La loge d'affiliation» («Присоединенная ложа»), представительницею была г-жа Жакомелли. Там было много прекрасных француженок; по окончании работ мы танцевали с ними до глубокой ночи.

Из Парижа я поехал с государем в Брюссель, а оттуда через Швейцарию и Богемию в Берлин. Здесь я получил от бывшей «Ложи железного креста» орденский знак. В октябре месяце мы приехали в Варшаву, где я был только однажды в ложе. Я до сих пор сохраняю какое-то неприязненное чувство к Польше и вижу в поляках закоренелых врагов России. Это предубеждение происходит во мне, вероятно, от того, что я начал чувствовать и размышлять в такое время, когда была последняя война с польскими мятежниками в 1794 году. Россия праздновала тогда совершенную победу над всегдашними своими неприятелями. Первые стихи, мною выученные наизусть, прославляли торжество Екатерины над поляками. Исполненный враждебного чувства, я не нашел никакого удовольствия в Варшавской ложе, я не мог признавать за братьев людей противных моему сердцу.

В исходе 1815 года мы возвратились в Петербург. Через несколько месяцев явилась ко мне депутация из ложи «Избранного Михаила», составленная из господ Греча, Фока и третьего, коего не упомяну имени, просить меня от лица ложи быть ее наместным магистром. Я принял свое звание, но не был более пяти раз в ложе. Заседания ее, конечно, подробно были известны правительству, потому что Фок, не пропускавший ни одного собрания, был начальником тайной полиции.

В сей ложе я находил молодых людей различных состояний, хорошо воспитанных, прекрасного поведения, отличных художников и литераторов. Главною целью была благотворительность. Каждый член неоднократно возил деньги бедным семействам, особенно накануне больших праздников.

С 1817 года, сделавшись отцом семейства, я не посещал ни одной ложи и полагал, что и масоны забыли меня, но весною 1822 года приехали ко мне два депутата из французской ложи «Des amis reunis»⁷. Господа Оде де-Сион и адъютант генерала Бетанкура стали просить меня именем братьев принять над нею начальство. Просьбы их были самые убедительные, но я не согласился, через несколько месяцев масонское звание в России должно было рушиться.

Таковы были мои отношения к масонам.

Г.С.Батеньков

Масонские воспоминания

I

Давно существует и распространено масонское братство как с отдельными по конституции своей, более или менее тайными ложами, так и соединенными в государствах под управлением их «великих востоков». Однако о существенном их отправлении мало что известно в народной жизни, даже собственная их литература печатная, но не публичная, в последнее время имеет более ученое, нежели истолковательное свойство.

Много есть понятных причин такому состоянию дела, между прочим и то, что для вникновения в него недостаточно простой пытливости, нескромности лиц или наружного обозрения. Надобно быть, знают в точности одни и весьма немногочисленные адепты, всецело и всем своим существом преданным своему призванию. Сознаюсь, однако, что общество это мирное, безвредно для общей жизни, человеколюбиво; в лучших членах своих умно, нравственно, чуждо суеверия, друг света и чтит Бога как причину всего существующего.

В моей юности я любим был одним из усерднейших адептов, и здесь привожу мои воспоминания из отрывочных по временам разговоров с ним¹.

Сказывал он, что при первом вступлении в ложу его поразила глубокая тишина и серьезное настроение собрания. Он почувствовал, несмотря на простоту обстановки, пребывание некоего особого древнего света — пред ним предстояло таинство. Обозрев символические вещи, заметил, что они прошли через веки и люди их не касались.

Приняв звание ученика, он смутился, видя необходимость сложиться вновь. Его поразило, что никто не может произнести слова, не получив на то позволение мастера, и наблюдаемая обязанность безмолвно и внимательно слушать, что говорит один из прочих. Все движения должны иметь геометрическую правильность. Символ ученика есть грубый булыжный камень, и упражнение его должно состоять в отвердении, чтобы быть годным в здание храма, посвященного вечному духовному Существому. Самое это понятие до-

лжно быть приобретено вниманием к ходу работ и не преподается извне словами. Оно внедряется по временам легальными, испытующими, краткими вопросами мастера и обрядами приёма, непрестанно напоминающими о важности и неизбежности смерти. Клятвы и присяги не дается, но напоминается, что должно быть твердо и неизменно «честное слово», хотя бы и жизни то стоило.

Так ученик должен упражняться, чтоб выработать в себе дисциплинарный склад и понимать речи братьев. Он должен вступить совершеннолетним. Для того это, чтоб человек занялся обработкой самого себя в зрелости дарований и сил и не стеснял своего ума и воли, избегал направлять их к внешнему авторитету.

II

Когда ничего нет вредного в масонстве, почему же оно так старательно скрывается и избегает всякой известности? На такой вопрос дан был ответ, что это перешло от таинств древнего мира. Самый образ работ, требующий тишины и углубления в самого себя, не может происходить в виду общей жизни и при открытых дверях. Притом требует такой осторожности хранимый ложею великий свет знания космической причины всему — бытия самобытного вседействующего Бога. Это тайна от мира, не могущего устроить себя сообразно с познанием истины. Оно профанируется самою речью, употребляемую в общечитии, наполовину ложною и двусмысленною. Посему никакой рассказ о масонстве не дает точного и ясного понятия, для сего требуется быть масоном и употреблять те определенные термины, тот язык, который, подобно математическому, выработан и возделывается трудами мысли множества поколений. Обязанность таинств есть передать достигнутые понятия чрез смерть поколений для их продолжения в целостности и чистоте.

В обыкновенной жизни оставляется между поколениями большой промежуток в знании, правах и направлении. Тайнство хранит последовательность, не выкидывает ничего полезного и не препятствует прогрессу, наблюдая его как вывод и без скачков. Должно стоять на незыблемой почве.

Таким образом, тайнство необходимо для всякого долговечного общества, составляет его регулятор и критериум и, будучи основано на истине и человеколюбии, ничего кроме света и блага, потребных для собственного себя сохранения, содержать в себе не может. К этому неспособны страстные увлечения общей жизни. Так, пред началом работ,

через особенного члена удостоверяется мастер, тщательно ли закрыты двери. Этот обычай наблюдался и в древней христианской церкви, где, и по прекращении гонений, пред совершением освящения даров, напоминает возгласом: «Двери, двери!» Человек, основываясь на достигнутых понятиях истин и приобретенных познаний, обозревая всю задачу, предлагаемую состоянием и явлениями вселенной, убеждается, что в краткий свой век познать он может весьма малую часть из всей целости. Посему масонство внедряет разумное смирение, не возбуждает зависти, будучи чуждо гордости, и хотя нередко подвергалось гонениям от неразумной тирании, но сохранилось чрез многие века незапятнанным юридическим обвинением.

Как познание самого себя и устройство жизни, чрез смерть проходящей, масонство называет себя работою и искусством, прилагая часто эпитет царственного...

VI

Масоны сохраняют предание, что в древности убит злодеями совершенный мастер, и надеются, что явится некогда мастер, не умом только перешедший через смерть, но и всем своим бытием. Такое предание, должно быть весьма не новое, и составляет стимул надежды на высшее на земле просвещение и цивилизацию, на освобождение от неотвратимого жала смерти, при шестивии судеб человеческих к свету и правде чрез тьму и рожденную в ней отрицательную природу зла, и ставят это в соответствие учению о прирожденном грехе.

Как бы то ни было, но такой способ мышления и склада жизни не заслуживает презрения. Я могу представить из опыта два значительных факта, избавившие меня от верной смерти.

1. В одном из сражений в 1814 году в холодном и сыром январе месяце во Франции, я, потерпевший многие раны и оставленный с трупами на поле сражения, был неприятельскими солдатами раздет до рубашки. Вслед за ними явились верхом два офицера французской гвардии и обратили на меня внимание, прикинув к лицу, удостоверившись, что я жив, тотчас покрыли (меня) плащом убитого солдата и на своих руках донесли до шоссе, чрез расстояние не менее полуверсты. Там сдали на фуры, собиравшие раненых, и строго приказали отвести в госпиталь ближайшего города и передать особенному попечению медика. Впоследствии я узнал, что обязан спасением положению своей руки, которою покрывал одну из главных ран случайно в виде масонского знака. Крайне горестно, что я не знаю имен своих благодетелей.

2. Пробыв двадцать лет в секретном заключении во всю свою молодость, не имея ни книг, ни живой беседы, чего никто в наше время не мог перенести, не лишаась жизни или по крайней мере разума, я не имел никакой помощи в жестоких душевных страданиях, пока не отрекся от всего внешнего и не обратился внутрь самого себя. Тогда я воспользовался методом масонства к обозрению и устройству представшего мне нового мира. Таким образом укрепил я себя и пережил многократные нападения смерти и погибели.

Ап. Григорьев

Мои литературные и нравственные скитальчества

II. Мир суеверий

Хорошая вещь — серьезные и захватывающие жизнь в ее типах литературные произведения. Мало того что они сами по себе хороши, положительно хороши — они имеют еще отрицательную пользу: захвативши раз известные типы, художественно и рельефно увековечив их, они отбивают охоту повторять эти типы.

Вот, например, не будь аксаковской «Семейной хроники», я бы неминуемо должен был вовлечься в большие подробности по поводу моего деда, лица мною никогда не виданного, потому что он умер за год до моего рождения, но по рассказам знакомого мне, как говорится, до точки и игравшего немало важную роль в истории моих нравственных впечатлений.

Теперь же стоит только согласиться на общий тип кряжевых людей былой эпохи, изображенной рельефно и вместе простодушно покойным Аксаковым, да отметить только разности и отличия, и вот образ, если не нарисованный мной самим, то могущий быть легко нарисован читателем.

Дед мой в общих чертах удивительно походил на старика Багрова, и день его, в ту эпоху, когда он уже мог жить на покое, мало разнился, судя по семейным рассказам, от дня Степана Багрова. Чуть что даже калинового ботожка у него не было, а что свои талайченки¹, даже свои собственные калмыки были, что я очень хорошо помню. Разница между ним и Степаном Багровым была только в том, что он, такой же кряжевой человек, поставлен был в иные жизненные условия. Он не родился помещиком, а сделался им, да и то под конец своей жизни, многодельной и многотрудной. Пришел он в Москву из северо-восточной стороны в нагольном полушубке, пробивал себе дорогу лбом, и пробил дорогу, для его времени довольно значительную. Пробил он ее, разумеется, службой и потому пробил, что был от природы человек умный и энергический. Он был большой начетчик духовных книг и даже с архиереями нередко спорил; после него осталось довольно большая библиотека, и дельная библиотека, которою мы, потомки, как-то мало дорожили...

Странная вот еще черта, между прочим, и опять-таки черта, как мне кажется, общая в нашем развитии, — это то, что мы все маленькие Петры Великие наполовину и обломовцы — на другую. В известную эпоху мы готовы с озлоблением уничтожить следы всякого прошедшего, увлеченные чем-нибудь первым встречным, что нам понравилось, и потом чуть что не плакать о том, чем мы пренебрегали и что мы разрушали. Мне было уже лет одиннадцать, когда привезли нам в Москву из деревни сундуки с старыми книгами деда. А то была уже эпоха различных псевдоисторических романов, которыми я безразлично упивался, всеми — от «Юрия Милославского» до «Давида Игоревича» и других безвестных ныне произведений, от «Новика» Лажечникова до «Леонида» Рафаила Зотова. Странно повеяли на меня эти старые книги деда в их пожелтелых кожаных переплетах, книги мрачные, степенные, то в лист и печатанные славянским шрифтом, как знаменитое «Добротолюбие»², то в малую осьмушку, шрифтом XVIII века, и оригинальные вроде назидательных сочинений Эмина, и переводные вроде творений Бенъяна и Иоанна Арндта, и крошечные и полуистрепанные, как редкие ныне издания сатирических журналов: «И то и се», «Всякая всячина». Как теперь помню, как глядел на них с каким-то пренебрежением, как я — а мне отдали право распорядка этой библиотекой — не хотел удостоить их даже чести стоять в одном шкапу с «Леонидами», «Постоялыми дворами», «Дмитрием Самозванцем» и другим вздором, которым, под влиянием эпохи, наполнил я шкаф, отделивши от них только сочинения Карамзина, к которому воспитывался я в суевверном уважении. Помню, я даже топтал их ногами в негодовании, а все-таки пожираемый жаждою чтения, заглядывал в них, в эти старые книги и даже начитывался порою сатирических изданий новиковской эпохи (Россиад и других од, равно как сочинений Княжнина и Николаева, одолеть я никогда не мог) и знакомством своим с мыслью и жизнью ближайших предков обязан был я все им же, старым книгам. И как я жалел в зрелые годы об этой распропавшей, раскраденной пьяными лакеями и съеденной голодными мышами библиотеке. Но увы! как и везде и во всем, поздно хватаемся мы за наши предания...

Дед мой был знаком даже с Новиковым, и сохранилось в семье предание о том, как струсил он, когда взяли Новикова, и пережег множество книг, подаренных ему Николаем Ивановичем. Был ли дед масон, не могу сказать наверное. Наши ничего об этом не знали. Лицо, принадлежащее к

этому Ордену и имевшее... большое влияние на меня в моем развитии³, говорило, что был.

Дед и мир, когда-то вокруг его процветавший, мир довольства и даже избытка, кареты четверней, мир страшного, багрового деспотизма, набожности, домашних свар — это была Аркадия для моей тетки, но далеко не была это Аркадия для моего отца, человека благодушного и умного, но насколько не экзальтированного.

Когда приезжали к нам из деревни погостить бабушки и тетки, я решительно поддавал под влияние старшей тетки... Натура страстная и даровитая, не вышедшая замуж по страшной гордости, она вся сосредоточилась в воспоминаниях прошедшего. У нее даже тон был постоянно экзальтированный, но мне только уже в позднейшие года начал этот тон звучать чем-то комическим. Ребенком я отдавался ее рассказам, ее мечтам о фантастическом золотом веке, даже ее несбыточным, но упорным надеждам на непреходящий возврат этого золотого века для нашей семьи.

Была даже эпоха и... я обещался быть искренним во всем, что относится к душевному развитию, буду искренен до последней степени, — эпоха вовсе не первоначальной молодости, когда, под влиянием мистических идей, я веровал в какую-то таинственную связь моей души с душою покойного деда, в какую-то метепсихозу не метепсихозу, а солидарность душ. Нередко, возвращаясь ночью из Сокольников и выбирая всегда самую дальнюю дорогу, ибо я любил бродить в Москве по ночам, я, дойдя до церкви Никиты-мученика в Басманной, останавливался перед старым домом на углу переулка, первым пристанищем деда в Москве⁴, когда пришел он составлять себе фортуны, и, садясь на паперть часовни, ждал по получасу, не явится ли ко мне старый дед разрешить мне множество тревоживших мою душу вопросов. На ловца обыкновенно и зверь бежит. С человеком, наклонным к мистическому, случаются обыкновенно и факты, незначительные для других, но влекущие его лично в эту странную бездну. Раза два в жизни, и всегда перед разными ее переломами, дед являлся мне во сне. Дело психически очень объяснимое, но питавшее в душе наклонность ее к таинственному миру...

С годами это прошло, нервы погрубели, но знаете ли, что я бы дорого дал за то, чтоб снова испытать так же нервно это сладко-мирительное, болезненно-дразнящее настроение, эту чуткость к фантастическому, эту близость иного, странного мира... Ведь фантастическое вечно в душе человеческой и, стало быть, так как я только в душу и верю, в известной степени законо.

М.А. Осоргин

Памяти Пушкина

Доклад на пленарном заседании
всех русских лож в Париже 29 января 1897

То, что великий русский писатель Пушкин был вольным каменщиком, естественно, радует русских масонов; но мы, конечно, не должны от себя скрывать, что на деле связь Александра Сергеевича с организацией русского исторического масонства была очень незначительной. Как вы знаете, он был посвящен в кишиневской ложе «Овидий» 4 мая 1821 года, как сам отметил это в своем кишиневском дневнике. В декабре того же года ложа «Овидий» официально прекратила свое существование. Возможно, впрочем, что ее работы продолжались, так как существующие документы об этой ложе весьма спорны и несомненно неточны. По полицейским сведениям, ложа зародилась 7 июля 1821 года и получила санкцию великой ложи «Астрея» от 17 сентября того же года. Но уже самая запись Пушкина свидетельствует о том, что ложа «Овидий» существовала раньше, еще в мае. Когда в декабре того же года в ложу «Овидий» задумал проникнуть агент тайной полиции, Пуцин¹ объявил о прекращении работ, якобы прерванных еще раньше, в ноябре, и перевез к себе домой все имущество ложи. Но вряд ли можно сомневаться, что братья «Овидия» собирались во всяком случае до августа 1822 года, т.е. до закрытия правительством в России всех масонских лож; кстати, по недавно опубликованным сведениям, ложа «Овидий» была присоединена к послушанию великой ложи Румынии.

Не сохранилось решительно никаких сведений о степени усердия Пушкина к масонским работам, неизвестно, пошел ли он дальше ученической степени, и в имеющихся документах даже не значится имени Пушкина. В своей переписке он только раз упоминает о своем масонском прошлом: в письме к Жуковскому, в словах: «Я был масон в кишиневской ложе, т.е. той, за которую уничтожены в России все ложи»². Очевидно, Пушкин не был даже достаточно осведомлен об общих причинах реакционного акта Алек-

сандра I, так как история с кишиневской ложей была лишь одним из поводов, и далеко не самым важным, точнее — одной из официальных придирок.

Напрасно также искали бы мы в сочинениях Пушкина того и позднейшего времени какого-нибудь в нем происшедшего душевного переворота или хотя бы проснувшегося в нем усиленного интереса к вопросам, связанным с идеологией масонства. Кишиневский период его жизни и деятельности хорошо изучен, и вряд ли новые документы, о которых недавно писали, могут дать материал для углубления вопроса о масонстве Пушкина. В его стихах мы найдем единственное упоминание о ложе, именно в послании Павлу Сергеевичу Пуццину, который был мастером стула в ложе «Овидий»:

«И скоро, скоро смолкнет брань
Средь рабского народа —
Ты молоток возьмешь во длань
И воззовешь: «свобода!»

Хвалю тебя, о верный брат,
О каменщик почтенный!
О Кишинев, о темный град!
Ликуй — им просвещенный!»

Недостаток документов, конечно, еще ничего не значит. Нет сомнения, что в свое время было уничтожено множество документов, относившихся к истории русского масонства и к участию в нем отдельных лиц. Пушкину не менее, чем другим, приходилось быть очень осторожным, в особенности после того, как масонство переплелось с движением декабристов. Сохранившиеся материалы о нашем историческом масонстве количественно вообще ничтожны, если принять во внимание, что за всего полвека деятельного существования у нас масонства известны по названиям более двухсот лож, а по именам свыше 3500 масонов, не считая русской Польши. Исследователи масонства знают, что очень многие не только уничтожали свои архивы, но и решительно отрицали свою былую принадлежность к Братству вольных каменщиков в своих дневниках и своей переписке; даже о некоторых известнейших лицах невозможно сказать, были ли они когда-нибудь масонами, хотя бы все говорило за это; таковы, например, Жуковский, всегда живший в теснейшем масонском окружении, митрополит Евгений Болховитинов, основатель русского театра Волков, поэт Петр Вяземский. Лишь недавно, уже по германским источникам, удалось установить масонство генералиссимуса Суворова. Нет даже совершенно точных данных о принадлежности к ло-

жам Павла и Александра. То же самое можно сказать и о масонстве позднейшем, середины и конца XIX века, когда ложи существовали тайно, и даже о самом позднем, нашего времени, начала XX века, сохранилось очень мало материалов, — имеются пока, так сказать, только свидетельские показания. Все это потому, что Россия была всегда государством деспотического правления, каковым пребывает и в наши дни. Бледных просветов было очень мало, и свободная мысль — а такова по преимуществу мысль масонская — была всегда подпольной и не могла заботиться об архивах.

При таких условиях нелегко исторически изобразить фигуру Пушкина — вольного каменщика. Можно только сказать, что с нашим Братством его единило немалое: вечный порыв к свободе мысли и внутренняя посвященность. Как мы, Пушкин не терпел стеснения независимости мысли. Эта его биографическая черта освещена избытком материала, доказывающего справедливость его слов: «В мой жестокий век восславил я свободу». И он, независимо от своей принадлежности к кишиневской ложе, был от колыбели своей посвященным, способным интуитивно постигать то, чего не дает человеку познать опыт и разум, и к постижению чего мы все стремимся. Поэтому мы вправе признать истинно масонским его стихотворение «Пророк», которое легко могло бы быть гимном розенкрейцерства³. В известном понимании, масонство есть поэзия человеческого духа, и недаром мы именуем его королевским, царственным искусством.

Я ограничиваю мое сообщение, дорогие братья, не каким-нибудь историческим изысканием, а простой справкой о том, как мы должны себе представить приобщение Пушкина к русскому Братству вольных каменщиков.

Было вполне естественно, что он в него вступил. В эпоху александровскую, как и в екатерининскую, редкий выдающийся и образованный человек свободных взглядов не принадлежал к Братству. Из русских писателей к нему, как вы знаете, принадлежали Херасков, Сумароков, Новиков, Рылев, Радищев, возможно Державин (есть данные), вероятно Богданович (автор «Душеньки»), Княжнин, Карамзин, Грибоедов, Мерзляков, Кюхельбекер, Чаадаев, Бестужев-Марлинский, Коцебу, Измайлов (баснописец), Дельвиг, Дмитриев И.И., Муравьев Мих.Ник. (отец декабристов), Тургенев Н.И., Глинка и менее известные, которых я мог бы назвать поименно до 130 человек с указанием их принад-

лежности к ложам. Большая часть названных — современники Пушкина и в значительной доле его близкие друзья. Еще больше можно назвать дружественных ему масонов не из писательской, особенно из военной среды. Масоном был отец Пушкина, Сергей Львович, масоном был его дядя, писатель Василий Львович, как и многие члены общества «Арзамас». В Кишиневе Пушкин жил у исправляющего должность наместника Бессарабского края генерала И.Н. Инзова, члена ложи «Золотого шара» в Гамбурге и, кажется, мартиниста; был близким другом генерала Павла Пуцина, мастера ложи «Соединенных Друзей», позже — основателя и мастера стула ложи «Овидий»; приятелем С.А. Тучкова, генерала и военного писателя, который был казначеем ложи «Овидий»; из других масонов, с которыми встречался Пушкин в Кишиневе, можно назвать Н.С.Алексеева, состоявшего при Инзове, арзамасца М.Ф. Орлова, несомненного члена ложи «Овидий»; Липранди, которому принадлежат записки о жизни Пушкина в Кишиневе и который был членом ложи «Иордана»; Полторацкого, большого приятеля поэта, члена ложи «Трех Добродетелей»; Раевского (Вл. Федос.), Шепелева, Шульмана, кн.Суцо (этот был из основателей ложи «Овидий»), Бахметева, Сафонова и многих других. Пушкина увлекала фигура героя того времени князя Александра Ипсиланти, с которым он встречался в Кишиневе; и Александр, и Николай Ипсиланти были масонами. Таким образом, еще не вступив в Братство, он жил до известной степени в масонском окружении, как было это, впрочем, и в Петербурге. О некотором тяготении Пушкина к тайным обществам свидетельствует обида, высказанная им однажды в разговоре с Раевским и Якушкиным, которые сначала как бы заманивали его в общество заговорщиков, а потом обратили разговор об этом в шутку; Пушкин сказал: «Я никогда не был так несчастен, как теперь; я уже видел свою жизнь облагороженной и высокую цель перед собой, и все это была только злая шутка». И Вяземский говорил про Пушкина, что тот «жил и раскалялся в жгучей и вулканической атмосфере заговора». Если Пушкина не увлекли в масонство раньше, как позже не привлекли к участию в сообществах политических, породивших 14 декабря, то это, вероятно, объясняется осторожностью масонов, знавших и легкомысленную и буйную натуру поэта. Иное дело в Кишиневе, маленьком городке, где все друг друга знали и где развлечения были слишком однообразны, чтобы Пушкина поглотить целиком.

Как это могло произойти? Вероятно, Пушкина уговорил вступить в ложу Павел Сергеевич Пуцин, мастер стула «Овидия». Против этого ничего не мог иметь покровитель поэта Инзов, хотя последний как начальник края и лицо слишком видное, вряд ли местную ложу посещал. Позже Инзов, отрицая свою осведомленность в масонстве Пушкина, писал, однако, в официальном о нем рапорте, что «обращение с людьми иных свойств, мыслей и правил, чем те, коими молодость руководствуется, нередко производит ту счастливую перемену, что наконец почувствуют необходимость себя переиначить. Когда бы благородное сие чувство возбуждилось и в г.Пушкине, то послужило бы ему в истинную пользу».

Как я уже сказал, у нас нет подлинных и прямых материалов, которые бы воссоздали нам хотя бы картину приема Пушкина в кишиневскую ложу «Овидия». Но некоторую попытку такого воссоздания, конечно искусственную, сделать можно; она нас не обяжет к педантической точности.

Пушкин жил в старом Кишиневе, на окраине, в доме боярина Донича, нанимавшемся для наместника края. Инзов отвел ему внизу две комнаты, окнами выходившие в сад. Отсюда был прекрасный вид на Кишинев, так как дом стоял на возвышении, хотя эта часть называлась нижним городом, в отличие от города верхнего, новой стройки. Сюда за ним могли заехать либо Алексеев, либо Раевский, чтобы отправиться в ложу, которая также была в нижнем городе, неподалеку от старого собора. Тут на площади стоял дом молдавнина Кацики, а нанимал этот дом дивизионный доктор Шулер, родом из Эльзаса, в 1812 году взятый в плен при Березине, из младших хирургов одного конного французского полка. Доктор Шулер был французским масоном из парижской ложи «Parfaite Reunion»⁴. Биограф Пушкина Липранди, ни словом о масонстве Пушкина не упоминающий, вскользь говорит, что в кишиневской ложе «Овидия» мастером стула был либо доктор Шулер, либо Павел Пуцин, но в найденном списке членов-основателей ложи Шулер не упомянут, и правильнее считать первым мастером Пуцина. Впрочем, Липранди неохотно писал о масонах и скрывал, что сам состоял в Братстве. Дом, где жил доктор Шулер, был длинным, одноэтажным, невзрачной местной архитектуры. Его двор был огражден решеткой, так как там часто оставляли экипажи. На площади всегда стояла толпа молдаван, болгар, арнаутов — в то время в Кишиневе было много бежавших гетеристов⁵, участников восстания Александра Ипсиланти. Про дом Кацики было известно, что здесь происходит иногда «судилище

диавольское»; дело в том, что ложа была устроена в подвальном этаже и профанов приходилось приводить туда из главного помещения, сводя их под руку, с завязанными глазами, из квартиры доктора, по небольшой лестнице, выводящей на двор. Из-за этого неудобства однажды вышла для ложи большая неприятность. Посвящался профан архимандрит Ефрем, из болгарских выходцев, очень среди болгарского населения популярный. Он приехал в дом Кацики и отпустил свой экипаж. Вслед за тем толпившиеся у решетки болгары увидели, что их архимандрита ведут вниз по лестнице с завязанными глазами люди, вооруженные шпагами, и уводят в подвальное помещение. Болгары не стерпели и бросились освобождать священника. Им пришлось выломать дверь и побороть сопротивление, после чего они вывели архимандрита на площадь, где отовсюду сбежавшиеся сородичи подходили к нему за благословением. Дело было под вечер, об этом узнал весь город, и слухи о готовившемся преступлении долго занимали и Кишинев, и окрестные селения. Пушкин узнал об этом один из первых, когда с донесением о происшедшем пришел гонец к заместителю наместника Инзову.

Раньше ли, или позже этого случая, по той же лесенке свели в подвал поэта, с обнаженной грудью и разутой ногой. Предварительно он пробыл некоторое время в черной храмине, куда приходил его наставлять ритор ложи.

Кишиневская ложа «Овидия» принадлежала к союзу «Астреи», значилась в ней под № 25. Значит, она была трехступенного рита, типа английского, ритуала шотландского древнего и принятого. Этот ритуал нам более или менее известен, как и тогдашняя обстановка средних, небогатых лож. Нетрудно поэтому представить себе поэта сначала в небольшой, убранной черным комнате, храмине размышлений, где с потолка свешивался «лампад треугольный», с «трисиянным светом», стоял в углу черный стол с двумя стульями, на столе — берцовые человеческие кости и череп, из глазных впадин которого выбивалось пламя горевшего спирта, Библия, песочные часы. В другом углу был скелет с надписью «ты сам таков будешь», и еще стояли два гроба, один с изображением разлагающегося мертвеца, другой пустой. Сюда к Пушкину вошел вития ложи или обрядоначальник дать первые разъяснения символов: «Вы посажены в мрачную храмину, освещенную слабым светом, блистающим сквозь печальные остатки тленного человеческого существа; помощью сего малого сияния вы не более увидели, как токмо находящуюся вокруг вас мрачность, и в мрачности сей разверстое Слово Бо-

жие». Далее он напомнил профану, что человек наружный тленен, но внутри его есть некая искра нетленная, «предерживающаяся Тому Великому, Всецелому Существо, Которое есть источник жизни и нетления, Которым содержится вселенная». Он объяснил ему смысл наложенной на его глаза повязки и далее объяснил троякую цель Ордена каменщиков (сохранение тайного знания, исправление членов общества и воздействие на весь человеческий род), а также рассказал о 7 обязанностях каменщика, или «должностях», как тогда говорили. Затем он наставил поэта, вряд ли с достаточной серьезностью отнесшегося к поучениям, но, возможно, несколько возбужденного оригинальностью и таинственностью обстановки, снять сюртук, обнажить грудь, отдать все деньги и металлы и следовать за ним с завязанными глазами. Сам водитель был в круглой шляпе, с накинутой на плечи епанчой, с мечом в руке, острие которого он приставил к груди профана. В храм спускались по лестнице, по «в неизвестные глубины нисходящим скользким ступеням» и «каменным крутизнам», «елико возможно, тесня путь испытываемого», ведя его «противу всех свирепствующих стихий на испытание духа и воли». Так подводили его к двери, за которой раздавалось пение:

«От нас злодеи удаляйтесь,
Которы ближнего теснят;
Во храмы наши не являйтесь,
Которы правды не хранят».

В исторических материалах не указывается, на каком языке работала ложа «Овидий», в которой было немало иностранцев; вернее предположить, что она работала на русском, так как русскими было большинство ее должностных лиц. Песни масонские нам известны русские, и по-русски, конечно, пелся написанный Херасковым масонский гимн «Коль славен», хотя музыка эта происхождения немецкого.

Смолкает пение. Три удара в дверь и голос: «Кто нарушил наш покой?» — «Свободный муж, который желает быть принят в почтенный Орден свободных каменщиков». — После небольшого опроса об имени и годах, голос: «Введите его».

Водитель отступает от посвящаемого, и второй надзиратель вкладывает в правую руку посвящаемого свой обнаженный меч, направив острие к его груди. Происходит допрос и первое наставление. На согласие профана вступить в Орден следуют слова мастера стула: «Ей, тако!»

Далее мы можем видеть Пушкина водимым под руку вторым надзирателем ложи посолонь, против солнца и снова посолонь. На ухо ему шепчутся наставления о трудности

пути, о стойкости и необходимости закончить путь с честью. Поставленный пред лицом Великого Мастера, Павла Сергеевича Пущина, он приносит обязательство не открывать никому ничего об Ордене, «ложе навсегда пребыть верным, благу оной всечасно споспешествовать, от всякого вреда посылно ее охранять». Еще есть время уклониться от вступления в Орден, но поэт повторяет свое согласие вступить, и его ставят обнаженным коленом на подушку перед жертвенником, с правой рукой, положенной на разверстое на 1-й главе от Иоанна Евангелие: «Ей, обещаюся в том и столь свято, сколь любезно для меня имя честного человека», — и тогда к языку его прикладывается печать молчаливости.

Первый свет дается ему при возгласе: «Узрите нас впервые», — но он лишь неясно видит толпу людей с поднятыми мечами и слышит грозное предупреждение изменникам; ложа освещена только синим светом горящего на жертвеннике спирта. Ему снова завязывают глаза — и только по новому возгласу мастера стула повязка падает в последний раз: «Сколь мщение ужасно преступнику, столь обрадователен благочестивому свет!» — «Да узрит свет!» Тут ярким светом вспыхивают фальшфейеры и быстро угасают: «Так угасает свет и все утечи с ним!» — «Мы всякое земное величие, все чувственные забавы и утечи почитаем ничем, не большей цены и прочности, как и оное на миг осенившее вас пламя и исчезнувший уже по нем дым».

Посвящаемый вновь повержен на колени перед жертвенником, сам приставляет циркуль к обнаженной груди, обрядоначальник подставляет «кровавую чашу», мастер ударяет по головке циркуля молотом. Это — обряд соединения крови посвящаемого с кровью всех братьев ложи. Слова посвящения и возглас: «Жребий ваш решился!»

В этот торжественный для Пушкина вечер, может быть недостаточно им оцененный, ему говорили разъяснительные и приветственные речи, ему надели белый кожаный запон, дали пару белых мужских рукавиц, пару рукавиц женских — для непорочной женщины, избранницы сердца, неполированную серебряную лопаточку — ее отполирует прилежное употребление «при охране сердец от нападения расцепляющей силы пороков». Под звон музыкальных инструментов хор «братьев гармонии» закончил торжество пением обычных стихов:

«Чувство истины живое
Вас в священный храм влекло;
О, стремление святое!
Сколь ты чисто, сколь светло!»

И возможно, что поэт уже достаточно очнулся от впечатлений, чтобы поморщиться от слабых стихов и их торжественной нескладицы.

Конечно, очень обидно, что был недолог масонский стаж Пушкина и что его не увлекло желание быть чем-нибудь полезным ложе. Быть может, до нас дошел бы образец его литературной работы, связанной с ритуалом или с застольным пением. А может быть, даже он и дошел до нас отголоском в строках много более поздней изумительной пушкинской «Вакхической песни»:

«Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!»

Не думается, чтобы самый усердный исследователь мог найти у Пушкина строки, написанные «потому, что он был масоном» (исключая, конечно, послание к Павлу Пущину). Но строк, роднящих его с идеологией Братства вольных каменщиков, он найдет немало. В ложах александровского времени прежняя, екатерининских дней, мистика покорности и смирения уступила место настроениям бодрости, деятельной защиты прав человеческой личности, речам о свободе; Пушкин того времени был певцом свободы и остался им после 14-го декабря, которому он сочувствовал и участником которого не стал лишь случайно. Об этом он говорил сам, и в этом может нас достаточно убедить его «Послание в Сибирь», кончающееся словами надежды:

«Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут».

Я хочу закончить свое сообщение небольшой выпиской из бартеневских материалов к биографии Пушкина, относящихся к периоду его жизни в Южной России, в частности в Кишиневе. С этим периодом жизни совпал расцвет пушкинской поэзии, и в тот же период Пушкин выказал всю пламенность и неуживчивость своего характера постоянными дерзостями, столкновениями, дуэлями. Но вот что записано в воспоминаниях о нем В.П.Горчакова:

«В то время, о котором идет у нас речь, т.е. весной 1821 года, видно, как Пушкин оглядывается на самого себя, хочет привести в порядок и мысли, и отношения, и дела свои.

Самая наружность его несколько изменилась противу прежнего... фес заменили густые, темно-русые кудри, и выражение взора получило более определенности и силы».

Из свидетельства самого Пушкина мы знаем, что именно весной этого года, 4-го мая, он был посвящен в ложе «Овидия». Тем более интересно нам свидетельство его близкого приятеля. Нужна, однако, и поправка, которую делает в этом месте его биограф Бартенев: «Такого рода минуты, — говорит он, — приходили к нему довольно часто; но молодость и пылкость брали свое, и он мигом выбивался из ровной колеи жизни».

Когда-нибудь усердный исследователь прольет, может быть, свет на краткое «масонство Пушкина»; этой задачи я на себя не брал. Ему придется, вероятно, задуматься и над строфой стихотворения «19 октября 1825 года», в которой Пушкин вспоминает о какой-то своей попытке в дни своих невольных изгнаннических скитаний, возможно, именно в Кишиневе, найти новых друзей:

«Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...
С мольбой моей, печальной и мятежной,
С доверчивой надеждой первых лет
Друзьям иным душой предался нежной,
Но горек был небратский их привет».

Думаю, однако, что проще подобных гаданий предположить, что наш знаменитый поэт, случайно вступив в Братство, не успел найти в нем того, чего могла искать его мятежная душа, — и масонство осталось для него малозаметным жизненным эпизодом.

Прибавлю — как для очень и очень многих молодых, талантливых и требовательных людей, не удовлетворяющихся произнесением красивых торжественных слов, мишурой ритуалов, не освещенных глубиной внутреннего смысла, бессодержательностью того, что иногда напрасно называют масонской работой. И тогда мы должны судить не их, не успевших или не сумевших понять и оценить значение нашего Братства, а самих себя, не оказавших им содействия и их оттолкнувших «небратским приветом», о котором пишет Пушкин.

П.А.Бурыйшкин

Масонство в романе Л.Н.Толстого «Война и мир»

1. Источники

«Кажется бы, не от чего, но очень устал, милая моя душенька, и напишу коротко. После кофе пошел в Румянцевский музей и сидел там долго, читая масонские рукописи, очень интересные»... Так писал Л.Н.Толстой своей жене из Москвы в Ясную Поляну 15 ноября 1865 года. В письме от следующего дня также содержится указание, что в Румянцевском музее автор «Войны и мира» нашел много интересных материалов.

Приведенные выше письма не являются единственным свидетельством того интереса, который проявлял Толстой к масонским материалам; имеются и другие указания. Одним из них является свидетельство американского дипломата Скайлера, которое в особенности заслуживает внимания.

В шестидесятых годах прошлого столетия американским консулом в Москве был молодой дипломат Евгений Скайлер. Он весьма интересовался Россией, видимо ее любил, зная русский язык, знакомился с ее жизнью, историей и литературой и знакомил с ними своих соотечественников: написал двухтомную историю Петра Великого и переводил Толстого и Тургенева. В Москве он был принят очень хорошо и бывал во многих московских домах. Бывал он и в известном салоне кн. В.Ф.Одоевского, где собирались литературные знаменитости и вообще известные люди того времени. Там Скайлер встретился с Толстым, сблизился с ним и получил приглашение приехать в Ясную Поляну. Этим приглашением он воспользовался осенью 1868 года, когда хозяин Ясной Поляны усиленно работал над подготовкой «Войны и мира».

Скайлер довольно долго пробыл у Толстого, много с ним беседовал и подробно записал свои впечатления, видимо точно воспроизводя слова самого Льва Николаевича. Вот что говорится там по поводу масонства:

«Иногда, — пишет Скайлер, — легко видеть, каким влияниям подчинялся автор «Войны и мира». История и влия-

ние масонства в России были именно в то время новым предметом изысканий, когда преграды к изучению истории и критике постепенно ослабевали. Чтение целой серии статей в «Русском вестнике» о масонстве во времена Екатерины и книги Лонгинова о Новикове сделало Пьера масоном...» И далее: «Во время моего посещения... Толстой был все еще занят изучением масонства и прилежно читал мистические сочинения Новикова и других с единственной целью начать психологическую историю первых времен столетия, не имея вовсе намерения отыскать высшей пользы этих мнений для человечества. Он просто читал и старался разобраться в характере Пьера, и не должно представлять себе участие Пьера в масонстве как опыт или умственный процесс Толстого...»

Масонская литература вообще, видимо, весьма привлекала Толстого, и этот интерес у него долго сохранялся. Из его переписки с Н.Н.Страховым видно, что еще в девяностых годах он уделял внимание трудам госпожи Гюйон и аббата Пуаре, кои пользовались большим почетом у русских масонов александровского времени. Но чтение этих мистических книг менее отразилось на изображении масонства в «Войне и мире». Гораздо большую роль сыграла обильная литература того времени о Новикове.

Скайлер совершенно прав, говоря, что в шестидесятых годах история и влияние масонства в России были «предметом новых изысканий». Конечно, устное предание о Новикове сохранялось в Москве в кругах, близких Университетскому Благородному пансиону и среди «архивных юношей»... Но писать об этом в николаевскую эпоху нельзя было. С началом нового царствования положение изменилось, и в несколько лет появилась обширная литература, посвященная Новикову и его друзьям. Первой по времени была статья Н.С.Тихонравова в юбилейном издании Московского университета, посвященная Шварцу (в 1855 году). За нею следует ряд статей, посвященных Лопухину, Новикову, Гамалее, Невзорову, Поздееву, напечатанных в «Архиве юридических и практических сведений», в «Летописи русской литературы и древностей», в «Библиографических записках». Примерно в это же время в «Русском Вестнике» М.Н.Лонгинов начинает печатать свои статьи о Новикове и Шварце, и в 1867 году выходит его капитальный труд «Новиков и московские мартинисты». В том же году отчасти ответом на книгу Лонгинова начинают печататься в «Вестнике Европы» известные статьи А.Н.Пыпина, посвященные истории русского масонства с самого начала его возникновения в России.

У всех авторов, несмотря на различие их настроений и на правлений, была одна общая черта: все они единодушно признавали исключительные заслуги Новикова и его соратников в деле русского просвещения. От этого не отступил даже Пыпин, и обцем относившийся к масонству отрицательно.

Вся эта литература была хорошо известна Толстому, и особенности писания Лонгинова. Толстой был лично с ним хорошо знаком и постоянно встречался с ним в Туле, где Лонгинов в то время служил.

Существует мнение, будто сам Лонгинов был масоном, принадлежа к нерегулярным мартинистским ложам, которые долго сохранялись в России. Верно это или нет, проверить теперь нет возможности. Лонгинов был пламенным почитателем Новикова и литературу вопроса и архивные материалы знал прекрасно. Он мог быть, и по-видимому был, для Толстого ценнейшим сотрудником во всем, что касалось масонства. Можно думать, что благодаря ему изображение александровского масонства вышло таким живым и привлекательным. О некоторых погрешностях исторического порядка речь будет впереди.

Говоря об источниках, откуда Толстой черпал свое знакомство с масонством, нельзя не сказать несколько слов и о книгохранилище московского Румянцевского музея. Это самое крупное в мире собрание масонских рукописей XVIII и начала XIX веков. Оно включает рукописные подлинники новиковских масонских изданий, многие сочинения, не напечатанные по тем или иным соображениям, большое количество ритуалов разных градусов, протоколы собраний разных лож Иоанновских и шотландских, масонскую переписку и т.д. Без ознакомления с этим собранием, состоявшим по преимуществу из архивов виднейших масонов александровского времени гр. Виельгорского и гр. С.С.Ланского, нельзя получить полного представления о судьбах русского масонства. Более того, без коллекций Румянцевского музея нельзя писать истории шотландского устава. Только там сохранились в таком количестве и ритуалы, и материалы по работам лож в разных градусах, и произносившиеся на этих собраниях речи. Такого собрания в парижской Национальной библиотеке, ныне самого богатого на Западе, нет. Неудивительно поэтому, что Толстой отметил и богатство и интерес этих материалов. Ему было откуда почерпнуть данные о жизни масонских лож описанной им исторической эпохи. Недаром большинство слов, которые произносят масоны у Толстого, заключены в кавычки. Они целиком взяты из речей либо из протоколов.

II. Повествование

Масонству посвящено немало страниц «Войны и мира», главным образом во втором и отчасти в третьем томе. Все упоминания о масонстве связаны с Пьером Безуховым, и вся масонская карьера последнего постепенно проходит перед читателем, начиная с дорожной встречи (в Торжке) с Баздеевым и кончая поездкой Пьера в Петербург в 1820 году «для обсуждения важных вопросов, занимавших в Петербурге членов одного общества, которого Пьер был одним из главных основателей». Мы присутствуем и при принятии Пьера в Орден, куда его вводит, по просьбе Баздеева, Вилларский, и при первых его шагах до отъезда в южные его имения, и при том, как он «невольнo стал во главе петербургского масонства»; узнаем о его поездке за границу, где он «успел получить доверие многих высокопоставленных лиц», «проник во многие тайны» и «был возведен в высшую степень». Мы знакомимся с его неудачным выступлением в ложе о задачах масонства и имеем перед собой подлинный текст его речи. Мы присутствуем при его свидании с Баздеевым и читаем отрывки из его масонского дневника, который он ведет по указанию того же Баздеева. Далее мы являемся свидетелями его разочарования в масонстве, которое заставляет его избегать общества братьев и вернуться к прежнему образу жизни. Он с огорчением считает, что «в масонстве такое же несоответствие между словами клятвы и действительностью, как в остальной жизни». Впоследствии Пьер приходит к выводу, что «Бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитекторе Вселенной». Но в конце концов он, видимо, к масонству обращается вновь (в 1820 году), так как для него несомненно, что оно стало на тот путь, который он указывал в своей не понравившейся другим братьям речи: действовать активно на преобразование всего человечества усовершенствованием отдельных людей. Правда, Толстой не называет масонства, в котором Пьер был одним из главных основателей. Это умолчание, понятное по цензурным соображениям, не может быть расшифровано иначе, как указание на декабристское движение и его масонские корни. В противном случае участие Пьера было бы необъяснимо. Этим же может быть объяснено и неприязненное отношение Пьера к мистицизму и мистикам, в частности к князю А.Г.Голицыну и Библейскому обществу.

Как уже было сказано, все масонские страницы связаны с Пьером, и другие персонажи обнаруживают свое отношение к масонству только в беседах с Безуховым. Баздеев появляется

лишь как наставник и руководитель масонской жизни Пьера, оставаясь таковым даже после своей смерти. Вилларский, видимо, очень деятельный масон, обрисован в романе только как собеседник Пьера Безухова. Пьер говорит Андрею Болконскому о задачах масонства, и этот разговор является для князя Андрея «эпохой, с которой началась по внешности та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь». Из дальнейшего явствует — из разговора о перчатках, — что Болконский вступил в масонство. Бориса Друбецкого принимает в масонство также Пьер и играет при его приеме первенствующую роль ритора, что оставляет в душе Пьера тягостный осадок. Наконец, даже Ростов беседует с Пьером о масонстве. Ввиду этого иногда высказывают мнение, что масонство введено в романе лишь как один из элементов характеристики Пьера, жившего в александровскую эпоху, т.е. в период расцвета масонской деятельности в России. Этой точки зрения, как мы видели, держался и Скайлер.

Верно, однако, и другое: в александровскую эпоху — как и во времена Екатерины — масонство было необычайно распространено в России. За малым исключением, все мало-мальски выдающиеся люди того времени имели то или иное отношение к масонству. Нет ни одного дневника той эпохи, где автору не приходилось бы говорить о масонстве или масонах. Нельзя было описывать александровское время, не уделив некоторого внимания масонству. О масонстве много говорит и Жихарев¹, бывший для Толстого одним из главных источников бытовой стороны романа, в особенности для характеристики тех или иных членов московского или петербургского общества.

Во всяком случае Пьер является центральной фигурой в картине русского масонства, нарисованной Толстым. Поэтому естественно поставить вопрос: верно ли это изображение и носит ли оно портретный характер. Существует мнение, что прототипом Пьера Безухова был граф Матвей Александрович Мамонов². Вряд ли это вполне верно. Толстой писал сам, что «все основные лица (кроме Денисова и М.Д.Ахросимовой) совершенно вымышленные и не имеют даже для меня определенных первообразов в предании или действительности». По отношению к Безухову это справедливо. Конечно, есть некоторое сходство: сын екатерининского фаворита-красавца, сформировавшийся на свои средства полк в 1812 году, отличался чудачествами; был масон ложи «Ищущих манну» и хотел вместе с Михаилом Орловым образовать общество «Русских рыцарей». Но на этом сходство и кончается. Был он законный сын, никогда не был женат, долго служил на военной службе, отличался, как и отец, красотой. Большую часть

жизни прожил в деревне, где буквально никого не видел. Масонством интересовался сравнительно недолго и значительного следа не оставил в нем.

Верна ли вообще картина, нарисованная Толстым? В деталях, несомненно да. Толстой с необычайной добросовестностью пользовался источниками, а таковых у него было великое множество, и материалы были превосходные. Несомненно, и речи и отдельные слова — взятые всегда в кавычках — равно, как и дневник Пьера, списаны дословно в Румянцевском музее. Дневник, видимо, — с дневника гр. М.Ю.Виельгорского.

Разбирая «Войну и мир» с военной точки зрения, генерал Драгомиров приходит к выводу, что отдельные черточки схвачены с необычайной точностью, чего нельзя сказать про всю картину в целом. Это замечание применимо и к оценке изображения масонства.

Толстой говорит сам, что «Война и мир» не историческая хроника, и посему критиковать созданное им изображение Ордена вольных каменщиков, с точки зрения его соответствия историческим фактам, не приходится. Важно установить, верно ли схвачен дух и самая сущность масонского братства.

Отметим сначала две неточности, которые бросаются в глаза. Во-первых, указано, что сердце Пьера «не лежало к мистической стороне масонства». Толстой дважды это повторяет. В этом случае Пьер не мог быть учеником Баздеева (Поздеева), который был одним из близких соратников Лабзина и одним из самых глубоких мистиков, не признававших масонства вне христианского мистицизма. Второе несоответствие версии Толстого подлинному духу масонства — это прием Пьером Бориса Друбецкого. Братья Пьера по ложе не могли не знать его семейной драмы. Самое обращение Баздеева с указанием, что Братство протягивает ему руку, было в момент тяжких семейных неурядиц у Пьера. А посему братья не могли назначить его играть главную роль при приеме ненавистного ему человека.

Можно сделать еще одно указание. Это неправдоподобность поездки «в целях открытия масонской тайны» за границу в начале XIX века. Такая поездка могла иметь место в екатерининское время. Навеяна она, очевидно, поездкой Шварца или путешествием В.И.Зиновьева⁸, но, конечно, в Шотландию ехать было незачем. Надо полагать, что Толстой, как и многие другие, не подозревал, что к образованию шотландского масонства Шотландия никакого отношения не имеет.

Но все это отходит на дальний план, сравнительно с тем, как проникновенно и точно Толстой передал смысл и

значение принадлежности к Братству вольных каменщиков. Это отчетливо проступает в момент посвящения Пьера, в беседе Пьера с князем Андреем, также и в «не понравившейся Великому Мастеру речи Пьера».

Толстой относился к масонству если и не враждебно, то во всяком случае критически⁴ и противопоставлял масонским поучениям философские рассуждения Платона Каратаева. И в представлении Пьера Каратаев явился «непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды» и «остался таким навсегда». В этом противопоставлении «каратаевской правды масонскому лабиринту лжи», которую ощущал «разочаровавшийся в масонстве Пьер», звучит осуждение масонства, которое намеревался высказать Толстой.

Вряд ли, однако, так его воспринимает читатель, которому приходится, по воле автора, рассматривать масонство сквозь призму отношения к нему Безухова и личных его переживаний главным образом от огорчения неудавшейся семейной жизни с Элен. Но сам Пьер ведь соткан из противоречий и сам повинен в переживаемых им неудачах и несчастьях. И не один раз, как свидетельствует автор, масонство являлось для Пьера не только источником утешения, но и давало ему возможность подняться на большую духовную высоту. И эти страницы написаны Толстым с такой яркостью и убедительностью, что впечатление от них не меркнет от последующих сомнений и колебаний. А это прежде всего потому, что написаны они верно.

В литературе существует мнение, что масонство Пьера Безухова есть опыт неудачный и что Толстой впоследствии уже не возвращался к подобным опытам. Есть и иные точки зрения. Первоначально и критики встретили сурово масонские переживания Пьера, но в широкой русской читающей публике отношение сложилось иное. Можно без ошибки утверждать, что со времени появления «Войны и мира» (1865 — 1868) русские люди, все — а кто не читал романа Толстого? — стали знакомиться с былым русским масонством именно по описаниям деятельности и переживаний Пьера Безухова. В смысле популяризации Ордена вольных каменщиков эпопея Толстого сделала не меньше, чем вся историческая литература, и сделала так, что в кругах интеллигенции любили и ценили старое русское масонство. И многие стали верить, как Пьер после разговора с Баздеевым, «в возможность братства людей, соединенных с целью поддерживать друг друга на пути добродетели», и таковым представляется им масонство.

Л.Н.Толстой — К.Верксхагену (K. Werckshagen)

1905 г. Марта 7(20) Я.П.
(перевод с немецкого)

Милостивый государы!

Очень благодарен вам за присылку вашей масонской книги. Меня очень радует, что я, сам того не зная, был и есть масон по своим убеждениям. Я всегда, с самого детства, питал глубокое уважение к этой организации и думаю, что масонство сделало много добра человечеству.

*С глубоким уважением
Лев Толстой
Ясная Поляна,
7(20) марта 1905*

М.А.Волошин

Пророки и мстители

Предвестия великой революции

Я развернул книгу наугад, и мне раскрылась такая страница: «Весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны погибнуть, кроме некоторых весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселяющиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали эти зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований.

Целые селения, целые города и народы заражались и сумашествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать добром, что злом. Не знали, кого обвинять и кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех. Но кто и для чего зовет, никто не знал того, и все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что каждый предлагал свои мысли, свои поправки и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на какое-нибудь дело, клялись не расставаться, но тотчас начинали что-нибудь совершенно новое, иное, чем сейчас сами же предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и все погибло.

Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спаслись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые, избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса»¹.

Это последняя страница из «Преступления и наказания» — бред Раскольникова в Сибири. Я читал эту страницу много раз и раньше, но теперь мне казалось, что ее никогда раньше не было и она только что выросла в этой книге. Я читал ее другим, которые, я знал, любили эту книгу, и они тоже не могли вспомнить именно этой страницы. Очевидно, глаза наши до нынешних времен скользили по этим строкам, не видя их.

Только дыхание ужаса революции выявило их для нас, как прикосновение огня обнаруживает бледные буквы, написанные химическими чернилами на белом листе бумаги.

Оно было написано ровно сорок лет тому назад — это апокалипсическое видение, в котором уже есть все, что совершается, и много того, чему еще суждено исполниться.

Души пророков похожи на темные анфилады подземных зал, в которых живет эхо голосов, звучащих неизвестно где, и шелесты шагов, идущих неизвестно откуда. Они могут быть близко, могут быть далеко. Предчувствие лишено перспективы. Никогда нельзя определить его направления, его близости.

Толща времени, подобно туману, делает предметы и события грандиознее и расплывчатее.

Поэтому часто бывает, что ураган, притаившийся на пути одного народа, для провидцев этого народа представляется событием мировым, а не национальным, и наступление частичной катастрофы кажется наступающим концом мира.

Наиболее яркий пример такого предчувствия — это всеобщее оживление конца мира в третьем и четвертом веке христианской эры, которое разрешилось падением Римской империи.

С пророчеством Достоевского хочется сопоставить пророчество св. Киприана, писавшего в конце третьего века:

«Мир близится к концу. Это не старость, это признак надвигающейся смерти... Человек старится и умирает. Так же и мир должен умереть. Все знаки свидетельствуют о том, что земля близится ко времени своего распада».

Зимой дождь не оживляет семян, лето не дает тепла, чтобы созреть плодам. Весна потеряла свое прежнее обаяние. Осень — свое плодородие. Мраморные каменоломни и золотые рудники истощаются, источники воды пересыхают.

Дети рождаются лысыми. Жизнь не кончается старостью, она начинается усталостью. Растет безлюдие. Земля без пахарей, на морях только изредка проходят корабли, нивы пустыньны. И в нравах тот же упадок. Нет больше невинности, нет справедливости, нет дружбы. Уровень знаний понижается. Лучи солнца бледны и не дают тепла. Луна незаметно уменьшается и скоро исчезнет совершенно; деревья, которые радовали нас своей зеленью и плодами, засыхают. И не ждите, что бедствия, истязавшие народы, уменьшатся. Они будут расти и множиться до дня последнего суда»².

Другой Отец церкви — Лактанций еще законченнее выражает то же настроение:

«Мир подходит к концу. Зло царит в мире. А между тем то, что теперь, это еще золотой век, сравнительно с тем, что будет: исчезнет всякий закон, всякая вера, всякий мир, всякий стыд, всякая правда.

Меч пройдет по миру и пожнет жатву. Имя Рима будет стерто с лица земли. Ужас меня охватывает, когда я говорю это, но я говорю, потому что так будет; снова власть вернется на Восток, Азия снова будет править, а Европа будет рабой.

И придут времена ужаса. И не будет таких, кому мила жизнь. Города будут разрушены до самого основания огнем и мечом, землетрясениями, наводнениями... Земля не даст плодов своих человеку... Животные станут умирать»³.

Лактанций заканчивает картину распада мира пришествием Антихриста и трубой Архангела, призывающей всех на Страшный суд.

Слова Лактанция об Азии и новом порабощении Запада невольно вызывают на память пророческие слова Владимира Соловьева о том, что всемирная история внутренне окончилась. «Историческая драма сыграна, и остался еще один эпилог, который, впрочем, как у Ибсена, может сам растянуться на пять актов. Но содержание их, в существе дела, заранее известно»⁴...

Сравнивая страницу Достоевского со словами Лактанция и св. Киприана, так близко подходящими друг к другу по стилю, замечаешь одну существенную разницу.

У всех троих есть яркое и вполне определенное чувство приближающейся катастрофы, но африканский ритор Лактанций говорит о моральном падении мира и о политическом торжестве Азии, совпадая в этом с Вл. Соловьевым, св. Киприан говорит о старости мира и с ужасом видит, что лучи солнца бледнеют и размеры луны уменьшаются, но оба они остаются в области физической природы, и Страш-



*И.П.Зарудный. Церковь Архангела Гавриила
(Меншикова башня), 1701 г.*

ный суд, которого они ждут, кажется для нас теперь только отчетом, который греко-римская культура готовилась дать перед Всемирной Историей.

Между тем в словах Достоевского чувствуется приближение катастрофы иного рода — катастрофы психологической, которая все потрясение переносит из внешнего мира в душу человека.

«Обезьяна сошла с ума и стала человеком»⁵. Следующий день начнется, когда человек сойдет с ума и станет Богом.

В пророчестве Достоевского чувствуется именно эта катастрофа: новое крещение человечества огнем безумия, огнем Святого Духа. Нынешнее человечество должно погибнуть в этом огне, и спасутся только те немногие, которые пройдут сквозь это безумие невредимыми, — «чистые, избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю. Но никто и нигде не видел этих людей, никто не слышал их слова и голоса».

У хилиастов третьего века⁶ конец мира, у Достоевского безумие — с надеждой новой зари за гранью безумия.

Как сонное видение преувеличивает и преображает в грандиозную и трагическую картину случайное внешнее явление, дошедшее до мозга спящего, так душа, полная пророческими гулами и голосами, преображает первые признаки падения греко-римской культуры в дряхлость всего мира и в наступление Страшного суда, а приближение Великой Революции разоблачает тайны последнего и величайшего безумия человечества, которое действительно, говоря словами Вл. Соловьева, «закончит магистраль Всемирной Истории».

Для того чтобы понять и разобрать пророчество раньше его осуществления, нужно не меньшее откровение, чем для того, чтобы написать его.

Только времена, надвигаясь и множа факты, дают ключ к пониманию смутных слов старых предвидений, опрозрачивая образы и выявляя понятия в невинных рунах прошлого.

Нужно самому быть пророком, для того чтобы понять и принять пророчество до его исполнения. Пророчество Достоевского оставалось для нас невнятным, пока мы не ступили на самый порог ужаса.

Пророчества почти всегда бессознательны. Очень редко они бывают пророчествами знания, немного чаще встречаются пророчества глаза — видения, и на каждом шагу мы имеем дело с пророчествами чувства — так называемыми предчувствиями.

Пророчества глаза и пророчества знания совершенно не

войдут в нашу тему, относясь по самому своему существу к другой области.

У человека есть две возможности бессознательного предчувствия: страх и желание.

Эти два органа, два щупальца, которыми он осязает дорогу перед собою.

Мы имеем с ними дело во всех обстоятельствах обыденной жизни и потому не обращаем внимания на их сущность. Между тем все наши отношения с будущим исчерпываются этими двумя органами восприятия, по существу своему диаметрально противоположными.

Желание и страх являются двумя формами одного и того же чувства предвиденья и выражают наши различные отношения к наступающему.

Страх — это чувство пустоты, неизвестности, «*horror vacui*». Желание — это чувство полноты.

Самое чувство в своем существе еще не познано нами. Мы знаем его только в его крайних проявлениях. В своем наиболее чистом виде мы можем наблюдать это чувство в моменты ожидания, когда весь организм бывает охвачен тем особенным нервным волнением, в котором нельзя отличить стихию страха от стихии желания.

Без сомнения, наше чувство будущего, подобное памяти — чувству прошлого, возникает именно в том промежуточном пространстве — между страхом и желанием. И оно уже есть в нас отчасти. Только для памяти мозг выработал себе двойную перспективу: хронологию и закон причинности, в то время как в области предвидения такого чувства еще нет.

В слове «революция» соединяется много понятий, но когда мы называем Великую Революцию, то, кроме политического и социального переворота, мы всегда подразумеваем еще громадный духовный кризис, психологическое потрясение целой нации.

В жизни человека есть незыблемые моменты, неизменные жесты и слова, которые повторяются в каждой жизни с ненарушимым постоянством: смерть, любовь, самопожертвование.

И именно в эти моменты никто не видит и не чувствует их повторяемости: для каждого, переживающего их, они кажутся совершенно новыми, единственными, доселе никогда не бывавшими на земле.

Подобными моментами в жизни народов бывают революции. С неизменной последовательностью проходят они одни и те же стадии: идеальных порывов, правоустановле-

ний и зверств — вечно повторяющие одну и ту же трагическую маску безумия и всегда захватывающие и новые для переживающих их.

Революции — это биения кармического сердца — идут ритмическими скачками и представляют непрерывную пульсацию катастроф и мировых переворотов.

Духовный кризис наций, который является неизбежным бичом в руке каждой из Великих Революций, — это кризис идеи справедливости.

Идея справедливости — самая жестокая и самая цепкая из всех идей, овладевавших когда-либо человеческим мозгом.

Когда она вселяется в сердца и мутит взгляд человека, то люди начинают убивать друг друга.

Самые мягкие сердца она обращает в стальной клинок и самых чувствительных людей заставляет совершать зверства.

Она несет с собой моральное безумие, и Брут, приказывающий казнить своих сыновей, верит в то, что он совершает подвиг добродетели.

Кризисы идеи справедливости называются Великими Революциями.

Анатоль Франс говорит с горькой иронией: «Робеспьер был оптимист и верил в добродетель. Государственные люди, обладающие характером подобного рода, приносят всяческое зло, на какое они способны.

Если уж братья управлять людьми, то не надо терять из виду, что они просто испорченные обезьяны. Только под этим условием можно стать человеческим и добрым политическим деятелем.

Безумие революции было в том, что она хотела восстановить добродетель на земле.

А когда хотят сделать людей добрыми и мудрыми, терпимыми и благородными, то неизбежно приходят к желанию убить их всех. Робеспьер верил в добродетель: он создал Террор. Марат верил в справедливость: он требовал двухсот тысяч голов»⁷.

Кабанес в любопытной книге о революционных невзехах говорит:

«Голод создавал болезни. Но и зрелище голода создало болезнь, новую, свойственную только этому времени, — «бешенство сострадания». Человечество отчаянно взывало к бесчеловечью, к самой смерти — великому врачу, который, казалось, мог исцелить все болезни мира. Марат, которому постоянно делали кровопускания и который всюду видел только кровь, был неумолимым филантропом. Шалье —

святой Террора, жестокость которого была вся в словах, но который носил в сердце невыразимую жалость ко всем страдающим, ужаснул мир пароксизмом своего бешенства»⁸.

Человечество в своем совершенствовании должно пройти сквозь идею справедливости, как сквозь очистительный огонь.

Прежде чем прийти к полному и безусловному оправданию мира («мир должен быть оправдан весь, чтоб можно было жить!»), надо пройти под лезвием меча, рассекающего все видимое, все познаваемое на добро и зло, правду и ложь, справедливость и насилие.

У статуи Справедливости в руках меч. У статуи Справедливости глаза всегда завязаны, а одна чашка весов всегда опущена!

Пароксизм идеи справедливости это — безумие революции. В гармонии мира страшны не те казни, не те убийства, которые совершаются во имя злобы, во имя личной мести, во имя стихийного звериного чувства, а те, которые совершаются во имя любви к человечеству и человеку.

Только пароксизм любви может создать инквизицию, религиозные войны и террор.

И любовь страшнее и разрушительнее ненависти, потому что ненависть только тень любви, потому что ненависть только огненный цветок, распускающийся на дереве любви, на неопалимой купине человечества.

Безумие в том, что палач Марат и мученица Шарлотта Корде с одним и тем же сознанием подвига хотели восстановить справедливость на земле.

Сентябрьские убийцы во время Французской революции, убивая заключенных в тюрьмах аристократов, верили, что они совершают таинство священного очищения нации.

2 сентября во дворе Аббей⁹, когда уже лежали груды трупов один на другом, произошло движение среди присутствующих, потому что кто-то сказал:

«Надо пустить детей посмотреть». Революция повторяла слова Христа: «Пустите ко мне малых сих».

«Да, да, верно!» — раздались голоса, и каждый посторонился, чтобы дать место ребенку.

Чем человек чувствительнее и честнее, тем кризис идеи справедливости сказывается в нем с большей силой и нетерпимостью.

Робеспьер, Кутон, Марат, Сен-Жюст по своему существу сентиментальны и чувствительны.

Робеспьер, когда еще до революции был судьей в городе Аррасе, предпочел отказаться от должности, чем скрепить своей подписью представленный ему смертный приговор.

Кутон плакал над смертью канарейки. «Jean-Pierre Marat etait tres doux», — гласит стих Верлена¹⁰. Сен-Жюст написал в своем дневнике:

«Очевидно, Господу угодно было кинуть меня в среду этих извращенных, чтобы я, как меч, покарал их».

Генрих Гейне в своей «Истории религии и философии в Германии» сравнивает Иммануила Канта с Максимилианом Робеспьером:

«И в Канте и в Робеспьере в наивысшей степени было воплощено мещанство: природою им обоим суждено было взвешивать сахар и кофе, но судьбе угодно было поручить им иное, и одному на чашу весов она возложила короля, а другому Бога... И оба взвесили честно»¹¹

Гейне совершенно прав, называя Робеспьера мещанином. Справедливость Робеспьера — справедливость во имя государственности, т.е. справедливость мещанская, справедливость бюргера, горожанина, справедливость, которая лежит в наше время в основе всех установлений государственного порядка. Он сам косвенно признался в этом словами:

«Идея высшего существа и бессмертия души — это постоянное напоминание о справедливости; поэтому она социальна и достойна республики»¹².

Справедливостью во имя божественного установления была и справедливость старого режима, но Робеспьер справедливость поставил выше божества и этим сделал ее мещанской.

У Марата и у сентябрьских убийц была справедливость самая непоследовательная, так как ее критерием служит личная страсть.

Справедливость Дантона — справедливость во имя родины — «Родина в опасности!» — справедливость жестокая, но целесообразная, смягченная добродушием сильного зверя.

Справедливость жирондистов — справедливость во имя человечности, обманчивая справедливость Руссо.

«Бедный, великий Жан-Жак! — говорит А.Франс. — Он встревожил мир. Он сказал матерям: «Кормите сами своих детей», и молодые женщины стали кормилицами, и художники стали изображать знатных дам, кормящих грудью своего ребенка.

Он сказал людям: «Люди рождены добрыми и счастливыми, а общество сделало их несчастными и злыми. Они найдут свое прежнее счастье, возвратясь к природе». Тогда королевы сделались пастушками, министры — философами, законодатели провозгласили права человека, а народ, добрый по природе своей, в течение трех дней резал заключенных в тюрьмах!»

Но самая страшная справедливость — справедливость Сен-Жюста — справедливость во имя справедливости. Справедливость, висящая среди мира, как огненный меч гневного серафима, прообраз Страшного суда, всеиспепеляющее пламя абсолютного морального чувства разгневанного божества, не нашедшего оправдания миру.

«Господу было угодно кинуть меня в круг этих извращенных, чтобы я, как меч, покарал их».

Сен-Жюст — воплощение абсолютной идеи справедливости, которая в самом звуке его имени отметила свое появление на земле.

Безумие отдельных лиц ищет оправдание своей справедливости в высшей и неоспоримой идее, но неоспоримые идеи, сталкиваясь в водовороте жизни, производят разрушительные взрывы.

Отдельные безумия находят свое успокоение только в законе — безумии объективном, которое является равнодействующим всех безумий.

«В демократии народ подчинен своей собственной воле, а это очень тяжелый вид рабства. В действительности народ настолько же чужд и враждебен своей собственной воле, насколько он чужд воле своего царя, так как общая воля или совсем отсутствует, или присутствует очень мало в воле отдельного человека, который, однако, испытывает это противоречие во всей своей его целостности» (А. Франс).

Почему же ни Робеспьер, ни Сен-Жюст, в руках которых была вся власть, не дали Европе того закона, который она, спустя несколько лет, приняла из рук Наполеона?

Они были тверже и чище его, подобные двум архангелам ужаса, стоящим у врат нового мира.

У них не было минут слабостей, нерешительности, отчаяния и даже простой боязни, как в жизни Наполеона.

Власть Наполеона в том, что он пришел во имя свое и дал закон во имя свое, тогда как Робеспьер хотел дать закон во имя республики-государства, а Сен-Жюст — во имя справедливости. И тайна власти Наполеона в том, что он смотрел на людей, как на «испорченных обезьян».

Санкция закона — в имени, от которого он исходит; будь это закон от Иеговы или закон от Наполеона.

Во имя безымянной идеи нет закона, будь это непорочная идея самой справедливости или успокаивающая идея государства мещанства.

Закон Наполеона и был законом мещанства, но он не был дан во имя мещанства, а во имя законодателя.

Русская революция — это только один частичный кризис, который в душе Достоевского выявил тайны последнего и величайшего безумия человеческого рода, который погибнет весь в этих моральных конвульсиях, кроме тех немногих избранных, которым предназначено начать новый род людей, новую жизнь, обновить и очистить землю, перенести внешний закон внутрь человеческой души.

Тогда нынешнее — звериное — сознание общественного организма, которое ниже нашего личного сознания, станет равным ему и тождественным.

Но прежде чем человечество придет к этому полному и безусловному единству личности и общества, надо до самого конца пройти времена безумия. Надо все видимое, все познаваемое рассечь лезвием меча на добро и зло, правду и ложь.

Страшны стихийные предвестия этих моральных пароксизмов. Конвульсивный ужас бежит и кривляется, оповещая об их наступлении.

Во Франции наступление Великой Революции пробудило панический ужас, спавший в утробе средневековья.

«Нервность населения была так велика, — говорит Тэн, — что достаточно было маленькой девочке встретить вечером около деревни двух незнакомых людей, чтобы целые округа начинали бросать свои жилища и спасаться в леса, унося с собой свои пожитки»¹³.

Это были первые предвестия террора. Этот ужас не всегда переходит в убийства. Эпидемия ужаса тысячного года вылилась не в убийства, а в мистицизм.

Страх — это скачок в бессознательное. Если энергии взрыва нет места вверх, он производит разрушение на земле. В то время Франция была полна бродяг и нищих. Разрушение замков еще не начиналось. Но эти босяки и хулиганы уже осмелели от парижских событий. Они были «Черной сотней», наводящей ужас. Они жгли хлеб и вытравляли посевы.

Центр Франции был потрясен эпидемией, которой дали имя «Великого Страх». В каждом городе она начиналась одинаковым образом. Вечером начинали циркулировать слухи: говорилось о приближении нескольких тысяч разбойников, вооруженных с ног до головы, которые истребляли все на своем пути, оставляя за собой только пожары и развалины. Слухи росли, подобно грозовому облаку; самые храбрые бывали захвачены. Прибегал в город человек и рассказывал, что он видел собственными глазами облако пыли, поднятое наступающим войском. Другой слышал, как били в набат в соседнем селении. Сомнений больше не

оставалось. Через какой-нибудь час или меньше город будет разграблен.

И рабочие и мещане хватались за оружие: ружья, штыки, пики, топоры, рабочие инструменты — все отбиралось для вооружения. Являлась импровизированная милиция. Самые смелые уходили из города в поиски, навстречу неприятелю.

Вернутся ли они? В ожидании женщины прятали драгоценные вещи, трепетали за своих детей... Проходит час... два... Смертельное томление! Наступает ночь, увеличивая ужас. Ходят патрули. На перекрестках горят факелы.

Между тем крестьяне, гонимые ужасом, бегут в город и волокут с собой свои пожитки.

Но вот возвращаются разведчики. Они не нашли ни одного разбойника. Страх уменьшается. Через несколько дней он разрешается всеобщим хохотом.

Овернь, Бурбоне, Лимузен, Форес были один за другим охвачены этой странной паникой. Эпидемия шла с северо-запада на юго-восток. Она отразилась тоже, но с меньшей силой и правильностью, в Дофинэ, в Эльзасе, во Франс-Конте, в Нормандии и в Бретани. В Париже такая паника была в ночь на 17 июля 1789 года, через три дня после взятия Бастилии. Главные моменты развития этой эпидемии — конец июля и начало августа 1789 года»¹⁴.

Уже с половины XVIII века во Франции ожидали пришествия Революции, повсеместно, всенародно, безусловно, почти с такой же напряженностью, как человечество ожидало светопреставления в конце десятого века.

Во Франции, как и в России, было больше всего пророков желания — этих «Женщин из Магдалы», ожидающих под раскаленным зноем пустыни пришествия Мессии. Они все измучены и сожжены ожиданием и страстью. Революция сразу сжигает их. Они гибнут в ее пламени, радостные и счастливые. Они ждут ее дуновения, и, когда губы мятежа прикоснутся к их лбу, им больше нечего делать на земле. Они ждут только одного поцелуя и не переживают страстности первого прикосновения.

...Великая Революция является психологическим кризисом идеи справедливости, которая в этой форме неразрывно связана с понятием мести. Мечь — это та форма переживания, которая с чудовищной силой связывает в тугую пружину воли целых поколений, и пружина, стягиваемая в течение столетий, вдруг развертывается одним чудовищным взмахом.

Вполне принимая общепринятое изложение экономических, социальных и психологических причин, подготовивших Великую Революцию, мы не можем не признать, что у террора, являющегося, по своему существу, выражением идей справедливости и мести, есть иная генеалогия, чем та, которую нам обычно предлагают как генеалогию французской революции. Существует целая литература, темная и малоизвестная, о мщении тамплиеров.

21 января 1793 года находится в неразрывной связи с 18 марта 1314 года — днем, когда был сожжен Великий Магистр Ордена тамплиеров Яков Молэ.

За шесть лет до этого, в ночь с 12 на 13 ноября 1307 года, заговором всех государств Европы, составленным по инициативе французского короля Филиппа Красивого и папы Климента V, был совершен один из самых грандиозных *coup d'Etat*¹⁵, случившихся в Европе.

Был арестован весь могущественный рыцарский Орден тамплиеров, тайное общество, которое держало в своих руках все богатство и всю власть тогдашней Европы и готовило громадный религиозный и социальный переворот в европейском человечестве.

Шесть лет длился процесс, в котором тамплиеры обвинялись в черной магии, колдовстве и сатанизме, и 18 марта 1314 года Великий Магистр Яков Молэ был сожжен на медленном огне на том месте Pont-Neuf, где теперь стоит статуя Генриха IV.

Он горел несколько часов и призвал папу и короля предстать вместе с ним на суд Божий в этом же году.

Папа умер через 40 дней, и тело его сгорело от опрокинутого светильника в то время, когда оно стояло в церкви, а король Филипп Красивый умер через год. Орден тамплиеров, основанный Гюгом де Пайеном как земное воплощение небесного ордена «Святого Грааля», был хранителем эзотерического христианства, и есть основание предполагать, что он подготовлял громадное религиозно-социальное переустройство средневекового мира.

Перед казнью Яков Молэ основал четыре Великих масонских ложи: в Неаполе восточную, в Эдинбурге западную, в Стокгольме северную и в Париже южную.

На другой день после его сожжения Chevalier Aumont и семь тамплиеров, переодетые в костюмы каменщиков, с благоговением подобрали пепел его костра.

Так родилось, по преданию, тайное общество франкмасонов, которое впоследствии передало Великой французской революции свой девиз: *Liberte, Egalite, Fraternite*.

Для того чтобы допустить к причастию в их тайне Великой мести только людей вполне достойных доверия, неотамплиеры создали обычные франк-масонские ложи под именем св.Иоанна и св.Андрея. Эти ложи были доступны толпе, и из них выбирались истинные масоны, которые могли принять действительное участие в заговоре; они уже составляли не ложи, а шапитры, которых было четыре в городах, указанных Яковом Молэ.

Их власть и распространение в последние годы XVIII века были громадны. Из масонских лож вышли все деятели Великой Революции.

Когда Вольтер в самые последние годы своей жизни (1778) был посвящен в масоны, то в числе членов ложи «Девяти Сестер», основанной Лаландом, в которую он был введен Франклином и историком Курт де Жабеленом, были: Бальи, Дантон, Гара, Бриссо, Камилль Демулен, Шамфор, Петион, Кондорсэ и Дом Герль.

«Революция началась взятием Бастилии, потому что Бастилия была тюрьмой Якова Молэ. Авиньон был центром революционных зверств, потому что он принадлежал папе и там хранился пепел великого магистра. Все статуи королей были низвергнуты для того, чтобы уничтожить статую Генриха IV, стоявшую на месте казни Якова Молэ, и на этом месте тамплиеры должны были воздвигнуть Колосса, подпирающего ногами короны и тиары»¹⁶.

В том самом доме на улице Платриэр, в котором умер Жан-Жак Руссо, была основана ложа теми заговорщиками, что со времени казни Якова Молэ поклялись сокрушить государственный строй старой Европы. Эта ложа была центром революционного движения, и один из принцев королевской крови там клялся в мести наследникам Филиппа Красивого на могиле Якова Молэ.

Записи Ордена тамплиеров свидетельствуют о том, что уже регент был Великим Магистром этого тайного общества и что его преемниками были герцог де Мэн, принцы Бурбон Конде и герцог Cosse Brissac. Последним Магистром был Филипп Орлеанский, который принял имя Эгалите, так как клятва тамплиеров о мести Бурбонам не позволяла ему править Орденом, сохраняя свое имя. Тамплиерам нужна была казнь короля. Когда национальное собрание под страхом гражданской войны объявило короля лишенным престола и назначило ему местом Люксембургский дворец, то другое собрание, более тайное и более могущественное, решило иначе. Резиденцией поверженно-

го короля должна была стать тюрьма, и тюрьма эта не могла быть иной, чем старый дворец тамплиеров, который еще стоял крепко со своими башнями и бойницами в ожидании царственного узника¹⁷.

Якобинизм имел уже имя раньше того, чем главы заговора выбрали старую церковь монахов-якобитов местом для своих собраний. Их имя происходит от имени Якова — имени рокового для всех революций. Старые опустошители Франции, создавшие Жакерию, назывались «Жаками».

Философ, роковые слова которого предуготовили новую жакерию, назывался Жан-Жаком, и тайные двигатели Революции клялись низвергнуть трон и алтарь на гробнице Якова Молэ.

В тех местах, где на стенах церквей и зданий тамплиеры вырубили свои тайные знаки и символы, страшные «знаки Рыб»¹⁸, во время Революции разразились кровавые безумства с неудержимой силой.

Во время сентябрьских убийств какой-то таинственный старик громадного роста, с длинной бородой, появлялся везде, где убивали священников.

«Вот вам за альбигойцев! — восклицал он, — Вот вам за тамплиеров! Вот — за Варфоломеевскую ночь! За северо-западных осужденных!»¹⁹.

Он рубил направо и налево и весь был покрыт кровью с головы до ног. Борода его слиплась от крови, и он громко клялся, что он вымоет ее кровью.

Это был тот самый человек, который предложил m-lle де Сомбрейль²⁰ выпить стакан крови «за народ».

После казни Людовика XVI этот самый вечный жид крови и мести поднялся на эшафот, погрузил обе руки в королевскую кровь и окропил народ, восклицая: «Народ французский! я крещу тебя во имя Якова и Свободы!»

В настоящую минуту Россия уже перешагнула круг безумия справедливости и отмщения.

Неслыханная и невиданная моровая язва, о которой говорил Достоевский, уже началась. Появились эти новые трихины — существа, одаренные умом и волей, которые вселяются в тела людей.

«Люди, принявшие их в себя, становятся тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считают эти зараженные. Никогда люди не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, сво-

их нравственных убеждений и верований; и все же не могут согласиться, что считать добром, что злом».

И Ангел Справедливости и Отмщения, кровавый Ангел тамплиеров, Ангел у которого меч в руках, у которого глаза всегда завязаны, а одна чаша весов всегда опущена, восстал и говорит:

Народу Русскому: Я скорбный Ангел Мщенья,
Я в раны черные, в распахнутую новь
Кидаю семена. Прошли века терпенья...
И голос мой — набат, хоругвь моя, как кровь.
На буйных очагах народного витийства,
Как призраки, взращу багряные цветы.
Я в сердце девушки вложу восторг убийства
И в душу детскую кровавые мечты.
И дух возлюбит смерть, возлюбит крови алость...
Я грезы счастья слезами затоплю.
Из сердца женщины святую выну жалость
И тусклой яростью ей очи ослеплю.
О, камни мостовых, которых лишь однажды
Коснулась кровь... я ведаю вам счет!
Я камни заклянью заклятьем вечной жажды,
И кровь за кровь без меры потечет...
Скажи восставшему: Я злую едкость стали
Придам в своих руках картонному мечу...
На стогнах городов, где женщин истязали,
Я «знаки Рыб» на стенах начерчу.
Я синим пламенем пройду в душе народа.
Я красным пламенем пройду по городам.
Устами каждого воскликну я: «Свобода!»
Но разный смысл для каждого придам.
Я напишу: «Завет мой Справедливость!»
И враг прочтет: «Пощады больше нет!»
Убийству я придам манящую красоту,
И в душу мстителя вопьется страстный бред.
Меч Справедливости — провидящий и мстящий
Отдам во власть толпе, и он в руках слепца
Сверкнет стремительный, как молния разящий...
Им сын заколет мать. Им дочь убьет отца.
Я каждому скажу: «Тебе ключи надежды.
Один ты видишь свет. Для прочих он потух».
И будет он рыдать, и в горе рвать одежды,
И звать других... но каждый будет глух.
Не сеятель сберет колючий колос сева.
Принявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача²².

М.А.Осоргин

24 февраля 5936 г.

Дорогие братья, в наших частых, почти бесчисленных беседах о тайне, посвятельном пути и ненаходимой, но вечно искомой истине мы не раз высказывали, вероятно, правильную догадку, что подходить к этим вопросам с доводами только от разума и логики нельзя. Точно так же нельзя, мне думается, путем строго логических построений в достаточной мере пояснить (уже не говорю доказать) мысль о том, что масонство есть искусство.

Но мы никогда не сумеем межевым столбом отметить место и часовой стрелкой минуту, когда разум и логика перестают быть водителями и уступают место иррациональному. Самолет, оторвавшись от земли в своем колесном разбеге, продолжает тот же путь, в том же направлении, по тем же законам механики, но земля им покинута. В одежду тех же, привычных, условленных между нами выражений мы облакаем нашу мысль, и мы знаем, что нет поэтического произведения вне правил грамматики и без знаков препинания. Кажется, мы не ошибемся, предположив, что дело не в форме изложения и даже не в содержании мысли, а в способе восприятия. Одна и та же живопись оставляет холодным одного зрителя и волнует другого. Искусство не телефон, по которому можно автоматически соединиться с любым абонентом сети. Если уж нужно сравнение, то скорее оно — радио, требующее определенной волны и известной мощности аппарата. Все равно, музыкальный вздор или музыкальный шедевр будут переданы по нему: воспримут его только те, кто воспринять хочет и может.

Без этой созвучности нам тщетно пытаться понимать друг друга. Но именно к созвучности призывает нас то учение, которое, по-моему, правильнее называть искусством и которое служит основой Братству вольных каменщиков.

Поэтому мне не кажется важным и нужным, братья, быть историчным в изложении истории масонства и быть логичным в попытках развития масонского миропонимания.

Не потому, чтобы меня так тянуло к творимым легендам, т.е. к остроумным выдумкам или я пытался продерзостно отрицать достижения разума. И через болото все же лучше идти по кочкам, а через поток по наведенному мосту. Но в сфере искусств процесс искания выше найденного и художественная мечта дороже точных изображений. Мне не так много даст знание того, что современное масонство зачалось с конституции Йоркской X века, или Устава страсбургских каменщиков XV века, или Катехизиса Генриха, или конституции пастора Андерсона, которую мы считаем своей и ныне действующей, но мне очень много дарит ощущение духовной связи, преемственно соединяющей наше Братство не только с нами, но и с посвятителными обществами древности и средних веков, с нравственными и религиозными исканиями всех эпох и всех народов. Если эта подтверждаемая моим внутренним ощущением и всей творческой настроенностью масонства последовательность окажется исторически не доказанной или даже опровергнутой, я даже не буду ссылаться на то, что история не наука; я просто отмечу для себя тщету подобных доказательств, так как я и не искал родства кровного я ищу только духовного родства и нахожу его вне ветвей генеалогического дерева, лишь в общности нашего поэтического солнцепоклонства, нашей веры в вечное возрождение, в пантеистическом одухотворении природы, отрицании конечного в замкнутом круге, нашей личной расположенности и способности подчинять мысль очарованию образов, волшебной догадки, для которой разум лишь весьма почтенное и полезное «элементарное руководство для средних школ», для нашего масонского подмастерства. Конечно, мы согласимся, что поэт, слово которого рождается «из пламя и света»¹, обязан подумать, нельзя ли эту мысль выразить более правильно грамматически. И Лермонтов думал и очень хотел исправить ошибку. Но, не найдя замены, он оставил строку в прежнем виде, потому что поступиться цельностью действительно прекрасного образа ради грамматики поэт не может; он просит о снисхождении, но остается королем в своей области.

Я предвижу возражения. Могут сказать, что для современного человека высшей красотой и высшей поэзией являются завоевания разума, что интуитивное познание есть только защитная маскировка недомыслия, утешение для философов второго сорта. Скажут, что и строгий ученый-математик-художник, что и «Коммунистический манифест» — цветок пролетарской поэзии. Я даже и спорить с этим не буду, во-пер-

вых, потому, что в частных случаях охотно соглашусь со многим, во-вторых, потому, что всякий спор бесполезен и все дело в личной оценке данного, так или иначе настроенного, в той или другой мере посвященного человека. Дрожать творческим восторгом может и коллекционер почтовых марок, закончивший альбом; собачья сладость подданнической любви может быть искренней в иных привычных рабах; трепет исканий может быть обнаружен во взыскующем ордена Почетного легиона. Поэтам слишком часто швыряли в лицо печной горшок, чтобы они не чувствовали к нему доли уважения. Таблица умножения стесняет нашу свободу, но ее изобретатель был, вероятно, человеком гениальным, во всяком случае творцом. Но, к сожалению, обычно нам возражают не творцы, а их эпигоны, преданные рабы найденных другими временных истин. Есть Пушкин, и есть пушкинисты, печальная порода гробокопателей, от которых поэт отвернулся бы с великим негодованием, как от специалистов по опоплению его поэтических взлетов. Есть гениальные ученые, и есть учителя гимназий, с полной добросовестностью внушающие ученикам отвращение к науке; одно — Пифагорова теорема, другое — Пифагоровы штаны, хотя, конечно, это одно и то же. Я вполне понимаю восторг летчика, ныряющего в облака, но равнодушен к восторгам статистика, бубнящего о великом прогрессе авиации.

Все это настолько несомненно, что даже не стоит приспособливаться и применяться ради оправдания со стороны судей от разума. Может быть, и не так трудно, например, логически доказать, что построение своего внутреннего храма и работа по созиданию совершенного «я» и совершенного «мы», т.е. строя идеальных человеческих отношений, не есть учение и не есть туманная религия, а есть искусство, высокое духовное ремесло. Но тому, кто это чувствует и кого это увлекает, не нужны ни рассуждения, ни доказательства, а кто не чувствует, тот найдет способ их опровергнуть, как можно логикой доказать и опровергнуть решительно все, для того она и придумана. Созвучных волн не будет — и музыка ощущений не передастся не настроенному в лад приемнику. С этим решительно ничего поделаться невозможно. Но говорить нужно, и мы здесь говорим вечно и без утомления: передающая радиостанция не знает, включит ли кто-нибудь волну, на которой она работает, лишь в надежде, что кто-нибудь включит.

То, что я здесь говорю, не общее место, но основной символ веры вольных каменщиков, конечно, в моем личном

понимании и толковании, как свободного члена Братства. На этом же камне веры мы строим и наше как будто странное и противоречивое утверждение ненаходимости вечно истинной истины. У вольного каменщика нет прошлого, вернее, его прошлое в традициях и символах, а не в реальности. Прожитый день и найденная истина умирают в тот же миг, оставаясь лишь в запечатленных образах. У него нет и настоящего, ценность которого лишь за пределами его храма. Предмет его работы и исканий — будущее, как всякого художника и поэта. В символике масонских жестов есть шаги колебаний, но нет шага назад; только полшага есть в знаке третьей степени, но в знаке ужаса. Иногда бывает обидно повторять в обстановке невнимания и возможного несочувствия такие громкие слова, как «искание истины»; так в обществе профанском как-то совестно профанировать слова о «стремлении к идеалу». И все-таки мы ищем истину, и ищем ее в познании природы. Мне приходится сказать за себя, что никогда понятие «природа» не было для меня только словом из семи букв; я произношу это слово с тем же религиозным мистическим чувством, как верующий произносит слово «Бог». Я не пытаюсь усложнять это слово чрезмерной исчерпанностью понимания, я его упрощаю до меры сил моего восприятия. Совершенствуя мой ум и мои чувства, я расширю и это понимание. Пока я знаю, что природа — это земля, солнце, видимые и невидимые миры и то, что их связывает в наше понятие вселенной. Земля, из которой вышел я, как вышло все, что меня окружает, и кажущиеся бездушными предметы, и кажущиеся одухотворенными мысли. Солнце, а вероятно, и другие планеты как источники отдаленных, внешних воздействий на мою физическую плоть и мое духовное проявление. Вне этой природы нет ничего, и, следовательно, ничто не может быть познано, ни чувством, ни разумом, вне познания ее тайн в той или иной степени. Я знаю еще, что в познании ее тайн мы читаем по складам только первую страницу ее чудовищно огромной книги. Повторю, что это не слова и не метафоры, а самое простое человеческое знание и ясная, опытом доказанная уверенность. Принимая понятие бесконечности пространства и времени как единственно доступное и моему уму и моим чувствам, я не могу не признать и путь постижения природы бесконечным, и, следовательно, последнюю истину недостижимой и непостижимой. Но тем более меня к ней влечет, как бы ни казалось это нелогичным для ума практического, склонного работать только над тем, что до-

стижимо. И я готов над ним работать, потому что это необходимо для дальнейшего. Но, дорожа поневоле опытом, достижениями разума, я не могу отказаться от попыток внеопытного постижения, которое, как мне хочется верить, доступно посвященному, человеку искусства, художнику, поэту, масону. Я не червяк, и не могу довольствоваться дыркой в земле, которая все равно будет и моим физическим уделом. Сама природа создала во мне стремления к высшему, чем то, чего я достигну; от такого дара отказываться невозможно. И почему бы должен я отказаться? И вот я, в союзе с, пусть скажут, такими же чудаками, строителями не жилого дома, а воздушного замка, обреченного на вечную стройку храма высоких мыслей и чувств, тщуся познать непознаваемое и приблизиться хоть на пядь к недоступному и защищенному ограниченностью моих человеческих сил.

Братья, как же можно не понимать и не оправдывать таких естественных чувств и желаний? Я скажу больше: как же можно без них жить, не впадая в отчаяние? Чем иным оправдать значение и маленькой практической полезной работы, и дерзких взлетов нашей мысли в пределы, будто бы ей заказанные? Умом я знаю эти пределы, но чувством я не хочу их признавать. Такова наша свобода, первый девиз вольных каменщиков. В раболепном сказании древности Прометей похитил небесный огонь и подарил его людям, за что был прикован к скале и подвергнут мучительству палача-орла. Но в первоначальной мифологии не говорилось о подарках, а был орел, который сам поднялся до солнца, чтобы похитить его огонь. Вы можете смеяться, но мы хотим, мы должны быть орлами, хотя бы мы знали, что солнце спалит нас на полдороге, как оно растопило крылья Икара. Икар погиб, но Икары размножились, потому что адепт искусства, посвященный, дорожит не жизнью, а верностью идее. Мы, вольные каменщики, создали себе веру и поставили себе единую цель: путем посвященного познания добиться счастья живущих. Если мы ошибаемся, укажите ошибку, мы ее поспешим исправить. Только на одно мы никогда не пойдем: на профанское снижение нашего идеала, на сведение нашей высшей цели, завоевания мира в согласии с тайными силами природы — к завоеванию избирательного участка в сговоре с той или другой политической партией. В нашей жизни профанской мы идем и на это, но иному посвятим часы своей работы в наших несовершенных, но высшими стремлениями одухотворенных мастерс-

ких. Здесь мы не можем поклоняться идолам сегодняшнего дня — у нас есть иная и лучшая задача. Если вы хотите быть орлами — не очаровывайтесь падалью.

В моих словах нет ни мистики, ни напрасных символов, притянутых за волосы, потому что так некоторые выражаются о символах голубого масонства². Я говорю профанским языком и вряд ли слишком насилую логику. Но скажу вам прямо, братья. Очень часто, когда после наших споров я слышу примирительные слова и вижу попытки найти спасительную среднюю линию, я, по человечеству, пожалуй радуюсь, потому что худой мир лучше доброй ссоры. Так рассуждаю я как покладистый и мирный человек. Но как вольный каменщик я не могу не страдать от хотя бы и примирительного снижения наших идеалов и задач нашего Братства. Терпимость ко взглядам не есть готовность на компромисс. Мы допускаем в Братстве разные степени посвящения, но скорбим о мастере, не преодолевшем в себе подмастерья и ученика; пятаюсь к западным дверям, он легко может вернуться к профанству. Я приглашаю вас, братья, к действительной работе над собой, над камнем грубым, над камнем кубическим и над чертежной доской. Для этого к запасу положительных знаний нужно прибавить, у кого найдется, пламень чувств и немного больше смелости в исповедовании и высказывании того, что кому-нибудь может показаться иррациональным вздором. Лучше ошибиться в полете, чем приспособляться в ползании. И если вообще я грешен вместе со всеми, то сегодня предпочту не забывать о высоком и гордом звании вольного каменщика.

М.А.Осоргин

Символическое миропонимание

Существует ли «масонская философия», притом «символическая»? Я думаю, что существует довольно стройное философское масонское миропонимание, построенное на символах. Для философа оно может оказаться набором давно известных философских построений, иногда противоречивых, но нельзя забывать, что масонство создано для людей рядовых и простых, лишь нравственно отборных, а не для ученых. Его учение обращено к чувствам, а не к разуму, почему и орудует оно символами, а не трактатами и учебниками. По своей природе оно адогматично, допускает свободнейшее толкование, терпимо, широко, и его истины преходящи.

Вот что своими символами внушает Братство вольных каменщиков ученику, подмастерью и мастеру в этих трех иоанновских степенях.

Еще в черной крамине оно им внушает, что на первых шагах к масонскому познанию следует прежде всего отказаться от истин и предрассудков профанского мира. Не потому, что все в этом мире ложно, а потому, что нужно «начинать сначала», с «*tabula rasa*», как бы стать ребенком. Отдай все металлы. Откажись от всех прежних ценностей, явись в храм познания духовно нищим, босым, с обнаженной грудью, с остатком материнской пуповины на шее. Что было раньше — считай умершим. Плоти нет, остался от тебя только голый скелет. В начале познания ты близок к алхимикам, оцупью искавшим истину. Вся их мудрость ограничивалась гаданием о свойствах трех элементов: серы, ртути, соли. Из этих детских гаданий рождается мудрость, но долгим путем работы над своим сознанием.

Ты еще не умеешь ни читать ни писать, тебе доступны только склады. Тебе дается загадочное слово, до смысла которого нужно доискаться. Простым чувством ты можешь постигнуть только видимое — можешь ощущать красоту, объективное; ты сам — носитель духа, силы. Вот две колонны твоего будущего храма: объективная красота и субъективная

сила. Соедини их своей жаждой постижения — и ищи их соединения в третьем и примиряющем, в мудрости. Такова троичность, символический треугольник твоего созидającego сознания. На этой стадии развития тебе три года. Это — для твоей памяти: три в твоём шаге, три в твоих жестах, в твоём касании, в твоём восклицании. Три для всех чувств.

Ты — будущий строитель храма мудрости, и при том вечный строитель, потому что храм этот может строиться, но не может быть окончательно построен. Что бы ты ни создал, оно окажется достижением только для данного времени, а завтрашний день потребует большего, более совершенного. Когда-то какому-то народу, считавшему себя избранником, его храм казался идеалом совершенства; таков был, например, храм Соломона. Его легендарный гениальный строитель, Хирам, был хранителем магического слова. Но он был убит, и это не случайность: мастер, создавший все ему доступное, умирает; с ним умирает вчерашняя, им найденная истина. Ему на смену идут другие мастера, преемники его исканий, но продолжатели его достижений; в свою очередь и их сменяют другие. С мастером умирает и его слово, ключ его мудрости. И вот, все объято трауром в мастерской ложе, в срединной палате. Момент смерти, разложения, как это бывает в умирающей зимой природе. Но в землю упало зерно, и оно прорастет под действием солнца и влаги, при помощи разума и чувства, которыми обладает человек. Потерянное слово будет найдено, такое же действенное, хотя уже не то: для новых строителей оно будет новым. Как были неразумны подмастерья, убившие Строителя, чтобы завладеть словом! Им оно все равно не могло пригодиться; они могли стать мастерами, только найдя свое слово! Так и поступают верные последователи Хирама, нашедшие его труп. Оживить учителя нельзя; они лишь касаются его руки и убеждаются, что это невозвратно, что тело отделяется от кости. Но на его могиле они находят ветку зеленой, еще не расцветшей акации; тело мертво — жив дух. Они уносят зеленеющую ветку, и сообщают друг другу новое мастерское слово, которым напоминается, что из тлена рождается новая жизнь.

То же самое можно выразить простыми понятиями, прописными учебными словами, без всяких символов. Можно изобразить плакатными сентенциями: «Люди проходят, идеи остаются», «Истина всегда временна, идеал всегда недостижим», «Творчество человека преемственно», «Тело тленно, но нетленен дух» и т.д. Масонство предпочитает свои символы и свои легенды; они могут оказаться для нас грубова-

тыми и неуклюжими — предложим новые! Но иных может, наоборот, увлекать их традиционность и даже их примитивность — не будем им препятствовать!

Таковы пути развития познания и интуитивного постижения. Как понимает масонство мир? Мир — вечная загадка, заданная нам Архитектором Вселенной. Мы не можем сказать, что он создан высшим разумом, потому что под этим «высшим разумом» можно понимать только какое-то величественное подобие нашего собственного, весьма несовершенного. Можно создать идола, но для создания Бога в наших понятиях нет достаточного материала. И однако пред лицом творящей природы мы не можем не ощущать безмерного своего ничтожества, во всяком случае, материального, а конечно, и духовного. Мы не можем преодолеть непостижимости, мы ею окружены, пред ее лицом мы совершенно бессильны. И вот это непостижимое, причину и сущность бытия, мы уславливаемся именовать Великим Архитектором Вселенной, с готовностью разуметь под этим именем все, что угодно: отвлеченный принцип бытия, руководящую неведомую волю, личного Бога — это уж вопрос о восприятии каждой индивидуальности. Бытие представляется масонству замкнутым кругом, змеей, закусившей свой хвост, вечным возвратом движения материи и духа к своему источку. Такова масонская лучезарная дельта, символ удивительный по бесконечным возможностям его толкования: в треугольнике с излучениями и надписью могут встретиться и примириться все философские построения идеи бытия, от примитивных астрологических и алхимических до новейших; только чисто позитивистское миропонимание не совмещается с символом дельты, выводящим нас за пределы видимого мира, постижимого пятью чувствами. И в этом, кажется, единственное ограничение масонского миропонимания: вольный каменщик не может оставаться позитивистом, позитивист не может быть вольным каменщиком; вода и огонь взаимно друг друга уничтожают и поглощают. Может быть, правильнее было бы заменить слово *позитивист* словом *материалист*. Я пытаюсь понимать лучезарную дельту как образ борьбы духа и материи, преодоление духом материи, гибель духа и его возрождение для новой борьбы. Временная смерть вечного и бессмертного — это и есть масонская загадка бытия.

Масонство имеет и свою систему практической, нравственной философии и свою социологию. Оно учит строительству самого себя и человечества. Оно и здесь обставляет

свое учение символами. Личность — дикий камень; его обрабатывают направленностью воли и энергией: резцом и молотком. Его стремятся сделать кубическим, гармоничным в частях, возможным для пригонки к другим камням. Личности масонство придает важное значение. Оно хочет строить не из осколков случайной формы, спаянных цементом, а из цельных камней, каждый из которых самостоятельная ценность. Значит, не масса, натасканная и дисциплинированная для массовых же действий, а союз индивидуальностей, цельных и развитых. Уважением к личности и заботой о ней проникнута вся символика Братства. Кубический камень подмастерья не есть геометрический куб и только. Это не шлифовка всех под одну статью и один размер. Прямые линии и прямые углы — залог единоклюнной направленности стремлений, гармоничности будущей общественной постройки. Сглажены шероховатости, вымеряны и пригнаны стенки; но храм мысли и храм человеческого счастья должен быть творением художника, а не подрядчика, его формы не предписаны — искусству и фантазии творца оставлена вся свобода. Ему подготавливается лишь прекрасный материал, чистые строительные кристаллы. Кубический камень и есть такой кристалл, и строение его может быть многообразно. Индивидуальность никогда не должна исчезать и подавляться, духовная и умственная нивелировка не входит в планы и задачи масонского общественного строительства. Каждый, оставаясь самим собой, сам находит способ пригнать свое индивидуальное к чужому, по воле своей поступаешь личным, но не по чувству долга, которое непрочно и морально неценно, а по непосредственному и драгоценному чувству естественной и воспитанной в себе братской дружбы, никогда не снижающемуся до понятия жертвенности. Вряд ли правы те, кто считают долг и жертвенность положительными общественными факторами масонства; для профанской общности они положительны, для масонского строительства они недостаточно духовно высоки. Мы строим храм не из теста, а из цельных камней; масон не может сжиматься и растягиваться для другого; он может только пригоняться, находить свое место в общей стройке. Он может уступить, но не по жертвенности и долгу, а по ясному пониманию своей и общей выгоды. И его уступка свободна, легка и окончательна. Он никогда не предъявит обратного счета, как это бывает в обществах профанских, где кредитор хранит взятые векселя, а жертвующий ненавидит тех, кому пожертвовал, и жаждет реванша.

М.А.Осоргин

[20 января 5936]

На наших последних собраниях выяснилась необходимость развития темы: посвяtitельный путь. Я неясно представляю себе, почему это выражение пугает некоторых братьев? Я вообще не понимаю, почему одни боятся религии, другие атеизма, третьих смущает масонская формула Великого Архитектора Вселенной? Почему из чувства самосохранения необходимо несколько иронически относиться к склонности масонства пользоваться формулами алхимиков и астрологов и символами герметической философии? Почему даже исполняющие ритуал приправляют свою лояльность некоторой долей смягчающих и снисходительных оговорок? Мне представляется это детской боязнью и удивительной нашей внутренней несвободой. Нигилист 60-х годов боялся лирики, социалист девятисотых годов страшился либерализма, московская купчиха боялась жупела, современный советский писатель и художник боятся «искусства для искусства». Люди профанного мира живут в вечном страхе, чтобы их не заподозрили в идеологической отсталости от сегодняшнего дня, в старомодности их платья, как гимназист пятого класса выказывает презрение к игре в кубики, а гимназистка не желает играть в куклы. Молодой российский быт прежде всего пожелал из отношения полов исключить всякую «черемуху» и, сохранив прогулки при лунном свете, привнес в них беседы о диалектическом материализме. Вообще напускная рассудочность — хотя бы вопреки естественным личным склонностям — уже целое столетие считается хорошим тоном передового человека. Только этим можно объяснить, почему даже среди масонов так часто наблюдается опасливость и несвобода отношения к «непринятому» в профанном мире, т.е. к понятиям порядка внеразумного, посвяtitельного, мистического.

Поскольку мы практикуем ритуальное посвящение, постольку мы допускаем мистику. «Мист» и «посвяtitельный»

— синонимы. С этим нужно считаться, и на это закрывать глаза нельзя; даже и оговорки тут смешны, наивны и неуместны: масон неизбежно мистик. Но, чтобы слишком робкие в нашей среде не смутились от такого признания, можно добавить, что потому масон и мистик, что масонство — искусство, что и каждый поэт — мистик, и истинный художник — мистик, и даже гениальный ученый, увешанный орудиями опыта, по горло ушедший в таблицы и цифры, постольку мистик, поскольку мист, посвященный, создатель новых идей и откровений.

Мистический путь масонского посвящения, так смущающий некоторых братьев, сам по себе не есть тайна: тайна в конце пути, поскольку этот путь ведет к единственно важному в жизни — к постижению причины и цели бытия, к познанию природы, как идеала искусства. Самый путь посвящения намечен и рассказан в масонских символах. Ритуал посвящения изумительно насыщен образами и богат не только философскими идеями, но и практическими указаниями, и очень жаль, что этим так мало интересуются сами «посвященные». Рассказать этот путь возможно, но для этого потребуются томы книг и годы времени, потому что масонство с чрезвычайной старательностью и гениальным искусством использовало все предшествовавшие посвящительные обряды, включив, в казалось бы, не очень сложный ритуал (для примера возьмем обряд шотландский, древний и принятый) бесчисленные символы — плоды того, что для каждого данного исторического момента было верхом науки и искусства, и охватив эпоху от зари человеческих знаний до наших дней. Те, кто пытался изучать ритуал посвящения, подтвердят, что это не преувеличение и что о каждом жесте, о каждом шаге и о каждом слове добросовестный исследователь может написать целый исторический трактат, не считая свободы его собственных домыслов. При этом, конечно, тем или иным ритуалом ученической степени нельзя исчерпать всего понятия о масонском посвящении и особенно о его путях.

Поэтому вполне достаточно, если мы попробуем, руководясь ритуалом, определить только отправную точку посвящительного пути, только момент вступления в него профана, т.е. момент рождения масона. Я попытаюсь, основываясь на символах, но не давая их исчерпывающего толкования и возможных оттенков толкования, представить себе образно момент рождения посвященного, которому предстоит занести ногу для первого шага на посвящительном пути.

Из профанного мира берется личность как пригодный для посвящения материал: грубый камень, возможный для обработки. Пригодность выражается в известной качественной ценности (относительная профанская добронравность) и способности к обработке (свобода, т.е. потенциальная независимость взглядов). Таковы качества кандидата, они взвешиваются, оцениваются опытом посвященных, мастеров, и кандидат становится испытуемым. Самое понятие «испытуемый» имеет несколько последовательных оттенков, но я не буду здесь этого касаться; мы займемся профаном с момента его ввода в черную храмину.

Путь посвящения закрыт для неподготовленного к первому шагу. Подготовительная стадия — отказ от всех ценностей, всех явлений и всех понятий профанного мира. Рождению предшествует небытие в данном образе. По масонскому понятию, абсолютного небытия нет, есть только виды трансформации. Ее первичный вид мы именуем смертью, отсутствием энергии, пассивностью первичной материи, возвратом к состоянию возможности. Выход из этого состояния бездейственной возможности находит толкование в алхимической формуле *Vitriol: Visita inferiora terrae rectificando invenies occultum lapidem*¹.

В этой формуле нет ничего шарлатанского и нет ничего непонятного; она чрезвычайно просто переводима на обычный язык. Ею мы говорим, что человек, профан, желающий ступить на путь масонского посвящения, должен начать с отказа от всего, чем он до сих пор жил, во что верил, что знал, к чему стремился, независимо от того, какую профанскую или даже масонскую ценность могли иметь его вера, его знания, его привычки и его идеи. У него отбираются все металлы, все, имеющее блеск, истинный или ложный безразлично, потому что истина есть искомое, а не данное. Вступающий в наше Братство должен не только отвергнуть все привязанности, но забыть о достижениях разума, отвергнуть всякую религиозную склонность, признать ничтожными все знания, отказаться от всякого миропонимания, зачеркнуть не только все в своей памяти, но и самую память. Он должен вернуться к состоянию семени, коснувшегося еще не оплодотворенного яйца. Он и есть семя, а яйцо — черная храмина. Но в семени есть элемент активности, есть направленность; лишь эту активность мы оставляем профану: мы оставляем ему критерий его совести, руководясь которым он и выполнит обязательство отказа от всего, кроме устремленности к яйцу, которое после оплодотворе-

ния разовьется в новую личность — в личность посвященного. Таков единственный путь рождения нового человека, масона.

Таким образом, вступлению на путь посвящения предшествует полный отказ от прошлого, каково бы оно ни было, превращение профана в *tabula rasa*, возврат его в первичный хаос (девиз масонства — *Ordo ab chao*²). В черной храмине, в этом символе относительного небытия, остается только светильник — руководящий внутренний свет, символ совести. Я не говорю о других принадлежностях черной храмины, хотя каждая условная символическая мелочь в ней — подтверждение той же мысли о смерти в профанстве и намеке о предстоящем новом рождении: рождении благородного металла, философского камня из хаоса элементов, рождения растения из его относительного небытия в зерне, рождении человека из спящего яйца матери, оплодотворяемого сознанием, рождении идеи из взаимодействия мертвого опыта и творческой интуиции, рождении бытия из материи и духа.

Первому шагу на посвянительном пути (т.е. в ритуале введении профана в храм через узкую и низкую дверь) предшествует особый наряд — открытое сердце, обнаженное колено правой и разутая ступня левой ноги, веревка на шее, кинжал у сердца и проч. Дальше идет очищение воздухом, водой и огнем, странствования с препятствиями, горечь и свежая вода — все это братьям известно и хотелось бы, чтобы был всем известен многозначительный смысл этих бесчисленных символов. Ограничивая себя толкованием лишь первого шага, даже лишь подготовкой к первому шагу, я обращаю внимание только на простейшие и красивейшие символы, которые можно легко толковать в смысле практических моральных указаний. Таков, например, обычай обнажать от одежды сердце посвящаемого. Строго говоря, этот символ очень сложен, и для объяснения его нужно ознакомиться с астрологическими соответствиями знаков зодиака частям человеческого сердца (сердце — созвездие Льва), но мы можем обойтись и без этого: символ открытого сердца не исчез из обихода наших нравственных понятий. У посвящаемого еще завязаны глаза, он еще вне пределов опыта и знаний — но сердце уже обнажено. Приоритет сердца над разумом, одна из руководящих идей нашего Братства, которое наделяет человеческие чувства силой познавательной. Для понимания пути посвящения этот символ дает богатейший мыслительный материал. Таков же и символ пристав-

ленного к сердцу кинжала, который было бы слишком вульгарно трактовать как угрозу. По отношению к раздетому, ослепленному, лишенному части одежд, металлов, всякой защиты, отказавшемуся от всяких взглядов и мнений никакая угроза просто неприменима, если бы она даже вообще была уместна в масонском ритуале. И естественнее, конечно, совершенно иной и очень красивый перевод этого символа на обычный язык: «когда тебе уже нечего больше отдать, отдай свое сердце». Намек на то, что на посвятительном пути у человека, хотя бы потерявшего все в тяжелых испытаниях, заплутавшегося, утратившего зрение и разум, все же остается одна ценность, одно неотъемлемое богатство — его сердце, его любовь, которую он может отдать в любой момент по своему усмотрению и тем оправдать свой посвятительный путь, тем приблизиться к тайне, к истинной цели этого пути. Я не придумал это толкование, оно в полном соответствии с другими деталями посвятительного ритуала в их историческом, в частности астрологическом, объяснении. Кстати, острие оружия у сердца символизирует пробуждение мысли и не раз переводилось словами: «старайся мыслить сердцем».

Я ограничиваюсь этими немногими символами, свидетельствующими об особой направленности пути масонского посвящения. Когда спрашивают, почему вся эта сумма связанных символов и толкуемых идей должна приниматься как посвящение, т.е. как нечто мистическое, я просто отвечаю на это, что наш масонский посвятительный ритуал, в его очищенной, развитой и понятой форме, является, с моей точки зрения, изумительным произведением искусства и высоким философским и нравственным достижением. Подобные произведения искусства нельзя мыслить как продукт работы разума, не потому, что разум не способен этого понять и оценить, а потому, что здесь чувствуется работа гения, точнее — соборное творчество поколений мудрецов, поэтов, художников, основоположников мирового многовекового масонского движения (говорю не об истории, а об идейном наследстве, использованном нашим Братством). Творчество есть явление порядка мистического. Начертание творческого пути свободной человеческой личности, каков путь символического масонского посвящения, есть само по себе результат творческой, мистической работы тайных сил, свойственных человеку, природа которых и не объяснена и вряд ли может быть объясненной иначе как теми же символами, т.е. путем такого же высокого творческого изображе-

ния, доступного пониманию только избранных — посвященных. Путь посвященного есть путь творческого открытия, отличный от путей разумного познания. Как нерасказуема поэзия, что, кажется, никого особенно не смущает, так же точно нерасказуемо и «царственное искусство» Братства вольных каменщиков, так необъяснимо только словами понятие «посвященность».

Я не вижу в этом ничего страшного и ничего смущающего и вижу много очарования, как в прекрасной сказке, как в изумительном явлении природы, как в гениальном художественном или научном произведении. Я не вижу никакой необходимости и никакой возможности снизить это до понимания самой шишковатой и мозговитой рационалистической головы. А главное, я достаточно масон, чтобы не бояться суждений профанов о моих неприемлемых для них взглядах, потому что то, что известно им, известно и мне; но, по-видимому, мне известно несколько больше, чем я, к глубокому сожалению, не могу с ними поделиться, пока им неведом язык масонского царственного искусства. Так им вынужден ответить масон; но точно так же ответят им поэт, художник, писатель, архитектор, ученый, если они не ремесленники, а творцы новых духовных ценностей, созданных на путях их посвященности. Разница только в том, что свое искусство масоны считают «царственным», т.е. искусством искусств, обнимающим и включающим в себя все искусства, доступные человеческому творчеству. Если это ошибка, то ее нужно доказать. Но доказать ее во всяком случае не доступно профанам, масоны же не знают последней истины: они всегда готовы на истину новую и на тайну высшего посвящения; доказать им ошибку — значит доставить им радость и возможность шествовать далее.

М.А.Осоргин

«Etoile du Nord»

2 июня 5932 г.

Дорогие братья, мы очень счастливы, что принимаем в свою среду людей молодых — троих начинающих писателей и одного начинающего врача. Обязанность сказать слово масонского напутствия сегодня мне легка и особенно приятна. Я не вижу надобности говорить ни об истории Братства вольных каменщиков, ни об его различных державах и повиновениях, ни о подробностях символики вашей первой ученической степени.

Я не считаю возможным, чтобы люди молодые, жизнью еще не утомленные, еще не зараженные грибком старческого равнодушия и привычного сомнения, сами живо не заинтересовались всем, что связано с пребыванием в рядах Братства: и с историей, и с идеями, и с обычаями, и с символической масонства. Я уверен, что вы поспешите найти, развернуть и прочитать эту странную и удивительную летопись человеческого духа, творчески зачатую в веках, и к нашим дням не утратившую ни значения, ни даже прелести слога. Рассчитывая вполне на доверчивость и чуткость вашего внимания, я буду говорить не словами поучения, а языком образов, свойственным символическому масонству.

Мы называем себя вольными каменщиками и любим это имя. И правда, в минуты углубления и совместных братских работ мы — свободные строители своего собственного мира.

Как создан видимый мир? Мы этого не знаем. Для одних он творение высшего существа, для других — создание нашей мысли и нашего представления. Но и неведомое существо и наш собственный творческий дух одинаково заслуживают нашего признания и имени Великого Строителя Вселенной.

Мы не слепцы и знаем, что этот мир, сегодня кажущийся прекрасным и радостным, завтра оказывается для нас мучительным и полным нелепостей и ужаса. Рабски и безоговорочно поклоняться существующему и перед ним смиряться

мы не имеем оснований. Но поскольку для всех нас естественна жажда оправдания жизни, жажда радости, жажда творчества и создания не только личного, но и общего яркого и прекрасного человеческого благополучия, постольку мы хотим в хаосе мира и миров найти прочное и постоянное, построить по своим планам свой собственный священный храм, в котором все будет гармонично и совершенно.

Мы знаем, конечно, что это в пределах наших сегодняшних знаний и наших культур недостижимо. Но разве не в недостижимом вся красота стремлений? Удел профанов — добиваться маленьких благополучий и на их основе строить жилой дом. Мы, вольные каменщики, берем прообразом своих стремлений великолепнейший, полулегендарный Соломонов храм, построенный библейским Адониратом. Отгородившись от малого и обыденного стенами этой плохонькой залы, мы украшаем ее символами своего воображения: это уже не комната, это храм посвященных! Условленным шагом мы входим в него с Запада, из мира профанов, проходим через Север, область положительных знаний, через живительный свет Полдня, который подготавливает нас к приятию высшего света, царящего на Востоке, — света отвлеченных, мистических постижений. Так создаем мы свой собственный мир, выделенный из профанного, символически окруженный бесконечной цепью, вяжущей узлы и наших личных братских отношений и нашей пылкой и ищущей творческой фантазии. Нам указывает путь пламенеющая звезда, пред нами всегда горит Лучезарная Дельта — символ энергии, излучаемой бытием.

Так, в странных и красивых образах мы выражаем наше твердое решение строить Храм совершенный, каждый камень которого вымерен и обтесан с мудростью постепенно нарастающих знаний и откровений, со всею точностью уровня, отвеса, циркуля, линейки, наугольника, с помощью не ремесленного, а царственного искусства, не постижимой и ограниченной человеческой, а высшей, сверхмерной, сверх-чувственной, божественной науки. Потому что для вольных каменщиков не должно быть пограничных столбов между знанием и верой, разумом и интуицией, чувственным и сверхчувственным, для них нет никаких запретов и обязательных догм ни в выводах разума, ни в религиозном постижении.

Фантазеры и поэты? Нет, не только это. Хотя мы готовы принять и эти клички, гораздо более почтенные, чем заслуженные звания людей рассудка и житейской прозы. Но только фантазеры и только поэты не могли бы создать и

пронести через века единственный Союз людей, не потерявший ни солидарности, ни руководящих идей, ни ясных намеренных им целей, — Союз, идеалы которого мало-помалу завоевывают мир, прямое влияние которого вы можете легко проследить в развитии многих культур, и даже внешняя сила которого в профанном мире, в области внутренней политики, внешних международных отношений, совершенно исключительна.

Значит, что-то знали эти фантазеры и мистики, значит, им действительно ведома какая-то тайна человеческого духа, помогающая им строить храм совершенного человечества!

Эта тайна имеет много простых и удобопонятных профанских толкований, не искажающих истины, хотя и дающих ее в неполном освещении. С небес мы спускаемся на землю, но небеса без земли нам не ценны.

Масоны твердо знают, что союз людей не может быть прочным и благотворным без полной свободы мыслей и полной терпимости к чужим убеждениям. Они отрицают догму и вынужденное обязательство. Они готовы договориться на малом, но это малое должно быть общим и лечь краеугольным камнем в строительство храма совершенного человечества.

Это малое — предвзятое приязненное отношение к честному и искреннему человеку любой религии, национальности, любого сословия, социального положения, материального достатка, любых политических или научных взглядов. Признание возможности братских отношений по крайней мере вне профанного мира, где продолжается всякая рознь и борьба, следовательно, для начала, хотя бы в тесном масонском общении, в царстве не безразличия, а сознательной терпимости.

Такие отношения возможны только в том случае, если дверь масонского храма закрыта, работы ведутся в полной тайне и постороннее лицо не имеет сюда входа, как и отсюда в мир непосвященных не выйдет ни одно сказанное слово.

Здесь своя религия, свои должности, даже свои возрасты. Братья, равноправные, делятся только по степеням посвящения, т.е. по степеням преуспения в так называемом «царственном искусстве». Ученик — тот, кто только вступает в масонское общение; подмастерье — кто достаточно укрепился в нем для шагов самостоятельных; мастер — кто чувствует себя сам и кого считают братья способным руководить младшими по степени в масонских работах, в работах над самосовершенствованием. Разница в масонских годах, в знаках, священных словах, запонах, лентах, звани-

ях, все это не дает брату над братом никаких преимуществ, не создает ни власти, ни подчинения; это условная символика или следствие потребности во внешнем порядке. Не только отдельное должностное лицо ложи, но и вся ложа не может отдать брату приказание, вынудить его на поступок или хотя бы заставить его подчиниться решению и мнению большинства. Каждый сам ограничивает свою волю и определяет свою работу во имя солидарности и в целях услиления общей приязни.

Масонам известно еще одно: что нельзя воспитать общество, не воспитав предварительно самого себя. Работа над собой — первая обязанность вольного каменщика. Ей должно помогать соборное начало, принятое Братством. Помощь брату, духовная и, когда нужно, материальная, — одна из ближайших целей масонства. Не ограничиваясь помощью только в своей среде, Братство делает что может и в профанском мире. Чудесный образец такого поведения, образец, которым мы не можем не гордиться, дало русское масонство екатерининской эпохи, когда Новиков и другие мартинисты в голодный год снабжали деревни хлебом, причем некоторые, как Походяшин, отдали на духовную и материальную помощь профанам все свое огромное состояние.

Вы видите, дорогие братья, что во всем, что я сейчас изложил, чрезвычайно мало фантастического, не больше, чем в программе любой партии и катехизисе любой религии. Идеи духовной свободы, терпимости, равенства, солидарности, взаимопомощи, отзывчивости на нужду ближнего — давно знакомые нам черты религиозных и политических учений, в частности христианского коммунизма. От всех этих учений масонское отличается только, может быть, большей стройностью и последовательностью, большей близостью к жизни и особенно тем, что живые идеи оно не делает обязательными догмами и не настаивает на их неизменной святости, непреложности и обязательности для всех и всякого.

Масонство может считаться религией, но оно чуждо сектанства и церковности. Оно не знает найденной истины и никогда не откажется от исканий. Девиз французской революции «свобода, равенство, братство» был создан масонами; подхваченный современной государственностью, он выродился и обратился в пошлость и насмешку над человеческим достоинством; он красуется над участками и тюрьмами. Провозглашение непогрешимости и обязательности высокой идеи коммунизма превратило Россию в застенок мысли, а самих проповедников в палачей. Высокое учение Хри-

ста, сделавшись церковной догмой, должно было оправдать величайшие гонения и кровавые преступления. Так бывает всегда, когда истина считается найденной и объявляется обязательной. Братство вольных каменщиков отрицает догму, церковь, и, по основной своей идее, должно отрицать не только партию и государство, но и неизбежность так называемых «законов природы».

Дорогие братья, в том, что я изложил, нет никакой тайны, об этом можно прочесть в любом добросовестном исследовании о масонстве. Но областью этих нравственных положений смысл нашего Братства, конечно, не исчерпывается. Девиз французского масонства «свобода, равенство, братство» есть простой перевод, и не очень удачный, масонских идей на язык профанов, в целях политического ими пользования.

У нас есть иной девиз, более священный и высокий: мудрость, сила, красота, мистический треугольник, допускающий много толкований. Я дам то, которое нужно мне и потому кажется мне правильным; другой даст иное и будет постольку прав, поскольку искренен.

Мудрость не есть сумма накопленных положительных знаний. Мудрость есть способность свободной оценки явлений мира, сумма опытов познания, постижение посвященного. Мудр тот, кто преодолел личное страдание и личное наслаждение, кто смотрит издали. По масонской символике, истинный вольный каменщик, совершенный мастер только тот, кто умер, кто постиг тайну смерти и возрождения. Единственный источник мудрости — природа. Поэтому целью человечества не должна быть победа над природой, которая и невозможна, а должно быть гармоническое с нею слияние. Там, где жизнь и смерть бесконечно чередуются, где, стало быть, нет ни конца ни начала, — там нет и конечной истины. Мудрость подобна змее, закусившей свой хвост.

Сила есть то же, что жизнь, непрерывно действующая энергия, мужское начало, вечный творческий процесс. Ничему внешнему не подчиняющийся свободный человеческий дух, непокорность мысли преградам, заставам и рогаткам, неспособность к рабству, отрицание долга как низменной выдумки, замена его свободным стремлением, активной любовью. Символ силы — Геркулес, божественное — несокрушимое.

Красота — начало женское, влекущее, гармоничность явлений природы и духа, добыча силы и высокая ей награда. Союз силы и красоты и есть то, что мы называем Твор-

чеством, и плод этого творчества — новая сила и новая красота. Мы и здесь находим ту же вечную тайну природы, тайну вечного обновления, источник множества легенд и мистическую основу едва ли не всех человеческих религий.

Таков философский треугольник масонства: тезис — сила, антитезис — красота, и синтез — мудрость. Он повторяется в других символах, оставленных нам египетскими мистиками, алхимиками, естественниками, философами, поэтами, всеми, кто пытался соединить серу и ртуть, чтобы получить соль и оплодотворить красоту силой, чтобы достигнуть мудрости. Ваш первый масонский ученический возраст, братья новопосвященные, три года. Число «три» будет вашим первым символическим постижением.

Дорогие братья, я не пытаюсь дать вам ясное понятие о вековой всемирности организации вольных каменщиков; я хотел только пробудить в вас интерес к ней несколькими наводящими словами и символами.

Теперь позвольте дать вам несколько чисто практических советов.

Мы здесь хотим быть правдивыми (это не значит резкими или дерзкими). И я с откровенностью вам скажу, что среди нас вы найдете людей, которые вам будут нужны и интересны, и людей, присутствие которых здесь вы не сразу сможете себе объяснить, скажем — сухих рационалистов с законченными догматическими мирозерцаниями. Опыт равной братской ко всем приязни — первая серьезная работа вольного каменщика ученика. Судят с плеча и по случайным признакам в мире профанов; мы составляем свои заключения о людях только после долгого с ними общения. Тот, кто по виду нам чужд, может иногда дать нам больше, чем тот, кто заведомо близок.

Не спешите также с выводами о нашей ложе и вообще о масонстве, а также о своей собственной в нем роли. Не считайте себя слишком проникательными и непогрешимыми в своих впечатлениях. Не бойтесь разочарований, но и не поддавайтесь им слишком легко. Будет лучше, если вы преувеличите в противоположном смысле.

Помните, что ничто не дается само — все нужно добыть. Вам будет здесь постоянно хорошо, приятно и полезно, поскольку вы этого захотите и этому поспособствуете. Создайте интерес себе, и вы увлечете им других; но без личных усилий пребывание в Братстве не даст вам удовлетворения.

Изучайте масонство, его идеи, его символику, его историю. Без этого вы будете только единицами масонской тол-

пы, той массы, которая наши ряды не обогащает, а отяжеляет. Нам стыдно и обидно, когда наш брат, пробыв в Ложе года, остается безграмотным в символах, равнодушным к их толкованию, не умеющим даже приличным шагом войти в храм. С большим успехом он мог бы посещать профанские митинги и заседания, ближе ему понятные и не требующие от него никаких философских или мистических углублений; среди нас он печальное заблуждение и наша нечаянная ошибка, к счастью, поправимая, так как доступ в наш Храм затруднен, но выход из него для каждого свободен.

Дорогие братья новопосвященные! Приняв вас, мы сразу доказали нашу терпимость к национальности, религиям и политическим взглядам. Вас четверо: русский, поляк, еврей и осетин. Один назвал себя верующим в Бога, другой — равнодушным к религии, третий — деистом, четвертый — атеистом. И в политических взглядах вы не единомышленники. Такая же пестрота национальностей, отношения к вере и политических убеждений и в старых наших рядах. Это нас не смущает, и мы этого почти не замечаем. Мы все — братья вольные каменщики. Войдя в наши ряды, слейтесь с ними в одно целое! Таков принцип масонства.

Дорогие братья писатели! Мне ли говорить вам о радости видеть вас здесь? Я вас всех троих знаю давно, одного ближе, другого меньше, и новая связь с вами для меня лишь продолжение связи прежней, литературной.

Дорогой брат! Вы сын одного из любимейших членов нашей ложи и племянник еще двух ее членов. Вы входите к нам сразу своим. Ваше призвание — облегчение человеческих страданий; эта задача вполне масонская. Врач не должен быть узким профессионалом. Важнее хирургического искусства умение пробудить в больном бодрость духа и волю к сопротивлению болезням. Мы желаем вам почерпнуть в масонстве эту живительную силу, которая так понадобится вам в профанской практике. Будьте таким, каков ваш отец, забывающий о своих безмерных страданиях, чтобы уверенно и бодро оказывать помощь своим больным.

Дорогие братья, приветствую вас от имени всей ложи «Северная Звезда»! Вы призваны омолодить ее, и вам, более чем кому-нибудь из нас, будет доступно донести преемственный свет масонской веры из страны беженства в страну родную, где был он в свое время ярким и где сейчас потух. Будьте нам добрыми братьями и прилежными, настойчивыми и верными вольными каменщиками!

М.А.Осоргин

Ритуал и традиции

(Доклад 5 декабря 5935)

Досточтимые мастера и дорогие братья! Я избрал темой доклада обрядовую сторону жизни нашего Братства. Тема спокойная и на первый взгляд мирная, так как в свое время досточтимой ложей уже произошло преодоление господствовавшего раньше отрицательного или небрежного отношения к ритуалам и большинства членов ложи и ее руководителей. Процесс естественный. Каждый старый масон, старый не годами, а стажем, кроме тех очень немногих, которые, войдя в Братство профанами, не пожелали стать каменщиками, каждый подлинный вольный каменщик подтвердит, что уважение и привязанность к ритуалам Братства растут соответственно годам в нем пребывания. С Запада приходит скептик, посмеивающийся над словами и жестами, к Востоку приходит брат, понимающий их глубокий смысл и значение. И это не простая к ним привычка: это развивающееся сознание, что без своеобразной нашей ритуальной жизни мы охолостили бы поэтическое творчество мысли и забыли бы о своеобразии духовной силы символического масонства и его исключительной роли в умственном и нравственном развитии человечества.

Но вы достаточно знаете меня, братья, чтобы догадаться, что эту мирную и спокойную тему я постараюсь заострить и по возможности обратить в боевую. Для этого есть много причин; из них главная та, что мировое масонство переживает тяжкие годы. В связи со страшной политической проказой, покрывшей профанский мир язвами диктатуры, фашизма, фальшивого коммунизма, человеконенавистничества, войн, безмерной индивидуальной подлости и беспредельной общественной расхлябанности, в связи с ростом величайшего зла — государственного насилия, и отдаленной ужасной перспективой создания охранно-политического объединения государств, которое окончательно раздавит и додушит человеческую личность, — в связи с этой действительностью и этими угрозами Братство духовно сво-

бодных людей пододвигается к краю пропасти и круг его строительной работы сжимается. Его давно нет в шестой части света — в России, оно разогнано в стране торжества арийских вырожденков — Германии и в соседней с нею Австрии, оно скисло и опрокинуто римским Пульчинелло, скошено кривой турецкой саблей, под угрозой в стране пиринейских иезуитов и подточено внутренней болезнью в стране нашего Востока. Оно внешне благоденствует только там, где духовно обнищало уже давно — в Англии и странах северных, обративших масонство в церковь, да в Америке, обратившей его в клуб отдыха деловых людей, в ритуальное баловство бизнесменов.

В истории нет ничего нового, и такие времена были. Напрасно думать, что масонские организации всегда оказывались победителями и возрождались; иногда они гибли окончательно или надолго, чему пример масонство русское, иногда растлевались пороком внутреннего уродства, чему пример «Великий Восток» Франции, к которому мы случайно принадлежим. Не погибала, действительно, только идея Братства вольных каменщиков, изумительный и грандиозный светлый духовный экран, по которому даже такое политическое бедствие, как фашизм, проползает малозаметной ядовитой коричневой мошкой. Не сдается в мире только творческая мысль посвященных, а люди и их организации сдаются и гибнут, часто сами о том не подозревая.

Перед такой реальной опасностью вольный каменщик, дорожащий здоровьем и чистотой братского объединения, спокойным оставаться не может, и в известный момент не может не помнить, что среди клейнодов масонского храма есть не только строительные орудия, но и мечи как наследие рыцарства. Этот меч он берет в руки не для того, чтобы выйти с ним на улицу, где сражаются пулеметами, а чтобы отражать и наносить удары внутри ложи, где борются символами. Можно быть, и нельзя не быть, противником экстериоризации масонства и должно презирать нападки на него извне, из профанного мира, но внутри наших лож профанство должно изживаться.

Я делаю такое решительное предисловие для того, чтобы меня не сочли за слишком мирного защитника побрякушек, какими являются ритуалы, символы, клейноды, словечки и традиции Братства для всех тех, кто не хочет и не может понять их подлинного смысла и значения в жизни нашего объединения. Есть смысл убеждать колеблющихся и пытаться вместе с ними проникнуться поэзией масонского

творчества, но нет никакого смысла тыкать картонным мечом в броню упорных рационалистов с залитыми воском ушами, не считающих непоследовательным надевать запоны, делать жесты и бормотать слова, над которыми они смеются и до которых им нет никакого дела. Мы, масоны, привыкли уважать чужие взгляды и быть терпимыми к искренним, пусть чуждым нам убеждениям; не в наших правилах подвергать остракизму даже за самую резкую противоположность взглядам, которые нам кажутся единственно возможными; но неприятно двоедушие, и необъяснимо, как люди, отрицающие основы символического масонства, могут оставаться в среде неуважаемых ими чудаков и изображать в нашей мистерии роль криво улыбающейся улицы.

Говоря о ритуале, братья, я буду разумеать под ним все множество поэтических, религиозных и философских условностей, допускаемых нашим Братством, внешних обрядностей, которыми оно отличается от других общественных организаций: жесты, символы, слова, сопутствующие им легенды и толкования. Но прежде позвольте вам напомнить, что не существует общественных организаций, в которых совсем не было бы ритуала, и не только организаций, но и простых отношений, личных, семейных, общественных, государственных. Обычен пример: простая встреча двух лиц на улице сопровождается ритуалом: поднятие шляпы, наклон головы, рукопожатье. В жизни семейной ритуал часто играет роль очень большую, и притом ритуал тайный, строго охраняемый от «профанов»: великое множество условных выражений и словечек, интимных, непонятных и украшающих любовные отношения семейные связи. Обычно эти словечки и эти жесты имеют целью напомнить о чем-нибудь, для интимной жизни примечательном, то есть носят оттенок, так сказать, исторического воспоминания, своеобразной легенды, полного смысла символа. В жизни группы, кружка, общества ритуал занимает всегда много места, прежде всего упорядочивая внешние отношения: эстрада для правления, для докладчика, председательский звонок, порядок следования ораторов, магическое значение выражений «кворум», «пленум», слово к порядку дня; жесты — как поднятие руки просящим слова, вставание для того, чтобы «почтить память». В организациях государственных — как суд, парламент, армия, — ритуал занимает огромную, часто преувеличенную роль, особенно в странах, вообще склонных к искусственной охране традиций: сложнейшие ритуалы быта придворного, ритуал парламентский (в

особенности в Англии), ритуал судебный (парики, тоги, присяга, весь ход заседаний), доведенный часто до абсурда ритуал военный (парады, отдавание чести, пароли, салюты, особый язык рапортов, чиновного обращения и слов команды, внешняя условность, доведенная почти до невозможности простых человеческих отношений). В жизни гражданской ритуальные праздники, знамена, национальные и торговые флаги, шествия, возгласы, жесты, могилы «неизвестных солдат», этот лицемернейший из символов милитаризма, неизбежное и необходимое, перемешанное с мусором. Не приходится говорить о быте религиозно-церковном, где ритуалом иногда подменяется самая религиозность. О символах и ритуале профессиональных групп нечего и говорить: мы сами пользуемся ритуалами строительных цехов.

Весь этот ритуал мы исполняем, почти не замечая. И это понятно, потому что ритуал, символика, театральная обрядность суть насущные и благородные потребности человеческого духа и, вероятно, не только человеческого. В жизни животных, рыб, птиц, насекомых мы также наблюдаем ритуалы — любовные битвы северных изюбров, тяга вальдшнепов, тетеревиный ток, ритуальные танцы обезьян, каменных петушков, тушканчиков, мышей, комаров, концерты лягушек, цикад, кобылок, чередующееся пение петухов, сложнейший ритуал собачьей общности, искалеченной и спутанной вмешательством человека с рабовладельческой цепочкой. Те, кому приходилось жить в близком соприкосновении с живой, не окончательно опоганенной человеком природой, знают, что нет живого существа, которому в той или иной степени не был бы свойствен ритуал, и не только в любовный период, как думали раньше, а и во всех проявлениях их семейной и общественной жизни. Как ни ничтожны данные, добытые естествознанием, как ни спутаны наши понятия о духовной жизни живых существ, гордо называемых нами «меньшой братией», как ни сбила нас с путей познания остроумная, но не гибкая и в основе своей до изумительности тусклая и профанская теория Дарвина, пытающаяся все объяснить «естественным отбором», все же и сейчас сколько-нибудь образованный в этой области человек не может не признавать за обрядностью существ живого мира, а вероятно и мира растений, своего рода мистической основы, и не может не считать их способными к интуиции посвященных и соборному мифотворчеству. По-видимому, с уверенностью можно утверждать, что их духовная жизнь и их культура во многих отношениях выше нашей, хотя бы

уже потому, что только у немногих, умственно омертвелых или интуитивно ограниченных видов сохраняются, как у нас, при огромном развитии прогресса техники (пчелы, муравьи), низкие инстинкты войн, социального неравенства, губительных и ужасных принципов государственности, права и других видов насилия. У громадного большинства это заменено такими высокими формами общественного сожития и соборного строительства, о каких мы не можем и мечтать и какие вообще немислимы без участия творческой посвященности. Миллиарды лет, прожитые землей, по-видимому, без благосклонного участия человека, свидетельствуют о том, что мы имеем все основания не быть слишком самоуверенными и не считать себя носителями высшей духовной культуры.

Во всяком случае наше Братство считается с указанной чертой и человеческого духа — со склонностью к явным и тайным ритуалам — и придает ей большое значение. Но оно идет и дальше: оно думает, что символы, приведенные в известную историческую и философскую систему, не препятствующую им вечно развиваться и обновляться в свободном толковании, способствуют облегчению работы мысли и ее последовательному развитию. Свои мифы, ритуалы и символы оно выстраивает и располагает таким образом, чтобы они напоминали поэзией и мистикой своих образов об истории развития человеческой мысли, ее борьбы за независимость, ее постепенного углубления; в символах оно выражает и современный этап ее развития, шкалу ее сегодняшних нравственных заповедей, обязательных не как догма, а лишь как преходящая истина. Чуждаясь догм и даже тени догм (в этом величие и красота масонской идеи), оно оставляет за членом Братства право разнообразных оттенков толкования символов, чтобы творчество его личности развивалось беспрепятственно в раскрытии их идейного содержания, в установлении связи между миром обыденным и миром потусторонним, доступным лишь посвященному. Ритуалы масонства не мертвы. То есть не мертвы для тех, кто может и склонен оживлять их слова и движения идейным содержанием, а не смотрит на них лишь как на привившийся обычай. И они всегда переживают влияние равнодействующих сил: силы сдерживающей и традиционной, препятствующей случайным и непродуманным до конца уклонам, и силы творческой, развивающей и обновляющей форму и наполняющей ее новым духовным смыслом.

Такое углубление и одухотворение обрядов резко отли-

чает наше Братство от обществ профанских, в которых внешний обряд костенеет и вырождается в обычай и пережиток, а отказ от него ничего в жизни общества не изменит. Без рита и ритуала масонства не существует, так как в них одна из важнейших основ его сущности. Поэтому равнодушные к ритуалам обнаруживает в брате прежде всего непонимание, в какое общество он вступил и какие цели оно преследует. Но хуже равнодушия и непонимания то небрежное выполнение ритуальных жестов, которое так напоминает махание ручкой у груди полицмейстером старого режима в приходской церкви, долженствующее изображать крестное знамение его благородия как существа высшего. У нас есть братья, позволяющие себе не выполнять ритуального жеста при входе в храм и его покрытии и ссылающиеся при этом на свою предубежденность. Это, конечно, лучше равнодушия и небрежности, так как свидетельствует не о дурном отношении к Братству, а только о чисто профанском недомыслии человека, неспособного даже к простому логическому рассуждению: он хочет быть членом символической масонской ложи, отрицая и ложу и ее символы. Усердный исполнитель часто бессмысленных, устрелых и смешных обрядов в обществе профанском, жестоко карающем отступников, он необычайно смел и революционно предприимчив там, где его выходки терпят и куда он вошел по доброй воле, приняв условия и тайны и обрядов. Хотя мне не нравится тип людей, корректных в общении с посторонними и грубых в собственной семье, но лично я все же предпочитаю их вышеназванным масонским полицмейстерам и продолжаю верить, что время приучит их и к простой братской вежливости и к настоящему уважению нашей ритуальной жизни. Но хуже всякого неуважения та чепуха, которая иногда казенным языком втолковывается новопосвященным ораторами, обращающими масонскую символику в солдатскую словесность, обряд, в шагистику и миф — в буквенно нерушимое Священное писание. И наконец совсем худо, когда для толкования символов берутся школьные нравственные прописи и политические девизы, что так часто случается в официальных катехизисах не одного французского масонства, столь поражающего глупостью своих учебников и обрядников.

И однако, братья (перехожу опять в наступление), людей, не склонных к отвлеченному мышлению, обычно не приглашают в члены философских объединений; убежденным бухгалтерам нечего делать в кружке поэтов; странно

видеть в обществе художников человека, совсем не интересующегося жизнью красок. К сожалению, масонские ложи вовлекают в свою среду людей совершенно случайных, притом окончательно сложившихся, которым вообще чужды вопросы познания причины и целей бытия и опыты нравственного совершенства. Под человеком «свободным и добрых нравов» — минимум, требуемый нашей формулой от профана, — нужно понимать свободного от предвзятости мнений и способного к восприятию новых нравственных положений. Упрямый рационалист, считающий свою черепную коробку вместительной и орудием всех возможных для человека откровений, догматик в религии или науке, партийный политический фанатик, если не предполагать в них чудесной способности к пересозданию, только засоряют ряды верующих во внеопытное постижение, в силу посвященности, в тайну творческого откровения, в беспредельность недостижимой истины, в изумительную поэзию самого понятия о недостижимости. Естественно, что для таких людей наше учение о восприятии мысли символами, о сплочении ищущих единством ритуалов, о традиционной передаче творческой посвященности из века в век, должно быть совершенно чуждым и казаться только игрой несовершеннолетних и скучноватой условностью. И действительно: мы произносим набожно какое-то еврейское слово, лишенное прямого смысла, которое мы называем священным, которое переносит нас через век в братские объятия такого же чудака, с таким же набожным чувством его в свое время произносившего. Мы уверяем, что нам сегодня, сейчас, три года, потому что то же самое уверял двести лет назад такой же оригинал с полуседыми волосами, начитавшийся астрологического вздора. Деревянными молотками мы собираемся строить храм Соломона, царька небольшого народа, игравшего столь же небольшую роль в истории, благоговейно чтим память Хирама, вскользь упомянутого Библией, путаем его с Адонирамом, уверяем, что Тувалкаин был кузнецом, и Иисус Навин остановил солнце именно таким же жестом масонского подмастерья, и что все это имеет какое-то тайное значение. Мы во все это вкладываем совсем особый смысл, условный, ничего общего не имеющий ни с забытым значением слова, ни с басней об Иисусе Навине, ни с путаницей имен бога Вулкана и сына Каина. Для нас мистика числа «три» глубока и многозначительна, соотношение двух колонн — жизненно и почти практически осмысленно и необходимо, жест приветствия говорит больше по-

клона и рукопожатия; нам эти таинственные значки также облегчают строй мысли, как столь же бессмысленные по форме очертания букв алфавита помогают читающему общаться с тем, кто их написал. Для нас во всем этом есть особая красота, интимно братская, нами созданная или воспринятая, в сравнении с которой обычные профанские условности кажутся прозаической и невыразительной гримасой. Это наш язык, и естественно, что он не понятен тому, кто не поинтересовался изучить его хотя бы настолько, чтобы хоть немного с нами объясняться. Это своеобразное эсперанто, язык международного Братства вольных каменщиков. Французу смешно и не нужен русский язык, как для нас нелеп язык китайский; значит ли это, что русский и китайский языки вообще не нужны? Я могу поговорить с итальянцем по-итальянски; но войти в тесное общение с людьми моего народа, с русскими, я могу только по-русски, на родном языке, с родным мне ритуалом русского общения. Когда говорят, что масонство интернационально, это значит, что люди разных наций, чувствующие между собой особую духовную близость, выделяются как бы в особую нацию, со своим особым языком и своей особой историей, своими традициями, своей защищенной от всего остального мира особой жизнью.

Так это для нас. Но для профана, надевшего сначала запон, затем голубую просто или голубую с красной оторочкой ленту и оставшегося тем же профаном, наши условности неизбежно смешны и излишни. Из любезности и желания оставаться в кругу добрых знакомых он со смущенной серьезностью или с нескрытой иронией передвигает каблуками и помахивает трижды ручкой, но Братство может сказать про таких «братьев» словами Евангелия: «Души их далеко отстоят от Меня, всеу чтут Мя!»

Братья, я хочу считать и считаю себя посвященным. Что это значит? Это значит, что «Братья признают меня таковым», что «Я знаю букву G», что «Акация мне известна». Это значит, что я стремлюсь познать «Откуда мы пришли», «Кто мы», «Куда мы идем». Это значит, что я не раб хаоса, не мертвая пылинка, а творческая частица Великого Строителя Вселенной, живой атом живого сознания, может быть малый, но неустрашимый в системе бытия, без которого это бытие немислимо. В ясный полдень просыпается для работы моя мысль, в глухую полночь она закатывается для нового пробуждения. Я сам ее рождаю, сам низвергаю и сам возрождаю из пепла для нового восхождения тройственнос-

тью действий моей творящей воли. Двери моего внутренне-го храма, моей мастерской я затворяю для всех и всего, от кого и от чего я ушел для этой духовной работы. В руках моих все мне доступные, до меня и мной добытые орудия строительства, точные, как сама геометрия и как она — относительные. Моей работе помогает общение с другими, подобно мне — посвященными, проходящими стадии работы грубой, искусной и возвышенной, все рука об руку, камень к камню, объединенные взаимным доверием и уважением и общностью цели. Область моей работы — весь мир, от востока до запада, от севера до юга, от зенита до надира, потому что строим мы не жилой дом временного быта, а храм человеческой мысли.

В этих словах — весь наш ритуал трех символических степеней и вся наша масонская идеология. Я перевожу символы на профанский язык, страдая от того, что их сила и красота гибнут в любом переводе, как нельзя описать игру красок радуги или чувство любви. И в то же время я знаю, что томы философских рассуждений не заменят того, что несколькими условными предметами, словесными намеками и жестами может передать брату брат, посвященному — посвященный. Поэзия нерасказуема; вероятно потому нет ничего бессильнее литературной критики — разве что сам критик поэт, творящий новое. Я знаю, что можно жить и без поэзии и, следовательно, что общество отличных людей, поставивших себе благороднейшие цели, может обойтись и без таких символов и ритуалов. Есть тысячи людей, удовлетворенных городской жизнью и равнодушных к природе. Есть люди, читающие только газеты, думающие, что кинематограф — искусство, воспринимающие музыку через сифилитический хрип и стрельбу громкоговорителя. Есть прелестные чудаки, совершенно убежденные, что поэзия есть чередование рифм и ассонансов, живопись — правдоподобное изображение видимого мира, добро и зло — соответствие или расхождение с писаными законами, а чудом называется то, что еще не объяснено за отсутствием достаточного количества наблюдений. Этот вид счастливых позвоночных действительно не нуждается в символах, за исключением, впрочем, символов алфавита и таблицы умножения. Но есть и люди, которые, не будучи поэтами, все же хоть немного тоскуют по тайне; в городе они утешаются горшочком герани на окне, за физической работой мурлычат песню, на отдыхе читают авантюрный роман, в котором описана жизнь, так непохожая на их серый быт. Этим лю-

ням уже невозможно жить без мифа, обряда и символов, без ласкающей душу маленькой тайны.

Братья, масонство не есть общество избранников высокой мысли и совершенных человек; оно арена духовного подвижничества средних, так называемых порядочных людей, способных культивировать в своей среде чувства человечности и искать большее, чем дает им профанская жизнь. В человеческом муравейнике мы не воины и не полицейские, а рабочие муравьи, верующие в соборное строительство, сильные не гением единиц, а общением деятельных волей. Если бы мы всегда это помнили, мы не стремились бы привлекать в свою среду непременно «ярко выраженные индивидуальности», а обратили бы большее внимание на рядового человека, не занимались бы политикой, а отдавали силы вопросам воспитания и развития сил познавательных, практике повышения общего умственного и нравственного уровня. Как таковые, как люди средние, мы не можем отойти от традиций, а я знаю, как это слово ненавистно для многих, желающих видеть наше Братство отбором гениев и героев. Все историки масонства скажут вам, что наши организации вырождались и гибли всякий раз, как пытались порвать с традициями и выйти на улицу: два вернейших и безошибочных симптома внутренней болезни, эпидемия которой особенно распространилась в наши дни. Болезненный симптом экстериоризации недавно сказался на последнем конвенте «Великого Востока» Франции, а судя по данным одного также недавно прочитанного доклада, тот же симптом наблюдается сейчас и повсюду. Даже в наших русских ложах он сказывается в попытках призыва не отдельных масонов (это их право), а масонских лож к политическим выступлениям. Что касается до традиций, в определении понятия которых, впрочем, мы никак не можем договориться, то против них выступают главным образом братья, самое масонство определяющие ограниченно, как организацию нравственного порядка, а не посвятительного и познавательного. К сожалению, я не имею времени, чтобы углубить вопрос о масонских традициях; он был неоднократно обсуждаем в другом месте — в досточтимой «Независимой ложе Северных Братьев», которую я имею большую радость принимать у себя по понедельникам, и там он не только не окончен, но еще и не поставлен по-настоящему. Поэтому пока я хотел бы закончить лишь более точным определением значения ритуалов в нашей масонской жизни.

Нет сомнения, что ритуал есть род светской литургии в наших храмах. Без него немислима наша работа совершенно

так же, как она немыслима без него в храмах разнообразнейших религиозных культов. По тем же психологическим причинам, по каким в католичестве применяется латинский, в православии — церковно-славянский язык, свой старый, скажем даже устаревший язык, применяется и в ритуалах наших. Это не жреческая уловка, а своеобразное условие торжественности, вневременности, зеленый налет на драгоценной бронзе. Все попытки модернизации ритуалов основаны на ошибочном предположении, что ритуал служит учебным целям, что он является как бы орудием пропаганды идеологических достижений сегодняшнего дня. Таким, например, наивным, но и трогательным нововведением явилась в свое время замена древне-принятого восклицания «худзай» словами французской революции «свобода, равенство, братство», с которыми сейчас мы можем, впрочем, легко мириться, так как они уже стали во французском масонстве традиционными, т.е. освящены некоторой давностью употребления. Вообще уважение к традициям не предполагает непременно педантизма; икона не должна быть непременно покрыта грязью и копотью, и все же старинная фреска в храме говорит больше, чем недавно написанная, будь последняя даже художественнее. Иное дело — реставрация древней прелести той же иконы или стеной живописи, замазанной грубыми наслоениями, работой модернистов-варваров. Мы не фанатики двухперстного сложения, поясного метания и слова «Исус» с одним «И», хотя в героическом упорстве протопопа Аввакума уж во всяком случае не меньше возвышенной поэзии, чем во всей Никоновой реформе. Но вот, например, в нашей досточтимой ложе, отнюдь не грешащей фанатизмом традиций, а как раз противоположным — небрежностью к ним и их неведением, проявился однажды своеобразный фанатизм в возражениях против мною же предложенной замены ошибочного и неправильно переведенного слова «страж» словом «надзиратель», как и до сих пор держится совершенно нелепое выражение «офицерское собрание», в данной обстановке и в его русском звучании даже неприличное и смешное, также объясняемое неграмотностью перевода: французское «officier» в данном случае должно переводить «должностное лицо». Значит, традиционность нам иногда свойственна, но не всегда там, где следует; от ложных традиций следует спешно отказываться.

Ритуал есть совершенно соответствующая духу нашей светской религиозности мистическая театральность. Попытка ограничить театральность и совсем выключить из нее мистику, заменив ее нравственными прописями, это и есть вред-

ный, наивный и смешной модернизм, отход от ритуальных традиций, возведенный в систему «Великим Востоком» Франции из глупой боязни, что масонство окажется недостаточно «прогрессивным», как будто прогресс человеческой мысли заключается в забвении всех этапов ее развития, прогресс живописи — в презрении к старому художественному мастерству, поэзии — в замене рифм ассонансами. Весьма примечательно, что русские купцы, желая казаться просвещенными, обставляли свои салоны модной мебелью, хотя и продолжали вытирать пот от двадцатой чашки чаю полотенцем. Недалеко от этого мещанства мысли ушли и модернизаторы масонских ритуалов, подготовившие для истории изумительные памятники позорной литературщины. Не желая быть голословным, я отошлю ваше внимание к ныне действующим ритуалам первой и особенно второй степени в ложах французского обряда «Великого Востока» Франции, применяемым также и у нас.

В значительной степени ритуал есть средство, естественное и законное, уйти из серой будничной обстановки, отдохнуть от обывательщины, устремить мысль к символике высших постижений. Если он этого не достигает, то в этом виноват не ритуализм, а наше неумение создать мистический театр и быть в нем вдохновенными артистами. Вот в этом направлении нужно изодрать силы, находить людей, в мехи старые вливать новое вино, помирить традицию с достижениями техники драматического действия. Тут никакие пути не закрыты и никакой Аввакум не будет протестовать. Но говорить ли, что в этом направлении мы ничего не делаем? Я только не знаю, по бесталанности ли, или по недостатку проникновения мистической посвященностью. Вернее, думается, последнее.

Братья, я заканчиваю это введение в беседу сводкой высказанных выше пожеланий, чтобы мы не забывали, что являемся не философским кружком, не клубом взаимно благорасположенных людей, не политической организацией, не практикантами современной морали и не кассой помощи и взаимопомощи, а членами символического ритуального традиционного Братства вольных каменщиков, которое немедленно погибнет, если устранить или умалить в значении его символизм, ритуализм и традиционную преемственность посвячительных принципов. Кого такая перспектива не страшит, пусть заносит руку на самое характерное и самое священное, что у нас есть. Может быть, история его оправдает и даже восславит, как восславила многих

религиозных и политических реформаторов, как восславила и разрушителя подлинного Соломонова храма. Но в оценке старого масона такой подвиг будет только очередным, вечно повторяющимся убийством мастера Хирама, который столь же вечно возрождается в новом ученике. Масонство как идею, проходящую через историю человечества под разными названиями, идею свободы духа и посвященного познанию природы, я считаю вечной и не подчиненной произволу сегодняшнего мыслителя, пусть талантливом, но непосвященного, забывающего о природе и вечности в своих временных постижениях. Эта идея неподвластна смене настроений политических деятелей и дельцов, зачарованных злобами сегодняшнего дня и готовых с завидной легкостью жеста отринуть вековое царственное искусство и швырнуть наше Братство в объятия улицы. Как свободные люди, каждый за себя, мы можем быть с ними, восхищаться ими и идти за ними — это наше право профанов. Но Братству, как соборному единству посвященных, имеющему свои высокие цели и идущему своими посвященными путями, не по дороге даже с умнейшими и честнейшими профанами сегодняшнего дня и сегодняшней веры. Чуждое им, оно имеет достаточно гордости считать их чуждыми себе. *Procul este, profani!*¹ Но всегда терпимое, оно готово их выслушать со вниманием и братским снисходительным сожалением.

М.А.Осоргин

Исповедь мастера

Дорогие братья, сегодня я выступаю перед вами не по какому-нибудь вопросу, а просто — с исповедью мастера. В комитетских собраниях мы часто выслушиваем учеников, их первые масонские впечатления. К ним мы относимся с предвзято добрыми чувствами, со сдержанностью и, признаемся, снисходительностью. Я жду от вас тех же добрых чувств и не жду снисхождения. Я буду очень откровенен, но без задора и без желания сражаться. Раз это — исповедь, я буду говорить преимущественно о себе.

Я был посвящен 22 года тому назад в итальянской ложе «Venti Settembre» великой ложи Италии. Меня ввел туда русский брат, уезжавший на войну (1914) в Россию, чтобы хоть один русский остался в рядах итальянского масонства. Я вошел из любопытства и любознательности, а так как меня приняли с большой ласковостью, то я до сих пор сохраняю самые лучшие чувства к моей ложе-матери, хотя за короткое время пребывания в ней (всего два года) я не получил от нее ничего ценного в масонском смысле. Это была ложа в упадке, довольно мертвая, слабо посещаемая. Ее председателем был Р.П., очень известный масон, ставший, как я слышал, фашистом. Гранмэтром ордена был С.Ф. Великая ложа была не в ладах с «Великим Востоком» Италии, в котором преобладали социалисты. Но оба масонских послушания занимались одним: политикой, а в тот момент начавшейся войной, в которую должна была вмешаться и Италия. Копья были направлены против Австрии, тройственный союз подвергался самой жестокой критике, и как масон я за год до вступления Италии в войну знал, что это неизбежно случится.

Когда мне пришлось уехать из Италии в Россию, я скоро забыл о ложе и о братьях, настолько забыл, что сейчас ни одного не помню по фамилии; никаких личных отношений с ними вне храма у меня не создано. От производств в степени я уклонился, хотя мне готовили масонскую карьеру.

еру, о чем меня даже предупредили. Я попросту не являлся на свои производства, что братьев удивляло. И я уехал из Италии учеником.

В моей жизни это было эпизодом в ряду многих; жизнь была достаточно полна событиями. Я почти не вспоминал о своем масонстве и за 11 лет никогда никому не говорил о нем, даже моей тогдашней жене.

В мае 1925 года мне предложили вступить в русскую масонскую ложу «Северная Звезда» в Париже. Так как оказалось, что я уже масон, то меня аффилировали 6 мая, а затем произвели в мастера, минуя 2-ю степень. Таким образом, на этих днях истекает второе одиннадцатилетие моего масонства, весьма отличное от первого. Мое прежнее равнодушие сменилось большой верой в масонство и, я думаю, достаточным прилежанием. Во всяком случае масонская работа, какова бы она ни была по ценности, занимает большую часть моей жизни и моих духовных интересов. Все мои личные связи, прежде бывшие, я прервал, оставив только связи с теми, кто мне стал близок по Братству. Все, что я пишу, в той или иной мере связано с масонскими идеями, как я их понимаю. Если сейчас лишить меня Братства, то у меня останется только жена, которая занята ученой работой по русскому масонству¹, отчасти в силу моего же влияния. Могу смело сказать, что я пленник Братства вольных каменщиков, и вероятно, на весь остаток моей жизни.

По всему этому я считаю, братья, что имею некоторое право относиться к нашему Братству ревниво, иногда требовательно, порою страстно, поскольку способны к страсти мой возраст и железной цепью жизненных событий измятая и исцарапанная душа. Когда-то Братство было мне мило, как монастырская ограда, отделявшая меня искусственно от злов дня. Это время благополучно прошло, вероятно потому, что мне удалось отделиться от злов политических, литературных и даже житейских прочным и вошедшим в привычку малым к ним вниманием; попросту — укатали Сивку крутые горки. Известную роль в этом сыграло, конечно, и масонство. Вместе с тем по отношению к нему я стал требовательнее. Уже не удовлетворяет меня, как было прежде, приятная осуществленность союза взаимно благо расположенных людей, находящих в своей среде успокоение нерв, завидную терпимость друг к другу, моральную, а часто и материальную поддержку и вообще все то, что составляет неоспоримую выгоду, а если хотите, то и красоту масонского тесного общения. Я это очень чту и не хочу

умалить высокой ценности наших личных и общественных отношений. Но хотел бы найти в масонстве гораздо большее. Я мечтал бы найти в нем настоящее оправдание нашего бытия, моего и вашего присутствия на этой земле, не ко всем ласковой. Я боюсь, что без этого Братство будет для меня по-настоящему ценно только до тех пор, пока я живу в этом городе, на этой улице, по соседству с вот этими людьми — со всеми вами, с которыми меня связывает упроченная годами приязнь. Но жизнь, много раз со мной шутившая и не всегда хорошо и жалостливо, может унести меня отсюда в другую страну, втолкнуть в другую среду, где не так-то быстро завяжутся тесные и приятные связи. Что же тогда останется от моего масонского благополучия? Ряд милых воспоминаний и адресов со знакомыми именами? Одно прошлое? Но тогда, значит, масонство было для меня только счастливой случайностью, временной эпизодической удачей, а не смыслом жизни. Одиннадцать лет оно меня не занимало, еще одиннадцать лет было нужным, а дальше — как придется? Нет, с этим мысль как-то не мирится!

И вот, братья, я пытаюсь так взрастить акацию моего масонского мироощущения, чтобы ее корни проникли и в прошлое и в будущее. Я потому пользуюсь этим обычным масонским символом, что в своем саду я посадил несколько лет тому назад белую акацию, которая, разросшись, пустила толстые корни и на участок моего соседа и на улицу, так сказать, и в среду братскую, и во внешний мир. Каждый садовник знает, что, куда идут корни дерева, туда идут и его ветки; и теперь моя акация цветет не для меня одного, и старый символ стал для меня живым. Применяя его к теме нашего разговора, я хочу, чтобы мои ощущения или мои познания вольного каменщика соединили меня крепко и навсегда не только с членами моей ложи и не только с братьями-соседами, русскими или французскими, но со всем мировым масонством, с вековыми исканиями потерянного, а может быть, еще никогда и не сказанного слова, исканиями человеческой правды, в которую можно уверовать и ради торжества которой стоит жить. Пусть она будет неполной, пусть временной, но такой, которая бы меня завоевала, как в дни, еще недалекие, захватывала и вела вперед многих из нас чистая и прекрасная вера в возможность создать счастье своего народа внезапным политическим переворотом, за которым наступит пора свободного развития каждой личности и светлая эпоха социального равенства и справедливого распределения житейских благ в общем уравненном труде. И

как тогда за эту обманувшую нас идею мы были готовы отдать жизнь, так и теперь отдать бы всего себя новой вере, даже хорошо зная, что и она также обманет; потому что если что-нибудь положительное дало мне и вам масонское учение, то именно убеждение в зыблости истин, в естественной смерти каждой из них и в вечном возрождении идеальных человеческих порывов. Я не только не кляню своего революционного прошлого — я память о нем чту и люблю. Его сладкий обман был настоящим счастьем, я ничего так не хочу, как еще раз пережить подобное. Такие ошибки — только вежи единственно правильного и единственно верного пути к истине.

Братья, я не меньше других старался понять основы нашего Братства, сумевшего выстоять века и не подающего признаков гибели. Я усиленно изучал его историю — в связи с общим развитием человеческой культуры, старался вникнуть в несколько трудную, спорную, логически не постижимую идею «посвященности», в нашу символику, в поэзию и в сумбур нашей ритуальной жизни, в многообразие определений масонства, часто непримиримых, в его исторические судьбы с периодами расцвета и падения, высокой нравственной чистоты и откровенного шарлатанства, в догму его адогматичности и несвободу толкования свободы, в его государственную лояльность и его анархизм, в отвлеченную высоту и мещанские прописи его морали, в его аполитичность и прислуживанье политическим партиям, в его религиозность и его атеизм, во все его исповеди и все противоречия. Думаю и надеюсь, что я был хорошим и добросовестным подмастерьем, хотя никогда не имел этой символической степени. Знаю шаги вперед и шаги уклона в сомнение. Как средний масон знаю букву G, и Акация мне известна. И я принимаю масонство не как идеальный союз, а как многогрешное человеческое общество, у которого в любой период его жизни много достоинств и много недостатков. Но чем больше я его узнаю, изучая по книгам и по общению с братьями, тем больше увлекаюсь им именно как учреждением человеческим, слишком человеческим, что так отделяет его от безгрешных церквей и беспорочных политических программ. В нем нет холодной красоты безароматных камелий — и много горячего очарования медоносных цветов. Его легче и лучше неразумно любить, чем сознательно уважать. Вероятно, потому в братской среде ценнее быть добрым, чем быть умным, больше хочется верить, чем знать. И потому же самому масонство есть искусство, а не отрасль

научной дисциплины, практика добрых отношений, а не свод правил нравственности, ощущение посвященности, а не логическая гимнастика.

И вот, братья, не то чтобы придя к такому заключению, а вернее сказать, пропитавшись таким восприятием Братства вольных каменщиков, я понял, что оно не есть создание ума, а есть отклик в человеке его природы. Оно наша естественная, не подчиненная разуму и логике склонность, так сказать, протест рожденного нагим против навязанной ему одежды, жажда подставить спину и грудь под лучи до сердца прожигающего солнца, под прямой свет истины, безо всяких посредствующих стекол и приборов, защищающих от действия пламени, но уменьшающих свет, дающих нам о нем неправильное понятие. Я говорю образно и метафорически, потому что и не нахожу подходящих обыденных слов и боюсь, что они не передадут моей мысли верно. Но ведь так именно летел к солнцу Икар, так и сейчас летит пчела в брачном полете. Если все же попытаться изложить то же языком прозы, то придется сказать, что истинный масон хочет познать наитием то, на что никогда не дает ответа человеческий опыт. Так он хочет понять мир, так найти линию своих отношений с людьми и со всем живущим, дышащим и чувствующим. Так он хочет и созидать, минуя жилой дом — непременно храм всеобщего счастья. Потому что только ради этого, ради подавляюще огромного можно согласиться свершить герметический круг жизни, пройдя через все ужасы, которыми она утыкана, как лезвиями ножей, ежеминутно кровянещих наше бытие. Кроме наших обычных символических вопросов, приводимых в каждом масонском учебнике: «Откуда мы пришли, кто мы, куда мы идем?», этих трех вопросов голубого масонства, есть еще вопрос «Зачем?», т.е. во имя чего? стоит ли? И ответ может быть только один: «Если уж неизбежно стореть, то увидав ничем не заслоненное солнце!»

Для вас, братья, может оказаться неожиданным и не обоснованным мой последний вывод из моих все тех же не логических, а скорее всего, мистических построений или, если хотите, настроений. Логически мне его никогда не обосновать, и вряд ли кто-нибудь смог бы на моем месте. Я пришел к выводу, что не существует каких-то особых масонских правил поведения, поступков, отношений, практической масонской деятельности. Все, что я делаю, есть результат моего профанства и моих личных человеческих качеств. Как масон я только созерцатель и мыслитель, только посвященный и

познающий. Как у посвященных всех времен, объект моего созерцания — природа, единственный учитель и единственный источник познания. Природа есть бесконечное движение жизненных сил, с которыми я хочу быть и не могу не быть в теснейшем и сознательном общении как часть природы. И это уже не метафора, это, я бы сказал, широкое раскрытие глаз, введение своего сознания в безграничный мир миров в качестве его действующей и познающей единицы, в мировое Братство всего живого. Я не знаю, как это яснее выразить, и только повторяю, что это не метафора, потому что для меня это — чистейшая реальность. Попробую сказать так, что мир профанный, т.е. мир лишь человеческого общения, я не выключаяю, но сливаю с бесконечно большим и неизмеримо многограннейшим и многоцветнейшим миром всего того, что присутствует в движении жизненных сил, что живет как личность и участвует в бесчисленных комбинациях общения. Я не знаю, где пределы моего нового живого мира: в животном, в растении, в протоплазме, в протоне, в мыслимом и недоступном мысли бесконечно малом, в математической точке, — этот мир мне предстоит столь же бесконечно открывать, но я уже заранее безмерно обогащен одной перспективой его познания, приближающей и самого меня к бессмертию в каких-то иных, но все же живых формах.

Эти мысли я уже не в первый раз пытаюсь развить в наилучшей для меня и простейшей форме, учитывая, что не все над этим задумываются, не все обязаны любить то, что люблю я, и что в утверждении мною такого мироощущения есть какая-то невесомость, неотчетливость и как бы недоговоренность. Когда заходит речь о природе, в обычном представлении с неизбежностью возникают поля, леса, сады, реки и нечто вроде зоологического сада. Все это верно постольку, поскольку скорее включается в понятие природы, чем деловое заседание, библиотека или ресторан, но и неверно, потому что неполно, потому что движение жизненной силы можно наблюдать всюду и всегда. Открытая чашечка цветка не может не захватить внимания созерцателя, но наше сознание, всегда склонное к антропоморфизму, может одухотворить и превратить в живое существо книгу или знакомую вещь. Есть, например, целый ряд книг, которые я не могу не одушевлять или даже не очеловечивать; мне кажется, что я могу звать их по имени и отчеству и пожать им руку; во всяком случае с ними я не один. Помните, как говорил Пушкин:

«Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный
И, долго слушая, скажите: «Это он!
Вот речь его...»

Такова книга. Но и червяк, который точит ее переплет, тоже новое существо открываемого мною для себя мира, и пролетевшая мимо муха, и кусающая меня блоха. Им, живым или мною оживленным я противопоставляю что-то мертвое, которым может быть камень, город, мысль, понятие и даже, к ужасу моему, человек. Тут на первый взгляд ужасная путаница и неразбериха, но в каждом случае мое сознание проясняется понятием или ощущением того, что я называю «живой силой природы», началом действующим и говорящим о будущем, о рождении будущего из того, что я сейчас созерцаю. Не требуйте от меня, братья, лучшего определения, оно вряд ли возможно. Постарайтесь понять не анализом мысли, а встречным чувством, если это встречное чувство в вас присутствует; а если его нет, хотя бы в зародыше, то понять все равно нельзя, как нельзя понять искусства, не имея к нему врожденного влечения.

Определить понятие природы пытались все философы, но точного определения ее никто дать не мог. Под природой разумели неизменные законы и существенные свойства, постоянно принадлежащие каждой вещи. Разумели вселенную, мир со всеми видами существ и всеми степенями жизни — определение, которое для меня ближе других. Разумели все, что подчинено слепому и безотчетному закону причинной связи явлений, тем отличая ее от сферы жизни сознательного существа, руководящего ее целью и самосознанием. Но, кажется, все сошлись на том, что нет точной грани, отличающей природу от нравственной жизни, и что определение этой грани и есть вечная задача науки (в общем смысле слова) и задача жизни.

Все это я знаю, и знаю, что в какой-то, мне недоступной мастерской степени посвящения и приобщения моего сознания культу природы, я должен буду создать себе ее сильное философское определение. Но только что раскрыв глаза, только что приотворив дверь этого нового сознания, я, как ученик, получаю для обработки лишь грубый камень, лишь реальную, простым глазом, микроскопу и телескопу видимую природу, небо, землю, горы, лес, животных, насекомых, растения, косою разрез пестика, строение протоплазмы, бешеный танец молекул в микрокосме, вихрь туманностей в макрокосме — все, что отражает радужная оболочка моего глаза и может воспринять мой ум, моя жадность со-

зерцания, моя любовь к познанию, наконец, моя естественная потребность жить и общаться с живым миром. Как скромнейший из посвященных я склоняюсь над цветком, жуком, муравейником, собачьей конурой — и я только смотрю, только смотрю. Вот почему я говорю, братья, что моя природа не символ, а реальность. Я покажу вам ее дома, сидя за столом, и, конечно, охотнее покажу ее в моем саду.

Предмет моего огорчения, и даже большой душевной тревоги, что я не в силах не только доказать, но и сообщить на ухо всей важности этого мироощущения, не для меня только, но, как я уверен, и для другого, для всех. Если бы я говорил еще несколько часов о том же, большего я все равно выразить не мог бы. Это происходит, вероятно, потому, что мы слишком привыкли темнить ясные и здоровые понятия, как Природа, как движение жизненных сил, как мир живых существ, отношением к ним, как к чему-то вне нас стоящему, более символическому, чем реальному. В этом может сказаться известная извращенность нашей собственной живой человеческой природы и оскудение в нас подлинной жизненности, под влиянием искусственности всего нашего быта, наших надуманных законов, наших догматов личной и общественной морали — всего того, что мы так неудачно для себя создали и от чего так страдаем. Потеряв непосредственность ощущений, потеряли и нужные для взаимного понимания слова. Или, может быть, боимся, что возвеличение интереса к букашке до степени религии простительно профессионалу, естествоиспытателю, но не может заполнить души ищущего отвлеченных истин.

Здесь мне приходится перейти к последнему и труднейшему заключению. Во мне, на данном этапе моего масонства, родилось убеждение, что именно это новое мироощущение и приблизило меня впервые к истинному масонству, правда отняв у меня много прежних уверенностей. Мне кажется при этом, что ни в одной из своих удачных или неудачных догадок о сущности масонства я не оказывался в такой близости к давним, всем известным, но лишь как-то по-казенному, лишь формально известным определениям масонской идеи, которые то исчезают, то вновь всплывают на протяжении всей его истории (как, впрочем, и вообще истории посвячительных обществ), проявляя какую-то необычайную живучесть. Говорю об определении его, как союза посвячительного пути к познанию бытия, к проникновению в тайны природы. Это определение то делается лишней смыслом формулой, то снова утверждается в своем

простом и точном значении, не требующем никаких окольных пояснений и поправок в масонских статутах. Посвяtitельное общество познающих природу. И тогда для меня оживают и наполняются смыслом лучшие из наших символов и красивейшие мифы, положенные в основу ритуалов посвящения, очевидно созданные и введенные людьми моей новой, но в действительности старой как мир веры. Вместе с тем я получаю критерий для их оценки и их отбора, я уже не обязан бродить впотьмах и руководиться лишь обязательством соблюдать традиции. Тут же попутно, став созерцателем того, что я именую природой, я наконец нахожу почву для утверждения тех нравственных положений, которые я принимал раньше только потому, что доверял их высоте, избрал их из лучшего, что знал и что мне нравилось. Только как созерцатель явлений природы, я могу свободно принять, что в живом движении не существует отвлеченных нравственных догм, как не существует и «найденной истины», потому что ничего подобного нет в природе, так как это несовместимо с понятием вечного движения. Только теперь я могу вполне себе усвоить высоту и важность стимула всего живущего, залога его живучести. Самое понятие о соборности я никогда не мог реализовать для себя, исходя из человеческих и только человеческих отношений. Но даже поверхностное наблюдение природы, жизнь которой необычайно гармонична и все явления которой тесно между собой связаны и взаимно переплетены, дает мне сразу ясный пример и точный ответ. Никогда раньше вульгарное, то есть филантропическое, клубное, политическое, сентиментальное или общеобразовательное масонство, не могло доказать мне, что человеческая жизнь может быть более или менее идеально пересоздана, хотя бы настолько, чтобы побудить меня жить для будущего, изжить в самом себе естественный, порожденный и настоящим и прошлой историей беспредельный скептицизм. Новое (или, может быть, старое и забытое) масонское мирозерцание, основанное на наблюдении природы и на полном с нею слиянии немедленно утверждает эту потерянную веру картинами подлинного земного рая, высокого и вдохновенного благополучия, гармонического общения, доведенной до идеала взаимопомощи живых существ. С той же простотой и убедительностью оно отвечает на самые проклятые вопросы о добре и зле, уничтожая самые эти понятия, так как в природе их нет, они придуманы нами. И уже в чисто масонском понимании оно дает мне ясную картину реальности посвяtitельного пути и

степеней посвященности. Как это происходит, на каких предметах созерцания, на каких примерах, я не имею ни времени ни сил рассказать. Но я говорю о том, что видел, понял, что хочу еще видеть и посылно понять.

Я видел и понял, конечно, еще очень мало. Но если я скажу, что этого уже достаточно, чтобы верить, надеяться и любить, довольно для этих непременных элементов и факторов возврата жизненности в нравственно полумертвом человеке, то как же мне не радоваться, что кажется вот мне, малому, чуточку приоткрылась завеса доступной мне и эту нашу нашего существования

Истины!

Я добавлю только, что в ту самую минуту, как мне, масону долгого стажа и, следовательно, некоторой удовлетворенной уверенности, начала открываться возможность обновленного мироощущения и миропонимания, как я немедленно и уверенно возвращаюсь к ученичеству, к сознанию того, и что я «не умею ни читать ни писать, знаю только склады», и что передо мною нет никакой чертежной доски, а лежит грубый камень, к которому я еще не знаю, как приступить. Это также не ново, это давно оговоренный нашей прекрасной символикой вечный путь по герметическому кругу: ученик, подмастерье, мастер и снова ученик.

Поэтому-то, братья, сегодня, ни наг ни одет, с кинжалом у сердца, символом примата чувства над разумом, едва выйдя из моей последней черной храмины сомнений, я предстал перед вами с исповедью ученика, которую лишь формально мог назвать исповедью мастера.

М.А.Осоргин

Путь русского вольного каменщика

Досточтимые мастера и дорогие братья! Путь русского вольного каменщика я определяю не по национальному признаку, а по условиям нашего особого современного положения в мировом масонстве. Масонские храмы всюду созидаются на родной почве; мы храм своего посвященного познания строим на временно арендованных участках. Я хочу быть оптимистом, и в этом ненормальном положении выискивать некоторые выгоды.

На путях профанского познания людям науки часто приходится искать условий изоляции, отделенности от шума улицы и злб дня. Кабинет ученого — тот же храм познания; лаборатории также нужны толстые стены и совсем не нужны окна во внешний мир. Позвольте мне, братья, в эти дни хронического солнечного затмения, краха культурных ценностей и кризиса человечности считать нас учеными-наблюдателями, выехавшими в европейские страны, где солнце культуры казалось особенно ярким и где его затмение особенно полно.

Давно известно, братья, что о чем бы ни говорили масоны, как масоны они всякую тему сводят на определение масонства. Ни одно учение, ни одна философская система не имеет столько определений, не только разнообразных, но часто одно другое уничтожающих. Можно, кажется, смело сказать, что сколько масонов, столько и масонств. Это тем более замечательно, что о сущности подлинного масонства, его методе и его цели, никакого спора быть не может: это — символический союз посвященного познания природы. Цель — познание, его орудие — символы, его предмет — природа, условие — посвященность. Все остальное или непосредственно вытекает отсюда или вводится для некоторой популяризации и вульгаризации учения вольных каменщиков: самосовершенствование, терпимость, филантропия, адогматизм, гуманизм и прочее. Упрощение одной и рассчитанной на вековую живучесть идеи доходит до того,

что иногда ее переводят на язык политический в формуле, данной французской революцией: «свобода, равенство, братство», и, таким образом, искомое заменяют данным, состояние непрерывного творчества — остановкой на прекрасном, но все же случайном этапе.

Разница в определениях и толкованиях масонской идеи есть естественное следствие ее жизненности. Не какое-нибудь отвлеченное вероучение, которое годится для особо тревожных моментов жизни или для более спокойного отхода в вечность, и даже не нравственный кодекс, а постоянно и жизненно потребный измеритель и нашего собственного душевного состояния, и нашего отношения к людям, и пределов доступного нашему разуму, и наших творческих возможностей; своего рода универсальный инструмент, включивший в себе и уровень с отвесом, и наугольник с линейкой, и циркуль, и резец, и молот и рычаг — все, без чего не может каменщик управиться со строительной работой.

Я не думаю, чтобы я преувеличивал практическую потребность для масона всегда видеть перед собой отраженную в символах идею своей посвященности. Во всяком случае старые вольные каменщики, уже не мыслящие себя и своей жизни вне братского общения на почве и во имя общности миропонимания, и поймут меня и не примут моих слов за более или менее удачно округленную фразу. Естественно поэтому, что мы не только вносим в наш профанский обиход масонские навыки — что всегда похвально, — но и в наш внутренний масонский храм вечной творческой неудовлетворенности позволяем иногда проникать профанским «найденным истинам», — что противоречит основам нашей идеологии. И чем тревожнее и взволнованнее море профанского быта, тем чаще и легче ступшевывается по существу своему резкая граница между храмом посвященного познания и ареной практической жизни. Отсюда смена периодов расцвета и увядания чистоты масонской идеи, отсюда же неясность и противоречивость ее определений, строго проверив которые нашим символическим методом, мы всегда найдем в них известный процент профанской мути и явно ученических строительных ошибок.

Вот здесь-то, дорогие братья, я и хочу уловить некоторое преимущество, которое не скажу принадлежит, но может принадлежать братьям русских зарубежных организаций вольных каменщиков.

Для огромного большинства из нас, живущих за рубежом давно и вынужденно, здесь нет места и возможности для при-

ложения в полной мере наших способностей и духовных сил, а для очень многих закрыты вообще все пути проявления себя во внешней среде хоть сколько-нибудь деятельным образом, не говоря уже о работе творческой. Мы не можем, конечно, оставаться равнодушными созерцателями жизни и событий той страны, где нам приходится жить, или не волноваться вопросами мирового масштаба, а тем более не болеть горестями и не радоваться удачам своей родной страны. Но ведь уже всечеловечность масонской идеи не делает нас последовательными космополитами в жизни профанной. Одним мешает отсутствие под ногами родной почвы, другим — чужой язык, всем — сознание естественной отчужденности, не говоря уже о препятствиях чисто внешнего характера, всем известных. Невозможно требовать от русского, чтобы он не был прежде всего русским, в особенности если он был им некогда не только по рождению, но и по воспитанию, по общественной работе, по действительному участию в жизни своей страны. Некоторым кажется, что они и здесь могут выполнять какую-то особую миссию и тут чем-то служить интересам своей страны, России. Это, конечно, не более, как сладкий самообман, одна из последних, уже давно потускневших иллюзий, и не вольным каменщикам ее поддерживать, как бы она ни казалась спасительной.

Мы — я говорю об огромном большинстве русских, лишенных права или возможности возврата, — только зрители, только свидетели свершающейся истории. И как ни горестно это вынужденное бездействие, в нем есть своя положительная сторона: сторонний зритель, если он, конечно, не одержим манией оценивать каждое явление мерилom собственных личных интересов, всегда может быть более объективным, чем человек, вовлеченный бурей политических страстей в самый водоворот событий. Необходимость действовать оставляет мало времени для обстоятельной нравственной оценки методов действия, и тем менее для согласования и наших действий и наших мыслей с тем сложным процессом познания и духовного творчества, который мы, вольные каменщики, называем «царственным искусством», строительством внутреннего Храма. Политику раздумывать некогда; он может и должен руководиться заранее созданной программой достижения заранее поставленной цели, которая является для него конечным идеалом, найденной и признанной истиной. У нас, масонов, нет истины, мы вечные ее искатели. На путях познания каждый достигнутый этап есть лишь исходная точка для дальнейшей работы,

которая никогда не закончится. Открытие, которое делает ученый в своей лаборатории, может найти широкое практическое приложение за ее стенами, но для него самого оно — пройденный этап, отработанный пар: его мысль идет дальше, и эта временная истина для него уже не цель, а лишь материал, не имеющий самодовлеющего значения. Этого никогда не нужно забывать: в этом все отличие нашей масонской творческой задачи от тех целей, которые мы, как профаны, ставим себе в мире практического действия.

История развития масонской идеологии с ясностью и несомненностью свидетельствует, что в периоды наибольшего оживления профанной жизни, особенно в периоды политических волнений, катастроф, войн внутренних и внешних, творческая работа наших мастерских ослабевает или извращается. Впрочем, то же происходит с творчеством в любой духовной области — в литературе, во всех родах искусства. Это совершенно естественно: нас отвлекают интересы профанного мира; из мыслителей и познающих мы делаемся прежде всего практическими борцами, в наши храмы проникает дух улицы, интерес к временному заглушает любознательность к вопросам бытия и вечности, жажду познания природы, прилежного чтения изумительных страниц ее столь мало нам доступной книги. Такой период мы переживаем и сейчас. В ряде стран — в России, Италии, Германии, Турции, Австрии, Португалии — масонство разгромлено или подавлено, в других оно превратилось в орудие политических партий, в некоторых замерло в косности, напоминающей церковность. Не будет ничего удивительного, если от Братства, которое недаром называется мировым и которое действительно покрывало мир сетью своих лож, останутся только очаги с кучками верных, но замкнувшихся в своем узком кругу строителей. Для тех, кто не измеряет силы масонской идеи количеством масонских парламентских групп и процентов братьев в министерствах, это не страшно. В ритуале возобновления работ в ложе свечи вновь каждый раз зажигаются от пламени, не потухающего на Востоке. Живой искры довольно, чтобы опять разжечь костер, а искра масонства есть неискоренимая в людях жажда познания, она потухнуть не может. Меняются формы, меняются наименования, союзы посвящения дошли до нас из седой древности через средние века, как вечно, со времен пещерных людей, духовную жизнь мира выражали и двигали вперед искатели Мудрости, Силы и Красоты, поэты, художники, мыслители. Говорит итальянская пословица: рас-

sano gli uomini, restano le idee — люди проходят, идеи остаются. Но слава тем, кто пронесит непотухающим факел посвященного познания через бушующие площади и позорные полосы братоубийственного ураганного огня.

Дорогие братья! Не будем беспочвенными мечтателями, но не забудем, что наше положение людей, искусственно вырванных из прямого участия в событиях мировой жизни, может быть нами использовано в целях более высоких, чем уничтожение друг друга словом и делом. Поскольку наше объединение неслучайно и судьба Братства вольных каменщиков что-нибудь нашему уму и сердцу действительно говорит, мы не можем не задуматься серьезно, какую степень участия в охране чистой масонской идеи и ее развитии способен взять на себя русский вольный каменщик за рубежом.

Говоря о чистоте масонской идеи, я имею в виду освобождение ее от облепившей ее кругом профанской мишуры. Во Франции, например, дошло до того, что масонская ложа стала тайным отделением канцелярии народного фронта. Как профан я в политике принадлежу, по-видимому, к крайнему левому крылу, во всяком случае гораздо левее парламентских социалистов; это мне не мешает считать огромной, почти кощунственной ошибкой такую вульгаризацию высоких целей нашего Братства. Масонство — лаборатория духовных ценностей, школа миропонимания, а не арена практических действий. Когда я определяю наше Братство, как союз посвященного познания природы, это для меня не подбор звонких, но ничего точно не выражающих слов, а ясная и строго ограниченная область творческой духовной работы. Обычно многих в таком определении смущает два слова: природа и посвященность. Но всякое познание есть прежде всего познание природы; иного предмета изучения и иного источника научных откровений не было и нет. Только та духовная работа называется наукой, которая направлена непосредственно на разгадывание тайны бытия и устройства вселенной; все остальное, что мы иногда именуем наукой, есть лишь прикладное ремесло. И вовсе не нужно под слово «природа» подставлять какие-то условные понятия или считать это слово только символом. Второе страшное и смущающее слово — посвященность. Но им обуславливается только метод познания природы, путь творческого, интуитивного постижения тех тайн, которые не могут быть постигнуты эмпирически, обычным для нашего разума опытным путем. Удивительно, что ни в ком не возбуждает сомнения посвященность поэта, художника, композитора,

их особая творческая одаренность, открывающая им глаза на то, чего профаны в искусстве видеть не могут. Наша масонская работа есть тоже искусство. «Царственное искусство», искусство искусств, так как в его задачу входит постижение всех тайн творчества, познание тайн бытия и строительства вселенной. Совершенно неправильно думать, будто бы по нашему учению посвященным делается всякий, над кем совершен масонский ритуал посвящения; мы лишь утверждаем, что вступающий в наши ряды слепцом, профаном может прозреть и пойти путем, указанным поколениями мудрецов и искателей истины, что мы, сильные верой и нашей соборностью, способны указать ему этот путь и помочь ему при первых его шагах. Мы утверждаем эту способность и эту власть нашего Братства не на каких-нибудь свыше нам данных правах, а в силу той же мистической, не нуждающейся в логических доказательствах убежденности, которая делает поэта — поэтом, творца — творцом. Наше знание есть наша вера, наша вера есть наша сила. Но если нет ни веры, ни силы, то нет, конечно, и посвященности, и никакая масонская степень сама по себе никого не сделает истинным вольным каменщиком. Все это, братья, далеко не так сложно и таинственно, как иным кажется; тайна — процесс творчества, а не приобщение к лику творцов. А что творчество есть тайна, превышающая познавательные силы нашего ума, вряд ли об этом можно спорить.

Я сказал: нашей первой задачей может быть охрана чистоты идеи Братства вольных каменщиков, то есть идеи посвященного познания природы. Я должен это непременно пояснить еще, потому что мне, конечно, зададут вопрос: значит ли это, что масоны должны заниматься естествознанием? Мы так привыкли разуметь под словом «природа» липовую аллею, цветник, поля, луга, реки и горы, что вопрос сам собою напрашивается. Вероятно, к удивлению некоторых братьев, я на это отвечу решительным «да», это единственная подлинная задача масонства от древнейших времен до наших дней.

В мою тему не входило обширное определение основной идеи масонства, и я не хотел удлиннять этим своей речи. Но постоянное недоразумение со словом «природа» вынуждает меня это сделать, и на днях, на обычном собрании «Независимой ложи Северных Братьев», я даже обещал сделать это сегодня.

Как масон я только созерцатель и познающий. Как у посвященных всех времен, объект моего созерцания приро-

да, единственный учитель и единственный источник познания. Природа есть бесконечное движение жизненных сил, с которыми я хочу быть и не могу не быть в теснейшем и сознательном общении, как часть природы...

Новое (вернее старое, но забытое) масонское мирозерцание, основанное на наблюдении природы и на полном с нею слиянии, немедленно утверждает эту потерянную веру картинами подлинного земногорая, высокого и вдохновенного сотрудничества, гармоничного общения, доведенной до идеала взаимопомощи живых существ (цветок, дарящий мед и получающий опыление, дуб, питающий грибной мицелий и получающий от него питание). С тою же простотой и убедительностью познание природы отвечает на самые проклятые вопросы о добре и зле, уничтожая самые эти понятия, так как их в природе нет, они придуманы нами; природа знает нечто подобное в движении, но никогда в стационарной, догматической форме. Но братья, и к этому приходят современные философы — к отрицанию теоретической нравственности; наши посвященные предки, каменщики, только опередили их науку интуитивным творческим постижением! И уже в чисто масонском понимании познание природы дает мне ясную картину реальности посвященного пути и степеней посвященности, о чем мы любим беспочвенно и туманно рассуждать. Как это происходит, на каких предметах созерцания, на каких примерах, я не имею времени и сил рассказать. Я только повторяю, что есть иррациональное, но реальное раскрытие тайн, и тайн столь же реальных, а не надуманных какими-то мистическими обманщиками.

Простите мне эту длинную вставку, но без нее я не мог обойтись. Я повторяю: познание природы есть открытие сущности вещей и их взаимоотношения, познание бытия. Никакой другой задачи не может быть у того, кто ищет истину, кто хочет определить свое место в природе, свое отношение ко всему живущему, потому что без этого он не может построить ни своей жизни, ни жизни общества. Иной задачи нет ни у науки, ни у творчества, ею поглощается вся наша духовная работа. Если в нашем словаре не оказывается другого слова, то назовем это естествознанием, природоведением. Наши предшественники по союзам посвящения отдавали себе в этом ясный отчет, если даже не всегда шли верным путем; именно потому мы, масоны, никак не можем отрещиваться от родства с алхимиками, астрологами, кабалистами, туманными розенкрейцерами, среди которых

шарлатанов и мошенников было, во всяком случае, не больше, чем среди современных устроителей счастья будущих поколений в полном согласии с реальнейшими политическими программами. Наши прямые предки — натурфилософы всех времен, включая самых крайних мистиков. Но мы, масоны, не состоим ни в каком родстве с так называемыми практическими деятелями, потому что работа масонов — созерцание и мысль, и лишь выводы этой работы мы, уже как профаны, переносим на арену практической жизни, где мы снимаем масонский запон.

Я знаю, братья, что в моих толкованиях остается много недоговоренного, может быть, не меньше и несглаженных противоречий. Но в постоянном искании, ошибках и новых усилиях и заключается вся наша масонская работа.

Блюсти чистоту идеи, значит отбрасывать то, что с нею не согласуется. Современное масонство грешит целым рядом уклонов, из которых важнейший и губительнейший — вовлечение лож в практическую политику, в борьбу партий за власть. Этот уклон столь очевиден и общеизвестен, что на нем не стоит останавливаться. Почти равен ему по отрицательному значению уклон в масонскую церковность, в тупой ритуализм, наивную шагистику. Я сам строгий ритуалист и считаю, что наши символы и наши ритуалы не только отличают нас от профанских объединений (у них также могут быть свои ритуалы), но и имеют глубокий смысл, а также придают нашим работам красоту и отвечающую духу этих работ внешнюю торжественность. Но в ряде масонских организаций под этой внешностью нет никакого содержания, и тогда она делается бессмысленной. Притом, возведенная в самоцель, она немедленно, как всякая церковность, уводит нас в дебри догматизма, борьбы за двуперстое сложение и сугубую аллилуйю. Так случилось с ложами английскими, истолковавшими высокую и творческую идею Великого Архитектора Вселенной в догмат масонского личного бога, а идею вечного возрождения — в карикатурную христианскую загробную жизнь, которую и сам Христос мыслил только символически. Эта узкая и глупая догматика, противная духу вольного каменщичества, привела ко взаимоотношениям масонских организаций и нелепой дипломатии держав, отнимающей у нас так много времени на личные счета. Даже, мы, русские зарубежные каменщики, косвенно втянуты в эту недостойную склоку, отчасти препятствующую нашему полному объединению, и я подчеркиваю свою большую радость, что сегодня говорю на собрании

лож двух разных послушаний и что достопочтенная ложа «Свободной России» сделала прекрасный шаг к объединению русских братьев на «Востоке Парижа», перенеся свои работы в это помещение.

Дорогие братья, намечая путь русского вольного каменщика как путь защиты и охраны вековых масонских традиций от временных профанских уклонов, я не хочу сказать, что лишь этим может ограничиться наша задача; нет, в духе этих традиций должно свершаться и развитие масонской идеи, ее дальнейшая разработка в деталях философских, этических и эстетических построений. Исповедникам временности профанских истин свойственное, чем кому-нибудь, постоянная проверка и переоценка выводов и заключений. Я укажу здесь только на несколько примеров таких, на мой взгляд, неотложных переоценок.

Рабы профанной науки, мы часто принимаем ее шаткие гипотезы за непреложные истины и выводим из них логические выводы, совершенно не соответствующие методу посвященного познания природы. Так, например, на дарвиновской теории мы построили социальную религию прогресса, положив в основу его борьбу живых существ за существование с конечной победой наиболее сильных индивидуумов. С того момента, как прогресс стал истиной, борьба стала не только понятием положительным, а как бы культом. Между тем много раньше, чем теория Дарвина в основе своей оказалась оспоренной и отчасти опровергнутой той же профанной наукой, посвященное мышление усумнилось в теории прогресса и культ борьбы заменило культом сотрудничества и взаимодействия. Вся масонская символика, отражающая мудрость веков, строится на понятии круговорота и вечного возврата, а самое представление о Братстве отвергает принцип борьбы. Излишне доказывать, что приложение этих наших идей к практике человеческих отношений должно коренным образом пересоздать власть, государственность, церковность, суд и современное понятие о праве и его санкциях. Возьмем еще пример из области практической морали: профанное понятие о долге в смысле кантовском: нравственным является не то, что мы делаем в силу естественного побуждения, так как в этом не было бы заслуги, а то, что мы делаем по чувству долга. Наша масонская философия, вытекающая из посвященного познания природы, не может не отрицать долга, как понятия, природе не знакомого и не свойственного. Нравственным мы называем лишь тот поступок, который не вызван насильем

над волей, а есть продукт естественной склонности к добру; отсюда наша проповедь личного совершенствования (первая масонская степень), согласования свободных волей в соборной работе (вторая), творческого их применения в построении идеального храма человеческих отношений (третья). Но самое глубокое различие между профанными и масонскими социально-философскими построениями в том, что первые провозглашаются как непреложные догмы, лежащие в основу нравственных катехизисов и обязательных правовых норм, в то время как вторые предлагаются не в качестве найденных истин, а в качестве живого материала для выработки посвященного миропонимания, подлежащего непрестанной проверке и не имеющего абсолютной ценности. Мы не настаиваем на непреложности наших идей, но ценим их лишь постольку, поскольку их временная истинность не оспорена высшим творческим достижением, и потому ни с какими практическими действиями их никогда не связываем; мы идем таким путем, потому что не видим лучшего и до тех пор, пока его не видим; но каждый из нас свободен следовать путем иным, более согласным с его пониманием добра и красоты; в интересах его исканий согласовать свой путь с направлением общей работы в целях единения сил. Именно этим мы отгораживаем свой мир от профанного, в котором проявление свободной воли ограничено приказами нравственного катехизиса и юридическими нормами.

Я хотел показать этими примерами, насколько понятия профанного мира оказываются иногда достаточно сильными, чтобы проникать в наши масонские храмы и мутить чистоту основной масонской идеи. Достаточно сказать, что только из этого чуждого мира могла проникнуть к нам и даже укрепиться вульгарная идея дисциплины, обязательного подчинения авторитетам, в то время как толкование ее даже как «самодисциплины», т.е. самопринуждения (в своем корне шаткое), противоречит принципам свободы, взаимного уважения и любви. Столь же важно подумать и о построении масонской иерархии по типу профанных организаций, в результате которого у нас оказывается род «начальств», издающих обязательные постановления. Между прочим, этим забавным «начальствам», их маленьким профанским самолюбиям мы обязаны и тем, что делимся на «послушания» и «системы» даже и тогда, когда нет для этого никаких внутренних идеологических оснований. При современном упадочном состоянии масонских организаций их бюрократизм малым отличается от тухлого быта госу-

дарственных канцелярий. При очистке наших храмов от профанного сора следует вспомнить и об этом, не преувеличивая, впрочем, этой второстепенной задачи, так как истинный вольный каменщик не может придавать значения предписаниям и запрещениям, исходящим от кого бы то ни было, он их просто игнорирует.

Дорогие братья, я совершенно не имею в виду полностью исчерпать или хотя бы только наметить этапы на пути вольного каменщика, которому дорога последовательность развития нашей идеологии. Да это и излишне, потому что, имея линейку, циркуль и наугольник и умея ими орудовать, нетрудно обнаружить ошибки в строительном чертеже. Мы не догматики и свой метод искания истины не выдаем за абсолют; но вольного каменщика определяет известный строй идей, вне которого наша мысль уклоняется в профанство, каков бы ни был ее удельный вес. Поэтому в нашей соборной работе мы не можем не исходить из единого руководящего принципа; символически его изображает Лучезарная Дельта.

В том, что я говорю, мало нового, братья. Мысль об очищении работы масонских лож от наплыва вульгарщины, в особенности политиканства, не только давно носится в воздухе, но и служит предметом братских бесед. Но эти беседы не всегда бывают благотворны, потому что естественное отталкивание от политики уводит часто в бессмысленный ритуализм и мистическое буквоедство. Между тем идея мирового масонства в ее чистом виде и исторически оправданном толковании — как идея посвященного познания природы — настолько жизненна и способна к постоянному развитию и в то же время настолько соединяет нас традиционно с посвященными обществами минувших веков, что даже легкое ее искажение — в угоду времени или напрасной популяризации — принижает масонство и низводит его в разряд обычных профанских клубов. От такой профанации дух ищущий не может не страдать. Попросту говоря, в мыслящем и живом человеке, склонном к самоуглублению и творчеству, вне шума улицы, пребывание в современной типичной масонской ложе, например средней французской, должно вызывать скуку и досаду. Мы считаем себя избранными — и оказываемся толпой. Дело, конечно, не в уязвленной гордости, а в том, что вольные каменщики, с их девизом уважения к личности, не могут считаться на десятки и сотни, не должны быть массой, как и ложа не может быть политической ячейкой партии, как и все масон-

ство не должно быть средством достижения каких бы то ни было, пусть важнейших, профанских целей.

В наши дни трудно надеяться на возрождение высокого идейного масонства. Но хранить чистоту идеи, хотя бы в отдаленных братских группировках, возможно, и мы не можем сомневаться, что такие объединения существуют и что ими обеспечивается будущее возрождение. Мне казалось — почему я избрал это темой сегодняшней беседы, — что братьям русских зарубежных лож, менее втянутых в суету профанного мира, было бы естественно сделать свои ложи очагами священного масонского огня. Это не уверенность — до этого мой оптимизм не доходит; это только надежда, и я хотел бы заразить ею тех из вас, кому по-настоящему дорого Братство вольных каменщиков.

ИЗ МАСОНСКОЙ ПОЭЗИИ XVIII ВЕКА

В.И.Майков

Ода ищущим мудрости

1

О вы, которых озаряет
Премудрости троякий луч,
Которых разум презирает
Грозу невежства мрачных туч!
О чада утреннего света,
В собраньи нашего совета
Сия дщерь неба председит,
Вещает тако, нам глаголя:
«Се зрите вы: пространство поля
Пред вашим взором предлежит.

2

Храня священные законы,
Направьте вы в него свой путь;
Прейдите путь сей без препоны:
Я вашу защищаю грудь.
Пред сим божественным эгидом
Не может злора дерзким видом
У нас сердце поколебать;
Грядите в путь и научайтесь,
Противу злобы ополчайтесь,
Спешите вы торжествовать!

3

Пусть злора ядовиты очи,
На вас, свирепствуя, прострет,
Она есть отрасль адской ночи,
А вам родитель — дневный свет.
Нельзя, чтоб дневное светило
Своих лучей не обратило,
Куда сияло искони;
Хоть часто мгла его скрывает,
Оно туманы разрывает,
Пуская в мир свои огни.

Пускай злоречивы зоилы
 На нас свою сплетают лжу,
 Я вами их повергну силы,
 Я вами свет им покажу;
 Их нравы вами укротятся,
 Когда ко свету обратятся,
 Прияв чрез вас мои лучи.
 Когда ж их дух не воспылает
 И жить во мраке возжелает,
 Пусть ходят в темной сей ночи,

В которой низки души дремлют
 И ропщут на Творца вовек;
 Пускай развратным мыслям внемлют,
 Что в тварях беден человек;
 И, таин не поняв священных,
 В своих беседах развращенных
 Износят на меня хулы;
 Но их совет самим им вреден,
 Строптив и пагубен и беден;
 Их мысли полны вечной мглы.

Их утра свет не прикоснется
 Дремотою объятых вежд.
 Но пусть хотя и не проснется
 Вовеки грубых сонм невежд —
 Сердца, исполненные чести,
 Не будут им творить мести;
 О них лишь буду сожалеть,
 Что их глубокой тьмою ночи
 Останутся покрыты очи.
 Но лъзя ль быть мудрым повелеть?

Тому зреть света невозможно,
 Кто зрения навек лишен;
 Тот мысли простирает ложно,
 Чей ум еще не совершен.
 Имеющий крыле Икара

Не стерпит солнечного жара,
Когда ж к нему он возлетит,
Лучи светила воск согреют,
Крыле от перья оскудеют,
Он жизнь с полетом прекратит.

8

Светильник правды нарицаюсь;
Небес прещедрых я есмь дщерь;
Всем ищущим меня являюсь;
Толкущим отверзаю дверь;
Открыв божественну науку,
Просящим простирая руку,
Во храм пресветлый мой веду.
Сей путь весь тернием усеян;
Но храм мой лаврами одеян,
В котором получают мзду.

9

Сия премудрость сколь приятна
И сколько дух их веселит.
Только лишь оным непонятна,
У коих мглою ум покрыт.
Держайте, отроки, со мною,
Мои я тайны вам открою,
Взнесу вас выше, нежель гром.
Кто хочет, смертный, мя познати,
Тот должен в естестве искати
Меня или в себе самом».

10

Сия премудрость вам вещает,
Предвечного любезна дщи;
Вас высших таин приобщает,
Держайте в след ее тещи,
Грядите, путь свой окончайте,
Победой подвиг увенчайте
И мне пролейте света луч!
Меня не ночь страшит глубока;
Я стану ждати от Востока
Конца мой взор мрачивших туч.

**Ода преосвященному Платону,
архиепископу Московскому...
о бессмертии души в рассуждении
бесконечных наших желаний**

1

О вы, которых мысли лживы
Развратный омрачают свет,
Невольники мирских сует,
Рабы страстей, доколе живы,
Имея к тленности любовь,
Вы мне, безумствуя, речете,
Что жизнь чрез то свою влечете
Доколе в вас лиется кровь;
Когда ж она престанет литься,
Престанет с нею век ваш длиться.

2

Что купно с жизнею телесной
Предстанет быти и душа —
Сего помыслить не греша
Нельзя о вещи неизвестной.
Но я склонюсь на вашу речь;
С теченьем крови жить престану,
И бренным телом я увяну,
Во гроб я должен буду лечь;
Но где ж душа моя вселится,
Когда от тела отделится?

3

Что движет мыслию моею
В составе тленна естества?
Душа — то искра божества!
Желаю вечности я ею;
На страсти ею восстаю,
И мышлю я, и рассуждаю,
Пороки ею побеждаю
И краткость жизни познаю.
Почто ж во дни мне скоротечны
Даны желанья бесконечны?

4

Когда я мыслью возлетаю
От сих бедами полных мест

Превыше самых дальних звезд
И Бога в них познать желаю...
Но что? Я, смертей бывши весь,
Коль жизни нет для нас иныя...
Увы, желанья таковыя
Возможно ль мне исполнить здесь,
Коль в предприятии толь смелом
Душа моя погибнет с телом?

5

Создатель ли миров несчетных,
Создатель, Бог мой и Отец,
На то внушил мне их конец,
Чтоб только я в желаньях тщетных
Мой краткий век препроводил
И в жизни сей границах тесных
Несчастней тварей бессловесных
Желаньями моими был?
Или Творец, меня карая,
Желаньям не поставил края?

6

Иль Существо сие предвечно,
Сложив мой стройный столь орган,
Хотело быть мой тиран,
Желать позволя бесконечно?
Чтоб Бог, податель всех мне благ,
Источник всех существ согласных,
Мне дал желаньев тьму напрасных,
Дабы развеять их, как прах,
И чтобы дух мой по кончине
Исчез, как искра вод, в пучине?

7

Когда же мыслию я вечно
Желаю и по смерти жить,
Почто Творцу в меня вложить
Сие движение сердечно?
Коль смерть была б всему конец,
Несчастны были б человеки.
Но Бог наш царствует вовеки,
Его мы дети, Он — отец;
Он любит, милует, покоит,
Он жизнь мне вечную устроит.

А ты, что здраво рассуждаешь,
 Платон, хвалы достойный муж,
 Бессмертие ты наших душ
 Твоим ученьем утверждаешь:
 Мне бурю мыслей утиши;
 Внимания достойным словом
 Представь во бытии мне новом
 Бессмертие моей души,
 Чтоб я сомнения избегнул
 И лживы мысли опровергнул.

М.М.Херасков

К Богу

О Ты, которому вселенна
 Единый кажется чертог;
 Кем вся натура оживленна,
 Непостижимый вечно Бог!
 Во храм Твой дивный и священный
 Не может ум непросвященный,
 Не может грешник досягнуть;
 Для тех труба Сиона трубит,
 Кто истину, кто ближних любит
 И за Тобой дерзает в путь.

Куда наш ум ни возлетает
 И вображенье не парит,
 Создатель свыше обитает
 И там во славе Он горит,
 Сидящ на радужном престоле,
 Сквозь тверды небеса — оттоле,
 Сквозь дневный свет, сквозь мрак ночной,
 Сквозь вихри, вокруг миры носящи,
 Сквозь тучи, облака гремящи,
 Ты видишь, Боже! шар земной.

Сия песчинка, погруженна
 В пространной мира глубине,
 Всегдашней тьмою окруженна,
 Как искра, видима тебе.
 Тобой рожденного от века
 На ней Ты видишь человека,

Дрожаще сердце видишь в нем;
Ты помыслы его читаешь
И духом с ним Ты обитаешь,
На отдаленном круге сем.

Ты видишь мысли дерзновенны,
Подобны легким облакам,
Тебя постигнуть устремленны;
Но Бог непостижим умам!
О смертный! к достиженью Бога
Тебе назначена дорога;
Ищи Его в душе твоей!
Ищи!.. но страсти возмутились,
Все наши мысли тьмой покрылись,
И Бога скрыли от очей.

Еще ни звезды не сияли,
Не колебался океан;
Огонь, вода и ветры спали,
Начала не было времен.
Но Вышний Сам светил Собою
И правил будущей судьбою;
В смешении стихийном зрел
Небесну твердь, моря и сушу,
Дающу жизнь твореньям душу;
Лик солнечный пред Ним горел.

Когда веков круги начнутся,
Когда созижден будет свет,
Он знал, где кедры вознесутся
И где былинка возрастет.
Все таинства Он знал природы;
Взирал на всех животных роды,
Что были, есть и будут впредь;
Вещам не полагая чину,
Уже Он ведал их судьбину
И мог им быть не повелеть.

Как солнце землю освещает,
Так солнце освещает Бог,
Его вселенна не вмещает;
Неизмерим Его чертог!
Но все живет Его дхновеньем,
Цветет единым мановеньем,
Вселенну перст Его движет;
Речет — и время течь престанет:
Речет — и солнце вновь проглянет
И паки сотворится свет.

Но Бог Свое творенье любит,
Храня порядок в мире сем;
Без нужды праха не погубит,
Ни капли вод, ни травки в нем.
Кипит ли море, солнце ль тмится —
Все к лучшему концу стремится;
Что кажется нестройством нам,
То к пользе служит всей вселенной;
Но наш рассудок ослепленный
Во гневе Бога кажет там.

В златой сияющей порфире,
Всходяще солнце говорит:
Есть Бог, вещей Правитель в мире,
Который жизнь всему дарит.
Прекрасна дочь Его, Природа,
Гласит для каждого народа:
Господь единый всем Отец!
Гласят бесплотных стройны лиры,
Бореи, громы и зефиры:
«Велик! непостижим Творец!»

Чтение

(Из «Од правоучительных»)

О вы, которые хотите
Читаньем просвещать умы!
Без пользы многих книг не чтите,
Остерегайтесь пуцей тьмы.

Всегда у вас перед очами
Отверста книга Естества;
В ней пламенными словесами
Сияет мудрость Божества.

Когда на небо око взглянет;
Внимательный простерши ум,
Какое множество предстанет
Глубоких нам и важных дум!

Свеча, среди планет возжженна,
Неугасаемо горит,
Миров громадой окруженна,
Равно на всю вселенну зрит.

Лучи небесного светила
Вещают нам со всех сторон,

Коль Божия велика сила,
И сколь премудр, сколь славен Он.

Велик Господь в звездах горящих,
Велик во мрачных облаках;
Велик в песчинках Он лежащих,
Велик в малейших червяках.

Всегда последуют друг другу
В течение стройном времена;
Являются земному кругу
В порядке солнце и луна.

Читай, о смертный! книгу вечну,
Читай всегда и ночь и день —
Премудрость узришь бесконечну
И скуки тем разгонишь тень.

Другие книги утешают;
Но то земных умов труды,
Которы пуще мысль смешают,
И горьки подадут плоды.

Останься в сладостной надежде,
Что Вышний просветит тебя;
Однако ты старайся прежде
Познать и чувствовать себя.

Коль славен...

Коль славен наш Господь в Сионе,
Не может изъяснить язык:
Велик Он в небесах на троне!
В былинках на земле велик!
Везде, Господь, везде Ты славен!
В нощи, во дни сияньем равен!
Тебя Твой агнец златорунный,
Тебя изображает нам!
Псалтирями десятиструнны
Тебе приносим фимиам!
Прими от нас благодаренье
Как благовонное куренье!
Ты солнцем смертных освещаешь;
Ты любишь, Боже, нас, как чад;
Ты нас трапезой насыщаешь
И зиждешь нам в Сионе град.

Ты смертных, Боже, посещаешь,
И плотию Своей питаешь.
О Боже! Во Твое селенье
Да взыдут наши голоса!
И наше взыдет умиление
К Тебе, как утрення роса!
Тебе в сердцах алтарь поставим;
Тебя, Господь, поем и славим.

Н.М.Карамзин

Поэзия

(сочинена в 1787 г.)

Песни божественных арфистов
звучат как одухотворенные

Клопшток

Едва был создан мир огромный, велелепный,
Явился человек, прекраснейшая тварь,
Предмет любви Творца, любовью рожденный;
Явился — весь сей мир приветствует его,
В восторге и любви единою улыбкой.
Узрев собор красот и чувствуя себя,
Сей гордый мира царь почувствовал и Бога —
Причину бытия, толь живо ощутил,
Величие Творца, его премудрость, благость,
Что сердце у него в гимн нежный излилось,
Стремясь лететь к Отцу... Поэзия святая!
Се ты в устах его, в источнике своем,
В высокой простоте! Поэзия святая!
Благословляю я рождение твое!

Когда ты, человек, в невинности сердечной,
Как роза цвел в раю, Поэзия тебе
Утехой была. Ты пел свое блаженство,
Ты пел Творца его. Сам Бог тебе внимал,
Внимал, благословлял твои святые гимны.
Гармония была душою гимнов сих
И часто ангелы в небесных мелодиях,
На лирах золотых хвалили песнь твою.
Ты пал, о человек! Поэзия упала;
Но дочь небес еще сияет лепотой,
Когда несчастный, вдруг раскаялся в грехе,
Молитвы воспевал — сидя на берегу
Журчащего ручья и слезы проливая,
В унынии, тоске тебя воспоминал,

Тебя, Эдемский сад! Почасту мудрый старец,
Среди сынов своих, внимающих ему,
Согласно, важно пел таинственные песни
И юных научал преданиям отцов.
Бывало иногда, что ангел ниспускался
На землю, как эфир, и смертных наставлял
В Поэзии святой, небесною рукою
Настроив лиры им,
Живее чувства выражались,
Звучнее песни раздавались,
Быстрее мчались к Творцу.

Столетия текли и в вечность погружались —
Поэзия всегда отрадою была
Невинных чистых душ.
Число их уменьшалось;
Но гимн Царю царей вовек не умолкал.
И в самый страшный день, когда пылало небо
И бурные моря кипели на земли,
Среди пучин и бездн, с невиннейшим семейством
(Когда погибло все) Поэзия спаслась.
Святой язык небес нередко унижался,
И смертные, забыв Великого Отца,
Хвалили вещество бездушные планеты!
Но был избранный род, который в чистоте
Поэзию хранил и ею просвещался.
Так славный, мудрый бард, древнейший из певцов,
Со всею красотой священной сей науки
Воспел, как мир истек из воли Божества.
Так оный муж святой, в грядущее проникший,
Пел миру часть его. Так царственный поэт,
Родившись пастухом, но в духе просвещенный,
Играл хвалы Творцу и песнею своей
Народы восхищал. Так в храме Соломона
Гремела Богу песнь!

Во всех, во всех странах Поэзия святая
Наставницей людей, их счастьем была;
Везде она сердца любовью согревала.
Мудрец, натуру зная, познав ее Творца
И слыша глас Его и в громах и в зефирах,
В лесах и на водах, на арфе подражал
Аккордам Божества, и глас сего поэта
Всегда был Божий глас!

Орфей, фракийский муж, которого вся древность
Едва не богом чтит, Поэзией смягчил

Сердца лесных людей, воздвигнул Богу храмы,
И диких научил Всесильному служить.
Он пел им красоту природы, мироздания,
Он пел им тот закон, который в естестве
Разумным оком зрим; он пел им человека,
Достоинство его и важный сан; он пел,
И звери дикие сбегались,
И птицы стаями слетались
Внимать гармонии его,
И реки с шумом устремлялись,
И ветры быстро обращались
Туда, где мчался глас его.

Омир в стихах своих описывал героев
И пылкий юный грек, вникая в песнь его,
В восторге восклицал: я буду Ахиллесом!
Я кровь свою пролью, за Грецию умру!
Дивиться ли теперь геройству Александра?
Омира он читал, Омира он любил
Софокл и Еврипид учили на театре
Как душу возвышать и полубогом быть.
Бион и Теокрит и Мосхос воспевали
Приятность сельских сцен, и слушатели их
Пленялись красотой природы без искусства,
Приятностью села. Когда Омир поет,
Всяк воин, всяк герой; внимая Теокриту,
Оружие кладут — герой теперь пастух!
Поэзии сердца, все чувства — все подвластно.

Как Сириус блесит светлее прочих звезд,
Так Августов поэт, так пастырь Мантуанский
Сиял в тебе, о Рим, среди твоих певцов.
Он пел, и всякий мнил, что слышит глас Омира;
Он пел, и всякий мнил, что сельский Теокрит
Еще не умирал или воскрес в сем барде.
Овидий воспевал начало всех вещей,
Златый блаженный век, серебряный и медный,
Железный наконец, несчастный, страшный век,
Когда гиганты, род надменный и безумный,
Собрав громады гор, хотели вознестись
К престолу божества; но тот, кто громом правит,
Погреб их в сих гробах.

Британия есть мать поэтов величайших,
Древнейший бард ее, Фингалов мрачный сын,
Оплакивал друзей, героев, в битве павших,
И тени их к себе из гроба вызывал.

Как шум морских валов, носяся по пустыням
Далеко от берегов, уныние в сердцах
Внимающих родит, — так песни Оссиана,
Нежнейшую тоску вливая в томный дух,
Настраивают нас к печальным представлениям;
Но скорбь сия мила и сладостна душе.
Велик ты, Оссиан, велик, неподражаем!

Шекспир, природы друг! Кто лучше твоего
Познал сердца людей? Чья кисть с таким искусством
Живописала их? Во глубине души
Нашел ты ключ ко всем великим тайнам рока
И светом своего бессмертного ума,
Как солнцем, озарил пути ночные в жизни!
«Все башни, коих верх скрывается от глаз
В тумане облаков; огромные чертоги
И всякий гордый храм исчезнут, как мечта,
В течение веков, и места их не сыщем...»
Но ты, великий муж, пребудешь незабвенен!

Мильтон, высокий дух, в гремящих страшных песнях
Описывает нам бунт и гибель Сатаны;
Он душу веселит, когда поет Адама,
Живущего в раю; но, голос ниспустив,
Вдруг слезы из очей ручьями извлекает,
Когда поет его, подпавшего греху.

О Йонг, несчастных друг, несчастных утешитель!
Бальзам ты в сердце льешь, сушишь источник слез
И, с смертью друга, дружишь ты нас и с жизнью!

Природу возлюбив, природу рассмотрев
И вникнув в круг времен, в тончайшие их тени,
Нам Томсон возгласил природы красоту,
Приятности времен. Натуры сын любезный,
О Томсон! век тебя я буду прославлять!
Ты выучил меня природой наслаждаться
И в мрачности лесов хвалить Творца ее!

Альпийский Теокрит, сладчайший песнопевец!
Еще друзья твои в печали слезы льют,
Еще зеленый мох не виден на могиле,
Скрывающей твой прах! В восторге ты нам пел
Невинность, простоту, пастушеские нравы,
И нежные сердца свирелью восхищал.
Сию слезу мою, текущую толь быстро,
Я в жертву приношу тебе, Астреин друг!
Сердечную слезу, и вздох, и песнь поэта,

Любившего тебя, прими, благослови,
О дух, блаженный дух, здесь в Геснере блиставший!

Несяся на крылах превыспренных орлов,
Которыя певцов божественныя славы
Мчат в вышние миры, да тему почерпнут
Для гимна своего, певец избранный Клопшток
Вознесся выше всех, и там, на небесах,
Был тайнам научен, и той великой тайне,
Как Бог стал человек. Потом воспел он нам
Начало и конец Мессииных страданий,
Спасение людей. Он Богом вдохновен!
Кто сердцем всем еще привязан к плоти, к миру,
Того язык немей, и песней толь святых
Не оскверняй хвалою; но вы, святые мужи,
В которых уже глас земных страстей умолк,
В которых мрака нет! вы чувствуете цену
Того, что Клопшток пел, и можете одни,
Во глубине сердец хвалить сего поэта!
Так старец, отходя в блаженнейшую жизнь,
В восторге произнес: о Клопшток несравненный!
Еще великий муж собою красит мир,
Еще великий дух земли сей не оставил.
Но нет! он в небесах уже давно живет —
Здесь тень мы зрим сего священного поэта.

О россы! век грядет, в который и у нас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла нощи мгла — уже Авроры свет
В**** блеснит, и скоро все народы
На север притекут светильник возжигать,
Как в баснях Прометей тек к огненному Фебу,
Чтоб хладный, темный мир согреть и осветить.
Доколе мир стоит, доколе человеки
Жить будут на земле, дотоле дщерь небес,
Поэзия, для душ чистейшим благом будет.
Доколе я дышу, дотоле буду петь,
Поэзию хвалить и ею утешаться.
Когда ж умру, засну и снова пробуждусь, —
Тогда, в восторгах погружаясь,
И вечно, вечно наслаждаясь,
Я буду гимны петь Творцу,
Тебе, мой Бог, Господь всеильный,
Тебе, любви источник дивный,
Узрев там все лицом к лицу!

Гимн

Четыре времени в пренах ежегодных
Нечто иное суть, как разных видов Бог.
Вращающийся год, Отец наш всемогущий,
Исполнен весь Тебя. Приятною весной
Повсюду красота Твоя, Господь, сияет,
И нежность и любовь Твоя везде видна.
Краснеются поля, бальзамом воздух дышит,
И эхо по горам разносится, звучит;
С улыбкою леса главу свою поднимают
Веселием живут все чувства и сердца.
Грядет к нам в летних днях Твоя, о Боже! слава;
Повсюду на земле блистает свет и жар;
От солнца Твоего лиется совершенство
На полнящийся год; и часто к нам Твой глас,
Свод неба потрясая, вещает в страшных громах;
И часто на заре, в середине жарких дней,
В тенистом вечеру по рощам и потокам
Приятно шепчет он в прохладном ветерке.

В обильной осени Твоя безмерна благодать
И милость без конца бывает нам явна,
Всеобщее празднество для тварей учреждая,
Зимою страшен Ты! Там бури, облака,
Свивая вокруг себя, гоня вьюгу вьюгой,
В величественной тьме на вихрях возносясь,
Ты мир благоволишь со страхом заставляешь;
Натуру всю смирит шумливый Твой Борей!

О таинственный круг! Какой великий Разум,
Какую силу в сем глубоко ощутишь!
Простейший оборот, во благо учрежденный,
Столь мудро и добро, добро для тварей всех,
Столь неприметно тень в другую переходит,
И в целом, вместе все так стройно, хорошо,
Что всякий новый вид вновь сердце восхищает.
Но часто человек, в безумии бродя,
Совсем не зрит Тебя, Твоей руки всемогущей,
Чертающей в тишине безмолвных сфер пути
И действующей в сей сокрытой, тайной бездне,
Откуда чрез пары те блага шлешь Ты к нам,
Которые весну всегда обогащают,
Руки, которая огнем палящий день
Из солнца прямо к нам на землю низвергает,
Питает тварей всех и бури мечет вниз;
Которая — когда приятная прена

Является везде на радостной земле —
Восторгом движет все пружины жизни в мире.

Внимай натура вся! и все, что в ней живет,
Соединись под сим пространным храмом неба,
Усердием горя воспеть всеобщий гимн!
Приятные певцы, прохладные Зефиры,
Да веете Тому, чей дух дышает в вас!
Вещайте вы о Нем во тьмах уединенных,
Где сосна на горе, едва качая верх,
Священных ужасов мрак теней изгоняет!
И вы, которых рев слух издали разит
И весь смятенный мир приводит в ужас, в трепет!
Возвысьте к небесам свою бурливу песнь!
Поведайте, кто вас толь грозно разъяряет!
Журчите вы, ручьи, трепещущий поток,
Журчите песнь Ему, хвалу Его гласите,
Вещайте мне сию сладчайшую хвалу,
Когда я в тишине глубоко размышляю!
Вы, реки быстрые, кипящи глубины
Кротчайшая вода, блестящим лабиринфом
Текущая в лугах, — великий океан,
Мир тайный, мир чудес, чудес неисчислимых!
Воскликните Его предивную хвалу,
Того, который вам величественным гласом
Шуметь и утихать мгновенно вдруг велит!
Чистейший фимиам все вкупе воскурите
Травы, цветы, плоды, в смешенных облаках
Тому, который вас всех солнцем возвышает,
Дыханием Своим вливает запах сей
И кистию Своей толь чудно испещряет!
Качайтесь, леса, волнуйтесь, нивы все,
Волнуйтесь Ему, и песнь свою ввевайте
В сердечный слух жнецу, когда идет домой
На отдых по труде, при лунном кротком свете!
Вы, стражи в небесах, когда без чувств земля
В глубоком сне лежит, — созвездия! излейте
Кротчайшие лучи, когда на тверди сей,
Блистающей в огнях, все ангелы играют
На лирах серебряных! О ты, источник дня,
Великого Творца внизу здесь лучший образ,
О солнце — что всегда из мира в мир лиешь
Сей жизни океан! пиши на всей натуре
Огнем лучей своих хвалу сего Творца!
Гремит ужасный гром!.. Молчи благоговейно,
Преклонший выю мир, доколе облака,
Едино за другим, поют сей гимн великий!

Да холмы возгласят блеяние свое!
Удерживайте звук, громады мшистых камней!
Долины да гласят отзывный громкий рев!
Великий пастырь царь, и царство безмятежно
Сего царя царей еще придет впредь.
Проснитесь все леса! Из роц да изнесется
Пространнейшая песнь! Когда ж мятежный день,
Кончаяся, весь мир вертящийся повергнет
В дремоту, в крепкий сон, — сладчайшая из птиц,
Прогнеина сестра! пленяй молчащи тени
И нощи возвещай Премудрого хвалу!
А вы, для коих все творение ликует,
Вы сердце и глава всего, всего язык —
Вам должно увенчать сей важный гимн природы!
В обширных городах толпящийся народ!
Соедини свой глас с глубоким сим органом,
Долгоотзывный глас, который по часам
Сквозь толстый, шумный бас в торжественные стойки
Пронзительно звучит; и как единый жар,
Смешаяся с другим, жар общий увеличит.
В усердии все вдруг возвысьте вы Его,
Возвысьте все свой глас к превыспреннему небу!
Когда же лучше вам густые тени сел,
Когда для вас суть храм священные дубравы,
То пусть всегда свирель пастушья, девы песнь
Прелестный серафим, в восторги приводящий,
И лира бардова там Бога всех времен,
Во все течение их согласно воспевают!
А если б я забыл любезный свой предмет,
Когда цветут цветы, луч солнца жжет равнину,
И осень по земле, лия в сердца восторг,
Сияет и блестит; когда с востока ветры,
Навея мрак на все, к нам зиму принесут,
То пусть тогда язык мой вовсе онемеет,
Утратит мысль моя всю живость, весь свой жар
И, радостям умрев, забудет сердце биться!

Хотя бы мне судьба на отдаленный край
Зеленяя земли сокрыться повелела,
В те дальние страны, где варвары живут,
К рекам, которых ввек не поминали песни,
Где солнце наперед лучом своим златит
Верхи Индийских гор, где луч его вечерний
Блится среди Атлантских островов, —
Равно то для меня, когда Господь присутствен
И чувствуем везде: в пустынях и степях,
Равно, как в городах, наполненных народом,

Где жизнью дышит Он, там радость быть должна.
Когда же наконец настанет час важнейший,
Мистический полет мой окрылит миры,
Которым быти впредь, — я рад повиноваться;
И там, усилясь вновь, начну я воспевать
Велики чудеса, которые увижу.
Куда я ни пойду, везде, везде узрю
Всеобщия Любви блаженную улыбку;
Любви, которою круги миров стоят,
Живут все их сыны и коя вечно благо
Выводит из того, что кажется нам злом,
Из блага лучшее и лучшее вовеки...

Конца сей цепи нет! И я теряюсь в нем,
Теряюсь совсем в Неизреченном Свете.
Молчание! гряди витийственно вникать,
Вникать в хвалу Его!..

**Сим гимном Томсон заключил свою поэму «Сезон».*
— Н.К.

ИЗ МАСОНСКОЙ ПОЭЗИИ XIX ВЕКА

А.С.Пушкин

Пророк

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перупутьи мне явился;
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Странник

1

Однажды, странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен.
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?»»

2

И так я, сетуя, в свой дом пришел обратно.
Уныние мое всем было непонятно.
При детях и жене сначала я был тих
И мысли мрачные хотел таить от них;
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;
И сердце наконец раскрыл я поневоле.
«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена!
Сказал я, ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом; мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обрести убежище; а где? о горе, горе!»»

3

Мои домашние в смущение пришли
И здравый ум во мне расстроенным почли.
Но думали, что ночь и сна покой целебный
Охолодят во мне болезни жар враждебный.
Я лег, но во всю ночь все плакал и вздыхал
И ни на миг очей тяжелых не смыкал.
Поутру я один сидел, оставя ложе.
Они пришли ко мне; на их вопрос я то же,
Что прежде, говорил. Тут ближние мои,
Не доверяя мне, за должное почли
Прибегнуть к строгости. Они с ожесточеньем
Меня на правый путь и бранью и презреньем
Старались обратить. Но я, не внемля им,
Все плакал и вздыхал, унынием тесним.
И наконец они от крика утомились

И от меня, махнув рукою, отступились
Как от безумного, чья речь и дикий плач
Докучны и кому суровый нужен врач.

4

Пошел я вновь бродить, уныньем изнывая
И взоры вкруг меня со страхом обращая,
Как раб, замысливший отчаянный побег,
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
Духовный труженик — влача свою веригу,
Я встретил юношу, читающего книгу.
Он тихо поднял взор — и спросил меня,
О чем, бродя один, так горько плачу я?
И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:
Я осужден на смерть и позван в суд загробный
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит».
«Коль жребий твой таков,
Он возразил — и ты так жалок в самом деле,
Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?»
И я: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?»
Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь?»
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
Я оком стал глядеть безлезненно-отверстым,
Как от бельма врачом избавленный слепец.
«Я вижу некий свет», — сказал я наконец.
«Иди ж, — он продолжал, — держись сего ты
света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.

5

Побег мой произвел в семье моей тревогу,
И дети и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее. Крики их
На площадь привлекли приятелей моих;
Один бранил меня, другой моей супруге
Советы подавал, иной жалел о друге,
Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

Гимны

1

К мудрости
(из Эмлера)

Голос

Мудрость — вечного рожденье,
Руку матери простири
И дорогу возвращенья
Нам, подруга, озари
В звездный край, к святой отчизне,
Где единый твой исток,
Где из вечной льется жизни
Человеческий поток.

Хор

Мудрость вечная, о братья,
Нас сплела рука с рукой,
Наши песни и объятья
Будут ей святой хвалой.

Голос

Кто к святому полон жаром
И неправым раздражен,
Тот зовет себя недаром
Человеком: брат нам он.
Цепи вечного творенья,
Он и мы — одно звено,
И за гробом возрожденье
С нами ждет его давно.

Хор

Для миров — все блага силы
Как природой нам дано,
Мы несем — и до могилы
Мы преследуем одно.

Голос

И туда, где враг лукавый
На святое клеветал,
Где язык его неправый

Яд змеиный источал;
Где посеял он проклятья
В смуту братьям меньшим,
Мы туда — клянитесь, братья!
На спасенье поспешим.

Хор

Солнце кроткими лучами
Пробуждает жизнь и цвет —
Так и нашими делами
Просветится вечный свет.

Голос

Всюду, где страдает правый,
Где невинный угнетен,
Где неправом помрачен
Первообраз вечной славы,
Где попран святой закон
Утеснителей ногами,
Где окованных цепями
До небес восходит стон...

Хор

Да, в очах слезу страданья
Мы клянемся осушать;
Меньшим братьям на восстанье
Кротко руку подавать.

Голос

О, клянитесь! Клятве внемлет
Бог миров, что все объемлет,
Чей божественный глагол
Человека произвел.
Клятву, братья! наши узы
Неразрывно сохранить!
В духе мира и союза
Благу вечному служить.

Хор

Посетит ли час смятенья,
Дальней скорби тяжкий час,
Одного из братьев — в нас
Да найдет он исцеленье.

Голос

О, клянитесь воссиять
Миру делом, и не знать
Ни на чем успокоенья
До часа соединенья
Всех и каждого в одно.
Ниспослать на все созданье
Света вечного сиянье
Нам, о братья, суждено.

Хор

Да! в сияньи представлять
Перед миром, и делами,
Благотворными лучами
Мы для всех должны сиять.

Песня художников

Голос

Снова ночь застала нас
У ворот святыни;
День прошел и не погас
Нам без благостыни.

Хор

День протекший оживил,
братья, наши чувства;
Тайны новые открыл
Вечного искусства.

Голос

И святилищу мы вновь,
братья, предстояли;
Снова братство и любовь
Нас к союзу звали.

Хор

Нас гармония вела
По искусства безднам;
И свобода нас влекла
К высшим сферам звездным.

Голос

Путеводною зарей
Мудрость нам сияла;

Добродетели прямой
Путь нам указала.

Хор

По тернистому пути
Шли мы не робея;
Мудрость шла напереди,
Радость шла за нею.

Голос.

Благо мира — цель была,
Человека счастье;
И награда за дела
Братское участие.

Хор

Братья, день наш пролетал
В тихом наслажденьи;
Для веков он не пропал,
Нам в успокоенье.

Голос

Чудный день! как быстро он
На крылах зефира
В недра ночи унесен,
Пролетел для мира!

Хор

Братья, время! ночь сошла
На святое зданье;
Трижды дню тому хвала,
Трижды ликованье!

[Не унывайте]

Не унывайте, не падет
В бореньи внутренняя сила:
Она расширит свой полет,
Так воля рока ей сулила.
И пусть толпа безумцев злых
Над нею дерзостно глумится...
Они падут... Лукавство их
Пред солнцем правды обнажится.

И их твердыни не спасут,
Зане сам Бог на брань восстанет,

И утеснители падут,
И человечество воспрянет...
Угнетено, утомлено
Борьбою с сильными врагами,
Доселе плачет все оно
Еще кровавыми слезами.

Но вы надейтесь... В чудных снах
Оно грядущее провидит...
Цветы провидит в семенах
И гордо злобу ненавидит.
Отриньте горе... Так светло
Им создана святая сила...
И в сновидении чело
Его сознание озарило...

Не говорит ли с вами Бог
В стремлении к правде и блаженству?
И жарких слез по совершенству
Не дан ли вам святой залог?
И не она ль, святая сила,
В пути избранных вела
И власть их голосу дала,
И их в пути руководила?

Да! то она, — то веет вам
С высот предчувствие блаженства,
И горней горних совершенства
То близкий воздух...
Пусть не нам
Увидеть, как святое пламя
Преграды тесные пробьет...
Но нам знаком орла полет,
Но видим мы победы знамя.

И скоро сила та зажжет
На алтаре святого зданья
Добра и правды вечный свет
И света яркое сияние
Ничьих очей не ослепит...
И не загасит ослепление
Его огня... Но поклонение
Пред ним с любовью совершит!

И воцарится вечный разум,
И тени ночи убегут
В его сиянии — и разом
Оковы все во прах падут.

Тогда на целое созданье
Сойдет божественный покой,
Невозмутим уже борьбой
И огражден щитом сознанья.

Нам цель близка, — вперед, вперед!
Ее лучи на нас сияют,
И все исчезнет и падет,
Чем человечество страдает...
И высоко, превыше гор,
Взлетит оно, взмахнув крылами...
Его не видит ли ваш взор
Уже теперь между звездами?

О радость! — мы его сыны,
И не напрасные усилья
Творцом от века нам даны...
Оно уж расправляет крылья,
Оно летит превыше гор...
О братья, зодчие!.. Над нами
Его не видит ли ваш взор
Уже теперь между звездами?

[Неразрывна цепь творенья]

Неразрывна цепь творенья:
Все, что было, — будет снова;
Все одно лишь измененье;
Смерть — бессмысленное слово.

Каждый вечер дня светило
Перед нами исчезает,
А наутро снова светом
Миру юному сияет.

Но времен круговращенье
Бесконечней звезд небесных,
Нынче — кукла в заключеньи,
Завтра — бабочкой порхает.

И повсюду — возрожденье,
И ничто не умирает,
А иные только виды
С блеском новым принимает...

Жизнью нашей, краткой сроком,
Станем жить полней и вдвое,

Ибо нам одним потоком
Льется доброе и злое...

Жить — но жить не беззаботно:
Пусть нас вечер без волнения
Приготовит ждать охотно
Час великий возрождения...

[Кто родник святых стремлений]

Кто родник святых стремлений
В жаркой груди отыскал,
Кто лишь правды откровений
С жаждой пламенной желал,
Тот да смело чрез ступени
Во святилище идет,
Где падут сомнений тени,
Солнце знания взойдет.

Небо света разверзает
Искра истины в груди,
И преград она не знает
На торжественном пути.

Чтоб создать в нас храм святого,
Из источника она
Нам единого, родного,
Сходит, в свет облечена.

Благодатью озаренья
Обнажен нам целый мир,
Как мятежное волнение,
Как безумно-шумный пир,
Где обманчивым и близким
Чувством мерить все дано,
Где зовут святое низким,
Где высокое смешно.

Незнакома духа пища
Миру тленному, и он
Лишь обман один и сон,
А не истины жилище.
Засветись же ярко в нас
Пламень истины, о братья!
О, стремитесь, — примет вас
Правда в вечные объятия!

Дружеская песня

Руку, братья, в час великий!
В общий клик сольемте клики
И, свободны бранных уз,
Отложив земли печали,
Возлетимте к светлой дали,
Буди вечен наш союз!

Слава, честь и поклоненье
В горних Зодчему творенья,
Нас сотворшему для дел;
Разливать на миллионы
Правды свет и свет закона
Наш божественный удел.

Вы, о мужи Божьей рати,
На востоке, на закате,
Вы на всех земли концах!
Вечной истины исканье,
Благо целого созданья
Да живут у нас в сердцах.

[Судия, духов правитель]

Судия, духов правитель,
Мириад миров строитель,
Преклони на нас твой взор!
Мы во страхе ожидаем:
Что во тьме мы созидаем,
Да не будет нам в укор.

В горних стройными кругами,
Бесконечными мирами
Ты достойнее хвалим.
Но и в храмах сокровенных,
Бледным светом озаренных,
Имя мы Твое святим.

О, возри же на служенье
И пошли благословенье
На союзный труд наш Ты!
Для земли досель сокрытый,
Да восстанет он открытый,
В блеске вечной красоты.

Из поэмы «Таинственная капля»

(Сюжет поэмы заимствован из апокрифической легенды. Во время бегства в Египет Святое Семейство встретило разбойников. Среди них была молодая женщина, только что родившая мальчика. У нее не было молока. Мария накормила младенца своей грудью. Ее молоко и было «священной каплей». Впоследствии выросший мальчик пошел по стопам родителей. Это был тот самый благочестивый разбойник, который был распят вместе с Христом и перед смертью уверовал в Него).

Свет в темноте

И сбылось!.. и не терялась
Все таинственная в нем,
Хоть, порой, она казалась
В пепле гсаснувшим огнем...

Как душа в душе другая,
Неприметная очам,
В нем таилась не земная,
Хоть про то не знал он сам!..

Но не раз другие люди
Что-то видели во мгле
На его могучей груди,
Словно в радужном стекле...

В час, когда огни гасились
И лампы по тюрьмам,
Сторожа над ним толпились
И не верили глазам:

Горький узник — одинокой
Предавался ль чарам сна,
На груди его широкой
Загоралась — она!..

То в покое, то в мерцанье,
Тихой точкой золотой,
В тихом, палевом сиянье,
Свет боролся с темнотой!..

И по кольцам черной цепи
Синеватый блеск зарниц
Пробежал... И свод и крепи
Золотилися темниц!..

И бывало: вся темница
От чудесной точки той,

Рассветала как божница
Как алтарный храм святой!..

Все глядело... все дивилось,
Только, чуждый чудесам,
Он о том, что с ним творилось,
Не догадывался сам!..

И не чуял, узник бедный,
(Может быть, в душе с грозой!)
Как во сне туманно-медный
Лик его горел слезой!..

То раскаяния слезы
Из целящейся души,
То грехов былых занозы
Исторгались в тиши!..

Так телесными очами
(Полные тревог и гроз),
Мы свою не видим сами
Совість — каплю горних рос!..

Но живым для нас укором
Все живет дар неба в нас,
И в душе, покрытой сором,
Он сияет как алмаз!..

Гласы, пение и хоры в небесах

Хор первый

(Ангелов, созерцателей величия Божия)

Невидимый, нестижимый,
Кого обнять не может плоть,
В своей выси недостижимый
Сидит и властвует Господь!..

Кругом Его разливы света
И жизни вечные моря;
Века, события и лета
По воле Горнего Царя
Живут, летят, полны движенья;
Кругов надзвездных учрежденья
Текут в размеренный свой путь,
Пред Ним трепещут неба силы
И на лице Его взглянуть
Не смеют сонмы шестикрылых!!!

Хор второй

Он гневом ходит в ураганах,
Почитет духом на морях;
Он властью лег на океанах;
А славой — блещет на звездах!..

Деля Своим твореньям доли,
Дождя с высот свои дары,
На нить своей могучей воли,
Взнизал, как перлы, все миры!..

Хор третий

Им в небе теплится заря,
Он взором кипятит моря,
Дхновеньем глит враждебны рати;
Один, могущий вечно быть,
Он может каплей благодати
Всю горечь моря усладить!..

Хор четвертый

Когда идет... Он весь блистает,
Как бездна звезд во тьме ночей;
Когда Он гневен — небо тает
От пламенных Его очей!..

Он небеса небес стрясает,
Как ветхий нищего покров,
И осужденных сто миров
Перстом могущества стирает!..

Но, Милосердный, всем Он пищи,
Всем дародарствует покров:
Отец сирот, защитник вдов,
Он сам покоит души нищих!..

Голос

Его державы в небесах,
Любовь и правда — суть основы,
И держит мудрость Иеговы
Миры и царства на весах!..
Когда ж вскипит в Нем гнева пламень,
Кто смеет стать лицом к Нему?
Он скажет царству: «Подниму
И расшибу тебя о камень!..»

Голос

На бесчисленность творенья
Властный перст он наложил,
И разрозненные звенья
Цепью мудрости скрепил!..

Хор пятый

Велик и дивен Всемогущий
Недознанный в составе Бог,
Всегда, везде, повсюду сущий —
Вина всех жизней и залог!..
Его начало нам неизвестно;
Его лучи для всех, везде:
Он весь, Безместный, — повсеместно,
В песчинке моря и в звезде!..

Кругом Его сияет радость
И каждое из Божьих слов
Дарит мирам то жизнь, то младость,
И весь Он — милость и любовь!..

Хор шестой

Гармония — душа вселенной
Основа тайная миров,
Блестит красой своей священной
В бессменном зеркале веков.

Голос

От небес до небес, до четвертых небес
Все проникла любовь,
Все полно голосов:
И поют и гласят поднебесья небес
Все о том, как из тайны святости
Бесконечные неба пустыни
Заселились громадой чудес!..
Так горя перекаточной волною,
Далеко, далеко над луною
Все поют и гласят поднебесья небес,
От небес до небес, до четвертых небес!..
И все поет и все глаголет о Нем,
Кто все, что есть, и время и пространство,
Держал, безмолствуя, в Себе Самом,
Доколь изрек: «да будет!» И кругом
Все жизнью окатил и дал всему
убранство.

Голос

Он обдал багрецом денницы
Рассвета бледное лицо.
И силой властной десницы
Согнул вселенную в кольцо!..

Голос

Дрожит и млеет грудь земная,
Когда Он духом Адоная
Свои волнует небеса:
Вся тварь пред Творцом трепещет,
И стозубчатых молний блещет
Гроза и дивная краса!..

Таинственная капля

Ясна для чувствительных,
Темна для чувственных.
Эта капля для немногих,
Для немногих лишь видна:
От умов сухих и строгих,
От гордыней круторогих,
Закрывается она...
В шумном людстве, нелюдимкой,
Под таинственной дымкой,
В тишине и невидимкой
Любит быть она одна...
Только сердцу, только вере,
(Как кристалл в своей пещере)
В полном смысле, в полной мере,
И закрытая ясна...
Не по ней гроза волнений,
И упрямство наших прений,
И лукавый мыслей ход:
Море мертвое сомнений
Каплю хладом занесет!..
Искрясь верой благородной,
На руке она холодной
У безверия замрет!..
Скройся ж, капля, для немногих
Для немногих — до поры
От нападков быстроногих,
От гордыней круторогих,
От гонений века строгих,
От опасной с ним игры!..

ИЗ МАСОНСКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА

М.А.Волошин

Солнце

Святое око дня — тоскующий гигант!
Я сам в своей груди носил твой пламень пленный
Пронизан зрением, как белый бриллиант
В багровой тьме рождавшейся вселенной.

Но ты, всезрящее, покинуло меня,
И я внутри ослеп, вернувшись в чресла ночи.
И вот простерли мы к тебе — истоку дня —
Земля — свои цветы и я — слепые очи.

Невозвратимое! Ты гаснешь в высоте,
Лучи призывные кидая издалека.
Но я в своей душе возжгу иное око
И землю приведу к сияющей мечте!
1906

Подмастерье

Мне было сказано:
Не светлым лирником, что нижеет
Широкие и щедрые слова
На вихри струнные, качающие душу,—
Ты будешь подмастерьем
Словесного, святого ремесла,
Ты будешь кузнецом
Упорных слов,
Вкус, запах, цвет и меру выплавляя
Их скрытой сущности,
Ты будешь
Ковалем и горнилом,
Чеканщиком монет, гранильщиком камней.
Стих создают — безвыходность, необходимость,
сжатость,

Сосредоточенность...
Нет грани между прозой и стихом:
Речение,
В котором все слова притерты,
Пригнаны и сплавлены,

Умом и терпугом, паялом и терпением,
Становится лирической строфой,
Будь то страница
Тацита
Иль медный текст закона.
Для ремесла и духа — единый путь:
Ограничение себя.
Чтоб научиться чувствовать,
Ты должен отказаться
От радости переживаний жизни,
От чувства отрешиться ради
Сосредоточья воли;
И от воли — для отрешенности сознания.
Когда же и сознание внутри себя ты сможешь
погасить, Тогда
Из глубины молчания родится
Слово,
В себе несущее
Всю полноту сознания, воли, чувства,
Все трепеты и все сиянья жизни.
Но знай, что каждым новым
Осуществлением
Ты умерщвляешь часть своей возможной жизни:
Искусство живо
Живою кровью принесенных жертв.
Ты будешь Странником
По вещим перепутьям Срединной Азии
И западных морей,
Чтоб разум свой ожечь в плавильных горнах
знанья, Чтоб испытать сыновность и сиротство,
И немоту отверженной земли.
Душа твоя пройдет сквозь пытку и крещение
Страстную влагою,
Сквозь зыбкие обманы
Небесных обликов в зеркалах земных вод.
Твое сознание будет
Потеряно в лесу противочувств,
Средь черных пламеней, среди пожарищ мира.
Твой дух дерзающий познает притяжение
Созвездий правящих и волящих планет...
Так, высвобождаясь
От власти малого, беспамятного «я»,
Увидишь ты, что все явленья — Знаки,
По которым ты вспоминаешь самого себя,
И волокно за волокном собираешь
Ткань духа своего, разодранного миром.

Когда ж ты поймешь,
Что ты не сын земле,
Но путник по вселенным,
Что солнца и созвездья возникали
И гибли внутри тебя,
Что всюду — и в тварях, и в вещах томится
Божественное Слово,
Их к бытию призвавшее,
Что ты — освободитель божественных имен,
Пришедший изназвать
Всех духов — узников, увязших в веществе;
Когда поймешь, что человек рожден,
Чтоб выплавить из мира
Необходимости и разума
Вселенную Свободы и Любви,
Тогда лишь
Ты станешь Мастером.
1917

Петроград (1917)

Как злой шаман, гася сознание
Под бубна мерное бряцанье,
И опоражнивая дух,
Распахивает дверь разрух,
И духи мерзости и блуда
Стремглав кидаются на зов,
Вопя на сотни голосов,
Творя бессмысленные чуда,
И враг что друг и друг что враг
Меречат и двоятся...
Так,
Сквозь пустоту державной воли
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод.
Народ, безумием объятый,
О камни бьется головой,
И узы рвет, как бесноватый...
Да не смутится сей игрой
Строитель внутреннего Града
Те бесы шумны и быстры:
Они вошли в свиное стадо
И в бездну ринутся с горы.
Коктебель. 9 декабря 1917

Сон Адама

От плясок и песен усталый Адам
Заснул, неразумный, у Древа Познания.
Над ним ослепительных звезд трепетанья,
Лиловые тени скользят по лугам,
И дух его сонный летит над лугами,
Внезапно настигнут зловещими снами.

Он видит пылающий ангельский меч,
Что жалит нещадно его и подругу
И гонит из рая в суровую вьюгу,
Где нечем прикрыть им ни бедер, ни плеч...
Как звери, должны они строить жилище,
Пращей и дубиной искать себе пищи.

Обитель труда и болезней... Но здесь
Впервые постиг он с подругой единство.
Подруге — блаженство и боль материнства
И заступ — ему, чтобы вскапывать весь.
Служеньем иному прекрасны и грубы,
Нахмурены брови и стиснуты губы.

Вот новые люди... Очерчен их рот,
Их взоры не блещут, и смех их случаен.
За вепрями сильный охотится Каин,
И Авель собирает маслины и мед,
Но воле не служат они патриаршей:
Пал младший и в ужасе кроется старший.

И многое видит смущенный Адам:
Он тонет душою в распутстве и неге,
Он ищет спасенья в надежном ковчеге
И строится снова суров и упрям,
Медлительный пахарь, и воин, и всадник...
Но Бог охраняет его виноградник.

На бурный поток наложил он узду,
Бессонною мыслью постиг равновесье,
Как ястреб, врезается он в поднебесье,
У косной земли отнимает руду.
Покорны и тихи, хранят ему книги
Напевы поэтов и тайны религий.

И в ночь волхований на пышные мхи
К нему для объятий нисходят сифиды,
К услугам его, отомщать за обиды,
И звездные духи, и духи стихий,
И к солнечным скалам из грозной пучины
Влекут его челн голубые дельфины.

Он любит забавы опасной игры —
Искать в океанах безвестные страны,
Ступать безрассудно на волчьи поляны
И видеть равнину с высокой горы,
Где с узких тропинок срываются козы
И душные, красные клонятся розы.

Он любит и скрежет стального резца,
Дробящего глыбистый мрамор для статуй,
И девственный холод зари розовой,
И нежный овал молодого лица,
Когда на холсте под ударами кисти
Ложатся они и светлей и лучистей.

Устанет — и к небу возводит свой взор,
Слепой и кощунственный взор человека:
Там, Богом раскинут от века до века,
Мерцает над ним многозвездный шатер.
Святыми ночами, спокойный и строгий,
Он клонит колени и грезит о Боге.

Он новые мысли, как светлых гостей,
Всегда ожидает из розовой дали,
А с ними, как новые звезды, печали
Еще неизведанных дум и страстей,
Провалы в мечтаньях и ужас в искусстве,
Чтоб сердце болело от тяжких предчувствий.

И кроткая Ева, игрушка богов,
Когда-то ребенок, когда-то зарница,
Теперь для него молодая тигрица,
В зловещем мерцаньи ее жемчугов,
Предвестница бури, и крови, и страсти,
И радостей злобных, и хмурых несчастий.

Так золото манит и радует взгляд,
Но в золоте темные силы таятся,
Они управляют рукой святотатца

И в братские кубки вливают свой яд.
Не в силах насытить, смеются и мучат
И стонам и крикам неистовым учат.

Он борется с нею. Коварный, как змей,
Ее он опутал сетями соблазна.
Вот Ева — блудница, лепечет бессвязно,
Вот Ева — святая, с печалью очей.
То лунная дева, то дева земная,
Но вечно и всюду чужая, чужая.

И он наконец беспредельно устал,
Устал и смеяться и плакать без цели;
Как лебеди, стаи веков пролетели,
Играли и пели, он их не слышал;
Спокойный и строгий, на мраморных скалах,
Он молится Смерти, богине усталых:

«Узнай, Благодатная, волю мою:
На степи земные, на море земное,
На скорбное сердце мое заревое
Пролей смертоносную влагу свою.
Довольно бороться с безумьем и страхом.
Рожденный из праха, да буду я прахом!»

И, медленно рея багровым хвостом,
Помчалась к земле голубая комета.
И страшно Адаму, и больно от света,
И рвет ему мозг нескончаемый гром.
Вот огненный смерч перед ним закрутился,
Он дрогнул и крикнул... и вдруг пробудился.

Направо — сверкает и пенится Тигр,
Налево — зеленые воды Евфрата,
Долина серебряным блеском объята,
Тенистые отмели манят для игр,
И Ева кричит из весеннего сада:
«Ты спал и проснулся... Я рада, я рада!»

Родос

На полях опаленных Родоса
Камни стен и в цвету тополя
Видит зоркое сердце матроса
В тихий вечер с кормы корабля.

Там был рыцарский Орден: соборы,
Цитадель, бастионы, мосты,
И на людях простые уборы,
Но на них золотые кресты.

Не стремятся ни к славе, ни к счастью,
Все равны перед взором Отца,
И не дать покорить самовластью
Посвященные небу сердца!

Но в долинах старинных поместий,
Посреди кипарисов и роз,
Говорить о Небесной Невесте,
Охраняющей нежный Родос!

Наше бремя — тяжелое бремя:
Труд зловещий дала нам судьба,
Чтоб прославить на краткое время,
Нет, не нас — только наши гроба.

Нам брести в смертоносных равнинах,
Чтоб узнать, где родилась река,
На тяжелых и гулких машинах
Грозовые пронзать облака;

В каждом взгляде тоска без просвета,
В каждом вздохе томительный крик,
Высыхать в глубине кабинета
Между пыльными грудями книг.

Мы идем сквозь туманные годы,
Смутно чувствуя веянье роз,
У веков, у пространств, у природы
Отвоевывать древний Родос.

Но, быть может, подумают внуки,
Как орлята тоскуя в гнезде:
«Где теперь эти крепкие руки,
Эти души горящие — где?»

Пятистопные ямбы

Я помню ночь, как черную наяду,
В морях под знаком Южного Креста.
Я плыл на юг; могучих волн громаду

Взрывали мощно лопасти винта,
И встречные суда, очей отраду,
Брала почти мгновенно темнота.

О, как я их жалел, как было странно
Мне думать, что они идут назад
И не остались в бухте необманной,
Что дон Жуан не встретил донны Анны,
Что гор алмазных не нашел Синдбад
И Вечный Жид несчастней во сто крат.

Но проходили месяцы, обратно
Я плыл и увозил клыки слонов,
Картины абиссинских мастеров,
Меха пантер — мне нравились их пятна
И то, что прежде было непонятно —
Презренье к миру и усталость снов.

Я молод был, был жаден и уверен,
Но дух земли молчал, высокомерен,
И умерли слепящие мечты,
Как умирают птицы и цветы.
Теперь мой голос медлен и размерен,
Я знаю, жизнь не удалась... и ты,

Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль.
Взлетели кости, звонкие, как сталь,
Упали кости — и была печаль.

Сказала ты, задумчивая, строго:
«Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самое себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя».

Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук.
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук...
И ты ушла, в простом и темном платье,
Похожая на древнее Распятье.

Я не скорблю. Так было надо. Правый
Перед собой, не знаю я обид.
Ни тайнами, ни радостью, ни славой
Мгновенный мир меня не обольстит,
И женский взор, то нежный, то лукавый,
Лишь изредка, во сне, меня томит.

Лишь изредка надменно и упрямо
Во мне кричит ветшающий Адам,
Но тот, кто видел лилию Хирама,
Тот не грустит по сказочным садам,
А набожно возводит стены храма,
Угодные земле и небесам.

Нас много здесь собралось с молотками,
И вместе нам работать веселей;
Одна любовь сковала нас цепями,
Что адаманта тверже и светлей,
И машет белоснежными крылами
Каких-то небывалых лебедей.

Нас много, но один во мраке ночи,
А колыбель других еще пуста,
О тех скорбит, а о других пророчит
Земных зеленых весен красота.
Я ж — Прошлого увидевшие очи,
Грядущего разверстые уста.

Все выше храм торжественный и дивный,
В нем дышит ладан и поет орган;
Сияют нимбы; облак переливный
Свечей и солнца — радужный туман;
И слышен голос Мастера призывный
Нам, каменщикам всех времен и стран.

Средневековье

Прошел патруль, стуча мечами,
Дурной монах прокрался к милой,
Над островерхими домами
Неведомое опочило.

Но мы спокойны, мы поспорим
Со стражами Господня гнева,

И пахнет звездами и морем
Твой плащ широкий, Женевьева.

Ты помнишь ли, как перед нами
Встал храм, чернеющий во мраке,
Над сумрачными алтарями
Горели огненные знаки.

Торжественный, гранитнокрылый,
Он охранял наш город сонный,
В нем пели молоты и пилы,
В ночи работали масоны.

Слова их скупы и случайны,
Но взоры ясны и упрямы,
Им древние открыты тайны,
Как строить каменные храмы.

Поцеловав порог узорный,
Свершив коленопреклоненье,
Мы попросили так покорно
Тебе и мне благословенья.

Великий Мастер с нивелиром
Стоял средь грохота и гула
И прошептал: «Идите с миром,
Мы побеждаем Вельзевула».

Пока они живут на свете,
Творят закон святого сева,
Мы смело можем быть как дети,
Любить друг друга, Женевьева.

Память

Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.

Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под уздцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, кто раньше
В этом теле жили до меня.

Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак роц,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь.

Дерево да рыжая собака —
Вот кого он взял себе в друзья,
Память, память, ты не сыщешь знака,
Не уверишь мир, что то был я.

И второй... любил он ветер с юга,
В каждом шуме слышал звоны лир,
Говорил, что жизнь — его подруга,
Коврик под его ногами — мир.

Он совсем не нравится мне, это
Он хотел стать богом и царем,
Он повесил вывеску поэта
Над дверьми в мой молчаливый дом.

Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка,
Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.

Высока была его палатка,
Мулы были резвы и сильны,
Как вино, впивал он воздух сладкий
Белому неведомой страны.

Память, ты слабее год от году,
Тот ли это или кто другой
Променял веселую свободу
На священный долгожданный бой.

Знал он муки холода и жажды,
Сон тревожный, бесконечный путь,
Но святой Георгий тронул дважды
Пулею не тронутую грудь.

Я — угрюмый и упрямый зодчий
Храма, восстающего во мгле,
Я возревновал о славе Отчей,
Как на небесах, так на земле.

Сердце будет пламенем палимо
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,

Стены Нового Иерусалима
На полях моей родной страны.

И тогда повеет ветер странный
И прольется с неба страшный свет,
Это Млечный Путь расцвел неожиданно
Садам ослепительных планет.

Предо мной предстанет, мне неведом,
Путник, скрыв лицо; но все пойму,
Видя льва, стремящегося следом,
И орла, летящего к нему.

Крикну я... но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела.

Слово

В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо Свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.

И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низкой жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.

Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.

Но забыли мы, что осиянно
Только слово среди земных тревог
И в Евангелии от Иоанна
Сказано что Слово — это Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

С.К.Маковский

Посвящение

Вот взяли бережно за рамена
И в храм ввели, пригнув профану выю...
И слушаю незримого витию,
Клянусь молчать и чашу пью до дна.

Три раза странствую. И тьма грозна,
И огненную прохожу стихию.
И вдруг прозрел и вижу литургию:
Ступени, пламя, труп и тишина...

«Да будет свет великий». И повязка
Спадает с глаз опять. Что это? Сказка?
В передниках и лентах предо мной —

Таинственные рыцари и маги,
И храм в огнях, и радугой стальной
Шотландские поблескивают шпаги.

Париж, 10 марта 1927

Крылья

Из века в век томился он о чуде,
О крыльях, о полете ввысь
Туда, туда, где не бывали люди,
Мечтал он в небо вознестись.

Века текли... Его упорный разум
Природу побеждал и креп,
И солнц рои, невидимые глазом,
Узрел он в далях... И ослеп.

И создал он, слепой, не крылья духа —
Подобье создал саранчи,

Он бросил ввысь грохочущие глухо
Молниеносные смерчи.

О, бред! Затем ли вечность купол звездный
Дарует смертному сквозь тьму,
Чтоб он увидел, озирая бездны,
Миры, где места нет ему.

Позор зломудрия! Как волк голодный —
Ощерен на народ народ,
И с неба огонь, наземный и подводный,
Вот-вот живое все сотрет.

Бездушной силой превзойдя все меры,
Во тьме пучин, где света нет,
Ладьи погибельные Люцифера
Всевышний затмевают Свет.

1960

Примечания и комментарии

Предисловие

¹ См.: *Маковицкий Д.П.* Яснополянские записки. — М., 1989. — Т. 1. — С. 191.

² *Морамарко М.* Массонство в прошлом и настоящем. — М., 1990. — С. 45.

³ *Koselleck R.* Critique and Crisis Enlightenment and the Pathogenesis of Modern Society. — Camb., 1988.

⁴ Лефорт Франц (1655/56—1699) — адмирал, один из руководителей Великого посольства; Гордон Патрик (1635—1699) — русский контр-адмирал, сподвижник Петра I.

⁵ *Бердяев Н.А.* Русская идея: О России и русской философской культуре. — М., 1990. — С. 57.

⁶ *Хейзинга Й.* "Homo Ludens". — М., 1992. — С. 210—211.

⁷ *Зеньковский В.В.* История русской философии. — М., 1991. — Т. 1. — С. 108.

⁸ Записки сенатора И.В. Лопухина. — М., 1990. — С. VIII.

⁹ *Лотман Ю.М.* Сотворение Карамзина. — М., 1987. — С. 36.

¹⁰ *Ключевский В.О.* Воспоминания о Новикове и его времени: Исторические портреты. — М., 1990. — С. 386.

¹¹ *Ключевский В.О.* Указ. соч. — С. 387.

¹² *Пыпин А.Н.* Русское масонство XVIII и первой половины XIX веков. — Пг., 1916. — С. 157.

¹³ История русской литературы. — Ч. 2. — М.—Л., 1947. — Т. IV. — С. 70.

¹⁴ *Ключевский В.О.* Указ. соч. — С. 382.

¹⁵ См.: *Писемский А.Ф.* Собр. соч. — М., 1959. — Т. 8. — С. 478.

¹⁶ *Федотов Г.П.* Святые Древней Руси. — М., 1990. — С. 234.

¹⁷ Массонство в прошлом и настоящем. — М., 1991. — Т. 2. — С. 45.

¹⁸ История русской литературы. — С. 83. В этом издании глава "Массонская литература" написана Н.К. Пиксановым.

¹⁹ *Сакулин П.Н.* Русская литература: Социолого-синтетический обзор литературных стилей. — М., 1924. — С. 344.

²⁰ *Лотман Ю.М.* Поэзия Карамзина: Избранные статьи. — Таллин, 1992. — Т. 2. — С. 172—173.

²¹ *Карамзин Н.М.* Избранные статьи и письма. — М., 1982. — С. 147.

²² Юнг Эдуард — английский поэт-сентименталист; Томсон Джеймс (1700—1748) — английский поэт, автор поэмы "Времена года".

- ²³ Герцен А.И. Былое и думы. — М., 1979. — С. 257.
- ²⁴ См.: *Рождественская-Кащенко Е.* Василий Баженов — вольный каменщик // *Архитектура и строительство Москвы*, 1990. — N 12. — С. 13—15.
- ²⁵ См.: *Свирида И.И.* Сады века философов в Польше. — М., 1994.
- ²⁶ *Эфрос А.* Гонзаго в Павловске / *Мастера разных эпох: Избр. историко-художественные и критические статьи.* — М., 1979. — С. 70.
- ²⁷ Герцен А.И. Былое и думы. — С. 259.
- ²⁸ *Бакунина Т.А.* Знаменитые русские масоны. — М., 1991. — С. 89.
- ²⁹ *Григорьев Ап.* Воспоминания. — Л., 1980. — С. 14—15.
- ³⁰ См.: *Бухштаб Б.Я.* “Гимны” Аполлона Григорьева: Библиографические разыскания по русской литературе XIX века. — М., 1966.
- ³¹ *Толстой Л.Н.* Собр. соч. в 22-х т. — М., 1985. — Т. 21. — С. 106.
- ³² *Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч. — Т. 61. — С. 269.
- ³³ Там же. — Т. 63. — С. 326.
- ³⁴ *Писемский А.Ф.* Собр. соч. — Т. 8. — С. 478.
- ³⁵ *Волошин М.А.* Стихотворения, статьи, воспоминания современников. — М., 1991. — С. 310—311.
- ³⁶ *Волошин М.А.* Лики творчества. — Л., 1988. — С. 206—207.
- ³⁷ *Амфитеатров А.В.* Чудодей: Воспоминания о Максимилиане Волошине. — М., 1991. — С. 133—140.
- ³⁸ *Волошин М.А.* Лики творчества: Автобиография. — С. 34.
- ³⁹ *Бердяев Н.А.* Новое средневековье. — М., 1991. — С. 12.
- ⁴⁰ Александр Блок о литературе. — М., 1980. — С. 278.
- ⁴¹ *Бердяев Н.А.* Смысл истории. — М., 1990. — С. 97—98.
- ⁴² *Гумилев Н.* Сочинения. — М., 1991. — Т. 3. — С. 18.
- ⁴³ *Лопухин И.В.* Искатель премудрости, или Духовный рыцарь. — М., 1994. — С. 39.
- ⁴⁴ Гумилев в воспоминаниях современников. — М., 1990. — С. 70.
- ⁴⁵ *Мандельштам О.* Сочинения. — М., 1990. — Т. 2. — С. 142.
- ⁴⁶ *Мандельштам О.* Там же. — С. 143.
- ⁴⁷ *Мандельштам О.* Там же. — С. 145.
- ⁴⁸ Памятные книжные даты: 1988. — М., 1988. — С. 186.
- ⁴⁹ “Аполлон”, 1914. — N 1/2. — С. 127.
- ⁵⁰ *Лопухин И.В.* Искатель премудрости, или Духовный рыцарь. — С. 45.
- ⁵¹ *Менли П. Холл.* Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии. — Новосибирск, 1992. — С. 278.
- ⁵² *Осоргин М.А.* Доклады и речи. — Париж, 1949. — С. 172.
- ⁵³ *Троцкий Л.* Моя жизнь. — М., 1991. — С. 128.
- ⁵⁴ *Толстой Л.Н.* Собр. соч. в 22-х т. — М., 1980. — Т. 5. — С. 179.
- ⁵⁵ *Бердяев Н.А.* Жозеф де Местр и масонство (См. настоящее издание).
- ⁵⁶ *Николаевский Б.И.* Русские масоны и революция. — М., 1990. — С. 22.

Флоровский Г.В. Пути русского богословия. [Главы из книги]. Печ. по изд.: Париж, 1937. — С. 114—122, 136—141.

Флоровский Георгий Васильевич (1893—1979) — религиозный философ и богослов. В 1920 году утвержден в звании приват-доцента Новороссийского университета (Одесса). В том же году эмигрировал. Сначала жил в Праге, затем переехал в Париж, где возглавил кафедру патристики в Православном богословском институте. В 1932 году принял священнический сан. С 1948 года — профессор Св. Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. Книга “Пути русского богословия” является главным трудом Г.В.Флоровского.

¹ И.П.Елагин (1725—1796) — виднейший масон екатерининского времени.

² “Конституция Андерсона” — масонский уставный кодекс, составленный в 1721 году английским пастором и доктором богословия Андерсоном; в 1723 году одобрена “Великой ложей” в качестве официального руководства для лондонских лож.

³ Рейхель — гофмейстер при дворе принца Брауншвейгского, деятельный масонский эмиссар в России.

⁴ Имеется в виду отрешенность от мира, безволие, воздержание от какой-либо деятельности.

⁵ Стихи М.М.Хераскова.

⁶ Гернгутеры, меннониты, “моравские братья” — протестантские секты, отрицавшие насилие, социальное неравенство.

⁷ Платон (Левшин) (1737—1812) — архиепископ Московский с 1775 года. Выдающийся проповедник и церковный историк, автор первой “Краткой российской церковной истории”. Близкий ко двору, он до перевода в Москву был законоучителем наследника престола Павла Петровича.

⁸ М.А.Дмитриев (1796—1866) — поэт и мемуарист, племянник И.И.Дмитриева.

Зеньковский В.В. История русской философии. — Ч. 1. Печат. по изд.: Париж, 1948. Т. 1. — С. 106—111.

Зеньковский Василий Васильевич (1881—1962) — философ и богослов. До революции приват-доцент Киевского университета. С 1925 года профессор философии и психологии Православной богословской академии в Париже. В 1942 году принял священство.

¹ Имеется в виду патетическая проповедь добродетели, обращенная к властителям, призывы любить униженных и видеть в них людей.

² И.Н.Болтин (1735—1792) — русский историк, член Военной коллегии, первый издатель “Русской правды”.

³ Себастьян Франк (1499—1542) — немецкий гуманист, философ и историк.

Ключевский В.О. Воспоминания о Н.И.Новикове и его времени. Печат. по изд.: Ключевский В.О. Исторические портреты. — М., 1990. — С. 364—391.

Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — выдающийся русский историк. Доклад о Н.И.Новикове прочтен им на заседании Общества любителей российской словесности 13 ноября 1894 г.; в виде статьи опубликован в журнале “Русская мысль”, 1895, N 1.

¹ Персонаж комедии Фонвизина “Бригадир”.

Иванов-Разумник Р.В. История русской общественной мысли. [Главы из книги]. Печат. по изд.: *Иванов-Разумник.* История русской общественной мысли. 4-е изд. — СПб., 1914. — С. 25—49.

Иванов-Разумник (наст. фамилия **Иванов**) **Разумник** Васильевич (1878—1946) — историк литературы и социолог народнического направления.

¹ **Феодосий Косой** — монах Кирилло-Белозерского монастыря, отвергал церковные обряды и таинства.

² В стадии зарождения (*лат.*).

Бердяев Н.А. **Жозеф де Местр** и масонство. Печ. по: “Путь” (Париж), 1926. — N 4. — С. 183—187.

Н.А.Бердяев рецензирует “Памятную записку о франкмасонстве”, составленную **Ж. де Местром** в 1792 году для Карла Вильгельма герцога Брауншвейгского. Предисловие написано **Э.Дерменгемом**. Также рассматриваются книги: *Дерменгем Э. Жозеф де Местр мистик*, 1923; *Гуайо Ж.* (в современном написании **Ж.-М.Гюйон**). Религиозная мысль **Жозефа де Местра**, 1921.

¹ **Нилус Сергей Александрович** (1862—1929) — писатель. **Бердяев** имеет в виду его книгу “Великое в малом” (СПб., 1905), в которой впервые были опубликованы сфабрикованные **Нилусом** так называемые “Протоколы сионских мудрецов”.

² *Дешамп Н.* Секретные общества и общество, или Философия современной истории (*франц.*).

⁸ **Жозеф Мари де Местр** (1753—1821) — выдающийся французский католический мыслитель, оказавший глубокое влияние на общественную мысль как XIX, так и XX веков. Годы жизни в России описаны им в книге “Петербургские вечера”.

⁴ “Франкмасоны” — трактат о масонстве **Ж. де Местра**.

⁵ **Сен-Мартен**, **Луи Клод де** (1743—1803) — французский философ, мистик, оказавший большое влияние на русских масонов; сам он в свою очередь являлся последователем **Мартинеса де Паскуалиса** (1715—1799), испанского мистика.

⁶ **Иллюминаты** — орден, основанный профессором **Ингольштадтского университета А.Вейсгауптом**, сделавшим попытку внедрить в масонство тактику и приемы иезуитов.

⁷ Откровение Откровения (*франц.*).

⁸ См. примечания о **Ж.-М. Гюйон**.

⁹ **Ультрамонтанство** — направление в католицизме, добивающееся неограниченного права папы римского вмешиваться как в религиозные, так и в светские дела любого католического государства.

¹⁰ **Баадер Франц Ксаверий** (1765—1841) — немецкий теолог, последователь **Сен-Мартена**.

¹¹ Следует отметить, что **мартинизм** происходит не от **Сен-Мартена**, а от **Мартинеса де Паскуалиса** (*прим. Н.А.Бердяева*).

¹² “Великий Восток” (*франц.*) — направление во французском масонстве, провозгласившее право участия в политической жизни.

¹³ “Французское действие” (*франц.*) — монархическая организация

французских националистов и реваншистов. Создана Ш.Моррасом в 1899 году.

Преуведомление. Печат. по: "Утренний свет". — Ч. 1, сентябрь 1777 г. — СПб.

Статья представляет собой программное выступление Н.И.Новикова, открывающее новую полосу его деятельности. Произвела большое впечатление на Л.Н.Толстого (см. предисловие).

О письменах Славянороссийских и тиснении книг в России. Печат. по: "Утренний свет". — Ч. 1, сентябрь 1777 г.

В статье ярко выражается как просветительский, так и патриотический пафос Н.И.Новикова и его содружества. Следует подчеркнуть и то, что культ Петра I был в высшей степени характерен для масонов.

¹ Кутеинские письма — древнецерковный шрифт.

О достоинстве человека в отношении к Богу и миру. Печат. по: "Утренний свет", декабрь 1777 г.

Одно из ярчайших журнальных выступлений Н.И.Новикова, показывающих его резко негативное отношение к "работам" прежних русских лож, пренебрегающих "истинным призванием человека".

О главных причинах, относящихся к приращению художеств и наук. Печат. по: "Московское ежемесячное издание", апрель 1781 г.

"Московское ежемесячное издание" издавалось Н.И.Новиковым в 1781 году. Новый журнал продолжал философско-этическую линию "Утреннего света".

¹ Имеются в виду основатель египетской династии Птолемеи, римский император Константин, император Священной Римской империи Карл Великий и английский король Альфред Великий, прославившиеся покровительством науке.

² Древнегреческий живописец.

О действии наук над сердцем и нравом человеческим. Печат. по: "Московское ежемесячное издание", август 1781.

Автором статьи является И.П.Тургенев.

¹ Кларисса и Грандисон — добродетельные герои романов С.Ричардсона "Кларисса Горлоу" и "История сэра Грандисона".

² Крантипп и Крантор — античные философы из Афин (300-е годы до н.э.).

Преуведомление к читателям. Печат. по: "Вечерняя заря". — Ч. 1. 1782.

Новый журнал московских масонов "Вечерняя заря" (1782 г.) должен был стать прямым продолжением "Утреннего света", однако, он отличается значительно более мистическим духом, что свидетельствует о главенствующем участии И.Г.Шварца в его издании. Данное "Преуведомление к читателям" полемично к аналогичному вступлению к первому журналу Н.И.Новикова. На страницах "Вечерней зари" И.Г.-

Шварц начинает популяризировать идеи немецкого философа-мистика Я.Беме (1575—1624).

¹ Праотец до падения — ветхий Адам.

Рассуждение о познании самого себя. Печат. по: “Вечерняя заря”, август 1782.

¹ *gnoti seauton (греч.)* — познай самого себя; такова была надпись на воротах святилища Аполлона в Дельфах.

² Здесь и далее имеются в виду “Воспоминания о Сократе” Ксенофонта.

³ Ликург — легендарный спартанский законодатель (IX—VIII вв. до н.э.).

Похвала женскому полу. Печат. по: “Покоящийся трудолюбец”. — Ч. 1, 1784 г.

Журнал “Покоящийся трудолюбец” издавался Н.И.Новиковым в 1784—1785 гг. уже после смерти И.Г.Шварца, чем и объясняется гораздо менее мистический характер этого издания по сравнению с “Вечерней зарей”. Приводимая статья свидетельствует, что Н.И.Новиков с большим уважением относился к духовным потенциям русской женщины; он не упускал случая приобщить своих соотечественниц к благам просвещения. Об этом имеются многочисленные свидетельства (см., например, “Семейную хронику” С.Т.Аксакова).

О таинствах Цереры Элевзийской. Печат. по: “Покоящийся трудолюбец”. — Ч. 3, 1785 г.

Масонская мифология напрямую связывает преемственность ложвольных каменщиков с тайными обществами древности.

¹ Цельс (III в.) — римский писатель, автор обширного сочинения против христиан.

² В VI книге “Энеиды” повествуется о нисхождении Энея в Аид:

“...Эней поспешил по дороге свободной

Прочь от реки, по которой никто назад не вернулся.

Тут же у первых дверей он плач протяжный услышал:

Горько плакали здесь младенцев души, которых

От материнской груди на рассвете сладостной жизни

Рок печальный унес во мрак могилы до срока.

Рядом — обители тех, кто погиб от лживых наветов.

Но без решенья суда не получают пристанища души;

Суд возглавляет Минос: он из урны жребии тянет,

Всех пред собраньем теней вопрошает о прожитой жизни” (Перевод

С.Ошерова).

³ Санхониатон — легендарный финикийский историограф.

⁴ Мистагоги — жрецы, посвящающие в таинства мистерий.

⁵ Иерофант — верховный жрец, распорядитель мистерий.

⁶ Павзаний — греческий географ II в. н.э., автор “Описания Эллады”.

Клятва. Печат. по: “Российский Архив”. — М., 1994. — V. — С. 100. Текст восходит к первой половине XVIII века. Находится в тетради

поэта и мемуариста Федора Николаевича Глинки (1786—1880), масона в ложе “Избранного Михаила”.

Записки сенатора И.В.Лопухина. Печат. по: Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А.И.Герцена и Н.П.Огарева. — М., 1990. — С. III—VIII, 19—30, 37—67.

¹ Псевдоним А.И.Герцена.

² Жан Калас — жертва религиозного изуверства во Франции XVIII в.; казнен в 1762 г.

⁸ Отец мемуариста Иван Владимирович Лопухин — генерал-поручик, киевский губернатор, видный придворный в царствования Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Он был племянником первой жены Петра I Евдокии Федоровны Лопухиной.

4 “Никогда не был я постоянным вольнодумцем, однако кажется больше старался утвердить себя в вольнодумстве, нежели в его безумии; и охотно читывал Волтеровы насмешки над религиею, Руссовы опровержения и прочие подобные сочинения. Весьма замечательный со мною случай переменял вкус моего чтения и решительно отворотил меня от вольнодумства.

Читая известную книгу “Systeme de la Nature”, с восхищением читал и в конце ее извлечение всей книги под именем “Устава Натуры” (Code de la Nature), я перевел устав этот. Любовался своим переводом. Напечатать его нельзя было. Я расположился рассеять его в рукописях. Но только что дописал первую самым красивым письмом, как вдруг почувствовал я неописанное раскаяние — не мог заснуть ночью прежде, нежели сжег я и красивую мою тетрадку, и черную. Но все я не был спокоен, пока не написал, как бы в очищение себя, “Рассуждения о Злоупотреблении Разума некоторыми новыми писателями и прочая”, которое в первый раз напечатано, помнится, в 1780 году. Теперь у меня нет ни одного экземпляра. Вторым изданием в 1787 году, с которого напечатано в 1809 году в февральской книжке ежемесячного издания “Друга Юношества”.

Сие происходило года за два до вступления моего в общество. Первые книги, родившие во мне охоту к чтению духовных, были: “О Заблуждении и Истине” и Арндта “Об Истинном христианстве” (*прим. И.В.Лопухина*).

⁵ Л.С.Мерсье (1740—1814) — французский писатель, последователь Руссо. Многотомное сочинение “Картины Парижа” ярко живописует столицу Франции накануне революции.

⁶ Наследник престола цесаревич Павел.

⁷ Речь идет о письмах А.М.Кутузову.

⁸ “Они ездили на моем иждивении в чужие края обучаться медицине; и когда, кончив учение и получа докторский градус, возвращались в Россию, то по подозрению на общество наше взяты были в Риге и по тайной экспедиции привезены в Невский монастырь; оттуда переведены в Петропавловскую крепость; и наконец в секретную больницу, где Колокольников умер, а Невзоров, просидев несколько лет, освобожден императором Павлом I, с милостью. Ныне служит он в Московском

университете надворным советником, и особливо известен по изданию преполозного журнала под именем “Друга Юношества”, который издает он единственно от ревностного усердия к общему благу, для распространения доброй нравственности.

Поступок сего Максима Ивановича Невзорова с известным покойником Степаном Ивановичем Шешковским в крепости заслуживает того, чтоб его рассказать. Невзоров был болен и не мог отвечать; да и нечего отвечать было, а Шешковский думал, что он упрямится и таит нечто важное: “Знаешь ли, где ты?” — говорит ему Шешковский. Невзоров: “Не знаю”. Ш.: “Как не знаешь, ты в Тайной?” Н.: “Я не знаю, что такое Тайная, пожалуй, схватят в лесу, завезут в какой-нибудь стан... да скажут, что это Тайная и допрашивать станут”. Ш.: “Государыня приказала тебя бить четверным поленом, коли не будешь отвечать”. Н.: “Не верю, чтоб это приказала Государыня, которая написала наказ комиссии о Сочинении Уложения”. Шешковский вышел с досадою и после принес записку руки Государыни, коею повелевала она Невзорову отвечать. “Я не знаю, — говорил Невзоров, — руки Ее Величества; может быть, вы заставили написать жену свою, да кажете мне ее руку вместо Государыниной”. Ш.: “Да знаешь ли, кто я?” Н.: “И того не знаю”. Ш.: “Я Шешковский”. Н.: “Слышал я про Шешковского, а вы ли он, не знаю; да, впрочем, мне с Шешковским никакого и дела быть не может. Я принадлежу Университету и по его Уставу должен отвечать не иначе, как при Депутате Университетском”, и проч. Наконец принуждены были отвести Невзорова для допроса к самому первому Куратору Ивану Ивановичу Шувалову. Допрос был неважный — потому, что нечего было отвечать, как не о чем было бы спрашивать” (прим. И.В.Лопухина).

⁹ “Упражнялся я также по охоте моей к литературе в разных переводах и мелких сочинениях. Нашел было на меня дух поэзии — и я, совсем не зная ее правил и никогда не писав стихов, переложил шесть псалмов, обращая все на внутреннюю жизнь обновленной души, которые напечатаны под именем “Подражания некоторым Песням Давидовым”. Если бы ничто не отвлекло меня тогда — отчего пиитический дух этот во мне скрылся, то бы, думаю, переложил я всю псалтирь в несколько дней, так сильно он действовал. После же не мог я написать ни одного стиха” (прим. И.В.Лопухина).

Лопухин И.В. Нравоучительный катехизис истинных франкмасонов. Печат. по: *Лопухин И.В.* Искатель премудрости, или Духовный рыцарь. — М., 1994. — С. 31—37.

Одно из главных теоретических сочинений русского масонства. Об обстоятельствах его написания рассказывается в “Записках сенатора И.В.Лопухина”.

1 “Истинные ф.м. должны наблюдать сие правило во всех добрых поступках: также должны они молиться тайно, постясь умащать главу свою и умывать лице, как сказано в Евангелии, и следовать всем принятым в общежительстве обычаем, как то: в нарядах, в обхожде-

нии, в образе домашней жизни и проч. тому подобном, избегая и виду лицемерия. Матф. V. 26. VI. 3. 6 (прим. И.В.Лопухина).

Радищев А.Н. Беседа о том, что есть сын Отечества. Печат. по: Радищев А.Н. Избранные произведения. — М.-Л., 1949. — С. 241, 249.

Опубликовано без подписи в журнале “Беседующий гражданин” в декабре 1789 года. Принадлежность Радищеву установлена П.А.Щеголевым на основе мемуарных свидетельств. “Беседующий гражданин” издавался Обществом друзей словесных наук; издатель М.И.Антоновский — один из воспитанников Дружеского ученого общества, поддерживавший близкие отношения с московскими масонами.

Переписка московских розенкрейцеров. Печат. по: Барсков Я.Л. Переписка московских масонов XVIII века. — Петроград, 1915.

Приводится переписка жившего в Берлине с начала 1787 года по масонским делам А.М.Кутузова с находившимися в Москве И.В.Лопухиным и Н.Н.Трубецким.

¹ А.Н.Радищев.

² И.В.Лопухин подписывается своим масонским именем.

³ О перлюстрации переписки масонов см. “Записки сенатора И.В.Лопухина”. Данное письмо явно рассчитано на прочтение “посторонним оком”.

⁴ Черта (франц.).

⁵ “Кто может быть добрым гражданином и верным подданным?” — книга И.П.Тургенева.

⁶ Равенство состояний (франц.).

⁷ Голенищева-Кутузова Екатерина Ильинична (урожд. Бибикова; 1754—1824) — жена фельдмаршала М.И.Голенищева-Кутузова. Ее “духовная” связь с А.М.Кутузовым продолжалась до смерти последнего.

⁸ Масонское имя Велльнера — немецкого розенкрейцера, через которого московские масоны поддерживали связь с герцогом Брауншвейгским.

⁹ твои почему никогда не прекратятся (франц.).

¹⁰ Фельдмаршал Н.В.Репнин (1734—1801) был масоном.

¹¹ характерно (франц.).

¹² Кто не понимает и кого нельзя понять (нем.; слова одного из собеседников Фалька из “Разговоров для франкмасонов” Г.Лессинга).

¹³ Имеется в виду Фома Кемпийский (1379—1471).

¹⁴ Речь идет о книге писателя-богослова Иоанна Арндта (1555—1621) “Об истинном христианстве”, переведенной И.П.Тургеневым.

¹⁵ милостью царствия Екатерины II (франц.).

¹⁶ А.Г.Орлов.

¹⁷ “О заблуждении и истине” (франц.).

¹⁸ Н.И.Новиков.

¹⁹ Князь К.М.Енгальчев — масон.

²⁰ П.Д.Еропкин — московский генерал-губернатор.

²¹ И.П.Тургенев.

²² Популярнейшие “Обстоятельные и верные истории двух мошен-

ников... Ваньки Каина и... Картуша” выдержали в XVIII веке несколько изданий.

²³ П.В.Лопухин — брат адресата.

²⁴ “Картины Парижа” Мерсье.

²⁵ “бешеные” (*франц.*) — крайне левая часть якобинцев в Конвенте.

²⁶ “Кадм” — роман М.М.Хераскова.

²⁷ “Я знаю условия, при которых он — человек — видит свет. Ему, рожденному, брошен вызов; жизнь — война. Вечная война со скорбью. Выдержавший ее наилучшим образом заслуживает ее в наименьшей степени”. Из поэмы Э.Юнга “Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии”.

²⁸ человек предполагает, Господь располагает (*франц.*).

Баженов В.И. Слово на заложение Кремлевского дворца. Печат. по: Мастера искусства об искусстве. — Т. 6. М., 1969. — С. 90, 94.

Баженов Василий Иванович (1738—1799) — великий русский архитектор. Речь написана А.П.Сумароковым по просьбе Баженова и является изложением его мыслей об архитектуре. Она представляет собой творческий манифест Баженова, в котором отчетливо различим отпечаток философии масонства. Требования строгой орденности своеобразно соединяется у Баженова с привязанностью к готике, что и определило резкое своеобразие его художественного стиля.

¹ Баженов перечисляет победы и завоевания русского оружия во время войны с Турцией (1768—1774 гг.).

² Речь идет о “чумном бунте” в Москве в 1771 году.

³ После создания в 1763 году “Комиссии о каменном строительстве Москвы и Петербурга” были разработаны планы перепланировки центральной части главных городов России (Твери, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода и др.).

⁴ Имеется в виду подавление пугачевщины.

⁵ Екатерининский канал в С.-Петербурге.

⁶ Спас-на-Бору — древнейшая церковь Московского Кремля; разрушена в 1933 году.

⁷ Баженов был членом ряда итальянских художественных академий.

⁸ Так называемая Меншикова башня, традиционно считавшаяся главной масонской церковью.

⁹ Церковь Климента (Климентовский переулок) построена в формах европейского барокко; Успение на Покровке — один из шедевров “нарышкинского барокко”, генетически развившегося в неоготику (разрушена в 1936 г.).

¹⁰ Церковь Ивана-воина (ул. Якиманка) и Никола Большой крест (ул. Ильинка; разрушена в 1933 г.) — выдающиеся памятники “нарышкинского барокко”.

Елагин И.П. Учение древнего любомудрия и богомудрия (Отрывки). Печат. по: Русский Архив, 1864. — Т. 1. — С. 94—110.

И.П.Елагин (1725—1793) — крупнейший деятель российского ма-

сонства доновиковского периода. В масонство был посвящен еще в 1750 году. Ложи “первого елагинского” союза работали по английской системе. Сам он имел полученный из Лондона диплом Провинциального Великого Мастера масонов в России.

¹ Н.И.Панин (1718—1783) — крупнейший государственный деятель царствования Екатерины II; канцлер, возглавлял внешнюю политику России более двадцати лет. Вынашивал планы введения конституционной монархии.

² т.е. шотландскую.

³ Здесь и далее Елагин говорит о немецкой масонской системе, которой придерживались московские розенкрейцеры. Считая ее искажением подлинного масонства, он фактически солидаризуется с репрессивными действиями правительства.

⁴ Масонский знак, символизирующий сохранение тайны: два пальца, наложенные на уста.

⁵ Английская масонская система ограничивается первыми тремя градусами.

⁶ Картины природы (*франц.*).

Греч Н.И. Записки о моей жизни. Печат. по: М., 1990. — С. 232—241.

Н.И.Греч (1787—1867) — журналист, филолог. В 1812—1839 гг. издавал журнал “Сын Отечества”. В молодости был близок к декабристам, после 1825 года встал на охранительные позиции.

¹ М.С.Воронцов (1782—1856) — в то время командир русского оккупационного корпуса во Франции. Впоследствии генерал-фельдмаршал, новороссийский генерал-губернатор, наместник Кавказа.

² Ланкастерская система взаимного обучения (старшие ученики под наблюдением учителя обучали младших чтению, письму и счету) возникла в Англии на рубеже XVIII—XIX веков; названа по имени ее создателя Джозефа Ланкастера.

³ С.П.Тургенев (1792—1827) — младший из “братьев Тургеневых”, дипломат.

⁴ Кантонистские школы — школы для солдатских детей, первоначально учреждены Петром I.

⁵ Марсово поле.

⁶ Брат Н.И.Греча Павел, прапорщик Финляндского полка, был назначен помощником начальника школы.

Толстой Ф.П. Из “Записок”. Печат. по: *Пассек Т.П. Из дальних лет.* — М., 1963. — Т. 2. — С. 362—377.

Ф.П.Толстой (1783—1873) — выдающийся художник, график и медальер. Над своими воспоминаниями работал в последние годы жизни. Первые главы, посвященные детству и юности, были опубликованы в “Русской старине” за 1873 год. Знакомство Т.П.Пассек с престарелым художником относится к 1860 году. Вдова Толстого передала ей продолжение “Записок” мужа, которые Пассек включила в свои воспоминания “Из дальних лет”. Правда, она позволила себе значитель-

но сократить и отредактировать первоначальный текст. К сожалению, рукопись Ф.П.Толстого, которая находилась у нее, утрачена. Но и в таком виде “Записки” Ф.П.Толстого сохраняют свое значение уникального источника по истории русского масонства начала XIX века. Текст, заключенный в скобки, принадлежит Пассек.

¹ Братья Виельгорские — выдающиеся музыканты, меценаты; были одними из основателей Русского музыкального общества.

² “Кусов первый завел транзитную торговлю и имел свои корабли. Кусов отличался большою благотворительностью; император Александр Павлович часто ездил к нему запросто в гости с императрицею. Дом его стоял у Тучкова моста, после смерти он завещал его в казну для постройки на этом месте Марининской больницы ... Лет двадцать тому назад род Кусовых получил баронство” (*Пыляев М.И.* Старый Петербург. — М., 1990. — С. 360).

³ Младший брат А.В.Кусова.

⁴ П.А.Клейнмихель (1793—1869) — в то время адъютант Аракчеева; впоследствии Главноуправляющий путями сообщения.

⁵ Грузино — имение Аракчеева в Новгородской губернии.

Записки академика А.Л.Витберга, строителя храма Христа Спасителя в Москве. Печат. по: “Русская старина”, 1872. — V. — С. 19—32, 159—192, 520—582.

К.Л.(А.)Витберг (1787—1855) — архитектор, художник. Победив на конкурсе проектов храма Христа Спасителя в Москве, он в 1822 году стал директором строения и экономической комиссии по сооружению этого храма. Однако в 1828 году работы были прекращены, а в 1835 году Витберг за произведенные подрядчиками растраты на строительстве был сослан в Вятку. “Записки” Витберга написаны под его диктовку рукой Герцена, также ссыльного в этом городе. При отъезде за границу в 1846 году Герцен оставил рукопись Т.П.Пассек, которая впоследствии и опубликовала ее. В масонство Витберг был посвящен А.Ф.Лабзиним в руководимой им ложе “Умирающий сфинкс” в 1808 году. Он сохранил верность масонству до последних дней жизни. Есть сведения, что после возвращения из ссылки он вместе с Ф.Н.Глинкой состоял в одной из тайных петербургских лож.

¹ “Граф увидел у конференц-секретаря Лабзина мою картину “Марфу Посадницу” (*прим. Витберга*).

² Д.П.Рунич (1776—1860) — в 1812—1816 гг. московский почт-директор. В это время московский почтамт считался масонской цитаделью. Сам Рунич был посвящен в ложе “Умирающий сфинкс” в 1804 году.

³ Взрывы в Кремле были произведены наполеоновскими войсками.

⁴ “В 1817 г. Каподистрия, бывший король Греции, желал чрезвычайно, чтоб объяснение сего храма было издано, и даже поручил оное сделать своему секретарю Стурдзе, который что-то и печатал очень неудовлетворительное. В 1817 г. Каподистрия давал для меня обед, состоявший из весьма малого числа лиц, и там очень горячо убеждал издать описание храма; но я отговаривался теми усовершенствования-

ми, которыми я намерен еще заняться, и что еще не пришло время для публикации, которую он брал на себя. Кстати, заметим, что тут присутствовал граф Воронцов, желавший, чтобы подобный храм в малом виде был воздвигнут у него в крымских имениях, но я не мог согласиться на это” (прим. Витберга). Граф И.А.Каподистриа (1776—1831) был одним из руководителей внешней политики России при Александре I; до поступления на русскую службу был президентом Республики Ионических островов (первого независимого государства на территории Греции), ликвидированной Наполеоном. Этим, по-видимому, объясняются слова Витберга.

⁵ “Ив.Ив.Дмитриев, слыша о моем проекте, желал его видеть, был у меня, и я вполне увидел, как душа поэта всегда сильно сочувствует всякой мысли, высокой и живой. С того времени мы остались знакомыми; наконец он просил меня помочь в расположении его дома, и по моему проекту был выстроен он у Спиридония” (прим. Витберга).

⁶ “Профессор, потом ректор архитектуры в императорской Академии художеств Авраам Иванович Мельников (1784—1854) был художник с высоким талантом и с большими практическими знаниями строительного дела. Композиции его отличались глубокою обдуманностью и замечательным вкусом и тактом. Он строил церковь Николая Чудотворца в Грязной (ныне Николаевской) улице. С отзывом автобиографа о Мельникове трудно согласиться буквально, а следует принимать его только в смысле различия взглядов на предмет его и Витберга” (прим. редакции “Русской старины”).

⁷ Филарет (Дроздов) (1782—1867) — с 1812 года ректор Петербургской духовной академии, с 1826 года митрополит Московский и Коломенский; выдающийся церковный деятель.

⁸ “По семейным преданиям, напротив, отец Витберга сильно противился поступлению сына в Академию; добывая себе хлеб тяжелым трудом комнатного живописца и даже, как говорит предание, расписывая гербы на экипажах, старик смотрел на живопись как на ремесло, далеко не привлекательное” (прим. редакции “Русской старины”).

⁹ “Генерал Огюстен де-Бетанкур, известный механик, был в это время управляющим публичными сооружениями и путями сообщений” (прим. редакции “Русской старины”).

¹⁰ “Стасова Василия Петровича (1769—1848) Академия художеств не могла ни гнать, ни поощрять, потому что он был только почетным вольным общником (сотрудником. — Авт.) ее и всегда, по месту служения, бывал независим от академического начальства и совета. Напротив того, при императоре Николае I Академия и президент ее Оленин очень дорожили добрыми отношениями со Стасовым и во многих случаях за время даже Александра I Академия выражала к этому строителю свое уважение. В общники выбран Стасов без всякого заявления со своей стороны — единогласно, что вовсе не свидетельствует о враждебности к нему. В академики же Стасов, избранный в назначенные, прямо не попал, потому что не брал программы” (прим. редакции “Русской старины”).

¹¹ “Это так называемая Вшивая горка, на высоком крутом берегу

Москвы-реки, при впадении в нее реки Яузы, против Воспитательного дома, где на вершине холма стоит каменная церковь Благовещения, построенная при царе Михаиле Федоровиче, очень оригинальной архитектуры, известная Москве (по приделу Никиты мученика) под именем Никиты мученика на Вшивой горке. Она действительно занимает картинный пункт, с которого, как на блюдечке, видны разом и Кремль, и Замоскворечье, и часть города, идущая к Андроникову монастырю» (*прим. редакции "Русской старины"*).

¹² Августин (Виноградский) (1766—1819) — с 1818 года архиепископ Московский и Коломенский; вице-президент Российского библейского общества.

¹³ М.Я.Мудров (1772—1831) — выдающийся врач, профессор Московского университета; масон с 1802 года; один из руководителей ложи "Нептун" в Москве. Был близок с А.Ф.Лабзиным; устроил последнему торжественную встречу, когда тот, высланный из Петербурга в свое имение в Симбирскую губернию, проезжал через Москву.

¹⁴ "По всей вероятности, под именем Николы расстреленного следует разуместь бывший в старину, в Кремле, напротив Чудова монастыря — резиденции местных архипастырей — храм Николы Гостунского, сильно пострадавший во время бытности французов и затем разобранный" (*прим. редакции "Русской старины"*).

¹⁵ Карандашный портрет Н.И.Новикова работы Витберга хранится в Русском музее С.-Петербурга.

Рассуждение о диком камне, на ученическом ковре предложенном. Печат. по: "Магазин свободно-каменщицкой". — Ч. 1. — Т. 1, 1784.

Журнал "Магазин свободно-каменщицкой" издавался И.В.Лопухиным в 1784—1785 гг. Содержание журнала составляли так называемые "зодческие работы", т.е. речи братьев, приносимые в ложах.

Рассмотрение причин побудительных и побуждающих ко вступлению в Свободное Каменничество. Печат. по: "Магазин свободно-каменщицкой". — Ч. 2. — Т. 1, 1784.

Морализаторский пафос и стилистические особенности наталкивают на предположение о принадлежности статьи И.В.Лопухину.

Дмитриев И.И. <О Карамзине>. Печат. по: *Дмитриев И.И. Сочинения.* — М., 1986. — С. 286—290.

И.И.Дмитриев (1760—1837) — крупнейший русский поэт рубежа XVIII—XIX веков. Приводится отрывок из его воспоминаний "Взгляд на мою жизнь".

¹ Перевод утрачен.

² Под таким заглавием была напечатана на немецком языке 2-я часть повести Вольтера "Кандид". В России она распространялась в списках и приписывалась вымышленным авторам.

³ "Ночи в замке" — цикл повестей С.Ф.Жанлис ("Детское чтение", 1787—1788, ч. 9—15).

Иванчин-Писарев Н. Нечто о Новикове. Печат. по: "Отечественные записки", 1840, N 1. Т. 8. — С. 6.

Н.Д.Иванчин-Писарев (1780—1849) — литератор. С конца 1804 года служил цензором в Московском почтамте.

¹ **Ф.П.Ключарев (1755—1822)** — масон. В 1801—1812 гг. почт-директор Москвы.

² **П.П.Бекетов (1761—1836)** — известный московский издатель.

Переписка Н.И.Новикова и Н.М.Карамзина. Сохранилась частично. Письма Н.И.Новикова печатаются по: Письма Новикова. СПб., 1994. — С. 219—225; письма Н.М.Карамзина печатаются по: "Русский Архив", 1890. — III. — С. 373—375.

Отходя от масонства, Карамзин навсегда сохранил признательность наставникам своей молодости. Он чуть ли не единственный осмелился поднять голос в защиту Новикова при его аресте. После смерти своего духовного наставника Карамзин направил Александру I записку с ходатайством о помощи его семье, рискуя вызвать неудовольствие монарха. В этой записке историк писал: "Новиков, как гражданин, полезный своею деятельностью, заслуживал общественную признательность; Новиков, как теософический мечтатель, по крайней мере не заслуживал темницы: он был жертвою подозрения извинительного, но несправедливого. Бедность и несчастье его детей подают случай Государю милосердному вознаградить в них усопшего страдальца, который не может принести ему благодарности в здешнем свете, но может принести ее Всевышнему". Ходатайство Карамзина было оставлено без последствий.

¹ Вдова И.Г.Шварца, жившая в Авдотьино.

² Дочь Н.И.Новикова.

³ С.И.Гамалея.

⁴ Жена Н.М.Карамзина.

⁵ Известно несколько английских "герметических философов", выступавших под именем Филарета (Друга истины).

⁶ В последние годы жизни письма Н.И.Новикова писала под его диктовку дочь Вера Николаевна.

⁷ В 1816 году вышли в свет первые тома "Истории Государства Российского".

Михайловский-Данилевский А.И. Из мемуаров русского масона (1822). Печат. по: "Русская старина", 1900. — III. — С. 629—649.

А.И.Михайловский-Данилевский (1790—1848) — военный историк. В 1812 году вступил в ополчение, участвовал в Бородинском сражении. Как адъютант М.И.Кутузова, вел журнал военных действий и иностранную переписку. Автор официальной истории Отечественной войны 1812 года ("Описание Отечественной войны в 1812 году". — СПб., 1839. — С. 1—4).

¹ нет войны без солдат (*франц.*).

² "Св. Иоанна Иерусалимского" (*франц.*).

³ Соединенных братьев (*франц.*).

⁴ Н.И.Тургенев — один из главных идеологов декабристов.

⁵ Блюхер Гебхард Лебрехт (1742—1819) — фельдмаршал, командовал прусской армией в войне против Наполеона.

⁶ Французские генералы, сражавшиеся в войне против Наполеона.

⁷ Соединенных друзей (франц.).

Батеньков Г.С. Массонские воспоминания. Печат. по: “Вестник Европы”, 1872. — VII. — С. 268—271.

Г.С.Батеньков (1793—1863) — декабрист, поэт. В тайном обществе играл видную роль, предназначался на ключевые посты в будущем правительстве. Приговоренный к пятнадцати годам каторги, он вместо этого по личному приказу Николая I провел около двадцати лет в одиночном заключении сначала в Свартгольме, затем в Алексеевском рavelине Петропавловской крепости. Причины столь крайней меры не ясны. “Массонские воспоминания” опубликованы А.Н.Пыпиным со следующим примечанием: “Нам не встречалось до сих пор сведений о том, где Батеньков был принят первый раз; можно предполагать, что это было еще до 1814 года. Впоследствии мы находим его членом петербургской ложи “Избранного Михаила” в союзе “Великой ложи Астреи” и потом в числе основателей ложи “Восточного Светила на Востоке” Томска, учрежденной в 1818 году и принадлежащей к союзу той же “Астреи”. Записка его о массонстве была писана за несколько месяцев до смерти (он умер 29 октября 1863 года). Это — вещь, писанная наскоро и не перечитанная, назначенная в близкие дружеские руки, изложение ее неровно, язык неопределенный и туманный. Но при всех ее литературных недостатках записка остается любопытным историческим документом... Массонство, отчасти затемнившееся в далеких воспоминаниях, было некогда для писавшего воспитательной силой и... оно до последнего времени сохранило для него свой таинственный авторитет”.

¹ “В начале записки Батеньков ссылается на какого-то своего друга, опытного в массонстве и от которого от заимствовал передаваемые сведения; но это, вероятно, ссылка фиктивная, которую употребил он для того, чтобы не являться самому рассказчиком того, что, по его старинным обязательствам, должно было быть им хранимо как тайна” (А.Н.Пыпин).

Григорьев Ап. Мои литературные и нравственные скитальчества. Печат. по: Григорьев А.А. Воспоминания. — Л., 1980. — С. 12—15.

Фет вспоминает, что Григорьев был вовлечен в ложу неким Милановским, товарищем по университету, одно время даже близким к Белинскому. Однако в литературных кругах скоро стало ясно, что Милановский — проходимец и “эксплуататор чужих карманов” (по выражению известного публициста К.Д.Кавелина). Белинский был в ужасе от того, что пускался с ним в “либеральные откровенности”. Действительно, оказалось, что Милановский попросту был нечист на руку и в конце концов пустил по ветру средства, собранные “братьями”.

¹ Крепостной мальчик Никанорка Танайченко, персонаж “Семейной хроники” С.Т.Аксакова.

² “Добротолюбие, или Словеса и главизны священного трезвения, собранные от писаний святых и богодуховных отец” в 4-х ч. — М., 1793—1794.

³ Милановский.

⁴ Церковь постройки Д.Ухтомского (1751 г.) на углу Старой Басманной и Гороховского пер. “Старый дом” — дом протоиерея церкви Ивана Иванова, дяди деда Ап.Григорьева, первоначально приютившего его (Гороховский пер., 4).

Осоргин М.А. Памяти Пушкина. (Доклад на пленарном заседании всех русских лож в Париже 29 января 1937 (1937). Печат. по: *Осоргин М.А. Доклады и речи.* — Париж. 1949. — С. 113—121. В качестве статьи под заглавием: “Пушкин — вольный каменщик” опубликовано в газете “Последние новости” 10 февраля 1937, N 5801.

¹ П.С.Пуцин (1789—1865) — генерал-майор, бригадный командир 16-й пехотной дивизии (М.Ф.Орлова). Досточтимый Мастер ложи “Овидий”. Член кишиневской ячейки южной управы “Союза Благоденствия”, но к следствию по делу декабристов привлечен не был. Пользовался репутацией замечательного офицера. “Малый редкий, умный, честный, усердный, словом прекраснейший”, — характеризовал его корпусный командир И.В.Сабанеев.

² Письмо от 20 января 1826 года из Михайловского.

³ Известный историк русского масонства писательница Т.А.Бакунина характеризует “Пророка”: “Чистое воплощение масонской идеи, как она воспринималась в то время” (*Бакунина Т.А. Знаменитые русские масоны.* М., 1991. — С. 89).

⁴ Совершенный союз (*франц.*).

⁵ Арнауты — албанцы, традиционно носящие оружие; гетеристы — члены греческих тайных обществ (гетерий), ставящих целью освобождение Древней Эллады от турецкого ига.

Бурышкин П.А. Масонство в романе Л.Н.Толстого “Война и мир”. Печат. по: Вестник объединения русских лож. Д. и П. Шотландского устава. — Париж, июнь 1963. — N 11. — С. 17—23.

П.А.Бурышкин (1887—1953) — до революции крупный промышленник. В эмиграции занимался литературной работой и историей масонства. Автор известной книги “Москва купеческая”.

¹ С.П.Жихарев (1788—1860) — литератор, мемуарист, крупный чиновник. Основное произведение — “Записки современника”, ярко рисующее Москву начала прошлого века.

² О М.А.Дмитриеве-Мамонове см. статью Ю.М.Лотмана “Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель” (*Лотман Ю.М. Избранные статьи.* — Таллин, 1992. Т. 2. — С. 282—349).

³ В.И.Зиновьев (1754—1816) — масон елагинского посвящения. Его поездка по Европе приходилась на 1784—1788 годы.

⁴ О критическом отношении Л.Толстого к масонству см. его письма к жене. “Но у него с молодых лет было глубокое уважение к деятельности Н.И.Новикова. Предисловие к “Утреннему свету” навеяло его на мысль издавать “Круг чтения” (см.: *Толстой Л.Н.* Памятники творчества и жизни. Под ред. В.И.Срезневского) (прим. П.А.Бурышкина).

Л.Н.Толстой — К.Верксагену. Печат. по: *Толстой Л.Н.* Полное собрание сочинений. — М., 1956, Т. 75. — С. 231.

Письмо является ответом берлинскому пастору К.Верксагену (ум. 1910?) от 4 марта 1905 года. Он прислал писателю номер масонского журнала “An rauhen Stein” (“У грубого камня”) со своей статьей “Лев Толстой и В.К.”. В статье К.Верксаген писал: “Едва ли найдется другой просветитель его типа, в душе которого жило бы столько бессознательного, но все-таки настоящего масонства, как у Толстого”. Письмо впервые было опубликовано в 1922 году Д.П.Маковицким (в его переводе).

В “Яснополянских записках” Д.П.Маковицкий приводит слова Л.Н.Толстого по поводу этого письма: “Масон посылает мне книжку, где статья обо мне. Находит, что я масон, и совершенно справедливо. Христианство, очищенное от всяких обрядов, братство людей — все это масонство” (*Маковицкий Д.П.* Яснополянские записки. — М., 1979. — Т. 1. — С. 191).

Волошин М.А. Пророки и мстители. Предвестия великой революции. Печат. по: *Волошин М.А.* Лики творчества. — Л., 1988. — С. 188—208.

Статья написана в период бурного увлечения Волошина масонством, что перекрециввалось и с его эсхатологическими ожиданиями. В письме А.М.Петровой 1 июля 1905 года поэт так раскрывает свое внутреннее состояние: “Во мне все больше и больше растет мистическое чувство подходящего пламени. Может быть, мистические секты и предвидения, предшествовавшие Великой Революции, которые я изучаю теперь, меня настраивают на это”.

¹ *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч. — Л. — Т. 6. — С. 419—420.

² *Киприан.* Творения. — Киев, 1891. — Ч. 2. — С. 229—231.

³ *Лактанций.* Творения. — СПб., 1848. — Ч. 2. — С. 128—131.

⁴ Из статьи В.С.Соловьева “По поводу последних событий” (1900). См.: *Соловьев В.С.* Собр. соч. — СПб. 1914. — Т. 10. — С. 226.

⁵ Волошин развивает мысль Вяч. Иванова. В письме А.М.Петровой в августе 1904 года он сообщает: “Мы ежедневно по несколько часов беседуем с Вячесл. Ивановым. Он мне сказал: “Да, я признаю обезьяну. Обезьяна, а потом неожиданный подъем: утренняя заря, рай, божественность человека. Совершается единственное в истории: животное, охваченное безумием. Обезьяна сошла с ума и стала человеком. Родилось высшее в жизни — трагедия”.

⁶ Хилясты — последователи хилязма, учения о тысячелетнем царстве Христа, которое должно наступить перед концом мира.

⁷ Здесь и далее цитируется предисловие к повести А.Франса “Суждение господина Жерома Куаньяра” (1893).

⁸ Подобное место в книге Кабаниса о революционных неврозах отсутствует.

⁹ 2 сентября 1792 года толпы народа разгромили ряд парижских тюрем (в том числе и тюрьму Аббатства); во время погрома было убито множество заключенных аристократов и священников.

¹⁰ “Жан-Пьер (!) Марат был очень чувствителен” (*франц.*); на самом деле это цитата не из Верлена, а из не найденной до нашего времени статьи Бодлера.

¹¹ Гейне Г. Полн. собр. соч. — М.—Л., 1936. — Т. 7. — С. 103—104.

¹² См.: Cabanes A., Nass L. La Nevrose revolutionnaire. — P. 481.

¹³ Тэн И. Происхождение современной Франции. СПб., 1907. — Т. 2. — С. 49.

¹⁴ Cabanes A. Op. cit. — P. 5—8.

¹⁵ переворот (*франц.*)

¹⁶ Как на источник цитаты Волошин указывает на книгу Ш.Л.Каде-Гассикура (1769—1821) “Гробница, или Краткая тайная история древних и современных посвященных, тамплиеров, франкмасонов, иллюминатов”, вышедшая в Париже в 1797 году.

¹⁷ Замок Тамплъ, заменивший в эпоху революции Бастилию.

¹⁸ В астрологической символике знак созвездия Рыб означал мученичество.

¹⁹ Альбигойцы (катары) — ересь манихейского толка, распространенная на юге Франции в XII—XIII вв. Папа Иннокентий III объявил против альбигойцев крестовый поход. Крестоносцы залили кровью Прованс и соседние области.

Северенские мученики — участники восстания в Северене, требовавшие прекращения преследования гугенотов (1702 г.) Восстание было жестоко подавлено войсками Людовика XIV.

²⁰ Дочь фельдмаршала Франции маркиза де Сомбрейля, заслонившая отца своим телом во время “сентябрьских убийств” и тем спасшая его; указанный эпизод относится к этому моменту.

²¹ Стихотворение “Ангел Мщенья” неоднократно перепечатывалось отдельно.

Осоргин М.А. 25 февраля 5936 г. Печат. по: “Северные братья”. — Париж (без даты). — С. 17—23.

Речь, произнесенная М.А.Осоргиным на собрании ложи “Северные братья” 25 февраля 1936 года.

¹ Из стихотворения М.Ю.Лермонтова.

² Под голубым масонством подразумеваются масонские системы, ограничивающиеся первыми тремя степенями.

Осоргин М.А. Символическое миропонимание. Печат. по: “Северные братья”. — С. 31—33.

Осоргин М.А. 20 января 5936 г. Печат. по: “Северные братья”. — С. 85—90.

Речь, произнесенная М.А.Осоргиным, на собрании ложи “Северные братья” 20 января 1936 года.

¹ Сера по алхимическим воззрениям представляет собой жизненную силу. Смысл приведенной формулы в том, что присоединение серы преобразует и одухотворяет безжизненный камень.

² к порядку через хаос (*лат.*).

Осоргин М.А. “Etoile du Nord”. 2 июня 1932. Печат. по: *Осоргин М.А. Доклады и речи.* — Париж. 1949. — С. 34—29.

Речь, произнесенная Осоргиным на собрании ложи “Северная звезда” (*Etoile du Nord*) 2 июня 1932 года.

Осоргин М.А. Ритуал и традиции. Печат. по: *Осоргин М.А. Доклады и речи.* — С. 131—142.

Доклад, произнесенный Осоргиным на собрании ложи “Северная звезда” 5 декабря 1935 года.

¹ подите прочь, непосвященные (*лат.*).

Осоргин М.А. Исповедь Мастера. Печат. по: *Осоргин М.А. Доклады и речи.* — С. 165—172.

Речь, произнесенная Осоргиным на заседании ложи “Северная звезда” в мае 1936 года.

¹ Т.А.Бакунина.

Осоргин М.А. Путь русского вольного каменщика. Печат. по: *Осоргин М.А. Доклады и речи.* — Париж, 1949. С. 102—112.

Содержание

Масонство и русская культура. Предисловие <i>В.И. Новикова</i>	5
<i>Прот. Георгий Флоровский</i> . Пути русского богословия. Главы из книги	50
<i>В.В.Зеньковский</i> . История русской философии. Главы из книги	64
<i>В.О.Ключевский</i> . Воспоминания о <i>Н.И.Новикове</i> и его времени	69
<i>Р.В.Иванов-Разумник</i> . История русской общественной мысли. Отрывки	89
<i>Н.А.Бердяев</i> . Жозеф де Местр и масонство	97
НА АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА	
Предуведомление ("Утренний свет", сентябрь 1977 г.)	107
О письменах славянорусских и тиснении книг в России	114
О достоинстве человека в отношении к Богу и миру	117
О главных причинах, относящихся к приращению художеств и наук	124
О действии наук над сердцем и нравом человеческим	127
Предуведомление к читателям ("Вечерняя заря", 1782 г.)	135
Рассуждение о познании самого себя	137
Похвала женскому полу	142
О таинствах Цереры Элевзинской	145
Клятва	149
Записки сенатора <i>И.В.Лопухина</i>	142
<i>И.В.Лопухин</i> . Нравоучительный катехизис истинных франкмасонов	150
<i>А.Н.Радищев</i> . Беседа о том, что есть сын Отечества	179
Переписка московских розенкрейцеров	187
<i>В.И.Баженов</i> . Слово на заложение Кремлевского дворца	217
<i>И.П.Елагин</i> . Учение древнего любомудрия и богомудрия	223
<i>Н.И.Греч</i> . Записки о моей жизни	236
<i>Ф.П.Толстой</i> . Из записок	240
Записки академика <i>А.Л.Витберга</i> , строителя храма Христа Спасителя в Москве	254

ВОЗВЕДЕНИЕ ХРАМА ДУХА

Рассуждение о диком камне, на ученическом ковре предположенном	295
Рассмотрение причин побудительных и побуждающих ко вступлению в свободное каменничество	298
<i>И.И.Дмитриев.</i> О Карамзине	304
<i>Н.Н.Иванчин-Писарев.</i> Нечто о Н.И.Новикове	308
Переписка Н.И.Новикова и Н.М.Карамзина	310
<i>А.И.Михайловский-Данилевский.</i> Из мемуаров русского масона	318
<i>Г.С.Батеньков.</i> Масонские воспоминания	327
<i>Ап.Григорьев.</i> Мои литературные и нравственные скитальчества	331
<i>М.А.Осоргин.</i> Памяти Пушкина	334
<i>П.А.Бурыйшкін.</i> Масонство в романе <i>Л.Н.Толстого</i> "Война и мир"	344
<i>Л.Н.Толстой</i> — К.Веркспагену	352
<i>М.А.Волошин.</i> Пророки и мстители	353
<i>М.А.Осоргин.</i> Речь 24 февраля 1936 г.	368
<i>М.А.Осоргин.</i> Символическое миропонимание	374
<i>М.А.Осоргин.</i> Речь 20 января 1936 г.	378
<i>М.А.Осоргин.</i> "Etoile du Nord"	387
<i>М.А.Осоргин.</i> Ритуал и традиция	391
<i>М.А.Осоргин.</i> Исповедь мастера	404
<i>М.А.Осоргин.</i> Путь русского вольного каменщика	414
Из масонской поэзии XVIII века	426
Из масонской поэзии XIX века	444
Из масонской поэзии XX века	460
Примечания и комментарии	
<i>В.И.Новиков</i>	474

М31 **Масонство и русская культура**/Сост. В.И.Новиков.
М.:Искусство, 1996. — 495 с.

Антология текстов выдающихся русских масонов XVIII — начала XX века — воспоминания, журнальные статьи, переписка, поэтическое творчество — дает представление об обширном историческом пласте национальной русской культуры.

ББК 87.8

МАСОНСТВО И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

Составитель В.И.Новиков

Редактор
Л.П. Орлова

Художник
В.К. Завадовская

Художественный редактор
М.Г. Егиазарова

Верстка
Н.Б. Масловой

Корректор
Ю.А. Евстратова

Лицензия ЛР № 01057 14.02.97.

Сдано в набор 13.02.96. Подписано в печать 30.03.98 г.

Формат издания 84x108/32. Бумага газетная

Гарнитура школьная. Печать офсетная

Усл.печ. 26,04.Усл.кр.-отт. 26,42. Изд. № 17736. Заказ 3603.

Издательство "Искусство"

103009 Москва, Малый Кисловский пер.,3

Отпечатано с набора издательства "Искусство"

в типографии № 2 РАН,

121099 Москва, Шубинский пер.6

ISBN 5-210-01331-6



9 785210 013316



